

ISSN 0042—8779

ИВЛ

**ВОПРОСЫ
ИСТОРИИ**

4-5

91

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

4-5/91



ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

4-5/91

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

- В. А. Дьяков** — Славянский вопрос в русской общественной мысли 1914—1917 годов 3
- Ю. Суоми** (Финляндия) — На пути к советско-финскому договору 1948 года 12
- С. В. Якушев** — Центральный партийный архив в 30-е годы 25

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

- Протоиерей **Владислав Цыпин** — От Крещения Руси до нашествия Батыя 34

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

- А. С. Мыльников** (Ленинград) — Петр III 43

ВОСПОМИНАНИЯ

- Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. Продолжение 59
- Вилли Брандт** (ФРГ) — Воспоминания. Продолжение 70

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

- А. Г. Авторханов** (ФРГ) — Технология власти. Продолжение 101

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

- Генерал **А. И. Деникин** — Очерки русской смуты. Продолжение 114
- А. Ф. Керенский** — Россия на историческом повороте. Продолжение 129

Выходит
с 1926 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОГРЕСС»
МОСКВА

ПУБЛИКАЦИЯ

- Особая миссия Давида Канделаки 144

СООБЩЕНИЯ

- Е. В. Цаплин** — Архивные материалы о числе заключенных в конце 30-х годов 157
- А. А. Шевяков** — Советско-германские экономические отношения в 1939—1941 годах 164

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

- А. А. Формозов** — Уралец Малахов 171
- В. Г. Миронова** — Берестяные грамоты из Старой Руссы 175

ИСТОРИОГРАФИЯ

- Н. А. Соболева** — Первый русский ученый-геральдист 180
- Р. Е. Котов** — Л. Н. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь 189
- О. Ф. Соловьев** — А. Я. Аврех. Масоны и революция 192
- Б. В. Носов** — Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв.; Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. 194
- В. Б. Кобрин** — Акты писцового дела 60—80-х годов XVII века 197
- В. П. Груздева** — И. Очак. Горкич. Жизнь, деятельность и гибель 198
- А. В. Ревякин** — Забастовки, войны и революции в международной перспективе. Забастовочные волны в конце XIX — начале XX века 200

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

- С. А. Романович** — Кто же основал Москву? 202
- В. А. Кондратьев** — От ошибки публикатора к ошибкам в исследованиях 203
- Н. Е. Дементьев** — К оценке земельной и продовольственной политики Советской власти в 1917—1918 годах 204

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

- А. С. Степанов, О. Ю. Лейко** — Еще раз о действиях камикадзэ 205

Славянский вопрос в русской общественной мысли 1914—1917 годов

В. А. Дьяков

В конце XIX — начале XX в. славянский вопрос нередко становился предметом более или менее откровенных политических спекуляций для обоснования определенного понимания природы и задач противостояния Центральным державам и Антанты, для подтверждения территориальных претензий. В годы первой мировой войны степень политизации, обсуждения славянского вопроса сильно возросла, что отразилось на его трактовке практически всеми идейными направлениями.

Официальный взгляд на причины и цели войны был зафиксирован в манифесте Николая II от 12 июля и воззвании Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича от 1 августа 1914 года. «Россия, — говорится в манифесте, — единая по вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно... Ныне предстоит уже не заступиться только за несправедливо обиженную страну, но и оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав». Верховный главнокомандующий, обращаясь в своем воззвании к полякам, заявлял: «Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться... Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя... воссоединится Польша, свободная в своей вере, языке, самоуправлении»¹.

Пропагандистская, официальная пропаганда старалась доказать справедливый характер войны со стороны России. Философ И. А. Ильин утверждал, что, подобно войнам 1813—1815 и 1877—1878 гг., «настоящая война наша с Германией есть война духовно-оборонительная и останется ею даже в том случае, если русские войска войдут в центр Германии и если мир присоединит к России польские и славянские земли». М. П. Цемович, призывая Россию «дать польскому народу выпрямиться во весь рост», выступал за создание, кроме русско-польского, еще западно-славянского и юго-славянского государств. К. Я. Грот писал, что «Россия смотрит на войну... как на освободительную для всего западного и южного славянства... и вообще для народностей Австро-Венгрии» и предлагал добиваться в будущем национальных автономий — польской «под русской державой», хорватской и словенской «под державой сербской», а также «образования Чешского королевства»².

У черносотенцев «мастером» скандально-шовинистической пропаганды являлся деятель «Русского собрания» Н. Н. Шипов. С одной стороны, он обвинял в развязывании войны «жидо-масонов», с другой — всячески ругал неославистов. Последние, по его словам, «тесно сплотившись с кадетами и людьми, ничего не видящими в прошлом России, кроме тьмы, невежества и изуверства, говорят, что судьбы славянства нельзя соединить с религией». После победоносной войны, заявлял Шипов, все славянские государства должны объединиться в Славянский союз, имеющий общую денежную систему, таможенный союз, единое войско и единое министерство иностранных дел. Русский язык должен сделаться общеславянским языком³.

Интересы русской буржуазии, ориентировавшейся на связи с Антантой, формулировал кадетский

Дьяков Владимир Анатольевич — доктор исторических наук, профессор (Институт славяноведения и балканистики АН СССР).

деятель П. Б. Струве. Россия призвана теперь довести до конца расширение империи, писал он, осуществить ее имперские задачи и ее славянское призвание. Во-первых, это означает присоединение «русской Галичины», во-вторых, возрождение Польши как единого национального организма и, наконец, овладение проливами. Подводя под эти претензии идейную базу, Струве заявлял, что на поле брани «осуществляется религиозное чудо слияния силы и правды, разрешается великая загадка истории». «Если в Великой России, — продолжал он, — для нас выражается факт и идея русской силы, то в Святой Руси мы выражаем факт и идею русской правды»⁴.

Кадетская и — шире — «веховская» трактовка отразилась и в научных работах и публицистике членов Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Один из них, В. Ф. Эрн, считал, что мировая война является столкновением русского (славянского) духа с германским. Свое понимание русского духа он черпал отчасти из трудов дореформенных славянофилов, а более всего — из сочинений Ф. М. Достоевского и Вл. С. Соловьева. Что касается германского духа, то его характерные черты Эрн попытался обрисовать в докладе, озаглавленном «От Канта к Крупну» (1915 г.). «Идея мировой гегемонии, сложившаяся с помощью философии Канта в германизме, — говорил он, — требовала «брони милитаризма» — ею занялся Крупн». Суть русско-германского столкновения Эрн усматривал в противопоставлении креста мечу. «Столкновение духа Германии и духа России, — замечал он, — мне представляется внутренней осью европейской войны... Гордая, материальная, внешняя идея германская сталкивается со смиренной, духовной и внутренней идеей русской»⁵.

Решительно разделившись с немецкой философией, наукой и техникой, критически оценив немецкий национальный характер, Эрн весьма рискованным образом интерпретировал вызванные новыми условиями изменения роли славянофильства. Процесс дифференциации Европы на Германию и союзные ей государства, с одной стороны, Англию, Францию и Бельгию — с другой, он расценивал как мощное вторжение на Запад славянофильства и широко понимаемой духовности. Этот процесс, считал Эрн, «является по своему смыслу и внутреннему рисунку славянофильством времени», вследствие чего Россия впервые «вступает в органическое соединение с Европой... и помогает Европе, творя с ней единое вселенское дело»⁶.

Утверждение, что Европа «славянофильствует», не заставило Эрн отказаться от противопоставления Востока Западу. Эрн считал, что русская культура отличается от западной в целом прежде всего своей религиозностью. Старая (допетровская) русская культура, утверждал он, вся проникнута религиозным онтологизмом, новая — тоже, только онтологизм в ней из данности превратился в задание, из исходного пункта — в конечный. «Культура нового Запада, — по убеждению Эрн, — ставит себе задачей всестороннюю внешнюю и внутреннюю секуляризацию человеческой жизни», она «проникнута пафосом уходящего от небесного Отца, пафосом человеческого самоутверждения... Русская культура проникнута энергиями полярно иными»⁷.

С критикой крайностей Эрн в его трактовке «германского духа» выступил член Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева и «веховец» Н. А. Бердяев. «Истина, — писал он, адресуясь к Эрну, — легко может стать игрищем национально-расовых страстей... Наши славянофильствующие философы устанавливают тип германской философии, германской религии, германской мистики, который признают греховным и ложным потому уже, что он германский». По мысли Бердяева, философское мышление не должно быть нарочито и надуманно русским, искусственно противопоставляемым всему германскому. «Мы, — утверждал он, — наиболее национальны, наиболее русские тогда, когда ищем из своей глубины правду и истину, а не тогда, когда только русское провозглашаем истинным и праведным, а германское — ложным и греховным»⁸.

Накануне и в годы мировой войны национальные проблемы и славянский вопрос, в частности, занимали в научном творчестве и публицистике Бердяева весьма заметное место. Это подтверждает книга, вышедшая в 1918 г. и включающая в переработанном виде большинство его статей; она дает довольно полное представление о том, что составляло славянский аспект мировоззрения автора. Россия, по его мнению, самая анархическая и в то же время самая государственная, бюрократическая страна, она одновременно антишовинистична и националистична, миролюбива и воинственна. Природа русского народа определялась Бердяевым как женственная, пассивная и покорная; отсюда — призвание варягов; «немецщина как-то органически вошла в русскую государственность». И религиозность у русских тоже женственная, это — «религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой как теплота мистическая». Корень многих противоречий в истории России Бердяев видел в «несоединимости мужественного и женственного в русском духе, в русском характере»⁹.

Германский мир, утверждал Бердяев, чувствует женственность славянской расы и думает, что он должен владеть этой расой и ее землей. Мировая война была для него борьбой русского и германского духа, столкновением и переплетением восточного и западного христианских миров. «В наступающую мировую эпоху, — заявлял он, — Россия призвана сказать свое новое слово миру, как сказал уже мир латинский и германский... Славянская раса идет на смену другим расам, уже сыгравшим свою роль, уже склоняющимся к упадку; это раса будущего». Победы русского и славянского духа, по мнению Бердяева, были

возможны только в религиозно-мистических рамках: «Таков абсолютный дух России... Таково призвание славянства»¹⁰. Эти и другие суждения обобщающего характера Бердяев высказывал императивно, не приводя каких-либо аргументов в обоснование своей точки зрения. Небезынтересными представляются попытки описания Бердяевым национальных характеров славянских народов, прежде всего русского и польского. В типичной русской душе, утверждал он, «есть много простоты, прямоты и бесхитростности, ей чужда всякая аффектация... всякий аристократический гонор... В ней есть какой-то особый, совсем не западный демократизм на религиозной почве, жажда спасения всем народам... Ждет русский человек, что сам Бог организует его душу и устроит его жизнь... Совсем иная душа польская. Польская душа аристократична и индивидуалистична до болезненности, в ней сильно не только чувство чести, но и дурной гонор. Это утонченная и изящная в славянстве душа, упоенная своей страдальческой судьбой, патетическая до аффектации... Польская душа вытягивается вверх. Это католический духовный тип. Русская душа распластывается перед Богом... В каждой народной душе есть свои сильные и свои слабые стороны, свои положительные качества и свои недостатки. Но нужно взаимно полюбить качества народных душ и простить их недостатки»¹¹.

Положительно оценивая приверженность славянофилов православию и одобряя ориентацию славянофильских доктрин на национальную самобытность, Бердяев, однако, считал их религиозность недостаточно мистической и критически отзывался о «ветхозаветности» некоторых их установок. Примитивизм и материальная отсталость, заявлял он, вовсе не выражают силу духа. Россия должна отходить «от старого своего хозяйствования, которое уже подгнило и в своей основе разлагается. Русское сознание должно отвлечься от славянофильского и народнического утопизма и мужественно перейти к сложному развитию и машине»¹².

Бердяев ставил национальную слагающую исторического процесса выше социальной, а характерные черты каждой нации считал мистически предопределенными. Русскому народу и славянству в целом он отводил особую роль в истории, веря, что именно они возглавят единое для всех народов «вселенское христианство» и через апокалипсис приведут человечество к царству божьему. Политические позиции Бердяева были близки к позициям кадетской партии. Не будучи в состоянии осознать сущность мировой войны, он считал ее столкновением русского духа с германским, поддерживал националистическую, по своей сути антинемецкую, пропаганду и, по его собственным словам, «горячо стоял за войну до победного конца»¹³.

С критикой позиции, представленной Эрном, выступал наряду с Бердяевым еще один «веховец» — С. Л. Франк. Эрн он и прежде называл славянофильствующим русским философом. По мнению Франка, в утверждении Эрна о том, что первоисточником зла, материализованного в оружии Круппа, является философия Канта, есть малая доля тонкой, трудно уловимой истины. Но эта доля истины, писал Франк, была искажена и раздута настолько, что заслонила собой гораздо более существенную истину о большом общечеловеческом значении философии Канта¹⁴.

Спор между Эрном и Франком оживился осенью 1914 г. в связи с началом войны. На октябрьском заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева выступили с докладами Г. А. Рачинский, Е. Н. Трубецкой, В. И. Иванов и В. Ф. Эрн. Известный «веховец» С. Н. Булгаков выступил хотя и с несколько иной аргументацией, но примерно в такой же тональности, как Эрн. Оценивая их выступления, Франк писал: «Всякое оправдание войны, смысл которого сводится к тому, что сама сущность одной из борющихся сторон признается выражением абсолютного блага, а другая выражением абсолютного зла, заранее должно быть признано ложным». Война велась, по убеждению Франка, не между Востоком и Западом, а между защитниками права и защитниками силы, между хранителями святых общечеловеческого духа — в том числе и истинного вклада в него германского гения, — и его хулителями и разрушителями¹⁵.

Однако, судя по всему, в Обществе памяти Вл. Соловьева преобладали те, кто оценивал войну примерно так же, как Эрн и Булгаков. В частности, активный участник дискуссий в Обществе писатель и ученый В. И. Иванов в декабре 1914 г. утверждал, что война ведется Россией «за выбор основных путей человеческого духа», и потому после ее окончания, во-первых, должен водвориться «вожделенный строй в славянской мировой громаде, — как предвещал Тютчев», во-вторых, Россия должна помириться с Польшей, да не где-нибудь, а в Царьграде. В свою очередь, философ и публицист Трубецкой уверял, будто ни у кого в России нет ни малейшего сомнения в необходимости и желательности войны, будто «все преисполнены веры в ее благой смысл». В брошюре, вышедшей в 1915 г., он, подобно Эрну, утверждал: «Настоящая война не может быть понимаема... как столкновение России с европейским Западом», ибо «под тем же знаменем, бок о бок с нами, сражается целых три западных державы». Задачу войны Трубецкой видел в решении национального вопроса путем создания новых самостоятельных государств и доведения до естественных национальных границ тех, которые уже существуют. Россия, говорится в брошюре, должна сохранить за собой значение державы-освободительницы, доказать, что она никому не грозит поглощением. «Тогда Россия станет центром союза народов в целях общей безопасности»¹⁶.

Довольно полное представление об отношении к войне левокадетских кругов и тяготевших к ним группировок дает сборник статей «Вопросы мировой войны» (под редакцией М. И. Туган-Барановского).

От всей рассматривавшейся выше литературы сборник отличается, во-первых, тем, что в нем меньше религиозно-националистической трескотни, выспренных рассуждений о превосходстве всего российского над всем немецким. Во-вторых, авторы большинства статей пытаются более или менее научно объяснить причины войны, понять ее ход и возможные результаты. В целом сборник отстаивает позиции сторонников «обороны отечества» и даже «войны до победного конца». Внешнеполитические задачи России авторы понимают так же, как их ближайшие соседи справа — Струве, Бердяев и другие. Однако в их оценке, как и в понимании природы войны, преобладает обращение не к духовным, а к материальным факторам, в том числе к экономике.

Э. Д. Grimm, например, рассматривал политику Германии как неизбежный результат экономической политики европейских стран, утверждая, что речь идет о трагическом конфликте, в котором «все участники борьбы одинаково добросовестны». Об истоках и характере конфликта он писал: «Пангерманизм представляет такой же идеологический нарост на фоне немецкой жизни, как панславизм — на фоне русской жизни. Истинную силу имеет и там и тут лишь то, что непосредственно проистекает из основных потребностей государственной жизни и чувства экономического, культурного и политического самосохранения державной национальности»¹⁷.

Видный деятель кадетской партии П. Н. Милуков выступил в сборнике со статьей о внешнеполитических целях Российской империи в войне, которые он прежде всего связывал с режимом проливов. Их «нейтрализацию» автор провозглашал вековой русской национальной задачей. «Надо, — говорится в статье, — чтобы наши союзники знали, что наш жизненный интерес и насущная потребность в обладании проливами ничего не имеют общего ни с пугалом «панславизма», которым националисты «пангерманства» запугивали Европу, ни с завоевательными тенденциями, которым... хотят положить предел сторонники будущего организованного мира в Европе. Владение Константинополем и проливами есть конец, а не начало»¹⁸. Не предзнамененные для печати высказывания Милукова в кругу руководящих деятелей кадетской партии имели еще более экспансионистский характер. Суть своего отношения к зарубежному славянству Милуков откровенно сформулировал гораздо раньше. На совещании думской фракции кадетской партии в октябре 1908 г. он, в частности, заявил: «Славянским вопросом необходимо интересоваться не в силу родства и сентиментальных славянофильских мотивов, а потому, что он представляет собой часть международного русского вопроса. Им нужно овладеть, доказав правым, что оппозиция знает его лучше их, и лишить их монополии на патриотизм»¹⁹.

Историк Н. В. Ястребов изложил в сборнике свою точку зрения на решение южнославянского вопроса. Он видел это решение в создании «Великой Сербии» и в разрушении многонациональной Австрийской монархии. Сербия, утверждал Ястребов, «имеет основание быть оптимистически настроенной... относительно возможности преодолеть политический сепаратизм в деле создания Великой Сербии». Обоснованной считал Ястребов претензию России на освобождаемые из-под австро-мадьярского ига Русь Червонную, Галицкую, Буковинскую и Угорскую и стремление обеспечить себе свободные выходы из Черного и Балтийского морей²⁰.

В статье о предьстории двух соперничавших блоков Н. И. Кареев отметил, что важнейшее значение в их взаимоотношениях всегда имели польский и восточный вопросы. В начавшейся войне, писал он, «Россия имеет на своей стороне две державы, которые всегда были в этих двух вопросах против нее, но и сама Россия в первом из этих вопросов стала на новый путь». Говоря о повороте российской политики в польском вопросе, Кареев ссылаясь на воззвание Верховного главнокомандующего от 1 августа 1914 года. Отдельную статью Кареев посвятил истории польского вопроса и сопоставлению политики оккупируемых держав в разделенной Польше. При этом он пришел к заключению, что в Царстве Польском поляки имели больше возможностей для сохранения своих национальных ценностей, чем в двух других частях Польши. Свой вывод Кареев обосновывал тем, что в Германии и Австрии национальным стремлениям польского населения могли благоприятствовать только консервативные немецкие элементы, а это было на руку главным образом польскому консерватизму²¹.

Одна из характерных форм восприятия всего того, что связано со славянским вопросом в годы мировой войны, была представлена теоретиком и лидером эсеров В. М. Черновым. Эсеры осуждали шовинистическую официальную пропаганду, скептически воспринимали и основные установки либерально-кадетского «патриотизма». Некоторые деятели партии эсеров принимали лозунг поражения царизма в империалистической войне, но преобладали сторонники «обороны отечества». Этим обусловлена двойственность идейно-политических позиций в программно-пропагандистских текстах эсеров. Сказанное относится, в частности, к работе Чернова об отношении к славянскому вопросу К. Маркса, Ф. Энгельса и их последователей.

Книга Чернова «Марксизм и славянство» вышла в 1917 г., но изложенные в ней теоретические построения, политические размышления и эмоции навеяны, конечно, событиями всех военных лет и горячими дискуссиями вокруг лозунга революционного поражения. «Иностранная политика социализма», впервые разработанная Марксом и Энгельсом во время революции 1848—1849 гг., исходила, по мнению Чернова, из надежды на то, что значение ее «будет аналогично Великой французской революции 1789 г.

с той разницей, что та революция была рождением буржуазного строя, а эта будет «муками родов» строя социалистического», причем новая революция сопровождается, наряду с внутренними потрясениями, мировой войной Запада с Востоком.

Чернов утверждал, что обосновывавшаяся Марксом и Энгельсом концепция революционной войны против Священного союза была унаследована ими от французских якобинцев и что «революционный шовинизм» основоположников марксизма «начинает ограничить с национальным, вырождаясь в страстную русофобию и славянофобию». В его глазах основоположники марксизма, возражая против преувеличения национального аспекта, придерживались «не менее одностороннего воззрения, по которому точкой опоры для национального начала является социальная категория докапиталистического общества, а именно — крестьянство». Чернов считал, что с недооценкой национальной слагающей в освободительном движении народов восточноевропейского региона было связано у Маркса и Энгельса враждебное отношение к панславизму. «Если мы присмотримся хорошенько к пугалу этого панславизма, — заявлял Чернов, — то из-за страшной маски показываются довольно невинно-романтические черты сентиментального этнографического общеславянского культурного тяготения — и только».

Резко и справедливо осуждал он выдвинутой Энгельсом тезис, что южные и западные славяне не имеют ни прошлого, ни будущего, чем и оправдывалась немецкая экспансия в славянские земли и даже революционная война против «славянской опасности». Об этих высказываниях Энгельса Чернов писал: «Вместо того, чтобы понять, кто и как в лагере самой демократии ложной национальной политикой толкал политически неразвитое славянство в объятия габсбургской реакции, он стал на точку зрения вменения и кары». Оценивая позицию основоположников марксизма в отношении балканских славян, он утверждал, что эта позиция вытекает не из существа дела, а из тактических расчетов западноевропейской демократии. Маркс, по мнению Чернова, «был за турок лишь потому, что этого требовал антагонизм к России. В турок он не верил»²².

Известно, что однозначно позитивное отношение Маркса и Энгельса к лозунгу независимости Польши обуславливалось тем, что они причисляли поляков к «историческим народам» и высоко оценивали участие польского народа в общеевропейском революционном процессе. По убеждению Чернова, эта позиция основоположников марксизма вытекала из общей линии их практической политики. В мотивах признания ими права Польши на самоопределение решающим было то, что восстановление ее независимости играло роль мины, способной взорвать Священный союз. Их оценка революционного потенциала польского народа в 1848—1849 гг. не без основания представлялась Чернову сильно завышенной, союз шляхты с крестьянством и городскими низами, на который они делали ставку, существовал, по его мнению, больше в их воображении, чем в действительности.

Чернов полагал, что накануне и в период Крымской войны 1853—1856 гг. призыв Маркса и Энгельса к восстановлению независимости Польши утратил самостоятельную ценность и оказался еще теснее связанным с международной ситуацией, с потребностями общеевропейской революции. По этому поводу Чернов писал: «Анти-моралин» марксовой системы вместе с ее «индустриоцентризмом» — вот он перво-родный грех, который в конце концов продиктовал Энгельсу то маргаринное полонофильство, которым сменилось у него романтическое полонофильство бурной революционной эпохи 48 года... В самом деле, чем перед ним провинились поляки? Стали они хуже и антидемократичнее, чем были два предыдущих десятилетия?... Нисколько. Напротив... Проблески настоящего демократизма и социальной революционности со временем только росли и развивались в Польше»²³.

Маркса и Энгельса живо интересовали проблемы объединения Германии на прогрессивной основе, и не только потому, что речь шла об их отечестве, но и в связи с тем, что Германия была в их глазах одним из оплотов «западной цивилизации» против «варварского» славянского Востока. Констатируя это, Чернов отмечал, что «забота о военно-политических интересах Германии не исключала, а, напротив, подразумевала у Маркса вражду к Пруссии», и ставил это в пример немецким социал-патриотам периода мировой войны.

Мировой кризис, вылившийся в 1914 г. в невиданные по масштабам военные действия, Чернов связывал со столкновениями между империалистическими и остальными нациями, с соперничеством империалистических наций друг с другом из-за господства над остальными нациями. Отвечая на вопрос, как повлияла война на социалистическое движение, он писал: «Социализм передовых стран в значительной мере пошел по линии империалистических интересов каждой своей нации. Социализм отсталых стран в значительной части поднял в ответ знамя хозяйственного и политического «оборончества». Первый стал вырождаться в социалистический империализм, второй стал доходить до своеобразного социалистического патриотизма»²⁴.

Тезис, что марксистский интернационализм является не более чем «замаскированным пангерманизмом», Чернов счел вульгарной песенкой, которую «принялась твердить на все лады буржуазная пресса при благосклонном участии разных ренегатов социализма». Многократно подвергая воззрения Маркса и Энгельса разносторонней и жесткой критике, Чернов сделал следующие существенные оговорки: «Объяснение однобокости марксистского интернационализма далеко не так просто... вульгарная грубость бур-

жуазных толкований способна внушить только жалость к скудости и безнадежной плоскости буржуазного мышления. Да, старый интернационализм не был достаточно защищен от возможности буржуазных и националистических грехопадений. Но его болезнь — не к смерти, а к выздоровлению. Она свидетельствует лишь о том, что социализму предстоит подняться на высшую ступень — сделаться более интегральным, более синтетическим, а потому и более интернациональным»²⁵.

На подход В. И. Ленина к славянскому вопросу значительное воздействие оказали внешнеполитические коллизии и внутрироссийская идейно-политическая борьба. Он резко осудил аннексию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1908—1909 гг., равно как и ответные акции царского правительства; при этом указал на империалистическую сущность политики обеих сторон на Балканах и спекулятивный характер их ссылок на то, что они защищают якобы интересы угнетенных славянских народов. «Нет ничего реакционнее, — писал Ленин в 1908 г., — как заботы австрийцев, с одной стороны, русских черносотенцев, с другой, о «братьях славянах». И далее добавлял: «Нельзя бороться с шовинизмом и черносотенством во внешней политике, не борясь с фразами, ужимками, недомолвками и подходами кадетов... их политика — тоже реакционная великодержавная политика империализма»²⁶.

В воззвании РСДРП «Ко всем гражданам России», выпущенном в связи с началом Первой балканской войны, Ленин писал: «Вся Европа хочет принять участие в событиях на Балканах! Все стоят за «реформы» и даже «за свободу славян». А на деле Россия хочет урвать кусок Турции в Азии и захватить Босфор, Австрия точит зубы на Салоники, Италия на Албанию, Англия на Аравию, Германия на Анатолию». Между тем для всей Восточной Европы насущнейшей задачей является полная ликвидация угнетения масс феодализмом, абсолютизмом, тысячами остатков средневековья. Россия «нуждается прежде всего в освобождении от гнета царизма. Русский крестьянин должен думать об освобождении себя от крепостников-помещиков и от царской монархии, не давая отвлечь себя от этого насущного дела лживыми речами помещиков и купцов о «славянских задачах» России»²⁷.

В 1912 г. Ленин откликнулся на «обращение к обществу» А. Аничкова, Н. Кареева, Л. Пантелеева, М. Ковалевского и других петербургских либералов, объединившихся в Кружок лиц, интересующихся славянским вопросом. Прочитовав фрагмент из их обращения, Ленин писал о том, что шовинизм и в белых перчатках и в самых изысканных оборотах отвратителен. Демократия, заявлял он, никогда не будет говорить об «общем подъеме», когда рядом стоят русские националисты, всячески угнетающие другие народы; демократия никогда не поддержит противопоставление любого славянина любому турку, «когда противопологать надо славянского и турецкого крестьянина вместе — славянским и турецким помещикам и башибузукам». Подлинное решение социальных и национальных задач балканских народов Ленин видел в завоевании ими демократии и в создании жизнеспособной Балканской федерации, включающей не только славянские, но и соседние с ними народы»²⁸.

Защита лозунга самоопределения наций сочеталась у Ленина с отрицательным отношением к лозунгу культурно-национальной автономии. В Австрии, писал он, культурно-национальная автономия осталась в значительной мере литературской выдумкой, в России же сторонниками ее стали все буржуазные партии еврейства, бундовцы, ликвидаторы на Кавказе, конференция российских национальных партий левого направления. Полное разделение школьного дела по национальностям согласно принципу культурно-национальной автономии представлялось Ленину противоречащим и вообще демократии и жизненному опыту Западной Европы. «Только на востоке Европы, — писал он, — в отсталой, феодальной, клерикальной, чиновничьей Австрии, где всякая общественная и политическая жизнь застопорена мизерно-мелкой дракой... из-за языков, возникла эта идея отчаявшегося мелкого буржуа»²⁹.

Ленин признавал справедливым мнение, что русский язык не нужно насаждать сверху, ибо он сам завоеует себе признание в России. «Если отпадут всякие привилегии, — писал он, — если прекратится навязывание одного из языков, то все славяне легко и быстро научатся понимать друг друга и не будут пугаться «ужасной» мысли, что в общем парламенте раздадутся речи на разных языках. А потребности экономического оборота сами собой определят тот язык данной страны, знать который большинству выгодно в интересах торговых сношений»³⁰.

В решении вопроса о внутренней структуре государства Ленин, вслед за Марксом и Энгельсом, отдавал предпочтение принципам централизма и унитарности. Однако нет сомнений, что для определенных условий Ленин не только не исключал федеративный принцип, но и считал его наиболее целесообразным. В письме С. Г. Шаумяну, отвечая на прямо поставленные вопросы, Ленин подчеркивал: «Мы за демократический централизм безусловно. Мы против федерации... Но бояться автономии в России... это реакционно... В общем, мы против отделения. Но мы за право на отделение»³¹. Диалектичную по своему существу и гибкую позицию Ленина можно кратко изложить так: идеальным государством, максимально соответствующим быстрому и успешному решению задач демократии, является централизованное государство; для относительно отсталых и многонациональных стран необходимой переходной формой государственного устройства на более или менее длительный период следует признать федерацию. Теоретическая суть ленинской позиции состояла именно в этом, хотя в пылу дискуссий он иногда увлекался централизаторскими установками.

Позиция Ленина обосновывалась прежде всего свойственным ему пониманием интересов пролетариата России и представлением о РСДРП как выразительнице его чаяний. Если подойти к этой позиции с учетом тех объективно существовавших общенациональных интересов, которые, ослабевая или усиливаясь, существуют у каждого народа, особенно в тогдашних многонациональных монархиях — Австро-Венгерской и Российской, то ее обоснованность будет выглядеть недостаточной. Это касается, в частности, лозунга культурно-национальной автономии. Конечно, разделение школьного дела по национальному признаку создавало дополнительные возможности для воздействия буржуазной идеологии на трудящихся, но в определенной мере оно могло стать опорой борьбы народных масс против германизации, русификации и иных проявлений ассимиляции и национального гнета.

Представляется, что в ряде принципиальных высказываний Ленина, сделанных накануне и в годы войны, обнаруживается некоторая недооценка значения национального вопроса для исторического развития вообще, и особенно для Восточной Европы. «Либералы, — писал, например, Ленин в 1913 г., — стараются разжечь и раздуть национальную борьбу, чтобы отвлечь внимание от серьезных вопросов демократии и социализма. На деле среди «вопросов европейской жизни» социализм стоит на 1-ом месте, а национальная борьба — на 9-м, причем она тем слабее и безвреднее, чем последовательнее проведен демократизм»³². И тогдашние исторические реалии и последующий ход событий позволяють едва ли не в равной мере оспаривать и первое место для социализма, и девятое для национального вопроса. Не случайно и сам Ленин в 1913 г. признавал, что национальный вопрос выдвинулся на видное место, ссылаясь при этом на разгул черносотенства, рост националистических тенденций среди либеральной буржуазии, усиление их среди верхних слоев угнетенных народов³³.

Свою оценку общеевропейской и внутрироссийской ситуации, сложившейся в связи с началом мировой войны, и свое понимание задач РСДРП в новых условиях Ленин высказал в августе — декабре 1914 года. По его мнению, все страны, которые участвовали в войне, кроме Сербии, преследовали империалистические цели, и потому пролетариат и рабочие партии всех стран должны выступить против своих правительств, за подготовку и осуществление революций — буржуазно-демократических на востоке Европы и социалистических — в ее западной части. В сложившейся обстановке Ленин считал превращение империалистической войны в гражданскую единственно правильным пролетарским лозунгом. Рабочие партии воюющих стран Ленин призывал к беспощадной борьбе с шовинизмом и «патриотизмом» мещан и буржуа всех без исключения наций; к пропаганде, как одного из ближайших лозунгов, республики немецкой, польской, русской и т. д., наряду с превращением всех отдельных государств Европы в республиканские Соединенные Штаты Европы; в особенности к борьбе с царской монархией и великорусским, панславистским шовинизмом, к проповеди революции в России с освобождением и самоопределением ее угнетенных народов³⁴.

Ленин находил, что пролетариат угнетенных наций должны требовать свободы колоний и свободы политического отделения угнетаемых наций, а социалисты угнетенных наций — в каждом случае активно выступать за единство рабочих угнетенной нации с рабочими угнетающей нации. Относительно Австро-Венгрии, Балкан, России в написанных им в 1916 г. тезисах говорилось: «Здесь именно XX век особенно развил буржуазно-демократические национальные движения и обострил национальную борьбу. Задачи пролетариата этих стран... не могут быть выполнены без отстаивания права наций на самоопределение»³⁵.

Сложный и без того польский вопрос особенно осложнился в условиях войны, когда практически все польские земли оказались под властью Австро-Венгрии и Германии. В 1916 г., осуждая легалистов-ликвидаторов за поддержку лозунга «мир без аннексий и независимая Польша», Ленин подчеркнул, что в создавшихся условиях лозунг независимости Польши означает стремление ликвидировать зависимость поляков от Вильгельма II и Карла I, чтобы передать их под власть Николая II. Подводя итоги дискуссии о самоопределении в 1916 г., Ленин писал: «Положение безусловно очень запутанное, но из него есть выход, при котором все участники остались бы интернационалистами: русские и немецкие социал-демократы, требуя безусловной «свободы отделения» Польши; польские социал-демократы, борясь за единство пролетарской борьбы в маленькой и в большой странах без выставления для данной эпохи или для данного периода лозунга независимости Польши»³⁶. При этом имелось в виду, что такой лозунг может быть реализован не в схватке империалистических держав друг с другом, а в ходе революционного взрыва на территории, охваченной военными действиями.

Осуждая любые проявления шовинизма и различные формы «оборончества» в России, разгул национализма и торжество социал-предательства в других воюющих странах, Ленин иначе относился к проявлениям народами здоровых национальных и патриотических чувств. В статье «О национальной гордости великороссов» (1914 г.) он заявлял от имени великорусских сознательных пролетариев: «Мы любим свой язык и свою родину... Мы гордимся тем, что... насилия вызывали отпор... из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал... могучую революционную партию... Мы полны чувства национальной гордости,

ибо великорусская нация... доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм».

Ленин назвал «кадетским» и подверг критическому разбору сборник «Чего ждет Россия от войны» (Пг. 1915). Он обратил внимание на то, что главная статья сборника — «Территориальные приобретения России», написанная Милюковым, содержит признание, что к этим «присоединениям» кадеты стремились вместе с «реакционной партией Пуришкевича». Другие авторы сборника поддерживали территориальные притязания в отношении Галиции, западной Армении, черноморских проливов, хотя всячески открещивались от обвинения в национализме, утверждая, что они борются только против «распада государства». По мнению Ленина, «совершенно так же по сути дела, только в иной среде и в чуточку измененной форме, ведут себя «либеральные рабочие политики» (Потресов, Плеханов, Аксельрод, Чхеидзе). Полемизуя с социал-шовинистами, Ленин видел исходный пункт их теоретических ошибок в отождествлении эпохи становления капитализма с эпохой, когда он достиг империалистической стадии своего развития.

Иногда в совершенно конкретной, иногда в теоретической форме Ленин вел полемику с Бердяевым, Милюковым, Струве, осуждал, с одной стороны, шовинистическую пропаганду правых, с другой — противоречивость и непоследовательность социалистов различных оттенков (эсеров, народников и т. п.). Что касается книги Чернова «Марксизм и славянство», то следов знакомства Ленина с нею обнаружить не удалось. Сохранился, однако, его отклик на одну из статей Чернова, вошедших позднее в эту книгу. В работе «Крах II Интернационала» (1915 г.) Ленин осуждал К. Каутского и Г. В. Плеханова как «главарей социал-шовинизма», а приводимые ими ссылки на Маркса и Энгельса называл «облыжными». Те войны XIX в., о которых шла речь у основоположников марксизма, писал Ленин, были порождены, в отличие от войн эпохи империализма, многолетними национальными движениями буржуазии соответствующих стран против абсолютизма. Поэтому «никакого иного вопроса, кроме вопроса о предпочтительности успеха той или другой буржуазии, тогда и быть не могло; к войнам подобного типа марксисты могли заранее звать народы... как звал Маркс в 1848 г. и позже к войне с Россией, как разжигал Энгельс в 1859 году национальную ненависть немцев к их угнетателям, Наполеону III и русскому царизму».

Именно в этом месте Ленин вступил в полемику с Черновым, выступавшим под псевдонимом «Гарденин»: «Г. Гарденин в «Жизни» называет «революционным шовинизмом»... со стороны Маркса, что он стоял в 1848 г. за революционную войну против показавших себя на деле контрреволюционными народов Европы, именно: «славян и русских особенно». Такой упрек Марксу доказывает только лишний раз оппортунизм (или — а вернее и — полную несерьезность) сего «левого» социал-революционера. Мы, марксисты, всегда стояли и стоим за революционную войну против контрреволюционных народов». Считая смещение двух названных эпох недопустимым, Ленин отмечал, что приравнивать войны периода борьбы с феодализмом и абсолютизмом к войне империалистической — это значит сравнивать аршины с пудами³⁷.

У Ленина имеется немало аналогичных высказываний, прямо не адресованных Чернову, но критикующих его попытки опровергнуть основоположников научного социализма или существенно исказить их точку зрения. Одно из них содержится в работе «Итоги дискуссии о самоопределении». Правильность понимания Марксом и Энгельсом польского вопроса в 40-х годах XIX в., говорится в этой работе, подтверждена в 1849 г. походом царских войск против венгерской революции; бесспорно верной была тогда негативная оценка ими национального движения чехов и южных славян, ибо в 1848 г. революционные народы бились за свободу, главным врагом которой был царизм, а чехи и южные славяне «действительно были реакционными народами, форпостами царизма».

Анализируя позицию основоположников марксизма и подчеркивая ее неразрывную связь с условиями места и времени, Ленин писал: «Что же говорит нам этот конкретный пример, который надо разобрать конкретно, если хотеть быть верным марксизму? Только то, что 1) интересы освобождения нескольких крупных и крупнейших народов Европы стоят выше интересов освободительного движения мелких наций; 2) что требование демократии надо брать в общеевропейском — теперь следует сказать: мировом масштабе, а не изолированно. Ничего больше. Ни тени опровержения того элементарного социалистического принципа,.. которому всегда был верен Маркс: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы»³⁸.

Полемика, о которой шла речь выше, дает основания для того, чтобы говорить о преувеличении значения социально-экономического аспекта истории марксистами и гипертрофировании национального фактора их идейно-политическими противниками. Соответственно деформировалось у тех и у других восприятие славянского вопроса. Справедливо критикуя консервативно-националистические интерпретации славянской идеи, Маркс, Энгельс, а в определенной мере и Ленин практически не учитывали наличия революционно-демократической ее интерпретации. Бердяев, Чернов и другие противники марксизма тщетно пытались превратить славянскую идею в один из главных двигателей исторического процесса; они бросались в атаку едва ли не на любое высказывание Маркса и Энгельса по славянскому вопросу, не учитывая ни их аргументации, ни конкретной исторической обстановки, с которой связано то или иное высказывание. Советская историография долгое время стояла на позициях безусловной защиты всех оце-

нок Маркса и Энгельса в данной области, хотя часть из них нельзя не признать ошибочными. Славянский вопрос исследован у нас недостаточно не только в указанной, но и во многих других областях. Необходимо энергично развивать его изучение, отбросив стереотипы прошлых лет и не пытаясь отстаивать те рубежи, защита которых невозможна и вредна для науки.

Примечания

1. Европейская война как предвестник славянской федерации. М. 1914, с. 4—6.
2. ИЛЬИН И. А. Духовный смысл войны. М. 1915, с. 37; ЦЕМОВИЧ М. П. Современные славянские проблемы. Пг. Б. г., с. 12—13; ГРОТ К. Я. Великая война и Карпато-Дунайская монархия (к освещению вопросов недалекого будущего). СПб. 1914, с. 5, 8.
3. ШИПОВ Н. Н. Нужны ли славянофилы для разрешения славянского вопроса? Пг. 1915, с. 5, 37, 57.
4. СТРУВЕ П. Б. Великая Россия и Святая Русь. — Русская мысль, 1914, № 12, с. 178, 180.
5. ЭРН В. Ф. Меч и Крест. М. 1915, с. 21, 25—26, 275.
6. ЭРН В. Ф. Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия. М. 1915, с. 7, 22, 46.
7. Там же, с. 30—32.
8. БЕРДЯЕВ Н. А. К спорам о германской философии. — Русская мысль, 1915, № 5, с. 115, 117, 119—120.
9. БЕРДЯЕВ Н. А. Судьба России. М. 1918, с. 4—11, 15 (в 1990 г. издательство «Советский писатель» перепечатало «Судьбу России», присоединив к этому сборнику последнюю книгу автора — «Царство Духа и царство Кесаря»).
10. Там же, с. 17, 21, 28—29.
11. Там же, с. 163—165.
12. Там же, с. 234, 240.
13. Там же, с. II.
14. ФРАНК С. Л. Философские отклики. — Русская мысль, 1910, № 9, с. 163, 171; см. также: ЕГО ЖЕ. Еще о национализме в философии. Ответ на ответ В. Ф. Эрна. — Там же, № 11, с. 130—137.
15. ФРАНК С. О поисках смысла войны. — Там же, 1914, № 12, с. 129, 132.
16. ИВАНОВ В. Вселенское дело. — Там же, 1914, № 2, с. 105; ТРУБЕЦКОЙ Е. Н. Война и задачи России. М. 1915, с. 4, 10, 17.
17. ГРИММ Э. Д. Борьба народов. В кн.: Вопросы мировой войны. М. 1915, с. 6—7, 13.
18. МИЛЮКОВ П. Н. «Нейтрализация» Дарданелл и Босфора. — Там же, с. 532, 548.
19. Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР, ф. 523, оп. 1, д. 7, л. 29. Текст любезно сообщен автору В. В. Шелухаевым.
20. ЯСТРЕБОВ Н. В. «Великая Сербия» как разрешение южнославянского вопроса в Великой войне 1914—1915 гг. В кн.: Вопросы мировой войны. с. 137, 162.
21. КАРЕЕВ Н. И. Прошлое двух союзов великих европейских держав. — Там же, с. 47; ЕГО ЖЕ. Польский вопрос в историческом освещении. — Там же, с. 84—85.
22. ЧЕРНОВ В. М. Марксизм и славянство (к вопросу о внешней политике социализма). М. 1917, с. 6—7, 12, 25, 27—28, 38, 45.
23. Там же, с. 64, 66—67, 71, 73.
24. Там же, с. 93.
25. Там же, с. 93—94.
26. ЛЕНИН В. И. Полн. собр. соч. Т. 17, с. 230; т. 22, с. 146.
27. Там же. Т. 22, с. 135, 138.
28. Там же, с. 136, 151—152, 157—158, 186.
29. Там же. Т. 24, с. 135, 176; т. 23, с. 317.
30. Там же. Т. 23, с. 423—424; т. 48, с. 233.
31. Там же. Т. 48, с. 234—235.
32. Там же. Т. 23, с. 111.
33. Там же. Т. 24, с. 57.
34. Там же. Т. 26, с. 6, 22. В августе 1915 г. Ленин опубликовал специальную статью «О лозунге Соединенных Штатов Европы», в которой сообщил о том, что заграничные органы РСДРП пришли к выводу о неправильности этого лозунга (там же, с. 355).
35. Там же. Т. 27, с. 256, 260—261.
36. Там же, с. 247, 248; т. 30, с. 49—50.
37. Там же. Т. 26, с. 225—226.
38. Там же. Т. 30, с. 38.

На пути к советско-финскому договору 1948 года

Ю. Суоми

Президент Ю. К. Паасикиви записал в своем дневнике: «Савоненков (посланник СССР в Финляндии. — Ю. С.) попросился ко мне на прием. Я принял его в 3 часа дня. Он передал мне письмо Сталина об оборонительном союзе». Так буднично начался 23 февраля 1948 г. один из важнейших процессов, происходивших в мирное время в отношениях между Финляндией и Советским Союзом. В переданном новым посланником СССР в Хельсинки послании предлагалось заключить между Финляндией и Советским Союзом договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в случае возможного нападения Германии с целью «создать предпосылки для коренного улучшения отношений между нашими странами в духе укрепления мира и безопасности».

Для достижения этих целей Сталин предлагал начать переговоры в Москве или в Хельсинки. К тому времени в Европе было три государства, которые граничили с Советским Союзом и воевали против него на стороне Германии. Два из них, Румыния и Венгрия, подписали договоры о взаимной помощи с Советским Союзом. С третьим, Финляндией, такого договора еще не было. Относительно конкретного содержания договора в письме не содержалось других предложений, кроме упоминания о том, что договор должен быть «подобен» договорам, заключенным с Румынией и Венгрией.

По-своему символичным было то, что послание председателя Совета Министров СССР было передано Паасикиви в 30-ю годовщину создания Вооруженных Сил Советского Союза. Настроение Паасикиви в тот важный день менялось. Министр иностранных дел К. Энкель, бывший свидетелем первой реакции, рассказывал, что президент назвал невозможным заключение договора по типу договоров с Румынией и Венгрией и пообещал уйти в отставку. К вечеру буря улеглась. По мнению Кекконена (в то время первого заместителя председателя парламента), который познакомился с содержанием письма Сталина в тот же вечер, Паасикиви не был раздражен, но зато был «как-то растерян». Особенно его интересовало, что повлияло в Москве на выбор момента для такого предложения.

Общие интересы или компенсация? Предложение Сталина не было для финнов неожиданным. Чего-то подобного ждали, начиная с 1945 года. Осенью 1944 г. Контрольная комиссия потребовала, ссылаясь на соглашение о перемирии, значительного сокращения финской береговой охраны и определила в качестве максимального калибра для оставшихся орудий 120 мм. Это требование шло дальше того, что было определено взятой за основу организацией и системой обороны 1939 года. Сокращения должны были коснуться в основном тяжелой артиллерии неоккупированных островных укреплений. Ей по-прежнему придавалось большое значение в обороне страны. Поэтому тогдашний президент Г. К. Маннергейм дважды обращался к председателю комиссии А. А. Жданову с просьбой разрешить не демонтировать тяжелые орудия, особенно расположенные на запад от Порккалы, так как сохранение эффективной береговой

Суоми Юхани — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Финляндии, ранее был доцентом Хельсинкского университета. Автор трехтомной биографии У. К. Кекконена. В основу статьи положены материалы 2 тома этого исследования.

охраны служит интересам как Финляндии, так и Советского Союза: «Финляндия и Советский Союз имеют общие интересы в обороне северной Балтики и особенно водных территорий западной части Финского залива, и Финляндия как независимое государство хочет искренне и энергично служить этим интересам».

Судя по всему, аргументация Маннергейма заинтересовала Жданова. Она имела смысл уже потому, что в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах военно-морские силы Финляндии и Советского Союза тесно взаимодействовали между собой. 18 января 1945 г. Жданов посетил Маннергейма в Тамминиеми и поднял вопрос о возможности заключения между Финляндией и Советским Союзом такого же договора, какие были заключены в 1943 и 1944 гг. СССР с Францией и Чехословакией. Поскольку Маннергейм не был знаком с содержанием этих договоров, Жданов послал ему их тексты. Договоры с Францией и Чехословакией соответствовали разработанной советской дипломатией во время второй мировой войны схеме, которая, будучи нацелена против Германии и ее союзников, предполагала сотрудничество и взаимную помощь сторон.

Получив от Жданова обещанные тексты договоров, Маннергейм отправился в Миккели, где, посоветовавшись с генералом А. Э. Хейнриком, составил предложения к проекту договора между Финляндией и Советским Союзом. Самый его существенный параграф был сформулирован следующим образом: «В том случае, если нападение будет направлено против Финляндии, против Советского Союза через территорию Финляндии или против обеих стран одновременно, Высокие Договаривающиеся стороны обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всеми имеющимися средствами на территории Финляндии, северной части Балтийского моря и Финского залива». Но ни при новой встрече с Маннергеймом 22 января, ни позднее Жданов не возвращался к начатому разговору, поэтому у президента не было возможности предложить свой проект. Зато Жданов ответил согласием на просьбу Маннергейма относительно сохранения тяжелой береговой артиллерии к западу от Порккалы.

Вопрос об оборонительном союзе продолжал жить своей жизнью в штабе, которому Маннергейм поручил его разрабатывать. Им занимался в основном Хейнрикс. Он составил несколько памятных записок, в которых развивал проект договора, предложенный Маннергеймом, в частности, предложил, чтобы военное сотрудничество с финской стороны ограничивалось только территорией собственного государства. Из этого следовало, что Финляндия должна была иметь возможность сохранить нейтралитет, если Советский Союз вступит в конфликт на других границах. О возможной помощи Советского Союза Хейнрикс предлагал договариваться отдельно. Хейнрикс был уверен, что, удовлетворив интересы безопасности Советского Союза, Финляндия упрочит свои позиции на востоке. Наиболее существенны, однако, два других его аргумента: выдвинутая идея оборонительного союза может ускорить заключение окончательного мирного договора и, возможно, будет способствовать пересмотру территориальных уступок соглашения о перемирии.

Вспоминая в 1948 г. события трехлетней давности, Маннергейм критиковал Паасикиви и Энкеля за излишнюю активность в вопросе об оборонительном союзе. Нельзя отрицать, что Паасикиви был поначалу увлечен этой идеей. Он верил, что договор укрепит позиции Финляндии, и с самого начала рассматривал возможность территориальных компенсаций.

Только в мае 1945 г. Жданов в беседе с Паасикиви вновь заговорил о двустороннем договоре о взаимной помощи. Министр иностранных дел Энкель занялся подготовкой проекта договора. Получив в качестве помощника и юридического консультанта К. Г. Идмана, Энкель подготовил в июне новый проект. Документ Энкеля основывался на предложениях Маннергейма. Министр иностранных дел лишь добавил новые элементы относительно экономического и культурного взаимодействия и привязал договор к стремлению обеспечить мир во всем мире. Формулировка центральной статьи была сохранена в основном без изменений: «Высокие Договаривающиеся стороны обязуются оказывать друг другу всеми имеющимися способами всякую военную и прочую помощь в том случае, если через Финляндию произойдет нападение на Советский Союз или возникнет угроза такого нападения».

На этой стадии основное содержание предполагаемого договора было конфиденциально доведено до сведения правительства Швеции. В остальном дело не продвинулось. Судя по всему, причина заключалась в следующем: Жданов дал понять Паасикиви, что инициатива принадлежит Советскому Союзу, а Москва не считает нужным спешить. В среде военных обсуждение вопроса было прекращено позднее, по-видимому, после того, как Паасикиви объявил, что этот вопрос относится к компетенции Государственного совета. Однако просочились слухи о переговорах, в связи с чем Информационное бюро выступило с опровержением, в котором отрицалось, что Финляндия была инициатором заключения договора. В конце апреля газета Общества дружбы «Финляндия — Советский Союз» (ОФСС) «Kansan Sanomat» опубликовала статью, обосновывавшую необходимость заключения оборонительного договора между Финляндией и Советским Союзом. Несколькими позже в том же духе выступила газета «Vapaa Sana». Вопрос обсуждался также в Центральном правлении ОФСС, которое поручило президенту проработать его.

В течение 1946 г. идея дозревала. Правда, в кругах Демократического союза народов Финляндии (ДСНФ) и компартии считали нужным поднять этот вопрос на переговорах с Советским правительством,

но Паасикиви не спешил: «Весь вопрос об оборонительном союзе еще отнюдь не готов настолько, чтобы начинать серьезные переговоры». Президент объяснял свою сдержанность международной обстановкой, и прежде всего обострившимися отношениями между западными странами и Советским Союзом. Возможно, его нежелание объяснялось также постепенно укрепившейся уверенностью в том, что Советский Союз не согласится ни на какие компенсации.

В начале 1947 г. слухи об оборонительном союзе вновь широко распространились после того, как Паасикиви выступил в юбилейном номере газеты ОФСС с интервью, в котором он, в частности, заявил: «Я заверил генералиссимуса Сталина осенью 1939 года в том, что мы не позволим никому напасть через нашу территорию на Советский Союз. Такого же мнения я придерживаюсь и сейчас. Если в будущем кто-нибудь попытается напасть на Советский Союз через нашу территорию, мы должны вместе с Советским Союзом сражаться против агрессора в таком масштабе и так долго, как мы только сможем». Паасикиви отрицал, что его интервью было вызвано слухами о заключении договора, который он все еще считал несвоевременным.

К концу 1947 г. отношение к вопросу об оборонительном союзе было противоречивым. Когда правительственная делегация собиралась в Москву, Паасикиви предупредил премьер-министра М. Пеккала и министра иностранных дел К. Энкеля, что обсуждать вопрос об оборонительном союзе они не имеют никаких полномочий и поэтому должны вести себя особенно осторожно. Одновременно с этим президент изложил свой взгляд на оборонительный союз. Он по-прежнему считал его заключение неактуальным. Международная обстановка («холодная война») не способствовала этому, потому что заключение договора могло быть истолковано как окончательное перемещение Финляндии в лагерь СССР. Прочие аргументы Паасикиви были новы: заключению договора препятствовало уже то, что оборонительные возможности Финляндии ограничены. Кроме того, в сложившейся ситуации договор был выгоден только Советскому Союзу. В этой связи Паасикиви вновь вернулся к идее компенсации: «Поэтому нам нужно было бы получить от него (оборонительного союза. — Ю. С.) выгоду, например, в форме пересмотра границ и т. п. В противном случае будет нелегко убедить финский народ и парламент принять его».

Несмотря на полученные инструкции, делегация поступила неосторожно («как слон в посудной лавке», позднее охарактеризовал их поведение Паасикиви) и подала министру иностранных дел СССР повод завести разговор о союзе. Сославшись на переговоры 1945 г., упоминавшееся выше интервью Паасикиви и переданный во время переговоров с Пеккала меморандум, Молотов поинтересовался, произошел ли в Финляндии сдвиг в сторону положительного ответа. Одновременно с этим он рассказал, что Советский Союз готовит аналогичный договор с Венгрией и некоторыми другими странами. Пеккала и Энкель пообещали передать содержание беседы президенту и правительству. Таким образом мяч опять против желания оказался у Финляндии.

Паасикиви был рассержен происшедшим и дал Пеккале почувствовать это. К этому моменту разногласия стали очевидны, ибо Пеккала и член его кабинета Ю. Лейно считали, что вопрос об оборонительном союзе следует начать рассматривать, несмотря на противодействие президента. В спорах зашли так далеко, что Пеккала даже угрожал подать в отставку. Давление на президента было столь сильным, что Паасикиви пришлось снова заняться этим вопросом, хотя он считал, что в любом случае его надо отложить на период после парламентских выборов, но и после них он предпочел бы «держаться в стороне от этого вопроса». Причины негативного отношения президента в основном перечислены выше. Но главное место занимали его опасения, что заключение договора способно испортить отношения Финляндии с западными странами, и в первую очередь с Соединенными Штатами, чью экономическую помощь он считал весьма важной. Он также все более решительно настаивал на компенсациях.

Если бы, несмотря ни на что, договор пришлось заключать, его следовало бы сформулировать очень осторожно, подчеркивал Паасикиви, и особенно важно, чтобы в тексте было четко определено, что исходной идеей финской внешней политики является стремление оставаться в стороне от конфликтов и придерживаться политики нейтралитета. «Сейчас идет нелегкая борьба мнений, и в дальнейшем она еще больше обострится», — записал Паасикиви в январе 1948 года. Советский Союз неожиданно сменил посланника А. Н. Абрамова и назначил своим новым представителем Г. М. Савоненкова. Паасикиви и Энкель считали, что это связано с попытками заключения оборонительного союза. Кекконен также считал появление Савоненкова в военной форме «плохой приметой». Подозрения усилились после поездки Х. Куусинен, Ю. Лейно и В. Песси в Москву, а также после прибытия в советское посольство новых дипломатов, целью которых, похоже, являлось выяснение настроений по вопросу о договоре.

Одновременно представители крайне левых в правительстве стали усиливать давление в пользу заключения договора. Пеккала по собственной инициативе заговорил о «договоре о дружбе» в комиссии по иностранным делам Госсовета, подчеркнув, что к приезду Савоненкова финнам следовало бы подготовить свои предложения. Лейно со своей стороны уверял министра иностранных дел, что к переговорам следует приступить немедленно. Дополнительное напряжение создавали распространявшиеся за рубежом слухи и резко возросшая активность западных дипломатов. Впрочем, сами финны предоставили им необ-

ходимую информацию: Энкель и председатель парламента Фагерхольм информировали послов Франции и США с откровенностью, которая с точки зрения сегодняшнего дня вызывает удивление.

Паасикиви занял еще более неприступную позицию: от оборонительного союза следует держаться в стороне, он не нужен, момент ни в коем случае для него не подходящий и общественное мнение не готово одобрить его. Кроме того, вопрос о компенсациях нуждается в дальнейшей проработке. В этом духе он и подготовил «ответ по пунктам» к первой беседе с Савоненковым. Никаких далеко идущих обещаний он не собиравался давать. К удивлению Паасикиви, Савоненков заговорил о другом. Он подчеркнул ухудшение «общего курса» политики Финляндии и в связи с этим необходимость улучшения советско-финляндских отношений. С этой целью посланник передал Паасикиви приглашение посетить Москву для встречи с членами Советского правительства. Только после того как Паасикиви отказался от поездки, в ходе которой непременно был бы поднят вопрос о договоре, Савоненков предложил Паасикиви, чтобы финны сами выступили с инициативой договора о дружбе и взаимной помощи. Содержание этого разговора также было незамедлительно доведено до сведения дипломатических представителей западных стран.

Одновременно Паасикиви старался получить поддержку большинства в правительстве и парламенте. Он пригласил к себе представителей правительственных групп Аграрного союза, Шведской народной партии (ШНП) и Социал-демократической партии (СДП) и убеждал их, что вопрос о договоре следует затянуть и отложить на период после парламентских выборов. Одновременно он предложил министрам наблюдать за своими коллегами из числа крайне левых с тем, чтобы они не смогли «преподнести какой-либо сюрприз». В парламенте президент также говорил о необходимости отложить рассмотрение вопроса и вместе с тем подчеркнул, что парламент должен «участвовать в этом деле с самого начала». Такие его шаги принесли желаемый результат. Уже 5 февраля Фагерхольм рассказал, что председатели парламентских фракций единодушны в том, что рассмотрение вопроса следует отложить до выборов. Эта точка зрения была сообщена членам правительства.

Делегация на переговорах. Поскольку финны не выступили с желаемой инициативой, Советское правительство решило действовать. Савоненков передал Паасикиви письмо Сталина, которое явилось горьким разочарованием для президента, добившегося поддержки в стране своей точки зрения. Неделя после получения письма, то есть последняя неделя февраля, ушла на организацию необходимой подготовительной работы и информирование тех кругов, которые Паасикиви считал самыми важными. Другие члены правительства, кроме министра иностранных дел, были информированы о содержании письма только 26 февраля 1948 года. На следующий день были проинформированы председатель парламента и председатели фракций, и также их заместители, после чего об этом было объявлено публично.

За неделю была проведена внушительная работа по выяснению связанных с договором обязательств. Прежде всего сделана попытка проанализировать содержание аналогичных договоров, уже заключенных Советским Союзом, и возможности их применения, а также военное положение Финляндии. С точки зрения итогового документа, самыми интересными были высказанные в заключении К. Г. Идмана взгляды, согласно которым помощь, так же как и использование собственных военных сил, следовало ограничить только государственной территорией Финляндии. Идман также негативно относился к оговоренной в договорах СССР с Румынией и Венгрией, заключенных в феврале 1948 г., обязательности консульстаций.

Информируя правительство и парламентские круги, Паасикиви повторил уже высказанные им ранее сомнения, давая таким образом понять, что он относится к предложенному договору с большим недоверием. В этом ему служило поддержкой по-прежнему резко негативное отношение бывшего президента К. Ю. Стольберга. Новым в позиции Паасикиви было то, что мотив заключения договора нереалистичен в силу слабости Германии. Интересно также, каким образом он уточнил данное им газете ОФСС интервью: по его словам, он утверждал, что Финляндия будет отражать возможное нападение через ее территорию всеми имеющимися у нее средствами, а если она не сумеет отразить нападение агрессора, то «естественно, получит помощь от Советского Союза», поскольку мы будем воевать против общего врага.

В это время Кекконен также высказался по данному вопросу. Он не разделял резко отрицательного отношения Стольберга. По мнению Кекконена, заключение договора не противоречило принципам демократии. Он не считал, что это могло бы существенно ослабить положение Финляндии в глазах западных государств, чего, судя по всему, по-прежнему опасался Паасикиви. Но вот если бы договор попытались использовать для разрушения финской демократии, чего опасались во многих кругах, тогда дело обстоит бы иначе. В таком случае следовало бы «дать решительный отпор», подчеркивал Кекконен.

В вопросе о начале переговоров готовность Кекконена отвечала сформировавшимся в результате долгой внутренней борьбы представлениям Паасикиви. Зато она полностью противоречила настроениям, имевшим место в Аграрном союзе. Это выяснилось сразу же, как только парламентская фракция союза приступила к обсуждению вопроса. Абсолютное большинство членов фракции возражало против начала переговоров, мотивируя свою точку зрения тем, что вступление в переговоры может рассматриваться как принципиальное согласие одобрить и сам договор. Только шесть членов фракции выступили, подобно Кекконену, за начало переговоров. Позднее отношение большинства стало еще более негативным, поскольку выявилось настроение губерний.

Столь же негативно, как и Аграрный союз, отнеслись к этой идее парламентские фракции Коалиционной и Прогрессивной партий. Социал-демократы и Шведская народная партия считали, что от переговоров невозможно отказываться. Первая из них все же подчеркивала, что большинство народа выступает против заключения военных союзов. А последняя в свою очередь включила в свой ответ относящиеся к договору условия. Единственной фракцией, безусловно поддержавшей вступление в переговоры, была фракция ДСНФ. Похоже на то, что уже на этой стадии некоторые представители Аграрного союза, социал-демократы и коалиционеры проводили какие-то свои собрания с целью противостоять заключению договора.

Поскольку сам Паасикиви и большинство членов Комитета по иностранным делам считали, что следует соглашаться на переговоры, то истолковав в нужном для этого духе ответы фракций, он провел в Госсовете положительное решение. По поводу же самого договора Паасикиви был в то время того мнения, что он не может пойти дальше, чем данное им новое истолкование своего интервью газете ОФСС. О позиции правительства было сообщено Сталину.

Кекконен предложил провести переговоры в Хельсинки, чтобы таким образом подчеркнуть особое положение Финляндии по сравнению с другими странами, заключившими договоры с Советским Союзом. Паасикиви же выбрал Москву. Оставалось только назначить делегацию.

Имя Кекконена фигурировало в первом предварительном списке, составленном Паасикиви. Когда Аграрный союз принялся настаивать на включении в состав делегации пастора Л. Хельяса и когда один из деятелей Аграрного союза, Ю. Койвисто, попытался провести решение о том, что Кекконен не пользуется доверием фракции, Кекконен снял свою кандидатуру. Президент, однако, не обратил на это никакого внимания: «Я решаю и я не принимаю во внимание предложение фракции Аграрного союза о включении Хельяса, а собираюсь назначить Кекконена».

Председателем финской делегации на переговорах был назначен премьер-министр М. Пеккала, заместителем председателя — министр иностранных дел К. Энкель, членами — министры Ю. Лейно и Р. Свенто, а также парламентарии У. Кекконен, О. Пелтонен и Й. О. Сёдерхёльм. Положение Кекконена в делегации было незавидным. Ведь он был назначен вопреки мнению собственной фракции и по данному вопросу занимал позицию, противоположную мнению большинства членов фракции. Поэтому он, в отличие от других членов делегации, не мог сказать, что представляет стоящую за ним политическую группировку. Скорее всего, он был в делегации своего рода доверенным лицом Паасикиви.

Письмо Сталину от 9 марта 1948 г., похоже, подтверждало распространявшиеся слухи. Атмосфера была напряженной, и это событие все связывали с возникшим в Чехословакии неделей раньше внутривнутриполитическим кризисом, в результате которого пало правительство и к власти пришли коммунисты. Все считали, что теперь настала очередь Финляндии: она разделит участь Чехословакии и попадет за «железный занавес».

Делегация тщательно готовилась к поездке и к переговорам с 10 по 18 марта. Проводились долгие совещания. На них в основном вырабатывались инструкции для отправляющейся на переговоры делегации. Хотя при этом присутствовал ряд опытных политиков, а также военных и юридических специалистов, не могло быть сомнений в том, в чьих руках находились поводья. Сёдерхёльм вспоминал: «На этих совещаниях безраздельно руководил председатель-президент (Паасикиви. — Ю. С.). Он говорил почти все время и комментировал каждое высказывание. Уполномоченные очень редко ему возражали».

На первом совещании Паасикиви в общих чертах обрисовал рамки полномочий делегации. Высказанные им положения, так же как и представленный им на следующем совещании собственноручно написанный проект инструкции отражали те взгляды, которые сформировались у него по вопросу о договоре на протяжении 1945—1948 годов. Новым было разве что более настойчивое, чем ранее, подчеркивание того принципа, что договор следует заключать, исходя из условий, существующих в Финляндии. Иными словами, он должен быть «*sui generis*» (своеобразным).

Уже первое обсуждение проекта Паасикиви выявило основной мотив разногласий. Представляющий в парламенте социал-демократов Пелтонен объявил, что он не может участвовать в подготовке намеченного президентом договора, поскольку инструкции были явно направлены на заключение военного союза. Он был готов принять лишь договор о дружбе и в дополнение к нему в крайнем случае заверения в том, что Финляндия будет защищать собственную неприкосновенность.

Заявлению Пелтонена придавало вес его положение председателя парламентской комиссии по иностранным делам, а также его утверждение, что социал-демократическая фракция считает невозможным заключение военного договора. Видимо, авторитетные круги партии действительно придерживались такого мнения. Однако фракция считала, что от переговоров нельзя отказываться, но, как пояснил оргсекретарь СДПФ В. Лескинен, делегация должна отправиться в Москву для разъяснений, почему заключение военного союза нежелательно. На это же указывают и соображения Фагерхольма, высказанные им на заседании фракции: «Следует лишь позаботиться о том, чтобы господа (делегация на переговорах. — Ю. С.) вернулись оттуда (из Москвы. — Ю. С.), не заключив никакого договора».

На совещании делегации наиболее явно Пелтонену возражал Кекконен. Он констатировал, что речь больше не идет о том, будет заключен договор о военном союзе или нет, а лишь о том, «насколько далеко мы можем пойти по предложенному Советским Союзом пути». Сам он не видел ничего страшного в том, чтобы Финляндия просила помощь у Советского Союза в том случае, если сама окажется не в состоянии отразить нападение. Представлялось естественным просить помощь у того государства, в чьих интересах предотвратить нападение противника на свою государственную территорию через территорию Финляндии. А если встать на позицию Пелтонена, то не имеет смысла ехать в Москву, подчеркивал Кекконен.

Кекконен получил поддержку Лейно и в первую очередь Паасикиви. Если Сталин предлагает переговоры о военном союзе, то финны не могут поехать в Москву только для того, чтобы заявить, что не хотят вести об этом переговоры, говорил президент. Он также напомнил, что, войдя в состав делегации, Пелтонен обязался соблюдать данные ей инструкции. Предлагаемый согласно этим инструкциям, а точнее говоря, им самим составленный проект договора был, по мнению Паасикиви, удовлетворительным, поскольку содержал только само собой разумеющиеся вещи: в сложившихся обстоятельствах Финляндия в случае гипотетической агрессии так или иначе вынуждена была бы воевать вместе с Советским Союзом. Таким образом, между Паасикиви и Кекконеном не было на данном этапе разногласий по вопросу об основной идее договора.

Широкая дискуссия развернулась также по вопросу о помощи Советского Союза, «по основному вопросу», как его называл Паасикиви. В своем проекте он писал, что если собственные силы Финляндии окажутся «очевидно» недостаточными для отражения агрессии, то «Советский Союз окажет необходимую помощь при условии взаимопонимания с Финляндией». Присутствовавший в качестве юридического консультанта Идман неоднократно предлагал записать в инструкции, что помощь может быть оказана только по просьбе Финляндии. Кекконен поддерживал предложение Идмана. Он был уверен, что такая редакция могла бы развеять имеющиеся на Западе подозрения и уменьшить сопротивление парламентских кругов. Но основной военный специалист в делегации Хейнрикс занял противоположную позицию. Он подчеркивал, что основная цель Советского Союза, выступившего с инициативой, — обрести уверенность в том, что финская оборона выдержит в любом случае, а для этого он должен получить гарантии того, что в случае войны Финляндия примет помощь Советского Союза. Поэтому Москва согласится с тем, чтобы достижение ее целей зависело от просьбы правительства Финляндии.

В этой части в итоговый текст инструкции был записан компромиссный вариант. По предложению Кекконена в инструкции была включена наряду с формулировкой Паасикиви и следующая: «Если собственные силы Финляндии очевидно недостаточны, Советский Союз окажет по просьбе Финляндии необходимую Финляндии помощь». Вариант Паасикиви предназначался для возможного отступления. На последней редакции настаивали даже возражавшие против договора круги.

Из членов делегации была создана комиссия, которой было поручено составить соответствующий инструкциям финский проект договора. Председателем комиссии был Паасикиви, членами — Энкель, Свенто, Кекконен и Сёдерхёльм. Все, кроме Энкеля, имели дипломы юристов, так что Паасикиви не зря говорил о «комитете юристов». Секретарь делегации, юрист Т. Суонтауста, составил требуемый проект. Военные специалисты внесли в него некоторые изменения, после чего он был представлен для обсуждения в комитет.

Кекконен был не особенно воодушевлен проектом договора. По его мнению, важные, с точки зрения Финляндии, моменты и принципы следовало зафиксировать в качестве обязательных инструкций, но никак не в виде статей договора. Его позицию можно истолковать таким образом, что он хотел оставить делегации свободу действий в рамках полученных инструкций вместо того, чтобы начинать переговоры на основе скрывающего проекта договора, что, впрочем, кажется, и не входило в планы Паасикиви.

На преамбулу договора, которая позднее приобрела для финнов исключительно важное значение, на этой стадии не обращалось особого внимания. Паасикиви считал, что ее текст «может быть сколько угодно густым», то есть наполненным фразами. Тот же Суонтауста составил проект, который был 18 марта 1948 г. утвержден с небольшими изменениями, так же как и весь текст договора. Примечательно, насколько близок оказался этот окончательный вариант к тексту заключенного позднее договора.

В тот же день выработанные делегацией инструкции для ведения переговоров были утверждены на основании доклада президента большинством в один голос, поскольку министры-аграрники и социал-демократы голосовали против инструкций. На том же заседании Суонтауста, Хейнрикс и генерал-майор В. Й. Ойнонен были назначены консультантами отправляющейся в Москву делегации.

Президент боялся, что немолодой министр иностранных дел не сумеет отстоять в Москве интересы Финляндии. Указывая на эту опасность, он призвал Кекконена и Сёдерхёльма «быть начеку», выступать активно и позаботиться о том, чтобы переговоры в Москве не пошли по нежелательному пути. Не высказав этого прямо, Паасикиви таким образом возложил на их плечи ответственность за переговоры и одновременно с этим как бы выдал карт-бланш на действия независимо от руководства делегации.

Было необходимо отклонить чехословацкую модель. Финская делегация отправилась на переговоры вечерним поездом 20 марта 1948 года. Премьер-министр Пеккала не поехал с делегацией, хотя

Лейно и Куусинен оказывали на него мощное давление даже в день отъезда. Он сослался на болезнь и отложил поездку. В том же вагоне ехали Савоненков и помогавший ему секретарь посольства И. П. Пакканен. В Москву прибыли около полудня 22 марта. На вокзале была организована официальная церемония встречи. В числе встречавших наиболее знакомыми лицами были заместители министра иностранных дел А. Я. Вышинский и В. А. Зорин, а также занимавшийся в Министерстве иностранных дел делами Финляндии заведующий 5-м европейским отделом бывший посланник в Хельсинки А. Н. Абрамов.

Делегацию проводили в дом приемов правительства в переулке Островского. В тот же вечер Энкель, Свенто и посол Финляндии в Москве Сундстрем нанесли визит заместителю председателя Совета Министров и министру иностранных дел СССР Молотову. Тогда же договорились пока отложить начало переговоров. Молотов объявил о своей готовности дожидаться приезда Пеккалы.

Работа делегации началась на следующий день в беспокойной обстановке. Все приметы казались зловещими. Средства массовой информации сообщали, что находящиеся в Москве представители Болгарии согласились подписать договор, в точности соответствующий румынской модели, к тому же стало известно, будто Савоненков предсказывал, что переговоры с Финляндией продлятся не более нескольких дней. Дополнительное напряжение создавали полученные из Финляндии мнения различных общественных кругов.

В течение дня выяснилось, что Пеккала наконец-то готов выехать. Советское правительство было информировано об этом и приняло любезное решение отправить за премьер-министром специальный самолет. В тот же день Сёдерхельм начал составлять на основе инструкций и устных указаний Паасикиви заявление, с которым, как хотел президент, следовало выступить в самом начале переговоров и в котором должны были быть резюмированы взгляды Финляндии по данному вопросу. Составление происходило при взаимопонимании с Кекконеном, который позднее защищал результат его труда от негативного отношения к нему со стороны Лейно. По словам Кекконена, проект был составлен на тот случай, если бы финнам пришлось начать переговоры до прибытия Пеккалы.

На первом заседании 24 марта делегация продолжила обсуждение проекта заявления. В дискуссии сразу определились разные позиции. Пелтонен по-прежнему придерживался той точки зрения, что не следовало вести речь о военном договоре. Опосредованно его поддерживали военные специалисты, которые критиковали текст Сёдерхельма, подчеркивая, что Финляндии не следует уже в начале переговоров признаваться, что она готова — хотя и неохотно — обсуждать вопрос о заключении военного договора. Сёдерхельм отверг такую точку зрения. Он заявил, что понимает инструкции Паасикиви таким образом, что к линии Пелтонена возврата быть не может. По его мнению, предложенный генералами образ действий являлся не чем иным, как тактически неумной игрой в прятки. Следовало открыто признать трудности и реальность: поскольку с самого начала на переговорах шла речь о заключении военного союза, то это следовало признать.

Кекконен поддержал Сёдерхельма и подтвердил, что проект заявления соответствует инструкциям президента. К тому же в нем констатировалось, что общественное мнение в Финляндии относится к военным договорам отрицательно. Кекконен все же был готов попытаться включить в текст точку зрения военных. В то время как Лейно — так же как и Пелтонен, но по своим мотивам — пытался всеми способами оттянуть обсуждение вопроса, Кекконен постоянно подчеркивал его срочность. Он исходил из опасения, что «перед нами положат договор, аналогичный договору с Румынией». Поэтому следовало как можно скорее выработать текст заявления с тем, чтобы оно было готово к приезду премьер-министра и при необходимости его можно было бы сразу предъявить в качестве контраргумента. В конце концов эта точка зрения победила, и делегация выделила из своего числа группу по уточнению проекта.

На активность Кекконена влияло, кроме приводимых им самим аргументов, еще и желание удержать дело в руках «доверенных лиц» и доработать текст до приезда Пеккалы с тем, чтобы представители крайне левых не смогли изменить текст, опираясь на авторитет премьер-министра. Группа, состоявшая из Кекконена, Сёдерхельма и Суонтауста, вновь заслушала представителей военных и внесла некоторые изменения и уточнения в проект заявления. Однако прибывший в тот же вечер в Москву и торжественно встреченный Пеккала отверг их предложение.

После прибытия Пеккалы Кекконен, Сёдерхельм и некоторые другие члены делегации переехали жить в «Националь», где уже раньше успели разместиться специалисты. После этого гостиница стала настоящим центром делегации, значение которого подчеркивалось активной позицией и тесным взаимодействием Кекконена, Сёдерхельма и Хейнрикса. Оставшиеся в переулке Островского Пеккала, Свенто и Лейно оказались в стороне от приобретающих все большее значение неофициальных совещаний.

На следующее утро делегация собралась, чтобы отшлифовать вопросы своей тактики на переговорах. Все были единодушны в том, что открыть переговоры и выступить с инициативой должен Молотов. Большинство стояло на точке зрения, согласно которой в случае, если советская сторона представит конкретные предложения по договору, делегация должна быть готова к общей дискуссии. Таким образом снова вернулись к проекту Сёдерхельма—Кекконена. Обсуждение вылилось в спор между членами делегации — народными демократами и активно поддерживавшими их Сундстремом, с одной стороны, и Кек-

коненом и Сёдерхёльмом — с другой. Первые хотели убрать из проекта те места, в которых подчеркивалось желание Финляндии находиться в стороне от международных конфликтов и отличие ее положения от положения Румынии и Венгрии, а также упоминание о том, что финское правительство не возражает против военного договора, хотя и не считает его необходимым. Составители проекта решительно отстаивали свой текст. Кекконен считал, что он отвечает интересам Финляндии и соответствует точке зрения президента. Окончательное решение не было принято, и, подготовившись таким образом, делегация отправилась в Кремль.

Переговоры проходили в рабочем кабинете Молотова. Присутствовали, помимо его самого, Вышинский, Зорин, Абрамов и Савоненков. По описанию Сёдерхёльма, говоривший «низким, слабым голосом» Молотов вел себя «крайне дружелюбно». В коротком выступлении он констатировал, что сначала надо договориться об основе переговоров, и сообщил, что Советское правительство считает целесообразным, чтобы предполагаемый пакт был составлен на основе тех договоров, которые Советский Союз уже заключил с другими странами. В качестве примера Молотов назвал договоры с Венгрией и Чехословакией. В ходе дальнейшей дискуссии он, однако, заявил, что возможно обсуждение также договора другого типа. Все же желательно, чтобы договор был аналогичен упоминавшимся выше в качестве примера.

В конце концов Молотов пошел так далеко, что даже заявил о готовности Советского правительства обсуждать финский проект, если финская делегация может таковой предложить. Самым важным было как можно быстрее получить конкретные письменные предложения, чтобы стало возможным продолжить переговоры. В конце беседы договорились о том, что делегация Финляндии представит свои предложения к завтрашнему дню.

Переговоры начались, с точки зрения делегации Финляндии, неожиданно хорошо. Молотов не предложил собственного варианта, который, по его словам, был готов. Конечным результатом финны все же обязаны скорее выбранной Советским правительством тактике переговоров, чем дипломатическому таланту руководства делегации. Протокол переговоров обнаруживает неуверенность Пеккалы и связанную с ней округлую неопределенность формулировок, а также то, что Энкель под конец чуть не повернул переговоры назад к договору по типу чехословацкого. Финны покинули длившиеся примерно полчаса переговоры с чувством облегчения. Атмосфера переговоров описана Кекконеном в дневнике: «Следует считать победой то, что мы сможем предложить свой проект. Получив его, Советское правительство решит, на какой основе оно захочет вести переговоры. Но венгерская основа уже выбита из игры, если можно доверять сложившемуся представлению о Кремле».

На следующий день, в страстную пятницу, занимались шлифовкой конкретного предложения финской стороны. За основу был взят составленный в Хельсинки проект договора, который не был утвержден официально. В него были внесены некоторые изменения. Вступительную часть в представляемом Советскому правительству варианте решили опустить, кроме того, определенные сокращения были произведены за счет изъятия положений о ратификации. Изменения не вызвали сопротивления в делегации. Правда, Кекконен не поддерживал безоговорочно снятие вводной части, но он не получил поддержки остальных.

Самое существенное изменение касалось статьи 1, в которой говорилось о помощи Советского Союза. Пеккала предложил опустить упоминание о том, что помощь представляется «по просьбе Финляндии», и заменить его словами: «по взаимной договоренности с Финляндией». Таким образом, вызвавший в Хельсинки споры вопрос был вновь открыт для дискуссий. На этот раз, однако, члены делегации одобрили изменение, поскольку инструкции давали им такую возможность. Против выступал лишь Пелтонен. Переработанный текст был в тот же вечер передан в виде письма Пеккалы Молотову.

Что заставило Кекконена отказаться от первоначальной позиции? Центральной причиной, по-видимому, было стремление во что бы то ни стало добиться, чтобы в качестве основы переговоров рассматривалось финское предложение. В письме Паасикиви Кекконен так обрисовал ситуацию: «Я обосновывал свою точку зрения тем, что мы должны непременно добиться принятия нашего предложения за основу с тем, чтобы избежать заключения договора по образцу Венгрии и Чехословакии, и в этом смысле наиболее выгодным было представить наше предложение в наиболее приемлемом виде». «Приемлемость» предполагала необходимость в рамках инструкций пойти как можно дальше навстречу Советскому Союзу. Только таким образом можно было исключить модель Чехословакии, которой Кекконен боялся больше других. По его мнению, решение было обоснованным еще и потому, что Паасикиви также поддерживал формулировку о «договоренности». Тем не менее Кекконен хотел выяснить мнение Паасикиви, но был вынужден согласиться с тем, чтобы предложение без утверждения было передано Молотову, а президент был лишь проинформирован об этом.

Когда делегации снова встретились 27 марта, надежды Кекконена оправдались. Молотов сообщил, что СССР не будет выдвигать своего проекта, а принимает финский в качестве основы для переговоров, что советская сторона готова принять статьи 3—7 данного проекта без изменений. (Таким образом, их можно было отложить в сторону до заключения окончательного договора.) Зато по касающимся военных вопросов статьям 1—2 Молотов выдвинул далеко идущие контрпредложения.

По статье 1 Молотов предложил следующие формулировки: Финляндия будет бороться против возможного противника «вместе с Советским Союзом», при этом он сослался на интервью Паасикиви газете ОФСС по поводу помощи: Советский Союз окажет в оговоренных в статье 1 случаях «непосредственную помощь Финляндии в соответствии с договором». Формулировка Молотова по статье 2 означала уступку Советского Союза и отход от обычно применявшегося им принципа обязательных консультаций: «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собой о мерах, к которым следует прибегнуть с целью устранения оговоренной в предыдущем пункте угрозы нападения».

Предложения Молотова были доведены до сведения Паасикиви лишь на следующее утро, в тот же день Кекконен написал ему о своих впечатлениях. Поскольку телеграмма содержала только переданный Молотовым русский текст, а письмо находилось в пути, Паасикиви попросил членов делегации и специалистов как можно скорее высказать свое отношение к предложению Советского Союза.

В письме Кекконен подчеркивал, что отношение к финнам было доброжелательным и «очень корректным», но считал, что поправки Молотова заходят слишком далеко. Предложенная по статье 1 формулировка полностью устраняла содержащуюся в финском варианте ступенчатость, то есть то, что «сначала Финляндия своими силами борется с целью отражения агрессора, и только во второй стадии Советский Союз по просьбе Финляндии или во взаимопонимании с Финляндией предоставляет нам помощь». В формулировке также содержалась идея автоматического предоставления помощи, как только Финляндия оказалась бы объектом агрессии. Статью 2 Кекконен считал по своей формулировке «устрашающе широкой и оставляющей возможности для различных толкований». Тем не менее Кекконен не заходил так далеко, как Хейнрик, который считал, что предложения Молотова невозможно принять. Все же Кекконен в своем письме написал об этом.

Рано утром 29 марта Кекконен, Сёдерхёльм и Хейнрик принялись детально анализировать предложения Молотова. У Хейнрика к тому времени был готов основательный меморандум по этому вопросу. Он содержал также проект финского контрпредложения. В нем Хейнрик, по большей части изменив порядок слов, передал текст статьи 1 таким образом, что подчеркивалась в первую очередь обязанность Финляндии защищаться самостоятельно. По вопросу о сотрудничестве он предложил формулировку: «при помощи Советского Союза и вместе с ним», а в качестве условия предоставления помощи предложил переговоры. Текст статьи 2 он предложил уточнить таким образом, чтобы было ясно, что угроза нападения должна касаться непосредственно территории Финляндии.

Кекконен и Сёдерхёльм присоединились к точке зрения Хейнрика, убедив еще и Ойнонена выступить в поддержку. На начавшемся через несколько часов совещании делегации они потребовали заслушать военных специалистов и добились принятия такого решения, несмотря на сопротивление народных демократов. Таким образом, Хейнрик получил возможность изложить свой меморандум всей делегации. Многие опасались, как бы встречные предложения финнов не показались советской стороне слишком неприемлемыми и, отказавшись от них, Советский Союз не вернулся бы к какой-либо другой модели договора, что было бы еще хуже с точки зрения Финляндии. Ситуация была сложной еще и потому, что формулировка Советского Союза местами слово в слово повторяла публичные высказывания Паасикиви.

Именно из осторожности делегация в конце концов приняла предложенную Сёдерхёльмом формулировку, которая в прочих частях сходилась с предложением Хейнрика, но не столь явно подчеркивала первоочередность обязанности Финляндии защищаться самостоятельно. Предложение было в тот же день по телеграфу направлено Паасикиви.

Сёдерхёльм в своих воспоминаниях пишет, что Кекконен с самого начала боялся, что предложения Хейнрика могут разозлить Молотова, и что Кекконен принимал участие в выработке более осторожной формулировки, принятой позднее. Однако это не находит подтверждения в других источниках. Именно Кекконен больше других настаивал на том, чтобы заслушать военных. На совещании делегации он назвал предложение Хейнрика хорошим и подчеркнул также, что «право независимого государства на самооборону — это такой факт», который «всегда можно убедительно защищать». Все же он был готов согласиться с предложенной Сёдерхёльмом формулировкой в том случае, если «услешное принятие его (договора. — Ю. С.) затрунит из-за сформулированной по-новому статьи». Однако нельзя отрицать, что на ход рассуждений Кекконена также наверняка повлияло распространенное среди членов делегации мнение, что благодаря уступкам Молотова Финляндия и так получила заметные преимущества, которые она могла бы потерять из-за собственных неосторожных действий.

Несомненно, что на позицию Кекконена повлиял также неожиданно состоявшийся накануне вечером разговор с советскими дипломатами Г. Г. Елисеевым и М. Г. Котовым. Кекконен записал в дневнике о самом факте встречи, но не написал, о чем шла речь. Очевидно, это была та же самая встреча, о которой Сёдерхёльм писал как о «конфиденциальной информации»: «Некий советский чиновник... дал понять, что Молотов пошел так далеко, как только мог, чтобы удовлетворить нас, и что дальнейшее давление на него бессмысленно. Все же они не отказывались от обсуждения деталей и формулировок». По рассказу Сёдерхёльма, советский дипломат также утверждал, что целью договора была безопасность северо-западной границы СССР и создание условий, гарантирующих мир и безопасность.

В своем меморандуме Хейнрик подчеркивал, что в своих встречных предложениях он отошел от утвержденных президентом инструкций. Это произошло, по его мнению, потому, что инструкции уже не соответствовали той ситуации, в которой велись переговоры. Соблюдение их могло, напротив, сорвать «наметившиеся важные достижения». Все же только Паасикиви мог решить вопрос об отходе от инструкции. В ожидании новых инструкций специалисты делегации оттачивали свои формулировки. Напряженное ожидание было прервано устроенным Молотовым приемом в честь делегации. Благодаря ему в личных отношениях удалось приблизиться друг к другу ближе, чем когда бы то ни было за столом переговоров.

Время шло, а инструкции все не поступали. Советская сторона сделала не одну попытку ускорить переговоры, которые приходилось переносить со дня на день. Нервничавшая делегация то и дело связывалась с президентом, реакция которого становилась раз от разу все более нетерпеливой.

Тем временем вопрос обсуждался в Хельсинки, следуя давней народной мудрости: когда на море случается крушение, то на суше легко быть умным. Все же до сих пор Паасикиви удавалось направлять настроение назначенной им совещательной комиссии и правительства в требовавшееся ему русло и создавать видимость того, что в предложение делегации в конце концов не было внесено сколько-нибудь значительных изменений, в корне меняющих дело.

Вечером 31 марта ситуация изменилась. Президент получил изложение точек зрения парламентских фракций, и в них — кроме ответов народных демократов и Шведской народной партии — содержалось отрицательное отношение к заключению «военного договора» с Советским Союзом. Президент решил, что переговоры следует строить по-новому. Следовало добиться возможно большего числа поправок к предложению Советского Союза, в противном случае договор, возможно, не будет принят парламентом. В этой ситуации из двух зол приходилось выбирать меньшее: «Лучше пусть провалятся переговоры в Москве, чем парламент отвергнет предложенный договор».

На это нервное настроение утром 1 апреля и пришелся телефонный звонок Кекконена. Он хотел в очередной раз выяснить, когда можно ожидать инструкций от президента. Разочарованный и расстроенный Паасикиви «был зол, как никогда». Он негодовал по поводу организации работы делегации, ее умения оценить ситуацию, по самому предложенному тексту. Одновременно с этим президент жаловался, что у него нет никого, с кем можно было бы посоветоваться, и потому просил Кекконена и еще кого-нибудь из членов делегации возвратиться в Хельсинки.

Делегация колебалась. Некоторые, в том числе Кекконен, хотели сначала познакомиться с новыми инструкциями. Все же после того, как Пеккала вновь связался с Паасикиви, было решено отправить Кекконена в Хельсинки. С ним должен был поехать также Сёдерхёльм. Возражавшие против договора социал-демократы хотели, чтобы в качестве лиц, призванных передать информацию, были выбраны не только «согласяющиеся». Поэтому они пытались отправить вместе с ними еще и Пелтонена. Целью этого предложения, несомненно, было подкрепить отрицательное отношение к договору авторитетом Пелтонена. Эта попытка совсем не понравилась Кекконену. Он и некоторые другие члены делегации сделали все, чтобы торпедировать это предложение, что, впрочем, было несложно, поскольку сам Пелтонен не хотел ехать.

Ранним утром 2 апреля Кекконен и Сёдерхёльм отбыли на советском военном самолете в Хельсинки. Накануне вечером Энкель посетил Молотова для объяснения причин задержки переговоров и необходимости поездки. В тот же вечер Кекконен вновь встречался с Елесеевым и Котовым. Об этой встрече также не сохранилось записей, но возможно предположить, что советские дипломаты хотели перед поездкой еще раз повторить и подтвердить уже изложенные ими взгляды для передачи в Хельсинки.

Речь идет не столько о договоренности, сколько о диктате Паасикиви. «Президент был в хорошем настроении», — напугивал отъезжающих Пеккала после своего телефонного с ним разговора. Вряд ли какая-либо другая оценка была более ошибочной и более далекой от истины. Это Кекконен и Сёдерхёльм ощутили, когда явились в президентский дворец. Паасикиви с самого утра сидел в окружении своих помощников, но они так и не пришли ни к чему. Были рассмотрены различные варианты текста, и все присутствовавшие, по точному описанию Сёдерхёльма, «были утомлены друг другом и самим договором, а также смертельно устали душой».

Самым уставшим был, скорее всего, пожилой президент, который находился в положении самом что ни на есть неблагоприятном в ситуации положительного отношения к договору лучше других знакомых с обстоятельствами дела членов делегации и резко отрицательного отношения парламентских фракций, а также настроенно-подозрительной позиции группы своих помощников. Кекконен и Сёдерхёльм опоздали из-за погодных условий на четыре с лишним часа. Кроме всего прочего, делегация совершила ошибку, о которой еще раньше предупреждал Кекконен: «Если мы поспешим больше, чем он (Паасикиви. — Ю. С.) со своим рассудительным характером посчитает нужным, то это может быть опасно». Все это и подготовило взрыв.

Кекконен и Сёдерхёльм доложили о переговорах. Кекконен подчеркивал, обращаясь к недоверчивой

аудитории, как многого уже удалось достичь: 1) договор касается только агрессии, направленной против государственной территории Финляндии; 2) механизм договора начнет работать только в случае уже свершившейся агрессии; 3) речь не идет об ответной помощи; 4) в договор не включен пункт об общих обязательных консульствах. Сёдерхёльм особенно акцентировал внимание на пожелании делегации не вносить в текст заметных изменений. Кекконен же неоднократно в разной связи подчеркивал, что собственно переговоры еще не начались, что давало больше возможностей для дальнейших изменений.

Президент и его помощники особенно не одобряли предложенную формулировку статьи 2, хотя, впрочем, к статье 1 они относились ничуть не лучше. Председатель парламента Фагерхольм объявил, что ни парламент, ни социал-демократы не одобряют предложения делегации. Вестеринен говорил то же об Аграрном союзе, в чем Кекконен имел возможность лично убедиться, встретясь вечером с представителями своей партии. Поскольку дискуссия не продвигалась вперед, президент прервал ее и распустил всех на обеденный перерыв.

Во время перерыва президент удалился в свои личные покои и там беседовал с Кекконеном и Сёдерхёльмом. В своем дневнике Паасикиви пишет, что «очень серьезно констатировал», «что я обязался поддерживать договор, если он будет таким, каким предполагался согласно моим инструкциям, но если он претерпит существенные изменения, то я не считаю себя связанным с ним». Видимо, в действительности разговор происходил куда более бурно. Усталость, разочарование и ответственность переполнили чашу терпения пожилого политика, а приехавшие из Москвы представляли собой хороший громоотвод. «Паасикиви почти кричал от злости» — так описывает ситуацию Сёдерхёльм, а Кекконен подтверждает в своем дневнике, что «старик кричал, как раненный в задницу медведь».

Напрасно они предполагают, будто что-то удалось выиграть, «русские» ни в чем не уступили, это никак не достижение, что финское предложение принято за основу для переговоров, — изливал свою горечь президент. Паасикиви упрекал делегацию, а особенно входящих в ее состав министров, за излишнюю мягкость. Почему Кекконен и Сёдерхёльм не навели порядка! Ясно, что у «русских» есть виды на Финляндию. Поэтому лучше, чтобы договор был таким, который не давал бы Советскому Союзу возможности оказывать давление на Финляндию, а если бы он попытался это сделать, то ему пришлось бы открыто нарушать договор.

Картину дополняет воспоминание Сёдерхёльма о звонке Пеккалы вскоре после состоявшегося разговора. Кекконен отказался разговаривать с премьер-министром, поскольку «был так чертовски зол, что не мог говорить». Вынужденный ответить на звонок Сёдерхёльм рассказывает, что по совету Кекконена охарактеризовал ситуацию как «чертовски неприятную». Эта оценка была высказана по открытой телефонной линии, и потому Сёдерхёльм считает, что она имела влияние на более уступчивую в дальнейшем позицию советской стороны.

Уставший президент ушел спать. Но Кекконен и Сёдерхёльм остались выработать новые предложения по тексту военных статей договора совместно с помощниками Паасикиви. Проект был готов ночью. В конечном счете внесенные в проект, предложенный делегацией, изменения оказались не столь значительны. За основу статьи 1 была принята формулировка Хейнрикса, которую Кекконен хвалил еще в Москве. Новым было то, что подчеркивалась самооборона Финляндии «в пределах границ Финляндии» и «в случае необходимости» при помощи Советского Союза «или» вместе с ним. Также в пункте 3 этой статьи помощь определялась как имеющая место «при необходимости» и «необходимая», причем о ней следовало «вести переговоры и договориться». В статье 2 консультации были определены как касающиеся «военных» действий для отражения «нападения», а не угрозы такового.

Кекконен возражал, собственно говоря, лишь против одного изменения. По его мнению, с военной точки зрения представлялось невозможным, чтобы Финляндия защищала свою территориальную неприкосновенность только внутри своих границ. Входящие в число советников Паасикиви генералы также подтвердили это. Однако Кекконен все же согласился с такой формулировкой, чтобы удовлетворить требования парламента. Позднее Паасикиви дал делегации на переговорах полномочия при необходимости перенести данный пункт в отдельное письменное заявление для передачи советской стороне.

Паасикиви сумел провести новые инструкции по ведению переговоров в Госсөвете, хотя составлявшие в правительстве большинство социал-демократы и аграрники голосовали против. Одновременно с этим президент дал делегации право внести некоторые небольшие изменения в том случае, если того потребует складывающаяся на переговорах ситуация. В дополнение к этому Паасикиви решил, что в переданном советской стороне отдельном письменном заявлении следует констатировать, что «военные меры вступают в силу» только в случае войны и за их подготовку отвечает только Финляндия. Кроме того, в этом документе следовало упомянуть, что в случае сотрудничества финны будут действовать в составе своих подразделений и подчиняться своему командованию.

Перед отъездом Кекконен и Сёдерхёльм еще раз посетили президента для получения последних наставлений. После того как решение было принято, Паасикиви был в самом хорошем расположении духа. Он констатировал, что сведение к минимуму угрозы войны и предотвращение нападения отвечает интересам как Финляндии, так и Советского Союза. Потому он обещал сделать все от него зависящее,

чтобы договор, подобный намеченному, был принят парламентом. Все же он подчеркнул, что большинство народа против такого договора. Поэтому на переговорах следует обращать особенное внимание на психологические факторы. Именно поэтому Паасикиви считал важным, чтобы в преамбулу договора было включено само по себе ни с чем не связанное утверждение о стремлении Финляндии оставаться в стороне от столкновения интересов великих держав. Эта мысль содержалась уже в составленном в марте проекте и она включала в себя — согласно высказанной ранее трактовке Паасикиви — такую формулировку о нейтралитете, которую возможно было в тогдашних условиях защищать с юридических позиций.

Паасикиви еще раз подчеркнул, что Кекконен и Сёдерхёльм должны в Москве «держат поводья» в своих руках. Договорились, что Кекконен огласит на переговорах личное послание президента, в которое можно было бы включить центральные принципы и взгляды из числа обсуждавшихся. После этого Кекконен передаст слово Сёдерхёльму, который изложит мотивы, по которым были приняты изложенные во встречном предложении финской стороны формулировки. Таким образом удалось бы избежать участия Пеккалы и Энкеля в дискуссии.

Кекконен еще в Хельсинки начал составлять текст для изложения его от имени Паасикиви и продолжил работу над ним во время полета 4 апреля. В тот же вечер финская делегация собралась, чтобы заслушать сообщение вернувшихся из поездки. Никаких решений не было принято. Столь же незначительным стало и совещание, проведенное на следующий день. «Поводья» находились теперь в соответствии с пожеланием президента в руках Кекконена и Сёдерхёльма, и они крепко держали их. Кекконен добился своего, поставив делегацию перед выбором «или — или»: он недвусмысленно заявил, что не примет никаких поправок к своему тексту: он либо изложит его в том виде, в каком написал и каковой соответствует «пунктам» требований Паасикиви, либо не станет излагать вовсе. После такой борьбы делегация уже не захотела вмешиваться в текст выступления Сёдерхёльма, а оставила изложение мотивировок «на его совести».

В статьи делегация внесла небольшие семантические поправки и объединила пункты 1—2 статьи 1 в один абзац. Все это было возможно в рамках дополнительных инструкций Паасикиви.

Решающие переговоры проходили в Кремле вечером 5 апреля. В начале Пеккала передал слово Кекконену, который в точном соответствии с планом передал приветствие и послание Паасикиви. В основной своей части оно было очень талантливо составлено. Кекконен констатировал, что «сильное мнение в парламенте» стоит за нейтралитет и считает военный договор ненужным. По мнению президента, таковой все же было бы возможно заключить и он будет делать все возможное, чтобы он был одобрен, и даже готов поставить на чашу весов свой авторитет, что, несомненно, может оказать решающее влияние на мнение большинства в парламенте. Такой позитивный результат все же возможен лишь в том случае, если принятый в конце концов договор будет отвечать инструкциям президента. С точки зрения тактики ведения переговоров еще более искусным был тот способ, каким Кекконен обосновывал внесенные Финляндией изменения по военным статьям: «За этими предложенными изменениями не стоит желание ослабить предпосылки достижения той цели, к которой стремился Советский Союз, внося свои контрпредложения. Одной из основных причин вносимых нами изменений является желание президента Паасикиви добиться поддержки договора общественным мнением в Финляндии. Потому президент Паасикиви предлагает такие изменения, которые составлены с учетом тех важных психологических факторов, оставление которых без внимания может помешать достижению основной цели договора, то есть углублению отношений между странами. Президент Паасикиви сказал нам, что хочет заключить договор, в котором достижение важной с точки зрения Финляндии политической цели, а именно получение поддержки договора финским общественным мнением, не препятствовало бы достижению военной цели договора, то есть предотвращению нападения и при необходимости совместному отражению агрессии».

После этого, согласно плану, был черед Сёдерхёльма, который еще более подробно обосновал внесенные изменения. С ним Молотов и провел собственно переговоры. Было похоже на то, что для советской стороны более важной была ст. 2 относительно консультаций. Поскольку теперь финны полностью убрали упоминание об угрозе нападения в качестве фактора, ведущего к началу консультаций, то Молотов предложил либо составить совершенно новую формулировку этой статьи, либо вернуться к первоначальному предложению Финляндии. Решение пришлось принимать Сёдерхёльму, который дважды заявил, что нет никаких препятствий для возвращения к первоначальной формулировке. В своих интервью и воспоминаниях Сёдерхёльм рассказывал, как помощь подоспела со стороны Кекконена, который быстро прошептал: «Договаривайся!»

Ответ имел решающее значение. Он открыл дорогу для продолжения переговоров. Поскольку делегация Финляндии соглашается с предложенной ею самой первоначально формулировкой статьи 2, то делегация Советского Союза готова принять новое предложение финской стороны относительно формулировки статьи 1, объявил Молотов и переспросил у Пеккалы, можно ли считать этот вопрос решенным. Сёдерхёльм вспоминал, что погруженный в собственные раздумья Пеккала очнулся и непонимающе оглянулся по сторонам: «Кекконен и я принялись энергично кивать в знак согласия, и Пеккала ответил просто «да».

После этого все пошло, как по маслу. Молотов без возражений принял предложенный финской стороной срок действия договора в десять лет. О переданном Пеккалой проекте преамбулы не стали вести переговоры. Поскольку в нем содержались еще не обсуждавшиеся формулировки, то было решено, что каждая делегация выделит уполномоченного, которые и договорятся по этому вопросу. Для составления преамбулы были выбраны Кекконен и Вышинский. Они встретились поздно вечером того же дня и без особых затруднений пришли к взаимному пониманию.

Единственное замечание Вышинского по вводной части касалось включенного в нее одностороннего заявления Финляндии, в котором подчеркивалось ее стремление стоять в стороне от противоречий между великими державами. Кекконен согласился, что по своей декларативности и односторонности оно не очень уместно, и признал также, что сам Паасикиви охарактеризовал его как некий нарост на преамбуле. Все же оно имело важное значение для Финляндии, поскольку, будучи малым государством, она всегда остается объектом международной политики. В то же время Советский Союз — это субъект и в таком качестве не нуждается в подобного рода заявлениях. Таким образом по этому пункту преамбула не обязательно должна быть сбалансирована, доказывал Кекконен.

Все же самыми важными доводами в пользу такого заявления были причины психологического порядка. Было важно произвести хорошее впечатление в Финляндии: «Я объяснил, что оно (это место в преамбуле. — Ю. С.) важно для финского народа по причинам психологического свойства. Я передал слова Паасикиви, что Советский Союз может себе позволить нам сделать в этой связи такое заявление». Вышинский принял эти объяснения и данный пункт преамбулы, после чего договор был готов. Договорились о том, что подписание состоится на следующий день. Итоговый результат был передан телеграфом Паасикиви, который на следующий день сообщил, что доволен договором.

Торжественное подписание происходило 6 апреля 1948 г. в 21.00 в рабочем кабинете Молотова. Присутствовали делегации, а также группа высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел Советского Союза. Подписание почтил своим присутствием генералиссимус Сталин. После подписания в том же помещении — к удивлению финнов — состоялся ужин. Молотов провозглашал тосты по очереди за каждого члена финской делегации. Говоря о Кекконене и Сёдерхельме, он подчеркнул, что их поездка в Хельсинки решающим образом способствовала достижению договоренности.

Центральный партийный архив в 30-е годы

С. В. Якушев

Важное место в архивной системе страны занимает Центральный партийный архив (ЦПА) Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, сконцентрировавший документы уникального диапазона и значимости практически по всем периодам истории советского общества. С деятельностью этого архива связано немало мифов, имеющих хождение даже в среде профессиональных историков. Особый интерес представляет начальный этап его существования. Именно в 30-е годы складывались основные фонды, определялся профиль и структура архива. В литературе имеются сведения о работе ЦПА в эти годы¹. Но по понятным причинам при этом не удалось, как теперь говорят, обойти «фигуры умолчания» и ликвидировать «белые пятна». Остался не затронутым вопрос о принципах, методах и результатах комплектования фондов ЦПА в довоенное время.

Согласно официальным данным, Центральный партийный архив при Институте Ленина и его филиалы были созданы 28 июня 1929 г. «для концентрации партийного архивного фонда»: «а) всех дел и документов партийных комитетов, контрольных комиссий, комсомольских организаций и фракций советских, профсоюзных и других учреждений, отложившихся в их делопроизводстве и утративших свое значение для текущей работы; б) партийных материалов и документов, хранящихся у отдельных лиц»². В ЦПА должны были поступать главным образом документы отделов ЦК ВКП(б), ЦКК, ЦК ВЛКСМ и партийных фракций центральных учреждений. Архив получил возможность изымать «особо важные» историко-партийные материалы, находящиеся в Центрархиве, Истпрофе и т. п. Документы, вошедшие по положению от 28 июня 1929 г. в состав партийного архивного фонда, хранились к тому времени в различных местах — в ЦК и ЦКК ВКП(б), местных партийных органах и контрольных комиссиях, в аппаратах партийных фракций советских, профсоюзных, кооперативных и других общественных организаций, в Институте Ленина и истпартах, учреждениях Центрархива, некоторых научных центрах, у отдельных лиц.

Условия хранения, степень сохранности и обработки этих документов были, естественно, различны. Работавшая в 1928 г. комиссия по обследованию состояния и ведения архивного дела в аппарате ЦК ВКП(б) констатировала: лишь в архивах секретного и общего отделов, в ЦКК материалы были систематизированы и располагались в оборудованных помещениях. В других отделах ЦК ВКП(б) отсутствовала четкая система делопроизводства, бумаги хранились в открытых шкафах, обрабатывались малоквалифицированными сотрудниками, своевременно в текущий архив не сдавались, что приводило к значительным потерям документов³. Об условиях хранения материалов в партийных фракциях различных учреждений комиссия точных сведений не собрала, но предположила «с достаточными основаниями», что «они находятся в еще более угрожаемом положении (от потерь, краж, пожаров, грызунов, насекомых, сырости и пр.), чем материалы партийных и комсомольских организаций»⁴.

В наиболее благоприятном положении находился архив Института Ленина. Он размещался в новом

Якушев Сергей Валентинович — заместитель ученого секретаря Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

здании, построенном в начале 1927 г. на Советской площади. К работе с документами были привлечены опытные кадры — Г. А. Тихомиров, С. Н. Валк, М. И. Гляссер, М. А. Володичева, Е. С. Лепешинская и др. Основную часть архива составляли поступившие в СССР в 20-е годы документальные собрания бывших заграничных центров РСДРП — материалы съездов и конференций партии, пленумов и совещаний ее ЦК, переписка ЦК, фонды редакций газет «Искра», «Вперед» и «Пролетарий», «Социал-демократ», журналов «Просвещение» и «Работница», Совета партии, Комитета заграничных организаций, Бюро комитетов большинства, Центрального бюро заграничных групп и др. Имелись личные фонды В. А. Антонова-Овсенко, Ф. Э. Дзержинского, В. П. Ногина, М. С. Ольминского, Н. И. Подвойского, Я. М. Свердлова, воспоминания, обширная коллекция листовок⁵. Большинство материалов архива было систематизировано по фондам и на них составлены описи. Всего же к началу 1930 г. в архиве Института Ленина было сосредоточено около 70 тыс. документов, из которых 24 405 — ленинские⁶.

Поскольку «Положение о Едином партийном архиве» не определяло места ЦПА среди других учреждений партии и направления его деятельности, можно предположить, что на первых порах использовался аппарат, правила и традиции работы Института Ленина. Основными структурными частями ЦПА стали архив Ленина и архив Истпарта, а также Польский архив⁷. В середине 1930 г. был образован в ЦПА и архив Коминтерна, куда поступали материалы конгрессов и конференций III Интернационала, пленумов Исполкома Коминтерна (ИККИ), потерявшие оперативное значение документы секретариата и отделов Коминтерна, информационные сводки и переписка его секций⁸.

Вскоре перед ЦПА встала задача сбора документов советского времени, прежде всего приема материалов из ЦК ВКП(б). Уже планом работы на 1929—1930 гг. предполагалось принять документы ЦК ВКП(б), фракций ВЦИК и ВЦСПС за 1918—1921 гг. и разработать вопрос об организации систематического розыска и приобретения историко-партийных материалов как в СССР, так и за границей⁹. Планом на 1930—1931 гг. предусматривалось поступление материалов из ЦК ВКП(б) за 1922—1925 гг., партийных фондов из Архива Октябрьской революции (АОР), ленинских документов из наркоматов, а также передача в другие архивы фондов, не имевших отношения к истории партии¹⁰.

В 1930 г. начался прием в ЦПА фондов, хранившихся до этого в АОР — партийных съездов и конференций, ЦК РКП(б), Северного областного комитета РКП(б), Петроградского бюро ЦК РКП(б), Центральной федерации иностранных групп РКП(б), Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока и др., всего более 2100 дел¹¹. В том же году стали поступать в ЦПА документы из общего архива ЦК ВКП(б). Так как «Положение о Едином партийном архиве» не устанавливало обязательных сроков передачи материалов из текущих архивов, а решение этих вопросов находилось в ведении Секретариата ЦК ВКП(б), ЦПА лишь фиксировал подобные поступления.

В 1930—1931 гг. были приняты следующие документы: высших партийных форумов до X съезда РКП(б) включительно, Бюро ЦК РСДРП за март — апрель 1917 г., Бюро Секретариата ЦК РКП(б), Управления делами, организационно-распределительного, агитационно-пропагандистского, информационного, статистического, женского отделов ЦК РКП(б) за 1921—1924 годы. Следующее крупное поступление материалов аппарата ЦК ВКП(б) состоялось в 1934 году. Были получены документы Бюро Секретариата и орграспределотдела за 1919—1930 гг. в количестве 4673 дел¹².

На первых порах своей деятельности ЦПА пользовался предоставленным ему правом изъятия документов по истории партии, находившихся в других хранилищах, причем иногда выходя за границы широко очерченного партийного архивного фонда. Так, в ЦПА поступила группа материалов из фонда Департамента полиции ЦАОР, из ЦГИА, Дома Г. В. Плеханова.

Поучительна история получения Центральным партархивом значительного количества документов из Библиотеки Академии наук СССР. По предложению особой правительственной комиссии по проверке аппарата АН СССР сотрудники Института Ленина и Централархива провели обследование рукописного отдела Библиотеки Академии. Ими были выделены и отправлены в Москву документы Петербургского комитета РСДРП за 1905—1906 гг. и Харьковской организации РСДРП за 1906—1907 гг. (среди них оказались материалы Общероссийской партийной конференции 1907 г.), ЦК РСДРП (меньшевиков) и партии социалистов-революционеров, архивы и библиотеки П. Б. Струве и В. Д. Бонч-Бруевича (здесь имелся комплект «Искры» с разметкой Ленина), собрания А. Ф. Керенского, великих князей, кадетской партии, октябристов, Совета объединенного дворянства, других организаций и лиц, а также большая коллекция листовок и периодических изданий различных политических групп, начиная с 80-х годов XIX столетия¹³. Все эти документы были в свое время переданы владельцами в академическую библиотеку в расчете на ее независимый характер или буквально спасены сотрудниками библиотеки во главе с акад. А. А. Шахматовым во время революции и гражданской войны.

Разгром уникальной документальной коллекции Библиотеки Академии наук был поддержан в официальных научных кругах. 18 ноября 1929 г. на заседании, посвященном открытию Института истории Коммунистической академии, была принята резолюция: «Открытое собрание Института истории, заслушав сообщение о разборке архивов Академии наук, произведенной правительственной комиссией, выражает свое негодование по поводу сокрытия в течение ряда лет старыми руководителями Академии архи-

вов, имеющих не только научно-историческое, но и актуально-политическое значение. Собрание не может оценить этот факт иначе, как явление политической контрреволюции и научного вредительства, и настаивает перед правительственной комиссией на том, чтобы в отношении старого руководства Академии наук были сделаны все соответствующие организационные и политические выводы и чтобы работа АН была поставлена под более тщательный и широкий контроль общественных советских научных организаций»¹⁴.

В комментариях эта резолюция не нуждается; ее формулировки лучше всяких рассуждений говорят о той обстановке, которая сложилась вокруг сбора и хранения источников в начале 30-х годов. «Архивы имеют не столько научное, сколько политическое значение» — вот самый «весомый» аргумент, фигурировавший тогда в любых спорах о принадлежности тех или иных категорий документов. Судьей в таких спорах все чаще выступало ОГПУ, как и в случае с Библиотекой Академии наук. Была создана еще одна особая комиссия в составе Ю. П. Фигатнера, М. А. Савельева, Г. М. Кржижановского и Я. С. Агранова, определявшая новые места хранения материалов из Академии. Документы передавались в госархивы, наркоматы, ОГПУ.

В ЦПА поступили части документальных собраний меньшевиков и эсеров, архив Струве¹⁵, некоторые другие комплексы. Центральный партархив превратился в место концентрации документов политических партий и деятелей социалистической ориентации. При оценке такого расширения границ архивного фонда ВКП(б) не следует упускать из вида, что конфискованные в Академии наук материалы, полученные Центральным партархивом, сохранились, в то время как судьба документов, переданных в наркоматы и ОГПУ, неизвестна.

Итоги первых четырех лет работы ЦПА были подведены в специальном разделе отчета Института Маркса—Энгельса—Ленина (ИМЭЛ) XVII съезду ВКП(б). Здесь назывались основные фонды архива, характеризовались новые поступления, обращалось внимание на хранящиеся в ЦПА материалы П. Л. Лаврова, Б. Н. Кричевского и редакции «Рабочего дела», Струве и редакции «Освобождения», «Новой Искры», Августовского блока, ЦК партий меньшевиков и эсеров, Бунда, Поалей—Цион, непосредственно связанные, как говорилось в отчете, с научно-исследовательской работой ИМЭЛ¹⁶.

В отчете сообщалось, что «количество сконцентрированного материала к настоящему времени составляет в грубых цифрах не менее 1 000 000 архивных единиц»¹⁷. Даже учитывая, что в архив поступили документы К. Маркса и Ф. Энгельса, деятелей II и III Интернационалов, международного рабочего движения, и принимая во внимание стремление составителей украшать свои отчеты круглыми цифрами, трудно представить, чтобы за четыре года число хранящихся в ЦПА документов возросло с 70 тыс. — согласно отчету Института XVI съезду ВКП(б) — до миллиона. Вернее предположить, что должный учет поступления документальных материалов в архиве в то время отсутствовал, а в его справочном аппарате не было универсальной единицы их учета — он велся на листы, документы, дела, папки, коробки, связки и даже шкафы.

Информация о комплектовании Центрального партийного архива в 30-е годы крайне скудна. Разрозненные сведения о пополнении его фондов можно получить из переписки ИМЭЛ с ЦК ВКП(б), НКВД, учреждениями государственной архивной службы. Отчеты о работе ЦПА сохранились только начиная с 1938 года. В одном из них указывается, что за период 1934—1938 гг. на хранение поступило 16 854 дела историко-партийного содержания — материалы съездов и конференций партии до XIV съезда включительно, отделов ЦК ВКП(б), Институты массового заочного обучения и Красной профессуры, Среднеазиатского и Туркестанского бюро ЦК ВКП(б), Уполномоченного ЦКК по Средней Азии, Комиссии ВЦИК по делам Туркестана¹⁸. В то же время в ЦПА были переданы документы и других существовавших в 20-е годы областных бюро ЦК РКП(б), материалы партийных фракций ЦК ряда профсоюзов.

Согласно сохранившейся справке, на 11 ноября 1938 г. в ЦПА находилось около 43 тыс. документов, учитываемых по Основному фонду (ленинские и примыкающие к ним по содержанию историко-партийные источники), приблизительно 29 тыс. дел ЦК ВКП(б), 3434 дела по фонду Средазбюро ЦК ВКП(б), 700 дел по фонду Общества старых большевиков, 250 дел фракций ЦК профсоюзов, архив Лаврова и Польский архив примерно по 60 тыс. дел каждый, другие документальные комплексы, а также более 100 личных фондов, содержащих, как сказано в справке, от 3 до 13 папок каждый¹⁹.

За исключением Основного фонда, в котором учет велся по отдельным инвентарным книгам, состав почти всех остальных фондов был обозначен лишь приблизительно. Плачевное состояние научно-справочного аппарата явилось одной из главных причин, мешавших налаживанию работы ЦПА в 30-е годы. Еще одной причиной было отсутствие научной основы в деле сбора документации — не были четко определены источники пополнения архива и состав подлежащих хранению в нем материалов, не выработаны принципы и методы экспертизы их ценности, не установлены сроки хранения документов в текущих архивах. На комплектовании партархивов отрицательно сказывался и низкий уровень партийного делопроизводства. Острой необходимостью в улучшении работы с документацией и в четкой организации ее хранения выявила проходившая в 1935 г. проверка партийных документов, что было подчеркнуто в решении декабрьского пленума ЦК ВКП(б) того же года²⁰.

В августе 1935 г. было принято специальное постановление ЦК ВКП(б) «О работе Института Маркса—Энгельса—Ленина», в котором ставились, в частности, задачи систематизации, учета и обработки находящихся в ЦПА материалов²¹. Однако основное внимание архива было сосредоточено на обеспечении документами издателей произведений Маркса, Энгельса, Ленина, к тому же в октябре 1936 г. Институту поручили издавать сочинения Сталина. Много сил и времени работники партархивов отдавали так называемой справочной работе — выявлению документов, «относящихся к участникам троцкистско-зиновьевской контрреволюционной группы»²². При этом проявлялась какая-то жуткая инициатива. Заместитель директора ИМЭЛ В. Г. Сорин в 1938 г., посыл Н. И. Ежову перечень выявленных документов «врагов народа», вопрошал: «Представляет ли такая сводка для Вас интерес, может ли она быть Вами использована? Если да, то мы продолжим работу в этом направлении»²³.

Результаты «работы в этом направлении» не замедлили сказаться и на самом Институте. С 1 января 1936 г. по 1 июня 1938 г. были арестованы 4 его сотрудника, в том числе заместитель заведующего ЦПА Фокин и заведующая фондами Пржедецкая. За тот же период, «в порядке очистки аппарата от политически ненадежных, не внушающих доверия сомнительных элементов», из Института было уволено 95 человек, 30 из которых затем были арестованы (среди них — еще один заместитель заведующего архивом, Мешковский, и 4 бывших сотрудника ЦПА)²⁴. «Архиву нужны люди, на которых можно было бы возложить хранение определенных фондов, затем их описание и изучение», — писал В. В. Адоратский к ЦК ВКП(б)²⁵. Но ЦПА еще долго не мог избавиться от хронического недостатка кадров. Если добавить, что они работали в атмосфере страха и подозрительности, то становится понятно, почему в 30-е годы не удалось наладить в Центральном партархиве полноценный прием и обработку документов.

Одной из самых интересных страниц в истории комплектования ЦПА в 30-е годы стало получение (и тем самым спасение) части документальных собраний видных оппозиционных деятелей ВКП(б). Партийные решения о безусловной передаче в архивы материалов умерших членов партии и об изъятии у любых лиц документов, имеющих отношение к истории РКП(б), были приняты еще в 1924 году²⁶. Но если с получением архивов лиц, закончивших жизненный путь, проблем, как правило, не возникало, то с изъятием документальных материалов у функционеров дело обстояло значительно сложнее. Многие крупные партработники имели в своем распоряжении большое количество не только личных, но и учрежденческих бумаг, а такие деятели, как Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, — даже собственные секретариаты, активно используя документы в политической борьбе.

Комплектование архива Троцкого началось уже в период гражданской войны. Наряду с материалами самого Троцкого в его секретариат поступали выписки из протоколов заседаний Политбюро, Оргбюро, Секретариата ЦК РКП(б), информационные документы ЦК РКП(б), документы Реввоенсовета, полевой канцелярии Председателя РВСР. Секретари Троцкого снимали копии в архивах СНК, НКВД, Коминтерна. В архиве Троцкого отложилась обширная переписка, в том числе с Лениным. Троцкому пришлось все же передать подлинники ленинских писем в Институт Ленина, получив взамен фотокопии. Большую часть архива Троцкий взял с собой в Алма-Ату, где продолжалось его пополнение корреспонденцией других ссыльных — Е. А. Преображенского, К. Б. Радека, Х. Г. Раковского, И. Т. Смилги, В. М. Смирнова, Г. Б. Валентинова и др. Почти все эти документы Троцкому удалось вывезти из СССР в 1929 году²⁷.

Гораздо сложнее оказалась судьба документальных собраний других опальных лидеров партии. Мало кому из них удалось сохранить свои архивы в неприкосновенности уже после первой волны арестов и высылки. Части этих архивов разными путями попадали и в ЦПА. Некоторые рукописи Троцкого, сданные бывшим его секретарем Сермуксом на хранение в Главконцеском, были отправлены оттуда в ЦК ВКП(б), а затем в январе 1930 г. — в Центральный партархив²⁸. Аккуратно пересылал в ЦПА «профильные» материалы директор Гослитмузея В. Д. Бонч-Бруевич. Некто С. Г. Сосян послал в ИМЭЛ автограф письма Троцкого по поводу смерти Ленина, написанного в Тифлисе 22 января 1924 года. «Документ мной найден случайно при разборе книжной макулатуры Тифлисского комитета КП(б) Грузии и был взят мной для сохранности... Считаю дальнейшее хранение документа у меня нецелесообразным», — указал Сосян в сопроводительной записке²⁹. Такие подступки в обстановке 30-х годов требовали определенного мужества. Многие, думается, избавлялись от «нецелесообразных» для хранения материалов иным, менее хлопотным способом.

Одно время надежным убежищем для архивов оппозиционеров считались руководимый фрондирующим Д. Б. Рязановым Институт Маркса и Энгельса и его квартира. Но 16 февраля 1931 г. его арестовали, и многие документы были конфискованы ОГПУ. Обеспокоенный Радек, чей личный архив вкуче с бумагами Смилги находился у Рязанова, обратился непосредственно к Сталину: «Ввиду того, что в архиве этом, кроме других важных исторических документов довоенного периода, хранятся материалы по истории Циммервальда и Кинталя, которых нигде в другом месте нет, очень прошу Вас дать распоряжение о принятии мер для ограждения этого архива от случайностей»³⁰. Постереволюционная часть архива состояла из переписки с Лениным, документов ИККИ, материалов внутривнутрипартийной борьбы 1926—1927 годов. Обращение Радека возымело действие: перечисленные документы поступили в ЦК ВКП(б), где и пребывали до передачи основной их группы в ЦПА в 1971 году.

Однако конфискованное у Рязанова было далеко не полным собранием документов Радека. Еще в декабре 1927 г. «совершенно секретные бумаги» были отданы владельцем Г. Г. Ягоде, «бумаги меньшего значения» остались на квартире Радека в Кремле³¹. О каких конкретно материалах шла речь и о том, что с ними стало, сведений обнаружить не удалось. Зато переписка Радека с Троцким, Смильгой, Преображенским, Раковским, В. А. Тер-Ваганяном, С. В. Мрачковским, И. Я. Врачевым и другими (около 300 адресатов), статьи, тезисы, заявления, информационные письма, бюллетени, сводки, нелегальная литература — уникальный комплекс источников, касающихся различных сторон оппозиционного движения в ВКП(б) 1928—1929 гг., собранный Радеком в томской и тобольской ссылке, попал в Центральный партархив. Предположительно произошло это в 1930 г. по негласному соглашению Радека с заведующим ЦПА Г. А. Тихомировым.

Неизвестна и дата получения Центральным партархивом так называемого архива оппозиционного блока, конфискованного у бывшего секретаря Каменева Ф. П. Швальбе и насчитывающего около 10 тыс. документов за 1908—1929 годы. Среди них — дореволюционная переписка Зиновьева и Каменева с Лениным, Н. К. Крупской, Н. И. Бухариным, Г. Л. Пятаковым, А. Г. Шляпниковым, И. Ф. Арманд, дневник Кинтальской конференции Зиновьева, переписка советского периода между Каменевым, Зиновьевым, Бухариным, Крупской и др. о судьбе ленинского завещания, о взаимоотношениях со Сталиным и Троцким, статьи, тексты выступлений Зиновьева и Каменева, документы ленинградской оппозиции, письма бывших оппозиционеров Зиновьеву и Каменеву в Калугу в 1928—1929 гг. о хозяйственном и политическом положении страны³². Имелись здесь и некоторые документы Троцкого в основном за 1918 г., а также ряд писем и статей А. А. Иоффе 1926—1927 годов.

К сожалению, точно определить объем, состав, сроки вышеназванных и аналогичных поступлений невозможно, поскольку в ЦПА отсутствовал должный учет. Нельзя определить также, какие документы из этих собраний передавались затем в секретный архив ЦК ВКП(б). Но такая практика существовала. В итоге современные описи фондов Зиновьева и Каменева значительно меньше по сравнению с описями, составленными в ЦПА в 30-х годах.

Для ЦК ВКП(б) документы изымались не только из личных архивов функционеров. После убийства С. М. Кирова его бумаги просматривала комиссия в составе А. А. Жданова, М. С. Чудова, М. Д. Орачелашвили³³. Архив упраздненного в 1935 г. Общества старых большевиков принимали Н. И. Ежов, М. Ф. Шкирятов, Г. М. Маленков³⁴. Особая комиссия разбирала материалы погибшего Г. К. Орджоникидзе. Отовсюду стекались в ЦК ВКП(б) документы Сталина. Только в январе 1930 г. заведующему секретным отделом ЦК ВКП(б) И. П. Товстухе из ЦПА для ознакомления было передано 700 таких документов³⁵. О принципах отбора материалов в секретный архив ЦК ВКП(б) пока можно только догадываться.

С началом известных процессов над инакомыслящими в ВКП(б) их материалы перестали поступать в Центральный партийный или какой-либо иной архив, оседая, как правило, в НКВД. Изъятые при аресте сына Троцкого С. Л. Седова в 1936 г. бумаги в количестве 231 тома были присоединены к находящемуся в архиве НКВД делу о высылке органами ОГПУ в 1927—1928 гг. Троцкого и его сторонников. Затем к ним присовокупили еще около 30 тыс. листов, конфискованных у «троцкистов»³⁶. Таким образом, в НКВД оказалось значительное число не только документов Троцкого и его единомышленников, но и материалов партийных и советских органов — съездов партии и Советов, Политбюро, Оргбюро, комиссий ЦК РКП(б) — ВКП(б), командования Красной Армии и пр. Эта коллекция находилась на Лубянке в неразобранном виде до 1958 г., когда по инициативе Председателя КГБ И. А. Серова многие документы были переданы в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС³⁷.

Случай этот единственный, что объясняется, вероятно, особым отношением органов к деятельности Троцкого. В иных случаях НКВД отнюдь не гарантировал сохранности попавших к нему материалов. В письме от 22 февраля 1935 г. Адоратский напоминал шефу этого наркомата Ягоде: «Мы договаривались, что по приезду Агранова из Ленинграда, Вы обсудите вопрос о передаче библиотек Зиновьева и Каменева ИМЭЛу»³⁸. Послание Ягоде было вызвано отнюдь не нетерпением Адоратского, а фактами обнаружения ряда ценных книг из этих библиотек в букинистических магазинах.

Исчез в недрах НКВД весь личный архив Бухарина. Нет сведений о судьбе конфискованных архивов Г. Л. Пятакова, М. П. Томского, А. И. Рыкова, многих других партийных и государственных деятелей. Возможно, из-за переполненности хранилищ НКВД бумаги арестованных после окончания «следствия» и расстрела владельцев уничтожались. Этот процесс усилился в период Великой Отечественной войны. По воспоминаниям А. И. Солженицына, в мае 1945 г. сажи во внутреннем дворе НКВД было столько, что можно было подумать, «будто Лубянка жжет свои архивы за тридцать лет»³⁹.

Не менее интересна, хотя и не столь трагична, история приобретения документов для ЦПА за рубежом. Поиски их велись в Германии (до 1933 г.), Финляндии, Швеции, Польше, Чехословакии, Франции, Англии. Помимо сотрудников и зарубежных корреспондентов ИМЭЛ в этой работе принимали участие И. М. Майский, А. М. Коллонтай, Я. С. Ганецкий, С. Ю. Багоцкий, Н. И. Бухарин, оказывали помощь Ф. Адлер и Р. Брейтшейд, видные деятели коммунистического и социал-демократического движения.

Наиболее ценными приобретениями за границей в начале 30-х годов были подлинные материалы протокольной комиссии V съезда РСДРП — записи выступлений участников, конспекты речей Ленина, секретарская запись двух закрытых заседаний об изыскании средств на содержание делегатов, заявления в президиум, бюллетени съезда (переговоры о покупке этих материалов велись через посредство парижского антиквара Л. Бернштейна, а владельцем их был, предположительно, Г. И. Алексинский)⁴⁰; часть Поронинского архива — письма в «Правду», тексты выступлений большевистских депутатов в IV Государственной думе, заявления рабочих в большевистскую фракцию Думы, три тетради с записями отдельных заседаний Пражской конференции РСДРП, материалы Зиновьева (получены Ганецким в обмен на материалы о польском восстании 1863 г. и документы Ю. Пилсудского из советских архивов)⁴¹, архив С. М. Степняка-Кравчинского — переписка с Марксом, Энгельсом, Лавровым, П. А. Кропоткиным, В. И. Засулич, Н. В. Чайковским и др. (приобретен у вдовы революционера Ф. М. Степняк при содействии И. М. Майского)⁴².

Сквозной темой в переписке ИМЭЛ о получении материалов из-за рубежа являлись переговоры с Алексинским, который, как полагают, сфабриковал в июле 1917 г. совместно с контрразведкой фальшивые документы, оклеветал большевиков, а затем бежал за границу, где «примкнул к лагерю крайней реакции»⁴³. Хотя и порядочность Алексинского, и подлинность некоторых имеющихся у него документов вызывали сомнение, тем не менее переговоры о покупке его собрания велись с конца 20-х годов. Алексинский предлагал для продажи архивы Каприйской школы (отчеты о деятельности и переписка), группы «Вперед» (издания группы, кассовые книги, протоколы заседаний Венской конференции ликвидаторов в августе 1912 г., переписка с Троцким, А. М. Горьким, А. В. Луначарским, Д. З. Мануильским и др.), социал-демократической фракции II Государственной думы (отчеты о деятельности, запросы, наказания рабочих, крестьян, политзаключенных и т. п.). Затем в список для продажи Алексинский включил материалы о попытке размена большевиками экспроприированных денег осенью 1911 г., донесения агентов германского Генерального штаба о деятельности Ленина в Швейцарии в 1915—1916 гг., а также документы о связях сотрудников советских заграничных учреждений с местными спецслужбами⁴⁴.

Несмотря на столь широкий ассортимент предлагаемых Алексинским материалов, ИМЭЛ не торопился покупать их, останавливала цена. Алексинский горячился: «Вы только скажите товарищу Сталину, какие у меня документы — и он обязательно отпустит необходимые средства, чтобы их купить»⁴⁵. Тихомирнов, познакомившись в Париже с некоторыми документами из коллекции Алексинского, написал 20 октября 1935 г. Сталину: «Все документы (около 1000) представляли из себя значительный интерес для истории партии и в руках такого лица, как Алексинский, могли быть использованы в корыстных целях, ибо среди документов были письма Мануильского, Покровского и других, сильно их компрометирующие»⁴⁶. Поскольку ответа не последовало, находящийся в парижской командировке Тихомирнов сообщил в ИМЭЛ: «С Алексинским канитель продолжаю разводить, он добавляет документы и снижает понемногу цену. Пока так: он — 100 000 фр., я — 25 000, он 80 000 фр., я — 30 000. Он — 70 000 фр., я — 33 000 фр. И все-таки с ним легче, чем с социал-демократической сволочью»⁴⁷.

«Социал-демократическая сволочь» по терминологии Тихомирнова — члены ЦК СДПГ и специального комитета II Интернационала (Ф. Адлер, Л. Блюм, Ф. Дан, Ж. Лонге, В. Модильяни, А. Бракк), распорядившиеся интересовавшим ИМЭЛ архивом Маркса и Энгельса. Этот архив после 1933 г. при деятельном участии историка и собирателя материалов Б. И. Николаевского был доставлен в Париж. С ним и вел прежде всего переговоры Тихомирнов, а также присланные в помощь ему в марте 1936 г. Аросев, Адоратский, Бухарин. Кроме документов Маркса и Энгельса при посредничестве Николаевского удалось приобрести материалы редакции «Старой «Искры», резолюции комитетов РСДРП о созыве III съезда партии, материалы социал-демократической фракции III Государственной думы из архива Заграничной делегации меньшевиков, копии телеграмм Ленина В. Л. Бурцеву по делу о провокаторстве Р. В. Малиновского из Русского заграничного исторического архива в Праге⁴⁸. Николаевский не только выступал в качестве посредника между ИМЭЛ и владельцами документов, но и составлял для ИМЭЛ обзоры находящихся за рубежом наиболее интересных собраний по истории российского революционного движения (в свое время Рязанов платил Николаевскому за эту работу по 200 руб. золотом ежемесячно).

ИМЭЛ интересовали за границей, прежде всего, архив Заграничной делегации меньшевиков в Париже с документами группы «Освобождение труда», Союза борьбы за освобождение рабочего класса, Союза русских социал-демократов, Центрального бюро заграничных групп, личные материалы Плеханова, Засулич, Мартова, Аксельрода, Потресова, редакции «Искры» и пр.⁴⁹; Русский заграничный исторический архив в Праге, располагавший богатыми фондами представителей революционной эмиграции — Герцена, Чайковского, Бурцева и др.; архив и библиотека партии социалистов-революционеров в Белграде и Праге, где хранились материалы, начиная со времен Герцена и Бакунина; личный архив Аксельрода, в котором имелись материалы редакции журнала экономистов «Рабочее дело», включая протоколы совещания «Рабочего дела», «Искры» и «Зари» летом 1901 г.; архив бывшего секретаря Международного социалистического бюро (МСБ) К. Гюисманса, собравшего многие письма российских социал-демократов в МСБ⁵⁰.

До 1936 г. уполномоченные ИМЭЛ за границей довольно успешно использовали благоприятную для приобретения документальных материалов конъюнктуру, а именно: бедственное положение основных держателей интересующих Институт документов — немецких социал-демократов и российских меньшевиков — и отсутствие серьезного спроса на эти материалы со стороны других учреждений и лиц. 2 февраля 1936 г. Адоратский сообщил в ЦК ВКП(б): «Данные разведки говорят, что вся ставка германской социал-демократии сейчас на наши деньги»⁵¹. Однако с возникновением в Амстердаме Международного Института социальной истории у ИМЭЛ появился серьезный конкурент. Кроме этого, отношение к советским организациям в Европе с началом известных московских процессов изменилось — контактов с ними стали избегать. Во всяком случае, сведений о поступлении в ЦПА документов из-за рубежа после 1936 г. обнаружить не удалось.

К концу 30-х годов обострились и внутренние проблемы Центрального партийного архива, связанные с малочисленностью штата, переполненностью хранилищ, отсутствием организационного и методического обеспечения комплектования, запущенностью учета, неудовлетворительной обработкой материалов. Обследовавшая в начале 1939 г. ЦПА комиссия ЦК ВКП(б) к основным недостаткам работы архива отнесла бессистемное пополнение его фондов, в результате чего хранилища заполнили непрофильные материалы — документы «Народной воли», П. Л. Лаврова, С. М. Степняка-Кравчинского, Н. Ф. Даниельсона, Н. Флеровского, Б. Н. Кричевского, Бунда, Поалей—Цион, СДКПиЛ, ППС, эсеров, других лиц, учреждений, организаций. Личные архивы поступали на хранение без предварительного рассмотрения и установления их ценности, а в итоге в ЦПА оказалось «большое количество бумаг членов партии, не имеющих большого или даже никакого интереса для истории партии». Члены комиссии не преминули отметить, «что архив засорен бумагами врагов народа — Троцкого, Зиновьева, Каменева, Томского, Шляпникова, Рязанова, Антонова-Овсеево и ряда других... Эти бумаги нуждаются в разборке с целью выявления связей врагов народа. В архиве партии им, конечно, не может быть места»⁵².

Комиссией были намечены меры для исправления создавшегося положения, одной из которых предписывалось «из архивов врагов народа выделить все нужные материалы, все остальное уничтожить, для чего образовать комиссию из трех лиц, которой в месячный срок закончить свою работу»⁵³. В апреле 1939 г. такая комиссия была создана и руководство ИМЭЛ обратилось к Л. П. Берии о выделении сотрудника НКВД для работы в ней⁵⁴. Через некоторое время заведующая ЦПА А. Ф. Платонова доложила директору ИМЭЛ М. Б. Митину: «Представитель НКВД г. Фокин ознакомился, выборочно, с материалами и работать в комиссии не стал, сообщив, что, по мнению наркома, означенные материалы должны быть переданы из архива ИМЭЛ в распоряжение НКВД и что предложение наркома переданы Вам»⁵⁵. Но судя по дальнейшим неоднократным обращениям Платоновой в дирекцию ИМЭЛ о передаче фондов «врагов народа» в НКВД, никаких предложений наркомата в Институт не поступало. И «опальные» документы были запломбированы в сейфе архива до осени 1941 года.

По рекомендациям комиссии ЦК ВКП(б) в 1940 г. началась передача из ЦПА в другие архивы непрофильных материалов. В то же время ряд партийных учреждений настаивал на приеме в архив своих потерявших оперативное значение документов. Стало ясно, что без решения таких вопросов, как определение состава принимаемых на хранение материалов, источников и порядка комплектования, ЦПА дальше работать будет крайне трудно.

В связи с этим был подготовлен проект положения о Центральном партийном архиве. Предполагалось, что в него должны поступать утратившие оперативный характер документы из ЦК ВКП(б), его управлений и отделов, от организаций, находящихся при ЦК ВКП(б) — Комиссии партийного контроля, Высшей партийной школы, ИМЭЛ, Музея В. И. Ленина, газеты «Правда», политотделов наркоматов, ЦК ВЛКСМ, членов и кандидатов в члены ЦК, КПК и Ревизионной комиссии ВКП(б). ЦПА мог также получать важные историко-партийные материалы из местных партархивов, органов ГАУ⁵⁶. Проект положения фиксировал сложившуюся структуру ЦПА: в нем должны были функционировать секции архивов Маркса и Энгельса, Ленина, Сталина, личных фондов и фондов организаций, местных партархивов. Был разработан и проект инструкции «Условия приема архивных материалов от учреждений». Инструкцией предписывалось принимать документы в ЦПА только в обработанном виде, определялись принципы систематизации и обработки материалов, порядок оформления дел, составления сдаточных описей, регистрации приема⁵⁷. Обсуждение и утверждение этих важных для ЦПА нормативных актов происходило уже после войны.

Итак, за предвоенное десятилетие Центральный партархив, используя опыт и базу прежних партийных архивных центров и свое привилегированное положение, сумел сконцентрировать и сохранить многие категории историко-партийных документов и материалов по истории СССР. Был заложен фундамент основных фондов и коллекций архива, обозначилось место ЦПА в архивной системе страны, наметилась тенденция к сотрудничеству различных звеньев этой системы в области комплектования. Вместе с тем материальные трудности, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие научно-методического обеспечения не позволили наладить планомерное пополнение фондов ЦПА в 30-е годы.

Главной причиной, помешавшей полноценному комплектованию ЦПА, явилось его бесправное поло-

жение во взаимоотношениях с партийными учреждениями. Лишь 28 декабря 1966 г. было принято «Положение об Архивном фонде КПСС», регулировавшее различные вопросы организационной и практической деятельности партийных архивов и предоставившее им право контролировать работу текущих архивов учреждений⁵⁸. Но в особом положении остался общий архив ЦК КПСС. Несмотря на требование «Положения» о хранении в архиве ЦК КПСС документальных материалов не более 15 лет, в ЦПА до сих пор не переданы некоторые документы, начиная с 1919 года. Речь идет прежде всего о комплексе подлинных документов Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и части личных фондов.

Архивисты и историки ставят вопрос о передаче в ЦПА из ЦК КПСС материалов, сроки хранения которых в текущем архиве давно истекли. Со своей стороны, ЦПА предоставляет для широкого использования ранее засекреченные фонды. С недавнего времени исследователи могут получить документы Сталина, Зиновьева, Каменева, Радека, Раскольниково и других. Из документов, собранных архивом в 30-е годы, пока нет доступа только к фондам Коминтерна и некоторым материалам аппарата ЦК РКП—ВКП(б). Но если допуск к коминтерновским документам должен быть согласован с другими компартиями, то решение второго вопроса тормозится прежде всего традицией секретности в партийном архивном деле.

Примечания

1. См. Фонд документов В. И. Ленина. М. 1984; КОРНЕЕВ В. Е. Архивы ВКП(б). 1926—1941 гг. М. 1981.
2. В. И. Ленин, КПСС и партийные архивы. Сб. док. М. 1989, с. 48.
3. Центральный партархив (ЦПА) ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 347, оп. 1, д. 3, лл. 2—7.
4. Там же, л. 3. Правильность такого предположения подтверждает крайне скудный состав имеющихся в ЦПА фондов партийных фракций центральных организаций и учреждений за 20-е годы.
5. МАКСАКОВ В. В. Организация архивов КПСС. М. 1968, с. 84—85; КОРНЕЕВ В. Е. Ук. соч., с. 27—28.
6. Институт Ленина при ЦК ВКП(б). Отчет XVI партийному съезду. М. 1930, с. 19.
7. Этот архив был собран Польской комиссией Истпарта. С 1925 г. ей удалось получить материалы СДКПил, КПП, Польревкома в Белостоке, Польского бюро ЦК ВКП(б), личные документы (см. ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 159, лл. 3—4).
8. Там же, д. 89, лл. 20—21.
9. Там же, д. 12, л. 15.
10. Там же, д. 13, л. 13.
11. Там же, дело фонда 17, т. 3, п. 11, лл. 61—62.
12. Там же.
13. Там же, ф. 347, оп. 1, д. 196, лл. 5, 16—19.
14. Там же, л. 8.
15. Архив этот был переправлен из-за границы в Россию вслед за возвращением сюда Струве в 1905 году. Затем его бумаги и книги были отданы на хранение в Библиотеку Российской Академии наук, где и находились долгое время в неразобранном виде. В начале 30-х годов в ЦПА поступили главным образом материалы редакции журнала «Освобождение» и переписка Струве с Г. В. Плехановым, Н. В. Водовозовым, С. Н. Булгаковым, А. Н. Потресовым, П. Б. Аксельродом, А. А. Богдановым и др. до 1911 года. Материалы Струве, поступившие в СССР из-за рубежа после второй мировой войны, находятся в ЦГАОР СССР.
16. Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б). Отчет XVII съезду ВКП(б). М. 1934, с. 92—104.
17. Там же, с. 82.
18. ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 5, д. 12, лл. 6—8.
19. Там же, л. 10.
20. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 9-е. Т. 6, с. 295—296.
21. ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 3, д. 187, л. 51.
22. Там же, д. 71, л. 50.
23. Там же, д. 117, л. 157.
24. Там же, л. 252.
25. Там же, л. 68.
26. См. В. И. Ленин, КПСС и партийные архивы, с. 112—113, 118.
27. Эти документы чуть было не погбили во время пожара в марте 1931 г., когда сгорела библиотека в доме Троцкого на Принцевых островах. Предпринимались неоднократные попытки кражи из его архива документов, в том числе и безуспешные, как это случилось в ночь на 7 ноября 1936 г. в Париже. Многие исследователи, вслед за Троцким, считают эту кражу делом рук НКВД, причисляя

к исполнителям акции и С. Я. Эфрона (см. БРОССА А. Агенты Москвы. — Иностранная литература, 1989, № 12, с. 233). Опасаясь за судьбу своего архива, Троцкий в 1936 г. передал копии более чем 800 документов времени гражданской войны в Международный институт социальной истории (МИСИ) в Амстердаме. Институт стал затем владельцем материалов возглавляемых Троцким организаций — предшественников IV Интернационала: Международной левой оппозиции и Интернациональной коммунистической лиги. Это — протоколы учредительных конференций, их пленумов, различных собраний, циркуляры, бюллетени, переписка секретариата с национальными секциями в Европе и Азии, Америке и Африке, переписка Троцкого с Е. Бауэром, Ж. Мартином, Р. Молинером, Л. Седовым и др., рукописи некоторых книг и статей Троцкого (см. VAN DER HORST A., KOEN E. Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam. Amsterdam. 1989, pp. 164—165). В 1939 г. была достигнута договоренность с Гарвардским университетом о передаче ему на хранение бумаг Троцкого. В подготовке материалов к сдаче принимал участие сам Троцкий, прокомментировавший некоторые из них. Вскоре после убийства Троцкого его жена Н. И. Седова передала в Гарвард все документы покойного. В настоящее время в библиотеке Гарвардского университета насчитывается около 17,5 тыс. документов Троцкого, более 4 тыс. из них — авторские (см. VAN HEIJENOORT J. The History of Trotsky's Papers. — Harvard Library Bulletin, Vol. XXVIII, Cambridge (Mass). 1980, pp. 291—298). Самый ранний документ этого собрания датирован 31 января 1918 г. и касается брест-литовских переговоров. Дата последнего — 17 августа 1940 года. Помимо семейной корреспонденции, переписки по издательским делам, рукописей и записных книжек Троцкого, здесь собрана переписка с различными деятелями ВКП(б) и сторонниками Троцкого в разных странах мира, материалы о деятельности IV Интернационала, издания троцкистов (см. РОМАНОВСКИЙ Н. Где архив Троцкого? — Знания — народу, 1989, № 2, с. 36, 40).

28. ЦПА ИМЛ, дело фонда 325, т. 1, с. 3.
29. Там же, с. 6.
30. Там же, ф. 326, оп. 1, д. 71, л. 1.
31. Там же.
32. Там же, дело фонда 324, т. 1, лл. 1—4.
33. Там же, ф. 71, оп. 3, д. 12, л. 145.
34. ВОЛКОГОНОВ Д. Триумф и трагедия. — Октябрь, 1988, № 12, с. 54.
35. ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 3, д. 12, лл. 2, 26.
36. Там же, дело фонда 325, т. 5, л. 12.
37. Там же, т. 1, л. 18.
38. Там же, ф. 71, оп. 1, д. 60, л. 93.
39. СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Архипелаг ГУЛАГ. — Новый мир, 1989, № 8, с. 79.
40. ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 3, д. 58, л. 161.
41. Там же, д. 48, лл. 88—91.
42. Там же, д. 63, л. 223.
43. См. ЛЕНИН В. И. Полн. собр. соч. Т. 32, с. 549.
44. ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 3, д. 63, л. 29; д. 191, лл. 1—29, 62—64, 105.
45. Там же, д. 63, л. 29.
46. Там же, л. 27.
47. Там же, л. 57. «Канитель» с Алексинским продолжалась вплоть до конца 40-х годов, когда наиболее ценные документы из его коллекции ушли за океан.
48. Там же, лл. 108—109; д. 71, лл. 285—286.
49. Этот архив (по иной классификации — Меншевицкий центральный архив) был образован в 1912 г. на базе историко-революционного архива, переданного в распоряжение РСДРП князем Д. О. Бебутовым. Архив находился в Берлине в здании органа СДПГ «Vorwärts». Заведовал архивом Г. М. Вязьменский. В 30-е годы архив переместился в Париж. Впоследствии собрание это оказалось распыленным, часть материалов приобрел МИСИ в Амстердаме.
50. ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 3, д. 71, лл. 284—292, 306—308.
51. Там же, д. 72, л. 68.
52. Там же, д. 109, лл. 140—141.
53. Там же, л. 138.
54. Там же, д. 114, л. 49.
55. Там же, оп. 5, д. 22, л. 50.
56. Там же, лл. 113—114.
57. Там же, д. 298, лл. 17—20.
58. См. В. И. Ленин, КПСС и партийные архивы, с. 59—70.

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

От Крещения Руси до нашествия Батыя

Протоиерей Владислав Цыпин

Крещение Руси при Владимире явилось поворотным событием в истории нашего народа. Русь приняла христианство от Византии, стоявшей на рубеже тысячелетий на вершине христианской цивилизации. Тем самым Русь включилась в орбиту влияния центра мировой культуры, который в ту пору находился на Босфоре. Христианская православная Русь родилась не в одночасье: Крещение киевлян и последовавшее за ним обращение в христианство всей Русской земли, продолжавшееся, вероятно, в течение целого столетия, имело свою предысторию. И все-таки то, что произошло в Киеве в 988 г., было подлинно глубинным переворотом, тектоническим сдвигом в отечественной истории, когда, собственно, Русь и обрела свое духовное лицо.

«История русской культуры начинается с Крещения Руси. Языческое время остается за порогом истории»¹, — писал протоиерей Георгий Флоровский. В этих словах есть, очевидно, полемическое преувеличение. Скажем более осторожно: предыстория христианства на Руси была одновременно и предысторией Русского государства, русской культуры. Св. Владимир, княжеская семья и дружина, киевляне крещены были священниками-греками, но славянская Русь, в отличие от германских народов, которые усваивали Евангелие на чужом, латинском, языке, воспринимала христианское просвещение в кирилло-мефодиевской редакции; она получила священные, богослужебные и святоотеческие книги на родном языке, который был тогда одинаково понятен на Дунае и на Влтаве, на Висле и на Днепре. Тем органичней и естественней совершалось воцерковление нашего народа, тем глубже заронялись в сердца людей семена христианского благовестия, тем скорее Русь языческая преображалась в Русь православную.

Из бесспорного болгарского посредничества в книжном просвещении Руси известный церковный историк А. В. Карташев сделал ошибочный вывод, что в первые полвека своего бытия Русская церковь находилась в юрисдикции Болгарской патриархии, низведенной после катастрофического поражения царя Самуила в 1014 г. до ранга архиепископии². Никаких документальных данных, которые бы подтверждали эту гипотезу, ни в русских, ни в болгарских, ни в византийских, ни в западных источниках нет. У Карташева есть, однако, свое объяснение отсутствию документов, которые бы подтверждали его концепцию. «В 1037 г., — пишет он, — над Болгарской церковью уже поставлен был грек — Лев. И в связи с этим перед Киевским князем Ярославом Владимировичем встал уже неустрашимый факт, так сказать, автоматической подчиненности Русской церкви Константинопольскому патриарху... Ярослав должен был принять каноническое грековластие. Вот почему именно в 1037 г. Киев получает своего первого митрополита Феопемита-грека».

«Греческая отныне (с 1037 г.) митрополия стала центром переработки русской летописи и литературных преданий о начале Русской церкви... — пишет Карташев. — Оттого мы блуждаем в каком-то преднамеренном тумане бестолковых и противоречивых сказаний о Крещении Руси при князе Владимире и о первых днях жизни и устройства Русской церкви»³. Слов нет, Повесть временных лет, первоначальная

Владислав Цыпин — доцент Московской Духовной Академии.

русская летопись, — это сложный по своему составу свод; многие тексты в нем не раз редактировались, перерабатывались, переписывались⁴. В нем есть, конечно, и противоречия, и неточности, и фактические ошибки. Но подозревать летописца в сознательной фальсификации событий, которые совершались не в провинциальной глуши, не в тиши дворцовых покоев, а на виду у всей Руси и всего мира, происходили не в незапамятные времена, а на памяти свидетелей, живших во времена составления летописных записей, — это слишком сильная и оттого неправдоподобная гипотеза.

О юрисдикционном положении Русской церкви в первые десятилетия после ее рождения существовала еще одна оригинальная гипотеза. Е. Е. Голубинский, проводя параллель между началами международного права и теми нормами, которыми руководствуются поместные церкви в своих взаимоотношениях, писал: «Частная церковь Греческая имела совершенно такое же право подчинить себе частную церковь Русскую, какое право имело бы государство Греческое подчинить себе государство Русское, то есть не имела права ни малейшего и вовсе никакого»⁵. И противоположная, с точки зрения Голубинского, зависимость Русской церкви от Греческой — от Константинопольского престола — это явление позднейшее, а первоначально Русская церковь была независима, автокефальна. «Существуют основания думать, — пишет он, — что первоначально дело было не так, а именно, что Русская церковь первоначально получила было самостоятельность, или независимость». Впрочем, сам ученый замечает: «Наше предположение эпизода автокефалии не имеет особенной твердости, и мы не настаиваем на нем усиленным образом»⁶. Настаивать на первоначальной автокефалии значило бы настаивать на совершенно беспримерном явлении в церковной истории.

Ни в древности, ни в новое время не известно ни одного случая, когда бы новообразованная поместная церковь не находилась в течение более или менее длительного времени (часто на протяжении столетий) в канонической зависимости от церкви-матери. Церковное предание, письменные источники, логика церковноисторического процесса однозначно свидетельствуют о том, что и история Русской церкви не была в этом отношении исключением. До середины XV в. она находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата как одна из его митрополий, несмотря на то, что Русь была независимым государством с огромной территорией, превосходившей в ту пору размеры Византийской империи, с более чем 5-миллионным населением. По тем временам это было много, это численность населения великой страны. В Англии в 1086 г. проживало всего 1,7 млн. человек⁷.

Несмотря на это, Русская митрополия в константинопольских диптихах занимала одно из последних мест: в древнейшем из них — 61-е, а в более позднем, составленном уже при императоре Андронике Палеологе (1306—1328), — 70-е. Рядовые митрополии Константинопольского патриарха, занимавшие более почетные места в росписях, по числу православных жителей часто многократно уступали не только всей Киевской митрополии, но и ее отдельным епархиям.

В Византии каноническое основание для зависимости Русской церкви находили в 28 правиле Халкидонского собора: «Посему токмо митрополиты областей Понтийския, Азийския и Фракийския, а также епископы у иноплемеников вышереченных областей да поставляются от вышереченного святейшего Престола Константинопольския церкви». Считать русских иноплемениками Фракии или Понта, то есть варварами, земля которых примыкает к этим диоцезам, — это, конечно, смелая географическая натяжка, но как церкви-матери Константинопольскому патриархату принадлежало законное право определять статус рожденной от нее Русской митрополии.

Исторический парадокс заключался в том, что наша церковь была зависима не только от Цареградского патриарха и Синода, но и от императора ромеев. В важнейших актах Константинопольской патриархии, касавшихся Киевской митрополии, упоминалось, что они изданы с согласия «высочайшего и святого самодержца» или по его прямому распоряжению. В византийском церковном и государственно-правовом сознании василевс мыслился как хранитель догматов и христианского благочестия, как верховный защитник Православия, а значит, и как самодержец (автократор) всех православных народов. Ныне это может показаться курьезом, но для средневекового правового сознания, чуждого племенного, национального сепаратизма, пронизанного унитарной, космической идеей, было вполне естественно, что все православные государи считались вассалами императора. «Правители прочих государств получали от него, в зависимости от их политического веса и родственных связей с правящей в Константинополе династией, титулы архонтов, князей, стольников. В своем труде «О церемониях» Константин Багрянородный писал, что к болгарским царям следует обращаться так: «К любезному и вдохновенному нашему сыну — архонту христианского народа болгар»⁸.

Киевскому великому князю в XII в. в Константинополе усвоили скромный придворный титул стольника. Имя императора поминалось за богослужением в русских храмах. Вассальная зависимость Руси от Византии была, конечно, этикетной фикцией, но фикцией, глубоко укорененной в правосознании христианского средневековья. Существует любопытный исторический документ, относящийся, правда, к более поздней эпохе, но пресоходно иллюстрирующий притязательность византийского правосознания. В конце XIV в., когда Ромейская держава, приближаясь к своему концу, умалилась до столицы с ее ближайшими окрестностями, великий князь Московский Василий Дмитриевич не велел митрополиту возно-

сить имя императора во время богослужения, мотивируя это тем, что «русские имеют Церковь, а царя не имеют и знать не хотят».

Слух об этом нововведении дошел до Константинополя, и патриарх Антоний направил великому князю Василию грамоту, в которой писал: «Святой царь занимает высокое место в церкви, он — не то, что другие местные князья и государи. Цари в начале упрочили и утвердили благочестие во всей вселенной, цари собирали вселенские соборы, они же подтвердили своими законами соблюдение того, что говорят божественные и священные каноны о правых догмах и о благоустройстве христианской жизни; много подвизались против ересей. За все это они имеют великую честь и занимают высокое место в церкви. И если, по Божию попущению, язычники окружили владения и земли царя, все же до настоящего дня царь получает то же самое постановление от церкви, по тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан. На всяком месте, где только именуется христиане, имя царя поминается всеми патриархами, митрополитами и епископами, и этого преимущества не имеет никто из прочих князей или местных властителей. Невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя... Но все, и сверху и снизу, гласит о царе природном, которого законоположения исполняются во всей вселенной, и его только имя повсюду поминают христиане, а не чье-либо другое»⁹. И Константинопольский патриарх добился того, чтобы на Руси возобновлено было возношение «божественного царского имени».

Константинопольские патриархи вместе с Синодом и в согласии с императором назначали и посвящали митрополитов для Русской церкви. Осуществляя высший надзор над митрополитами, патриархи требовали от них сведений о состоянии церковных дел на Руси. В Константинополе окончательно разрешались возникавшие на Руси церковнообрядовые недоумения и споры. Патриархам вместе с Синодом принадлежало право суда над Киевскими митрополитами по жалобам на них епископов или князей, право получения установленной дани от митрополита, право ставропигии. Из Царьграда присылали на Русь святое миро, что служило символом церковной независимости.

На самой Руси главой церкви был митрополит Киевский. Свою власть он осуществлял вместе с собором епископов. Как правило, вопросы о замещении вдовствующих кафедр митрополиты согласовывали с великими князьями; а также теми удельными князьями, в чьих владениях находились вдовствующие кафедры. В Новгороде владыки избирались народом и клиром, и только после этого посвящались митрополитом и собором. Как высшие пастыри всей Русской земли митрополиты имели также право административного надзора над всеми епархиями Русской церкви; вместе с собором они вершили суд над епископами, обвиненными в канонических преступлениях. Все епархии платили дань на содержание митрополитской кафедры.

Когда же была учреждена на Руси митрополия и кто был первым ее митрополитом? Церковная традиция на эти вопросы дает однозначные ответы: митрополитская кафедра учреждена на Руси в год ее Крещения, а первым главой Русской церкви был святитель Михаил. Иначе обстоит дело с исторической наукой, опирающейся на разногласящие летописные источники. Историки по-разному отвечают на эти вопросы.

Повесть временных лет впервые упоминает митрополита под 1039 г.: «В лето 6547. Священа бысть церкы святыя Богородица, ю же созда Володимир, отец Ярославль, митрополитом Феопентом»¹⁰. То, что на Руси были митрополиты и до Феопемпта, — это бесспорно. В «Сказании о Борисе и Глебе», там, где повествуется о чудесах, явленных от мощей этих святых страстотерпцев, а хронологически это относится к первым годам княжения Ярослава Мудрого, упоминается митрополит Иоанн¹¹. Но о нашем первом митрополите в Повести временных лет ничего не сказано. Сведения о нем есть в позднейших летописных сводах. Они дают, однако, разноречивые известия. Софийский современник и Воскресенская летопись называют первым митрополитом Русским Леона, а Степенная книга и Никоновская летопись — Михаила, приведенного на Русь из Корсуни в 988 г. и имевшего преемником своим Леона¹².

Разночтения обнаруживаются и в разных списках «Устава князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных». Одни списки Устава первым митрополитом называют Михаила, другие — Леона, но те и другие содержат при этом странный анахронизм, связывая первого русского митрополита и св. Владимира (в крещении Василия) с именем Патриарха Фотия, как известно, жившего в IX столетии. В Оленинской редакции Устава говорится: «Се яз, князь великий Василей, нарицаемый Володимир, сын Святославль, внук Игорев и блаженныя Ольгы, усприал есмь крещение святое от греческих цареи Константина и Василия и Фотей патриарха, взяв перваго митрополита Михаила на Киев и на всю Русь, иже крести всю землю Рускую», а в синодальной редакции Устава вместо имени Михаила стоит имя Леона¹³.

Голубинский из этих противоречивых сведений делает вывод, что св. Михаил был митрополитом тех руссов, которые крещены при Патриархе Фотии, совсем не киевских, и, вообще, не славян, а германцев; а первым митрополитом Киевским был Леон. У составителя Степенной книги, пишет он, «оказались два свидетельства о первом нашем митрополите, полученном от патриарха Фотия, и ему предстояло решить, которое свидетельство правильнее: он и решил, что правильнейшее свидетельство есть то, которое называет его Михаилом. Ясны при этом и побуждения, которые могли заставить его склониться в пользу

такого решения: в позднейших редакциях первоначальной летописи, называющих первым митрополитом Леона, говорится, что он был получен Владимиром в 991 г., а между тем по этим редакциям, как и по древнейшей, сам Владимир крестился в Корсуни в 988 г., следовательно, по этим редакциям от крещения Владимира до прибытия Леона оставался промежуток времени без митрополита. Находя в своих известиях другого митрополита, кроме Леона, то есть Михаила, составитель, естественно, и заподозрил, что в наших редакциях первоначальной летописи пропуск и что на пустой промежуток должен быть поставлен именно тот другой митрополит, которого он находил в сказаниях»¹⁴.

Попытку решить вопрос о первом митрополите Киевском, не входя в противоречие с церковным преданием, делает автор фундаментальной работы по русской церковной истории митрополит Макарий (Булгаков). Помимо летописных известий, он особое значение придает древним киевским синодикам первоиерархов. Во всех них имя святителя Михаила стоит на первом месте. «Справедливы и те, — пишет митрополит, — которые называют первым русским митрополитом Михаила, потому что он был первым в ряду главных иерархов, прибывших к нам из Греции еще при св. Владимире, и как епископ Киевский мог носить имя митрополита, но властью митрополита не пользовался, ибо подчиненным ему епископам в России еще не существовало. Справедливы и другие, называющие первым русским митрополитом Леона, потому что он первый разделил Русскую Церковь на епархии, и таким образом явился в ней первым митрополитом по власти»¹⁵. Нет оснований считать, что выводы Голубинского о нашем первом митрополите опровергают осторожную и взвешенную позицию митрополита Макария, согласованную с церковным преданием.

О большинстве митрополитов XI столетия — Иоанне I, Феопемпте, Ефреме, Георгии, Иоанне II, Иоанне III, Николае I — до нас дошли крайне скудные сведения, об одних — просто упоминания в Летописи, о других известно чуть больше. Так, о митрополите Георгии мы знаем из летописной записи под 1072 г. (6580) о прославлении Бориса и Глеба, что он, сомневаясь прежде в святости князей-страстотерпцев, был вразумлен чудесным явлением, которое совершилось при перенесении их мощей: «И принесеше в новую церковь, отверзоша раку, исполнися благоуханья церкы, вонне благы; видевше же се, прославиша Бога. И митрополита ужась обиде, бе бо нетверд верою к нима; и пад ниц, просяще прощенья»¹⁶.

Несколько больше известно о митрополитах Иоанне II и Иоанне III. Под 1089 г. (6597) в Повести временных лет говорится: «В се же лето преставися Иоан митрополит; бысть же Иоан муж хытр книгам и ученью, милостив убогым и вдовицам, ласков же ко всякому, богату и убогу, смирен же и кроток, молчалив, речист же, книгами святыми утешая печальныя, и сякого не бысть преже в Руси, ни по нем не будет сяк». И дальше под тем же годом: «В се лето иде Янка в греки, дщи Всеволожа, нареченая преже: приведа Янка митрополита Иоана скопчину, его же видевше людье все рекоша: «се навье (мертвец. — В. Ц.) пришел». От года бо до года прибыв, умре; бе же се муж не книжен, но умом прост и просторен»¹⁷.

Почти все митрополиты киевской эпохи были греками или, возможно, южными славянами, но и в этом случае (а положительного о такой возможности ничего сказать нельзя) — людьми греческой культуры. По мнению Голубинского, вполне основательному, «митрополиты, вступление которых на кафедру отмечено в летописях и о вступлении которых говорится как о приходе «приде митрополит»,.. все были греки»¹⁸. Вероятно, многим из них славянский (русский) язык был либо вовсе неизвестен, либо они овладевали им уже на Руси. Незнание языка не могло не затруднять их отношений с духовенством и народом.

Но греческое происхождение первых митрополитов Киевских имело и благие последствия для Церкви и Русского государства. Независимость их, подданных царьградских василевсов, от местного великого князя в известной мере ограждала церковь от неправомерного вмешательства в ее внутренние дела со стороны княжеской власти. А в эпоху, когда после Ярослава Мудрого началось дробление Русской земли на уделы, независимые от князей митрополиты оставались средоточием и символом единства Руси. В княжеских междоусобицах они являли себя миротворцами, гарантами соблюдения княжеских договоров. Митрополит Михаил, по словам Карташева, «все силы напрягал, чтобы остановить бурные междоусобия и примирить враждующие стороны, чего ему и удавалось иногда достигать. Еще в 1134 г., будучи случайно в Новгороде, митрополит Михаил протестовал против войны Мстиславичей с своим дядей Юрием Долгоруким, но был посажен за это в заключение, из которого вышел после поражения непослушных ему князей»¹⁹. Когда же в 1136 г. под Киевом вышли на поле боя навстречу друг другу дружины черниговских Ольговичей и Мономаховичей, владевших Киевом, то митрополит Михаил, по словам летописца, «ходяю межю ими ... со крестом»²⁰ и примирил их крестным целованием.

Значительно больше, чем о митрополитах-греках, известно о первом Предстоятеле Русской церкви русского происхождения Иларионе. Его первосвятительское служение приходится на княжение Ярослава Мудрого, исключительно важный период в отечественной истории в целом и в истории распространения и утверждения христианства на Руси в частности. Летописец пишет о великом князе Ярославле: «И при сем нача вера хрестьянская плодятся и разширяти, и черноризцы почаша множитися, и манастыреве почи наху быти. И бе Ярослав любя церковныя уставы, попы любяше повелику, излиха же черноризце, и книгам прилежа и почитая е часто в нощи и в дне; и собра писце многы, и прекладаше от Грек на Словенское писмо, и списаша книги многы, и сниска, ими же поучашея вернии людье, наслаждаются ученья боже-

ственного. Якоже бо се некто землю разорет, другый же насеет, ини же пожинают и ядят пищу бескудну; тако и се, отец бо сего Володимер взора и умягчи, рекше крещеньем просвятит: се же насяя книжными словесы сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное»²¹.

Митрополит Иларион упоминается в первоначальной летописи под 1051 (6559 г.): «Постави Ярослав Лариона митрополитом Русина в святей Софьи, собрав епископы». Летописец рассказывает и о его жизни до поставления митрополитом: «Боголюбивому князю Ярославу любящую Берестово, и церковь ту сущую святых Апостол, и попы многы набядящу, в них же бе презвутер, именем Ларион, муж благ, книжен и постник; хожаше с Берестоваю на Днепр, на холм, где ныне ветхий монастырь Печерьский, ту молитву творяше. Бе бо ту лес велик. Ископа печерку малу, двусажену, и приходя с Берестового, отваше часы и молящся ту Богу втайне»²².

Молитвенник, постник, аскет, митрополит Иларион был еще и человек большой учености, мыслитель, богослов, знал греческий язык. До нас дошло его «Слово о законе и благодати», древнейший и совершеннейший памятник оригинальной русской письменности, обнаруживающий глубину богословской и историсофской мысли автора, его основательную начитанность в Священном Писании и святых отцах, знание всемирной истории и, наконец, редкий дар слова.

В исторической науке сложилось устойчивое мнение, что митрополит Иларион был поставлен против воли Константинопольской патриархии и в Константинополе его поставления не признали²³. Возможно, и так, но твердых оснований утверждать это нет. Время митрополитства Илариона не отмечено каким-либо кризисом в отношениях между Русью и Византией. Поэтому антигреческая тенденция князя Ярослава Мудрого, проявившаяся будто бы в поставлении митрополитом русина — это мало обоснованный домысел. После 1054 г. имя митрополита Илариона исчезает из летописи. М. Д. Приселков предложил гипотезу для объяснения бесследного исчезновения этого имени из памятников письменности. Она заключается в отождествлении митрополита с преподобным Никоном Великим, житие которого хорошо известно по Киево-Печерскому патерику. Карташев находит это предположение вполне основательным: «Иларион, — пишет он, — сойдя с трона, посхимился с именем Никона в Печерском монастыре и был его выдающимся деятелем. Он был Никоном — составителем летописи, и дипломатом, и миссионером, строителем монастыря в Тмутараканской области (откуда он, по гаданью некоторых, и происходил) и преемником по игуменству преподобного Феодосия»²⁴.

Один из доводов, приводимых историком в пользу этой гипотезы, — то обстоятельство, что митрополит Иларион не был причислен к лику святых. «Митрополит Иларион, — пишет он, — по всем данным должен был бы быть канонизованным русским святителем. А между тем, его имени среди русских святых мы не находим. Понятно, что в раннее киевское время этого не допустили бы митрополиты-греки. Но что мешало этому в московский период?»²⁵ Аргумент не совсем серьезный. Основанием для канонизации служат не соображения о достоинствах прославляемого лица, а очевидные проявления благодати Божией чрез его мощи, по молитвам к нему, и почитание подвижника народом. Поэтому умозрительно рассчитывать вероятность канонизации того или иного церковного деятеля и из отсутствия ее делать вывод, что он был прославлен под другим именем, — это слишком зыбкое построение, которое едва ли может быть чем-то большим, чем крайне смелой гипотезой.

Ничего не известно о реакции Константинопольской патриархии на поставление митрополитом русина Илариона. Но хорошо известно из летописи, что когда через сто лет после Илариона на Киевскую кафедру был возведен другой русин, Климент Смолятич, это, действительно, вызвало серьезные осложнения в церковных и политических отношениях Руси с Византией, а также опасное разделение в епископате самой Русской церкви. До поставления на митрополичий престол Климент был монахом Зарубского монастыря. Монастыри с таким названием были в Киеве и Смоленске. Прозвище «Смолятич» дает основание предполагать, что до возведения на митрополию он подвизался в смоленском монастыре; не исключается, однако, и то, что Смолятичем он назван по месту своего рождения. В летописи дается высокая оценка его учености: «Бысть книжник и философ, так якоже в Руской земли не бяшет»²⁶. До нас дошло его «Послание к пресвитеру Фоме Смоленскому»²⁷.

В 1146 г., после очередной междоусобицы, в Киев вступил князь Изяслав Мстиславич. Митрополит Михаил, прежде упорно противодействовавший политическому насилию, в это время, вероятно, находился в Константинополе; и князь решил в его отсутствие поставить на первосвятительский престол русского по происхождению монаха. 6 епископов (Черниговский Онуфрий, Переяславский Евфимий, Юрьевский Даниил, Белгородский Феодор, Владимиро-Волынский Феодор и Туровский Иоаким) изъявили готовность покориться княжеской воле. Но епископы Смоленский Мануил, грек по происхождению, Полоцкий Косма, вероятно, тоже грек, и Новгородский Нифонт, родом из Киева, но долго живший в Византии, выступили против княжеского намерения. Изяслав, однако, пренебрег их протестом и созвал собор, в котором участвовали епископы, послушные князю. Как пишет Карташев, «на избирательном соборе Онуфрий Черниговский придумал казуистический аргумент для оправдания самочинного поставления русского митрополита. Греки, говорил он, ставят патриархов рукою Иоанна Предтечи. А у нас в Киеве есть глава святого Климента папы римского. По-видимому, и Климент Смолятич как раз носил имя

этого святого папы. Климент был поставлен именно в Софийском соборе 27 июля 1147 г. в день великомученика Пантелеймона — день именин великого князя Изяслава по его церковному имени²⁸.

Но епископы Нифонт, возглавивший оппозицию новому митрополиту, Мануил и Косма не поминали имени Климента за богослужением. Свяителя Нифонта, по повелению князя, схватили, доставили в Киев, где митрополит Климент запретил его в священнослужении. За неповиновение он был заключен в Киево-Печерский монастырь, но, как пишет летописец, «Патриарх же присла к нему грамоты, блажа и и причитая к святым его; он же более крепляється, послушывая грамот патриаршь»²⁹. В 1149 г. Юрий Долгорукий изгнал своего племянника Изяслава из Киева. Св. Нифонт был освобожден, а Климент вместе с Изяславом бежал во Владимир-Волынский. Вскоре, однако, Изяслав сумел отвоевать Киев. Вместе с ним в столицу вернулся и митрополит Климент. В 1155 г. Изяслав передал Киев своему брату князю Смоленскому Ростиславу Мстиславичу. Но в том же году Юрий Долгорукий изгнал Ростислава из Киева. И опять Климент бежал на Волынь.

Между тем Константинопольский патриарх назначил на Русскую митрополию нового митрополита Константина. Св. Нифонт не дождался его, представившись до его прибытия на Русь. Митрополита встречали в Киеве великий князь Юрий Долгорукий, епископы Мануил и Косма. Заняв митрополичью кафедру, Константин, по словам летописца, «испровергши Климову службу и ставления... и благославиша князя Гюргя Володимирича»³⁰. Покойный князь Изяслав был посмертно анафематствован новым митрополитом. В 1158 г., после смерти Юрия Долгорукого, великокняжеский престол снова перешел к его племяннику Ростиславу Мстиславичу, который на этот раз уже не захотел иметь рядом с собой митрополита, не признанного в Константинополе. «Не хочу Клима у митрополи видити, не взял благословения от святых Софья и от патриарха», — заявил он. Но сын Изяслава Мстислав, который помог дяде взойти на великокняжеский стол, запротестовал против оставления на митрополичьей кафедре Константина: «Не будет Константин в митрополи, зане клял ми отца»³¹. Князья договорились просить у патриарха нового митрополита.

Новый Предстоятель Русской церкви митрополит Феодор прибыл на Русь в 1161 году. Тем временем митрополит Константин скончался в удалении от митрополичьей кафедры в Чернигове в 1159 году. Поразительно составленное им завещание. «По смерти моей, — обращается он в нем к епископу Черниговскому Антонию, — не погребай моего тела, а привязав к ногам веревку, вытащите меня из города и повергните псам на съедение»³². Завещание это не было выполнено из-за вмешательства князя Черниговского Святослава.

Климент в последний раз упоминается в летописи под 1163 годом. На митрополичий престол он уже не возвращался, хотя в этом году, после кончины митрополита Феодора, князья договорились восстановить его на митрополии, однако с тем условием, чтобы он был канонически правильно поставлен в Константинополе. Но из Византии на Русь уже послан был митрополит Иоанн IV.

Церковная смута середины XII в. явилась, с одной стороны, отражением и продолжением княжеской междоусобицы, а с другой — это было первое, еще болезненное, проявление возрастания русского национально-церковного самосознания; первое бесспорное обнаружение притязаний великих князей Киевских на церковную самостоятельность Руси.

Церковное устройство на Руси заметно отличалось от византийского прежде всего огромными размерами епархий. При императоре Юстиниане (VI в.) в Византии насчитывалось около тысячи епархий. Не менее половины этого числа оставалось на сохранившейся территории империи ко времени Крещения Руси. В Византии нормой было в каждом городе иметь епископскую кафедру, а в провинции — митрополию. На Руси же все пространство государства составило одну митрополию, а епископские кафедры открывались, как правило, в удельных столицах. Хотя по плотности населения в ту пору Русь многократно уступала Византии, все-таки местные епископии, превосходя греческие территориально едва ли не в сотню раз, десятикратно превосходили их по численности населения, в котором, правда, христиане стали составлять большинство, вероятно, лишь к концу XI в.

Слово «епархия» (греч. — «провинция»), по первоначальному значению обозначающее в церковном делении митрополичий округ, а вовсе не епископию, у нас стало употребляться для обозначения епископии; уж слишком несопоставимы были огромные русские епископии с византийскими; территориально и по населению их можно было сравнивать разве с греческими митрополиями. Подобное явление наблюдалось и в Западной Европе. В средневековье в Италии, на древней христианской земле, епископских кафедр было значительно больше, чем к северу от Альп, где христианство утвердилось позже.

Вскоре после учреждения митрополии на Руси епископские кафедры были открыты в нескольких городах; по Никоновской летописи, в Новгороде, Чернигове, Ростове, Владимире-Волынском, Белгороде и, добавляет летописец, «по иным многим градам»³³. Какие это были «иные грады»? Из летописи известно об основании всех остальных епископских кафедр Древней Руси уже после св. Владимира, за исключением Полоцкой, Туровской и Тьмутараканской.

Полоцк в древности был главным городом полоцких кривичей. Потом он стал удельной столицей, причем Полоцкий удел обособился первым в результате того, что владевший им Брячислав, князь-изгой,

утратил право на наследование великокняжеского престола после смерти своего отца Изяслава еще при жизни деда, св. Владимира. Учреждение в этом городе епископии при Крестителе Руси представляется вполне вероятным. Туров был главным городом дреговичей. Св. Владимир отдал его в удел своему старшему сыну или племяннику Святополку; по словам летописца, «Володимер же залеже жену братню Грекиню, и бе непраздна, от нея же родился Святополк... Бе бо от двою отцю от Ярополка и от Володимера»³⁴. Открытие епископской кафедры в Турове при св. Владимире тем вероятней, что после него этот город постепенно стал терять значение и приходил в упадок; учреждение в нем епископской кафедры при Ярославе Мудром и тем более во времена удельной раздробленности представляется едва ли возможным. Наконец, что касается Тьмутараканской кафедры, находившейся в земле, отделенной от Киевской Руси кочевьями степняков, то она была лишь возобновлена, а может быть, хотя это менее вероятно, существовала и непрерывно со времен значительно более ранних, чем Крещение Руси, ибо Тьмутаракань — это древняя византийская Таматарха, кафедра которой уже при Льве Мудром имела ранг архиепископии.

Таким образом, первые кафедры на Руси были открыты в стране словен (Новгород), кривичей (Полоцк), дреговичей (Туров), волянн (Владимир), северян (Чернигов), на земле со смешанным славяно-мерянским населением (Ростов Великий), ставшей ядром Великороссии, и, наконец, в далекой Тьмутаракани. Белгородскую кафедру, находившуюся в ближайших окрестностях Киева, занимал епископ, который не имел самостоятельной епархии, а помогал митрополиту в управлении Киевской епархией.

Есть основания полагать, что первой резиденцией митрополитов Киевских до завершения строительства св. Софии был не Киев, а Переяславль, хотя честь кафедрального города и тогда принадлежала столице. При Ярославе Мудром, когда митрополиты переселились в свой кафедральный город — столичный Киев, — в Переяславль был поставлен отдельный епископ. Во всяком случае, в дальнейшем Переяславль был городом епархиальным.

В княжение Ярослава была учреждена кафедра и в Юрьеве (ныне Белая Церковь), на южной степной границе Руси, где бок о бок со славянами жили переходившие на службу к русским князьям и часто принимавшие православие кочевники-тюрки, известные по летописям как торки, ковуи, берендеи, черные клобуки. Время учреждения епископских кафедр, открытых после Ярослава: Смоленская — в 1137 г., Галичская — до 1165, Рязанская — между 1198 и 1207 гг., во Владимире-на-Клязьме — в 1214 г., на крайнем западе Руси — в Перемышле — до 1220 г. и в Угровске — незадолго до нашествия монголов. А Тьмутараканская епархия прекратила свое существование на рубеже XI—XII вв., разоренная половцами.

В Византии митрополичьи кафедры были расписаны в диптихах по старшинству. Неизвестно, существовал ли там такой же порядок и для определения ранга епископий внутри одной митрополии или ранг епископа зависел от его старшинства по хиротонии, как это было в древности в Африканской церкви. В летописях в разных местах епископские кафедры перечисляются в разном порядке. Следовательно, они, скорее всего, не были расписаны по старшинству, но с 1165 г., когда Новгородский владыка был удостоен сана архиепископа, Новгородская кафедра стала на Руси первенствующей после Киевской. При св. Владимире епископы были греческого или южнославянского происхождения. Первый епископ Новгородский в летописи назван Иоакимом Корсунянином. Но уже к середине XI в. большинство архиереев стали составлять русины.

Рассадниками отечественного епископата были монастыри, прежде всего, конечно, Киево-Печерский, из которого к началу XIII в. вышло более 50 архиереев. Епископ Владимирский Симон пишет в послании черноризцу печерскому Поликарпу, включенному в Киево-Печерский патерик: «От того, брате, Печерскаго монастыря Пречистыя Богоматере мнози епископы поставлены быша... И аще хочещи вся уведати, почти летописца старого Ростовскаго, есть бо всех боле 30, а иже потом и до нас грешных; мною, близь 50»³⁵.

Что касается прав и обязанностей епархиального епископа Древней Руси, то он, как этого требуют каноны, был верховным учителем паствы, первосвященником и главным начальником над клириками своей епархии. Кроме того, епископ был обыкновенно советником удельного князя в государственных делах. В княжеских распрях и междоусобицах епископы выступали гарантами незаблемости договоров. Своими свидетельствами они скрепляли договоры, при этом обыкновенно давали мирящимся князьям крест для целования.

Епископы участвовали и в поставлении князей на великокняжеский и удельные столы. О востшествии на смоленский престол князя Давида Ростиславича в Ипатьевской летописи под 1180 (6688 г.) сказано: «И устрете и епископ Костянтин со кресты и со игумены и с попы, вси смольняни и вшед Давыд в церковь святая Богородица, и седе на столе деда своего и отца своего»³⁶. Таким образом, церковь через епископа благословляла князя на княжение. В князьях епископы видели защитников и слуг церкви, и когда те совершали клятвopупрeстyпления, беззакония и насилия, церковь, прежде всего устами епископов, их обличала. В свою очередь, от князя зависело избрание епископа, поставляемого в его удел. Часто на вдовствующую кафедру князь предлагал своего духовника-монаха, но решающее слово в поставлении принадлежало митрополиту с собором других епископов, при этом митрополит советовался с Киевским великим князем.

Коллегиальным помощником древнерусского епархиального архиерея был своеобразный пресвите-

риум — епархиальное духовенство собиралось в так называемое соборное воскресенье на «соборники», которые обсуждали важнейшие церковно-административные и пастырские дела. Постоянными помощниками епископа были клирики соборной церкви — крылошане. Для ведения церковно-судебных, хозяйственных и финансовых дел привлекались и светские чиновники из бояр.

В княжение св. Владимира и Ярослава Мудрого приходского духовенства на Руси, естественно, не хватало. Были, конечно, священники в Киеве и, вероятно, в некоторых других городах и до Крещения Руси в 988 г.; Владимир взял с собой из Корсуни не одного «попа Настаса»³⁷, приглашены были священники из Болгарии и Византии. Но все это не могло удовлетворить нужду в пастырях нескольких миллионов новообращенных христиан. Всерьез полагаться можно было лишь на подготовку своего, отечественного духовенства. Из Повести временных лет известно, что Владимир «послав нача поимати у нарочитое чади дети и даяти нача на ученье книжное»³⁸. Одной из задач школьного обучения детей «нарочитой чади» была подготовка к священству. Более определенные сведения о школах относятся ко времени Ярослава Мудрого. Под 1030 г. летопись сообщает: «Приде Ярослав к Новугороду и собра от старост и поповых детей 300 учити книгам»³⁹.

Во второй половине XI в. не было уже, вероятно, серьезных трудностей в подборе кандидатов на священство. Дети первого поколения русских клириков, с младых лет живя при храмах, без особого труда могли усваивать отцовское дело. Из грамоты князя Новгородского Всеволода Мстиславича видно, что неграмотные взрослые дети священников причислялись к изгоям⁴⁰, значит, к тому времени это было уже редкостью. Суждения Голубинского о малограмотности древнерусского духовенства⁴¹ не имеют серьезных оснований.

Приходское духовенство на Руси через несколько десятилетий после ее Крещения стало весьма многочисленным. Об этом можно судить по количеству существовавших тогда церквей. Из Лаврентьевской летописи известно, что киевский пожар 1124 г. истребил 600 церквей⁴². Возможно, большую часть этих храмов составляли не приходские, а домовые церкви. Тем не менее это известие говорит о том, что Киев в исторически малое время после Крещения Руси по числу церквей сравнялся с древними центрами христианства. Но число церквей, размах храмостроительства — это только внешние проявления успехов христианизации. Настоящее поприще христианского просвещения — это человеческие души.

Историками Русской церкви, отечественной культуры сказано было много верного о двоеверии русского народа, о том, что, говоря словами протоиерея Георгия Флоровского, «язычество не умерло и не было обессилено сразу. В смутных глубинах народного подсознания, как в каком-то историческом подполье, продолжалась уже потаенная жизнь, теперь двусмысленная и двоеверная»⁴³. Но если синхронный срез духовной жизни русского народа обнаруживает в ней двоеверие, то наблюдение за динамикой духовных процессов ясно показывает неуклонное вытеснение языческих элементов из национального сознания и культуры, христианизацию народа, который великую беду, обрушившуюся на него в XIII в., встретил как народ православный, для которого церковь стала величайшей национальной святыней.

О религиозно-нравственном облике древнерусского человека, может быть, вернее всего можно судить по хрестоматийному «Поучению» Владимира Мономаха. Это сочинение не епископа, не монаха, не духовосного избранника из мирян, а князя, церковью не прославленного, возвращение которого были, несомненно, типичны для всей княжеско-боярско-дружинной среды и близки к общенародным представлениям о жизни и ее высших ценностях. То обстоятельство, что Владимир Мономах был великий государственный деятель и выдающийся писатель, ничего не меняет, не выделяет его из среды, к которой он принадлежал, в которой складывался его нравственный облик.

Чему же учит своих детей этот умудренный опытом человек на склоне лет? Какую науку вынес он из своей бурной жизни? «Первое: Бога деля и душа своя, страх имейте Божий в сердцах своих и милостыню творя неоскудну, то бо есть начаток всякому добру». И продолжает: «Поистине, дети моя, разумеите, како ти есть человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы человеци, грешни суще и смертни, то же ны зло творит, то хощем и пожрети и кровь его прольяти вскоре, а Господь наш, владея и животом и смертию, согрешенья наша выше главы нашея терпит... Всего же паче убогих не забывайте, но елико можете по силе кормите, и придайте сироте, и вдовицу оправдате сами, и не вдавайте сильным погубити человека. Ни права, ни крива не убивайте, ни повелевайте убити его; аще будет повинен смерти, а душе не погубляйте никакаяже хрестьяны... Болнаго присетите... И человека не минете; не привечавше, добро слово ему дадите. Жену свою любите, но не дайте им над собою власти»⁴⁴.

И так думали, так чувствовали, так понимали жизнь, свое назначение и свой долг современники Владимира Мономаха, русские люди XI—XII веков. Если сравнить умонастроение автора «Поучения» с образом мыслей его доблестного прапрадеда Святослава Игоревича, каким донесла его до нас Повесть временных лет, станет очевидным, что нравственно, духовно Русь за одно столетие претерпела глубокий переворот, равного которому она с тех пор уже не знала. По образу мыслей Владимир Мономах ближе к нам, христианам, живущим через девять столетий после него, чем к своим предкам — первым киевским Рюриковичам, хронологически не так далеко от него отстоявшим.

Примечания

1. ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ, протоиерей. Пути русского богословия. Париж. 1937, с.2.
2. См. КАРТАШЕВ А. В. Очерки по истории Русской церкви. Т.1. Париж. 1959, с. 163—165.
3. Там же, с. 164, 165.
4. См., в частности: ТИХОМИРОВ М. Н. Русское летописание. М. 1979.
5. ГОЛУБИНСКИЙ Е. История Русской церкви. Т.1. 1 половина тома. М. 1901, с. 259.
6. Там же, с. 264, 268.
7. См. УРЛАНИС Б. Ц. Рост населения в Европе. М. 1941, с. 52.
8. ИГОРЬ ЭКОНОМЦЕВ, диакон. Крещение Руси и внешняя политика Древнерусского государства. В кн.: Тысячелетие Крещения Руси. Международная церковно-научная конференция. Киев, 21—28 июля 1986 года. М. 1988, с. 108.
9. Цит. по: КАРТАШЕВ А. В. Ук. соч., с. 371.
10. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т.1. СПб. 1846, с.66.
11. ГОЛУБИНСКИЙ Е. Ук. соч., с.285.
12. Там же, с. 277.
13. Российское законодательство X—XX веков. Т.1. М. 1984, с.139—140,148.
14. ГОЛУБИНСКИЙ Е. Ук. соч., с.279—281.
15. МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ), митрополит. История Русской церкви. Т.1. СПб. 1868, с.31.
16. ПСРЛ. Т.1, с.78.
17. Там же, с.89.
18. ГОЛУБИНСКИЙ Е. Ук. соч., с.290.
19. КАРТАШЕВ А. В. Ук. соч., с.170.
20. ПСРЛ. Т.2. СПб. 1843, с.14.
21. ПСРЛ. Т.1, с.65.
22. Там же, с. 67.
23. См., в частности: КАРТАШЕВ А. В. Ук. соч., с.168—169.
24. Там же, с.170.
25. Там же, с.169—170.
26. ПСРЛ. Т.2, с.29.
27. См. НИКОЛЬСКИЙ Н. К. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича. СПб. 1892.
28. КАРТАШЕВ А. В. Ук. соч., с. 172—173.
29. ПСРЛ. Т.2. с.79.
30. Там же, с.80.
31. Там же, с.85.
32. Цит. по: КАРТАШЕВ А. В. Ук. соч., с. 174.
33. Цит. по: ГОЛУБИНСКИЙ Е. Ук. соч., с. 334.
34. ПСРЛ. Т.1, с.33.
35. Памятники литературы Древней Руси. XII век. М. 1980, с.482.
36. ПСРЛ. Т.2, с.123.
37. См. ПСРЛ. Т.1, с.50.
38. Там же, с.51.
39. Цит. по: КАРТАШЕВ А. В. Ук. соч., с.208.
40. Там же.
41. ГОЛУБИНСКИЙ Е. Ук. соч., с.476—481.
42. ПСРЛ. Т.1, с.128—129.
43. ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ. Ук. соч., с.2—3.
44. Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М.1978, с.392, 396—400.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Петр III

А. С. МЫЛЬНИКОВ

Поистине, этому человеку не везло не только при жизни, но и после смерти. Какими только эпитетами не награждали Петра Федоровича историки и писатели: «Тупоумный солдафон» и «холуй Фридриха II Прусского», «ненавистник всего русского» и «хронический алкоголик», «ограниченный самодур» и «неспособный супруг» — таков далеко не полный набор характеристик, до сих пор привычно сопровождающих упоминания имени этого российского императора. Пожалуй, в наиболее концентрированном виде столь однозначный взгляд на личность и деятельность Петра III содержится в новейшей его характеристике: «Этот монарх еще до воцарения успел прославиться своими шутовскими выходками, грубыми попойками, полной неспособностью заниматься государственными делами и, что было особенно оскорбительно для подданных, пренебрежением ко всему русскому. Император приказал переодеть гвардию в новую форму по образцу прусской, а православным священникам велел обрить бороды и носить немецкое платье наподобие протестантских пасторов. Будущее этого царствования было предопределено. Спустя пять месяцев после воцарения Петра III против него был составлен заговор»¹. И хотя, разумеется, «никакой «загадки» личности и жизни Петра Федоровича не существует»², вопрос не столь прост, как видится на первый взгляд.

Во-первых, диссонансом оказывается общая направленность политики правительства при Петре III, развивавшаяся в русле концепции «просвещенного абсолютизма». Отмечая, что многие ее аспекты сопряжены с серией дворянских «проектов» 1750-х годов, С. О. Шмидт подчеркивал: «Типичные черты политики «просвещенного абсолютизма» за короткое царствование Петра III обнаружились особенно эффективно... Так называемый Век Екатерины начался, по существу, еще за несколько лет до ее восшествия на престол». Правда, следуя традиции, идущей от С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, Шмидт допускал, что «такая политика отражала не столько вкусы и намерения самого императора, сколько его соправителей, выдвинувшихся на государственном поприще еще в предшествовавшее царствование»³.

И все же, во-вторых, вопрос о личном участии Петра III в государственном управлении этой оговоркой не снимается. Известно, что положительные суждения о великом князе, а затем и императоре высказывали такие видные и лично его знавшие представители отечественной культуры, как В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Я. Я. Штелин. Едва ли можно игнорировать мнение Г. Р. Державина, назвавшего уничтожение Петром III репрессивной Тайной канцелярии в числе «монументов милосердия»⁴. Или умолчать, что Ф. В. Кречетов, пожизненно заключенный в 1793 г. за вольнодумство в Петропавловскую крепость, намеревался «объяснить великость дел Петра Федоровича», а поэт А. Ф. Воейков ставил в 1801 г. покойного императора «подле имен величайших законодатцев»⁵. И если, повторяем, мы согласны с тем, что загадочной фигурой Петр III отнюдь не являлся, обращение к основным вехам его биографии представляется уместным хотя бы потому, что в какой-то мере позволяет прояснить механизм фальсификаций, которыми, к сожалению, богата трактовка отечественной истории.

Мыльников Александр Сергеевич — доктор исторических наук, профессор (Институт этнологии и антропологии АН СССР).



Ф. С. Рокотов. Петр III. 1762 г.

Будущий император появился на свет в портовом городе Киле, столице немецкого герцогства Гольштейн. Его отцом был герцог Карл Фридрих, а матерью — старшая дочь Петра Великого, Анна Петровна. Первенца в семье с нетерпением ждали. И потому в восемь часов того дня, когда цесаревна благополучно разрешилась от бремени, гольштейнский министр Г. Ф. Бассевич направил в Петербург с нарочным срочную депешу, лаконичную и деловую: «Он родился между 12 и 1 часом [дня] 21 февраля 1728 г. здоровым и крепким. Его решено назвать Карл Петер»⁶. Дата указана по новому стилю; по старому — это 10 февраля.

Судьба новорожденного была predetermined за несколько лет до его рождения: в брачном договоре, заключенном в 1724 г., оба супруга отказывались от претензий на российский престол, хотя царь сохранял право назначить своим преемником «одного из урожденных божеским благословением из сего супружества принцев»⁷. Впрочем, как племянник Карла XII гольштейнский герцог и его наследники могли претендовать и на шведскую корону. Новорожденного и нарекли со значением: Карл в честь шведского короля, чья военная слава закатилась под Полтавой; Петер — в честь первого российского императора, превратившего Россию в великую европейскую державу. Так причудливо в лице маленького гольштейнского принца произошло посмертное примирение между побежденным и победителем. Но это одновременно означало, что уже к моменту своего рождения наследный гольштейнский принц оказался в положении возможного претендента либо на российский либо на шведский престолы. Эта predeterminedленность наложила отпечаток на личность, психологию и поведение Петра III.

Вскоре после его рождения мать умерла. Отец по-своему любил сына, но все помыслы его были направлены на возвращение Шлезвига, отнятого Данией в начале XVIII века. Не располагая для этого ни военными, ни финансовыми возможностями, Карл Фридрих мог положиться только на помощь со стороны — либо Швеции, либо в особенности России. Собственно, брак с Анной Петровной и закреплял русскую ориентацию Карла Фридриха.

После смерти Петра II, пришедшегося Карлу Петеру кузеном, и вступления на российский трон Анны Ивановны прежняя ориентация стала невозможной — новая императрица стремилась лишиться прав на престол свою двоюродную сестру Елизавету Петровну, чтобы закрепить их за своей родней. Росший в Киле внук Петра Великого был постоянной угрозой для этих планов бездетной императрицы, с ненавистью повторявшей «чёртушка еще жив» (эти слова иногда почему-то приписывают Елизавете Петровне).

Карл Фридрих возложил надежды, связанные с воссоединением отторгнутой части своего владения, на сына, которого стали готовить к возможному вступлению на шведский престол. Внушая ему мысли о реванше, отец сызмальства воспитывал принца по-военному, на прусский лад. «Этот молодец отомстит за нас», — говаривал Карл Фридрих. Впрочем, как раз «молодцом» принц и не был. Родившись крепким физически, в детстве он, однако, часто болел. Тем не менее, когда ему исполнилось 10 лет, отец присвоил ему чин секунд-лейтенанта, что произвело на мальчика огромное впечатление и зажгло в нем любовь к парадам и экзерцициям.

После смерти герцога в 1739 г. регентом при сироте стал его двоюродный дядя Адольф Фридрих, позднее избранный шведским королем. В повседневное воспитание племянника он не вмешивался, и оно протекало по раз заведенному порядку, но бесконтрольно. Его воспитатель, грубый и невежественный швед Брюмер, изощренно унижал своего подопечного, не гнушаясь отборной ругани и рукоприкладства, даже в присутствии придворных. Позднее, уже в России, Петр с содроганием вспоминал «о жестоком обращении с ним его начальников», которые в наказание часто ставили его коленями на горюх, от чего ноги «краснели и распухали»⁸.

Двери в Россию, закрытые при Анне Ивановне, окончательно, казалось, захлопнулись после ее смерти в 1740 г., когда престол согласно завещанию занял младенец двух месяцев от роду, внучатый племянник покойной, сын принца Антона Ульриха Брауншвейгского Иван Антонович. Перед Карлом Петером остался открытым один маршрут Киль — Стокгольм: его усиленно наставляли в лютеранстве, внушали антирусские настроения. Но 25 ноября 1741 г. положило начало новому витку в жизни гольштейнского принца: к власти в Петербурге пришла дочь Петра I. Будучи, как и ее предшественница, бездетной, Елизавета Петровна для закрепления своих династических, по понятиям того времени недостаточно крепких, прав поспешила вызвать из Кили племянника.

На берегах Невы 14-летний принц появился 5 февраля 1742 года. И когда в ноябре из Стокгольма прибыла делегация, чтобы уведомить об избрании Карла Петера наследником шведской короны, было поздно. Человека с таким именем более не существовало: он был крещен по православному обряду и официально объявлен наследником российского престола. Отныне его звали Петром Федоровичем.

Сама не отличавшаяся ученостью, Елизавета Петровна поразилась невежеству племянника. К нему срочно приставили учителя, а обязанности воспитателя были возложены на академика Штелина. Встречающаяся в литературе версия, будто ученик оказался на редкость тупым, а воспитатель общего языка с ним найти не сумел, основана на явном недоразумении. Наоборот, в воспоминаниях Штелина отмечены способности и превосходная память Петра Федоровича, хотя наставник признавал, что гуманитарные науки того не привлекали и «часто просил он, вместо них, дать урок из математики».

Любимейшими предметами наследника были фортификация и артиллерийское дело, а «видеть развод солдат во время парада доставляло ему гораздо большее удовольствие, чем все балеты»⁹. Но занятия проводились урывками, бестолково, несмотря на старательность Штелина, у которого установился душевный контакт с Петром — привязанность к Штелину он сохранил до конца жизни. И в этом беспорядке во многом была повинна императрица. Ветреная, склонная к развлечениям и частым переездам, она требовала постоянного присутствия наследника. Во время одного из путешествий (а Елизавета Петровна навещала не только в Москву, но и в Киев) он заболел оспой, следы которой остались у него на лице.

7 мая 1745 г. достигшего совершеннолетия Петра Федоровича викарий Священной Римской империи польский король и саксонский курфюрст Август III объявил правящим герцогом Шлезвиг-Гольштейнским. А 25 августа наследник вступил в брак с анхальт-цербстской принцессой Софией Фредерикой Августой, в православии нареченной Екатериной Алексеевной. Она была годом младше своего супруга.

Хотя впервые они увиделись еще в 1739 г., личные чувства будущей четы при заключении брака менее всего принимались во внимание. Невеста была навязана Фридрихом II, который полагал, что из всех возможных кандидатур именно эта «более всех годилась для России и соответствовала прусским интересам». И его протее, не по летам сообразительная и лукавая, прекрасно понимала, какую роль в ее неожиданном возвышении сыграл политический расчет. Вскоре по прибытии в Россию она не только письменно благодарила Фридриха, но и уверила, что в будущем найдет случай убедить его «в своей признательности и преданности»¹⁰. Если для Петра прусский король являлся примером полководческого таланта (впрочем, таково было и мнение европейской общественности), то для Екатерины это был в первую очередь человек, поспособствовавший исполнению ее честолюбивых мечтаний. Что касается самого Фридриха, то он оставался в выигрыше при любом повороте событий.

С детства одинокий и заброшенный, Петр поначалу проявлял к своей жене если не любовь, то симпатию и доверие (они находились в троюродном родстве). Напрасно: ей нужен был не Петр, а императорская корона. Этого Екатерина не скрывала ни сразу после свадьбы, ни в позднейших «Записках». Ее биографы склонны принимать на веру рассказы будущей императрицы о том, как вместо исполнения супружеских обязанностей Петр играл с нею по ночам в куклы или заставлял по команде выполнять воинские артикулы. Из-за этого, по уверениям Екатерины, на протяжении то ли пяти, то ли даже девяти лет брака она «сохранила девственность»¹¹.

Не хочется копаться в альковных тайнах великокняжеской четы, но и полностью игнорировать их нельзя, ибо здесь завязывался один из психологических узлов исподволь складывавшейся в придворной среде репутации не только Екатерины, но и Петра. Естественности и непосредственной ребячливости его отношения к молодой супруге (ведь многое, о чем на этот счет позднее писала и говорила Екатерина, поддается именно такому истолкованию) было противопоставлено отчуждение. Желая в сознании окружающих отделить себя от мужа, Екатерина надела маску обиженной и отвергнутой супруги. Этому несколько не противоречили любовные похождения, которым она предалась довольно рано. Вот текст случайно сохранившейся, написанной по-французски записки Петра, которую он адресовал жене: «Мадам, я прошу Вас не беспокоиться, что эту ночь Вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло. Кровать была слишком тесной. После двухнедельного разрыва с Вами, сегодня после полудня Ваш несчастный супруг, которого Вы никогда не удостоивали этим именем»¹². Эти слова, достаточно прозрачные по смыслу, противоречат позднейшей версии о «девственности» Екатерины — ведь записка относилась к 1746 г., когда со дня свадьбы едва минул год. А после рождения в 1754 г. Павла отношения между супругами приняли чисто формальный и далеко не дружественный характер. Вскоре общепризнанной фавориткой великого князя стала Е. Р. Воронцова, родная сестра Е. Р. Дашковой, горячей сторонницы Екатерины.

Размолвки первых лет супружества не могли не повлиять на характер Петра Федоровича, порождая в нем, с одной стороны, внутреннюю неуверенность, а с другой — глумливую браваду, которой он пытался защититься. К тому же великий князь, как подчеркивал Штелин, уже в юные годы имел «способность замечать в других смешное и подражать ему в насмешку»¹³. Все это встречало осуждение властителей придворных дум и, в конечном счете, вредило ему самому. Наблюдавший Петра Федоровича как раз в ту пору прусский посланник граф Финкенштейн доносил своему королю в 1747 г., что едва ли великий князь будет царствовать. «Непонятно, — писал он, — как принц его лет может вести себя так ребячески»¹⁴.

Неудивительно, что Петр тяготился атмосферой двора тетки, стремясь проводить время в Ораниенбауме, своей летней резиденции, подальше от интриг, условностей и недоброжелательного окружения. Характерна его записка фавориту императрицы И. И. Шувалову: «Убедительно прошу, сделайте мне удовольствие, устройте так, чтобы нам оставаться в Ораниенбауме. Когда я буду нужен, пусть пришлют конюха; потому что жизнь в Петергофе для меня невыносима»¹⁵. Читая эти строки, по-иную воспринимая многократно осмеянную в историографии и художественной литературе склонность великого князя в юности проводить время не в аристократическом кругу, а в обществе приставленных к нему слуг и лакеев. Став шефом Преображенского полка, Петр Федорович охотно беседовал с солдатами, а в Ора-

ниенбауме постоянно общался с офицерами гольштейнского отряда, выписанного для него из Килия. Все это неодобрительно воспринималось в великосветских кругах, способствуя утверждению мнения о наследнике как грубом солдафоне.

В действительности мир интересов Петра Федоровича был несравненно шире и богаче. Он любил итальянскую музыку и неплохо играл на скрипке. Любил великий князь также живопись, фейерверки, книги. Уже в 1746 г. по его требованию из Килия была доставлена библиотека его покойного отца, размещенная в Картинном доме в Орансенбауме. Надзор за библиотекой, включавшей и литературу по инженерному и военному делу, был поручен Штелину. Не ограничившись получением родового книжного собрания, великий князь следил за его пополнением. «Как только выходил каталог новых книг, — вспоминал Штелин, — он его прочитывал и отмечал для себя множество книг, которые составили порядочную библиотеку»¹⁶. По вступлении на престол Петр III назначил Штелина своим библиотекарем и поручил ему разработать план размещения книг в новопостроенном в Петербурге Зимнем дворце, выделив для этой цели «ежегодную сумму в несколько тысяч рублей». Петр Федорович коллекционировал скрипки, в которых знал толк; сохранился каталог его нумизматического кабинета, составленный также Штелином.

Духовный мир великого князя, вопреки уверениям Екатерины, не ограничивался, а тем более не исчерпывался забавами и развлечениями, хотя то и другое составляло обычную часть уклада придворной жизни. Но это не удовлетворяло Петра Федоровича, жажду деятельности и неутомимость которого отмечали многие, даже не расположенные к нему современники. Он стремился проявить себя на политическом поприще. Такая возможность, казалось бы, представилась в 1745 г., когда он стал правящим герцогом. Но за пределы России Елизавета Петровна племянника не отпускала. Поэтому герцога в Киле представлял штатгальтер (им с 1745 по 1751 г. был дядя великого князя, Фридрих Август), а исполнительную власть осуществлял Тайный правительственный совет, созданный еще в 1719 году. Связь между Гольштейном и Петром Федоровичем поддерживалась через представительство в Петербурге. Его возглавлял в 1746—1757 гг. И. Пехлин.

В попытках великого князя воздействовать на управление удаленным герцогством прослеживается стремление укрепить дисциплину среди чиновников, упорядочить военное дело, судопроизводство и другие отрасли управления. Устойчивым был интерес Петра Федоровича и к культурной жизни Гольштейна. Как видно из сохранившейся переписки, он касался разнообразных аспектов совершенствования Кильского университета — от утверждения профессоров до ремонта аудиторий. Большая часть подобных распоряжений была написана Петром Федоровичем собственноручно (по-французски), что свидетельствовало о его внимании к управлению Гольштейном, хотя постоянная борьба между высшими чинами администрации в Киле за влияние мешала успеху предпринимавшихся герцогом усилий¹⁷.

Некоторой отдушиной для жаждавшего практической деятельности наследника явилось назначение его 12 февраля 1759 г. «главнокомандующим над Сухопутным шляхетным кадетским корпусом». Это учебное заведение было открыто в Петербурге по инициативе одного из сподвижников Петра I фельдмаршала Б. К. Миниха в 1731 году. Кадетский корпус являлся не только военным заведением, он сыграл немалую роль и в развитии русской художественной культуры — в числе его воспитанников были А. П. Сумароков, В. А. Озеров, М. М. Херасков, Ф. Г. Волков.

К обязанностям главного директора Петр Федорович отнесся со всем рвением. Он лично познакомился с учащимися, беседовал с ними, посещал занятия в классах и на плацу. Наследник добился для Корпуса ряда привилегий, в том числе права печатать любые книги «на французском, немецком и российском языках», даже если их тематика непосредственно и не была связана с учебными планами¹⁸. По его указанию в 1761 г. была опубликована первая часть «Имянного списка» всех преподавателей и выпускников Кадетского корпуса с момента его основания, включая лиц, подвергавшихся в предшествующие царствования опале. С приходом к власти Екатерины II издание этого справочника остановилось.

Текущая деятельность главного директора отразилась в его доношениях в Сенат. Уже через две недели после вступления в должность Петр просил выделить средства для достройки флигеля, чтобы улучшить бытовые условия кадетов («по регламенту положено, чтоб в каждой каморе по пяти и по шести кадетов жили. А ныне за теснотою в жилье и более десяти человек в одной каморе живут»)¹⁹. Во многих обращениях, подписанных Петром Федоровичем, подчеркивалось значение Корпуса «для ползы Российской империи», «чтоб армию достойными афицерами наполнять»²⁰.

Может возникнуть вопрос — в какой мере подобные резоны отражали настроения самого главного директора. Не подписывал ли он формально, не особенно вдумываясь, бумаги, которые подавал ему директор Корпуса А. П. Мельгунов? Конечно, доношения в Сенат Петр Федорович писал не сам, ему их готовили. И все же в этих документах то и дело проступала личность великого князя. В доношении 28 сентября 1760 г. просьба «отпускать безденежно» артиллерийские боеприпасы для учебных нужд обосновывалась представлениями на этот счет «от бывшего над Корпусом командира фелтмаршала графа Миниха»²¹. Между тем, разжалованный и сосланный после прихода к власти Елизаветы Петровны Миних вот уже почти два десятилетия томился в Пельме. Поэтому упоминание его имени, да еще с приведением его званий, мог позволить себе, да и то не без некоторого риска, только один человек: цесаревич.

Политическая неискушенность, в которой Петра Федоровича, возможно не без оснований, упрекали современники, была не столько его виной, сколько бедой: объявив племянника наследником, Елизавета Петровна никогда в сущности не готовила его к деятельности в качестве главы великого государства. Определенную роль сыграли дворцовые интриги, в частности со стороны канцлера А. П. Бестужева, делавшего ставку на Екатерину. «По словам современников, — замечал А. С. Лаппо-Данилевский, — Бестужев, внушавший императрице Елизавете опасения, как бы Петр Федорович не захватил престола, много содействовал его отстранению от участия в русских государственных делах и ограничил его деятельность управлением одной Гольштинией»²². Сказывались и личные взаимоотношения между теткой и племянником: давно уже неровные, под конец они стали натянутыми и даже отчужденными.

Расхождения между наследником и императрицей касались прежде всего внешней политики, со всей очевидностью проявившись во время Семилетней войны. В 1756 г. была учреждена Конференция при высочайшем дворе — высший консультативный государственный орган, в состав которого вошел и великий князь. Будучи, как и Екатерина, сторонником прусской ориентации, он осуждал участие России в войне вообще, против Фридриха II в частности. По свидетельству Штелина, Петр Федорович «говорил свободно, что императрицу обманывают в отношении к прусскому королю, что австрийцы нас подкупают, а французы обманывают»²³. Более того, он заявлял членам Конференции, «что со временем будем каяться, что вошли в союз с Австрией и Францией».

Имелись ли в то время у Петра Федоровича какие-либо контакты с прусским королем? В переписке с ним, когда цесаревич взшел на трон, на этот счет имеются некоторые общие указания. Фридрих II благодарил Петра III за ранее оказанные ему услуги, а тот в свою очередь напоминал, что рисковал всем «за ревностное служение вам в своей стране»²⁴. В чем конкретно это «служение» выражалось, ввиду отсутствия документальных данных, сказать трудно, но, видимо, оно шло в русле пропрусских симпатий наследника, которых он никогда и ни от кого не скрывал. С этим был связан и его демонстративный, носивший характер протеста против внешней политики Елизаветы Петровны, выход из состава Конференции.

Суждения Петра Федоровича относительно участия России в антипрусской коалиции не были лишены основания. По-настоящему в войне была заинтересована лишь австрийская императрица Мария Терезия, стремившаяся с помощью русского пушечного мяса вернуть Силезию, захваченную в начале 1740-х годов Фридрихом II. В представлениях Петра Федоровича выход России из Семилетней войны увязывался с разрешением его территориальных претензий к Дании: и прусский король, и его союзник король Англии как ганноверский курфюрст являлись ближайшими соседями Гольштейна. Заручившись их дипломатической, а со стороны Фридриха II — и возможной военной поддержкой, Петр надеялся выполнить завет отца — вернуть Шлезвиг и прилегающие территории. В его представлении это вполне согласовывалось с интересами России. Взгляды по этим вопросам он изложил в меморандуме на имя Елизаветы Петровны от 17 января 1760 года. Еще раз осудив Семилетнюю войну как бедственную и «Германию терзающую» и выразив уверенность в скором ее окончании, Петр Федорович напоминал о своем «высоком предопределении» — тем самым намекая, что в будущем герцогский трон в Киле и императорский в Петербурге объединятся в одном, его, лице²⁵.

Забываясь о гольштейнских делах, он не оставался безразличным к положению страны, которой ему предстояло править. Ему, любившему военную четкость, претило здесь многое — и все более усиливавшееся пренебрежение теткой делами, и своеволие вельмож, и неупорядоченность законов, произвол и мздоимство в административных и судебных органах. Чрезвычайно раздражала и беспоконила наследника распушенность гвардии. «Еще будучи великим князем, — вспоминал Штелин, — называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми, и говорил: «Они только блокируют резиденцию, неспособны ни к какому труду, ни к военным экзерцициям и всегда опасны для правительства»²⁶.

Штелин свидетельствовал, что будучи еще наследником Петр Федорович размышлял о необходимости правового закрепления дворянской вольности, уничтожения Тайной розыскной канцелярии, обеспечения религиозной веротерпимости²⁷. Это свидетельство документально подтверждается рядом сенатских доношений по делам Кадетского корпуса. 2 декабря 1760 г. наследник обратился в Сенат с просьбой о присылке с мест ответов на запросы для задуманного в Корпусе географического описания России. Объективно это означало поддержку сходной инициативы Ломоносова, выдвинутой им в Академии наук в 1758 году. В доношении Петра Федоровича мысли о педагогических потребностях в таком описании подкреплялись патристическими аргументами: «дабы воспитываемые в оном корпусе молодые люди не токмо иностранных земель географию, которой их действительно обучают, основательно знали, но и о состоянии отечества своего ясное имели понятие»²⁸.

Другое его доношение, от 7 марта 1761 г., содержало план подготовки при Кадетском корпусе кадров «национальных хороших мастеровых» из детей солдат и нижних чинов: кузнецов, слесарей, шорников, сапожников, коновалов, садовников и других квалифицированных специалистов. Наряду с ремеслами, их предполагалось обучать грамоте, арифметике, геометрии, рисованию и немецкому языку, поскольку, как сказано в доношении, учебных пособий «на русском языке еще нет». Из приложенной к доношению

сметы вытекало, что при ежегодном выпуске 30 человек «такой мастер станет казне единственно 200 рублей», а при распространении опыта в армии и по выходе мастеровых в отставку «через оное и во всем государстве национнальные хорошие ремесленные люди заведутся»²⁹. Поддержав проект, Сенат 30 апреля 1761 г. разрешил обучать при Кадетском корпусе 150 человек солдатских и мещанских детей³⁰.

То, что в подобных проектах отразилась политическая ориентация Петра Федоровича, согласуется с рассказами не только расположенного к нему Штелина, но и такого недоброжелателя, каким был Я. П. Шаховской, занимавший при Елизавете Петровне пост генерал-прокурора Сената. С явным осуждением он вспоминал, как наследник через своего любимца И. В. Гудовича часто передавал «от себя ко мне просьбы или, учтиво сказать, требования, в пользу фабрикантам, откупщикам и по другим по большей части таким делам»³¹. Но именно «такие дела», высокомерно третирувавшиеся Шаховским, отвечали насущным потребностям развития страны, вполне вписываясь в круг идей, сложившихся у великого князя к началу 1760-х годов.

Многие из своих замыслов он и попытался осуществить, став императором. Это случилось 25 декабря 1761 г., в три часа пополудни, когда скончалась дочь Петра I, Елизавета. Ее преемник не знал, что судьба отпустила ему необычайно малый срок — всего 186 дней. Отдавая дань «щедротам и милосердию» покойной, в своем первом манифесте Петр III обещал «во всем следовать стопам премудрого государя, деда нашего императора Петра Великого». С первых же недель царствования он обратил особое внимание на укрепление порядка и дисциплины в высших присутственных местах, на разграничение их компетенции и повышение оперативности управления.

Всем этим, подражая Петру I, он решил заняться лично, для чего был установлен достаточно четкий распорядок дня. Вставал император обычно в 7 час. утра, выслушивал с 8 до 10 час. доклады сановников; в 11 час. проводил лично вахтпарад, до или после которого иногда совершал выезды в правительственные учреждения или осматривал промышленные заведения. Обычно в 1 час дня император обедал — либо в своих апартаментах, куда пригласил интересовавших его людей независимого от занимаемого ими положения, либо выезжал к своим приближенным или дипломатам. Вечерние часы отводились на придворные игры и развлечения. Особенно любил он концерты, в которых и сам охотно играл на скрипке. Ближе к ночи придворные и гости (среди них обычно присутствовали и дипломаты) созывались на многолюдный и веселый ужин, сопровождавшийся обильными возлияниями. Сам Петр III предпочитал английское пиво, поскольку после выпитого вина чувствовал себя плохо. Светская болтовня и шутки перемежались обсуждением важных вопросов, причем дипломаты жадно ловили не всегда осторожные высказывания императора, скрупулезно сообщая о них своим правительством. Иногда, покинув собравшихся, Петр III удалялся с советниками для обсуждения срочных дел³².

Прежняя придворная Конференция была распущена, а рассмотрение вопросов, которыми она ведала, передано в Сенат, главой которого стал А. И. Глебов. При Сенате, Юстиц-коллегии, Вотчинной коллегии и Судебном приказе были созданы специальные департаменты для разбора заявлений и жалоб, накопившихся от прежних лет. В мае под председательством Петра III был учрежден Совет, дабы, как сообщалось в мотивировке указа, полезные реформы «наилучше и скорее в действо произведены быть могли». Среди членов Совета находились такие видные государственные деятели, как канцлер М. И. Воронцов, председатель Военной коллегии генерал-фельдмаршал Н. Ю. Трубецкой, директор Кадетского корпуса генерал А. П. Мельгунов, возвращенный из ссылки фельдмаршал Б. К. Миних; ведущую роль играл Д. В. Волков, еще в январе назначенный тайным секретарем императора. В числе его ближайших помощников находился и И. И. Шувалов, один из образованнейших людей России, меценат и покровитель Ломоносова.

Однако широко задуманный Петром III и его советниками реформаторский натиск захлебнулся. Произошло это на исходе июня 1762 года. На 29 число, когда по церковному календарю отмечается день Петра и Павла, была намечена торжественная церемония. Утром накануне император с приближенными направился из Ораниенбаума в расположенный неподалеку Петергоф, где она должна была ожидать Екатерина. Но выяснилось, что за несколько часов до появления кавалькады она спешно уехала в Петербург. Вскоре оттуда стали поступать тревожные сообщения: опираясь на измайловцев и других, примкнувших к ним гвардейцев, Екатерина провозгласила себя самодержицей, а своего супруга — низложенным. После богослужения в Казанском соборе Екатерина II во главе перешедших на ее сторону войск предприняла поход на Ораниенбаум, завершившийся пленением свергнутого императора.

Хотя заговора против себя Петр III, по-видимому, в принципе не исключал, более того, получал предупреждения, события застали его врасплох. Окажись он решительнее, шансы взять ситуацию под контроль имелись: рядовые гвардейцы и часть офицеров колебались, армия находилась вообще в стороне от заговора, а командовавший экспедиционным корпусом в Восточной Пруссии генерал-аншеф П. А. Румянцев числился среди верных императору военачальников. Но, решив поначалу сопротивляться, Петр упустил время и не смог воспользоваться имевшимися возможностями — закрепиться в Кронштадте, а оттуда морем уйти либо к Румянцеву либо в Киль. Всей своей жизнью он не был подготовлен к борьбе за власть, а Россия в его представлении ограничивалась придворными и верхушкой гвардии, которые в критический

момент оказались против него. «Государь был жалок», — вспоминала о часах переворота Н. К. Загрязская³³. Отчаявшийся Петр III решил вступить в переговоры с Екатериной II, добиваясь, чтобы его отпустили в Киль. Прослышав об этом решении, слуги императора стали причитать: «Батюшка наш! Она прикажет умертвить тебя»³⁴.

Итогом капитуляции стало отречение от престола, датированное 29 июня. По иронии судьбы это и был день Петра и Павла. Документ об отречении был поистине унижительным: поверженный император публично признавал свою неспособность «не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть российским государством»³⁵. История этого документа во многом противоречива и сомнительна. Он был приложен к так называемому Обстоятельному манифесту, датированному 6 июля, а опубликованному 13 июля, и в Полное собрание законов Российской империи позднее не включенному.

Вопреки официальным утверждениям, наивно думать, что отречение Петр III подписал добровольно: после ареста в Ораниенбауме он был доставлен в Ропшу и помещен под тщательное наблюдение Ф. С. Барятинского, А. Г. Орлова, П. Б. Пассека и еще нескольких доверенных лиц Екатерины II в одну из комнат пригородного дворца. Здесь 6 июля родного внука Петра Великого задушил А. Г. Орлов, брат очередного любовника новой самодержицы.

Манипуляции с датами подписания «Обстоятельного манифеста» и его оглашения наводят на мысль, что он либо был составлен после убийства Петра III либо означал смертный приговор ему. Обращает на себя внимание, что отречение Петра III анонимно, в нем не сказано, кому передается власть. По логике вещей правопреемником полагалось быть его малолетнему сыну Павлу при регентстве, до его совершеннолетия, матери, на что и рассчитывали некоторые вельможи, например, воспитатель цесаревича Н. И. Панин. Екатерине, рвавшейся к власти, приходилось временно считаться с такими настроениями, лавировать. На такую мысль наводят три письма Петра III, направленные из Ропши.

Первые два письма от 29 июня (одно на русском, другое на французском языке) отразили глубокую подавленность пленника и выдержаны в униженно-просительном духе. Совершенно иную тональность имело третье письмо, помеченное 30 июня. В нем вновь проступает характерная для Петра Федоровича ирония. Он повторяет просьбу отпустить его в Гольштейн, просит супругу не обращаться с ним «как с величайшим преступником» и обещает не выступать «против вашей особы и вашего царствования» — это принципиальной важности заявление сделано как бы мимоходом, в постскриптуе. Создается впечатление, что всего за одни сутки что-то изменилось. Скорее всего, в обмен за признание ее прав на престол императрица дала Петру Федоровичу лицемерное обещание отпустить его в Киль. Во всяком случае, Екатерина II охотно сообщала, что с этой целью в Кронштадте стали готовить корабли.

Но ни серьезного намерения освободить ропшинского узника, ни подготовки к его отъезду, ни кораблей на кронштадтском рейде — ничего этого не было. Зато имелось твердое намерение царицы любым путем избавиться от опасного соперника, но так, чтобы самой выглядеть перед современниками и потомками достойно. Екатерине II это удалось. И исходным звеном в цепи последующей дискредитации свергнутого, обманутого и убитого монарха явился первый краткий манифест от 28 июня 1762 г., которым верноподданные извещались о смене на троне.

Против Петра III, имя которого, впрочем, не называлось, в манифесте выдвигалось три главных обвинения. Во-первых, «потрясение и истребление» церкви с «подмоной древнего в России православия и принятием иноверного закона»; во-вторых, заключение мирного договора с Фридрихом II, который в манифесте назван «злодеем»; в-третьих, плохое управление, из-за чего «внутренние порядки, составляющие ценность всего нашего Отечества, совсем испровержены». Эти обвинения, дополненные правительственными заявлениями последующих дней (особенно «Обстоятельным манифестом»), и составили ядро мифа о Петре III, утвердившегося еще в старой историографии, а после 1917 г. переключившегося и в советскую литературу. В какой мере этот миф отвечал фактам, ни ученые, ни тем более беллетристы особенно не интересовались.

Насколько же обвинения соответствовали действительности? Прежде всего — об «испровержении» государственного порядка. Как свидетельствовали факты, деятельность правительства и самого Петра III отличалась энергией и интенсивностью. Только в Полном собрании законов Российской империи за время с 25 декабря 1761 г. по 28 июня 1762 г. учтено 192 документа — манифесты, именные и сенатские указы, резолюции. А ведь в этот свод не вошли указы по конкретным вопросам — о чинопроизводстве, о передаче государственных имений в аренду, о денежных выплатах. В сохранившемся архивном реестре именных указов Петра III сделано 220 записей³⁶. Кроме того, Петр III широко применял форму «словесных высочайших указов», сфера действия которых регулировалась законом от 22 января. Во избежание злоупотреблений или недоразумений Сенату предписывалось еженедельно подавать императору копии «обо всех объявленных словесных наших указах»³⁷. За два дня до переворота, 26 июня, Петр III подписал 14 указов.

Важно, впрочем, не количество принятых законов, а их содержание и общая направленность законотворческой деятельности. И с этой точки зрения правление Петра III во многом примечательно. Среди подписанных им были акты, имевшие фундаментальный, органический характер, такие, как февральские

манифесты «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» и «Об уничтожении Тайной розыскной канцелярии». Оба манифеста являлись практическим воплощением давних замыслов Петра Федоровича, который еще в 1750-х годах склонялся к проектам реформ, выдвигавшимся П. И. Шуваловым и такими его сторонниками, как Волков и Глебов. Смысл этого курса заключался в защите интересов дворянства при предоставлении определенных льгот и привилегий купечеству.

17 января, как записано в камер-фурьерском журнале, «в четверток, по утру в 10-м часу» император «изволил высочайше иметь выход в Правительствующий Сенат»³⁸. Здесь он изложил намерение освободить дворян от обязательной государственной службы, чем вызвал взрыв восторга у слушателей. На следующий день генерал-прокурор Глебов предложил Сенату в знак благодарности воздвигнуть золотую статую императору. Узнав об этом, Петр III ответил: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных»³⁹. Спустя месяц, 18 февраля, император утвердил манифест о дворянской вольности. Авторство текста приписывается либо Волкову либо Глебову.

Принято считать, что манифест, закрепляя привилегированное положение дворянства, сводил почти на нет его обязанности перед государством. Действительно, предоставление дворянам права свободно вступать или не вступать на военную и гражданскую службу, выходить по желанию в отставку, выезжать за границу и записываться на службу к иностранным государям составляло смысл этой «вольности и свободы». Но бравадная тональность преамбулы манифеста заглушалась различными оговорками и условиями. Выходить в отставку дворянам дозволялось только в мирное время, а служба за рубежом допускалась лишь в «Европейских союзных нам державах» при обязательном возвращении в Россию, «когда будет объявлено». Своеобразно решался вопрос о службе дворян в Сенате и его конторе, для чего требовалось соответственно 30 и 20 человек. Их персональный состав отдавался на решение самим дворянам путем выборов «ежегодно по препорции живущих в губерниях». На родителей возлагалась строгая ответственность за надлежащее воспитание сыновей: по достижении ими 12-летнего возраста родители обязаны были представлять в органы власти сведения, чему их дети обучены и желают ли они учиться дальше в России или за рубежом.

Новацией было и установление своего рода «прожиточного минимума» дворянских семей: те, кто имел менее тысячи душ крепостных, должны были определять сыновей в Кадетский корпус. «Однако ж, — предупреждал манифест, — чтоб никто не дерзал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей воспитывать под тяжким Нашим гневом». Неоднократные обращения к силе общественного мнения и к чувству личного долга дворян перед отечеством составляли примечательную черту манифеста как своеобразного договора между верховной властью и ее опорой — дворянством.

При очередном посещении Сената 7 февраля Петр III объявил о намерении ликвидировать Тайную канцелярию. Уже 21 февраля им был подписан манифест, подготовленный Волковым. Для своего времени это был удивительный документ: оправдывая необходимость учреждения при Петре I репрессивного органа, законодатель признавал, что самим фактом своего существования система тайных доносов стала оказывать развращающее влияние на общество, ибо «злым, подлым и бездельным людям подавала способ или ложными затеями протягивать в даль заслуженные ими казни и наказания, или же зlostнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей». Поэтому, исходя из принципов человеколюбия и милосердия, подчеркивалось в манифесте, «ненавистное изображение, а именно «слово и дело» не должно служить отныне значить ничего». Тех же, кто станет произносить эту формулу в пьяном виде или драке, надлежало наказывать как «озорников» и «бесчинников».

Упразднение Тайной канцелярии не означало отмены репрессивных законов. Просто отныне их применение подлежало строгой регламентации, и всякий подданный, узнавший о замысле измены государству или против монарха, должен был подавать письменный донос «в ближайшее судебное место или к ближайшему воинскому командиру немедленно явиться». При этом постулировалась благонамеренность дворянства, к которому было добавлено и «знатное купечество». Одновременно предусматривались конкретные меры, чтобы исключить наветы со стороны «всякого звания подлых» на своих начальников, господ и других «неприятелей». Манифест положил основы для замены внесудебного произвола нормальным судебным разбирательством по делам политического обвинения. Это способствовало развитию чувства достоинства у дворян и у представителей формировавшегося российского «третьего сословия».

Предполагалось ли в специальном законодательстве закрепить права последнего? Вопрос уместный, поскольку он возникал в дискуссиях вокруг готовившегося в 1750-е годы проекта нового Уложения, особенно третьей его части — «О состоянии подданных». Для обсуждения проекта депутаты от дворянства и купечества стали съезжаться в столицу в январе 1762 г., то есть вскоре после прихода к власти Петра III. Он не только стремился форсировать это обсуждение. Наряду с указами по вопросам городского благоустройства (поощрение каменного домостроения, организация пожарной, санитарной и медицинской службы и т. п.) император успел издать закон об учреждении Государственного банка и выпуске бумажных ассигнаций, ряд других актов, направленных на поощрение торгово-промышленной деятельности и купечества.

По-видимому, это были фрагменты более общего замысла. Сообщая о занятиях Петра III, Штелин писал: «Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность». Штелин отмечал согласие императора с его предложением «послать в Германию, Голландию и Англию несколько даровитых купеческих сыновей в тамошние коммерческие конторы, чтоб изучить бухгалтерию и коммерцию и устроить русские конторы на иностранный образец»⁴⁰. Достоверность слов Штелина подтверждается тем, что в его разговорах с Петром III фигурировала уже упоминавшаяся идея подготовки с помощью немецких ремесленников русских «национальных мастеровых».

Ряд советских (С. М. Каштанов, Н. Л. Рубинштейн, С. О. Шмидт) и зарубежных исследователей (например, М. Раф)⁴¹ отмечали в законодательстве Петра III элементы новых тенденций, таких, как поощрение торговли, промышленности и ремесел, отказ от монополии дворян на предпринимательскую деятельность и некоторые другие. Примечательным в этом плане был подготовленный Волковым и подписанный императором 28 марта указ о коммерции. Значительное место в нем уделялось мерам по расширению экспорта хлеба («государство может превеликий хлебом торг производить и что тем самым и хлебопашество поощрено будет») и другой сельскохозяйственной продукции. Обращалось внимание на необходимость бережного отношения к лесам, которые «почитаем мы за самый нужный и важный государственный артикул». Одновременно запрещалось ввозить из-за рубежа сахар, сырье для ситценабивных мануфактур и другие товары, производство которых могло быть налажено в России.

Примечателен сенатский указ от 31 января, которым разрешалось заводить фабрики по изготовлению парусной ткани в Сибири, «особливо для Охотского порта», чтобы избавиться от дальних перевозок из Москвы, «а от того казенного убытка избежать было можно». Ряд указов был направлен на расширение применения вольнонаемного труда, причем работным людям повелевалось «напрасного озлобления не чинить... чрез что уповательно впредь по найму в ту работу охотников более ссыкаться».

Логика законотворческой деятельности подводила Петра III к ключевому для страны крестьянскому вопросу. В январе помещица Е. Н. Гольштейн-Бек была лишена прав на имения, поскольку «управление деревень по ее диспозиции не к пользе, но к разорению крестьянства последовать может». Впервые в российском законодательстве указом от 25 февраля убийство помещиками своих крестьян квалифицировалось как «тиранское мучение», наказывавшееся пожизненной ссылкой. В серии указов, подписанных Петром III, закреплялось превосходство социального статуса государственных крестьян перед помещичьими. Согласно объявленным в феврале—апреле законам, крестьяне, ранее проживавшие в церковно-монастырских имениях, освобождались от прежних крепостей, наделялись землей и переводились в ведение государства с выплатой ежегодной подушной подати, которая на 1762 г. была установлена в размере одного рубля с души мужского пола.

Однако, требуя гуманного отношения к крестьянам, Петр III и его правительство решительно пресекали любые формы их «непослушания» и «своевольства», опровергали слухи о возможной отмене крепостного права и твердо стояли на защите прав помещиков. Правда, до определенного момента власти старались не афишировать предпринимаемые репрессивные меры; на основании записки Волкова император предписал 31 мая Сенату «о усмирении пришедших у разных помещиков крестьян в непослушание во всем по силе одного немедленного исполнение учинить, только публикации о том никакой не делать»⁴².

Однако слухи о явобой предстоящей крестьянской вольности очень скоро побудили изменить тактику, о чем было объявлено манифестом 19 июня по поводу бунтов крепостных в Тверском и Клинском уездах. «С величайшим гневом и негодованием, — говорилось в нем, — уведомили мы, что некоторых помещиков крестьяне, будучи прельщены и ослеплены рассеянными от непотребных людей ложными слухами, отложились от должного помещикам своим повиновения». Дабы пресечь «ослепление» крестьян и успокоить дворян Петр III подтверждал: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном их повиновении содержать». Такова была суть этого «гневного» манифеста. Так что едва ли законотворческая деятельность Петра III давала Екатерине II основания для обвинения его в «исповращении внутренних порядков».

Это обвинение дополнялось другим — тем, что заключением мира с Пруссией «слава Российская... отдана уже действительно в совершенное порабощение». Обвинение Петра III в предательстве государственных интересов оказалось в отечественной историографии необычайно живучим, хотя оно не только спорно, но и давно нуждается в пересмотре. В самом деле, Семилетняя война с ее бесцельными жертвами вызывала в стране растущее осуждение. Не кто иной, как Ломоносов в ноябре 1761 г., обращаясь к И. И. Шувалову, писал: «Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного насилия удаленных»⁴³. Кстати, эти строки почти дословно совпадали с упоминавшимся меморандумом 1760 г. великого князя на имя Елизаветы Петровны.

Переход от конфронтации к мирному сотрудничеству с Пруссией оказался обоюдополезным; уже и тогда он выбил из рук Вены возможность (а разговоры об этом велись с 1759 г.) заключения с Пруссией

сепаратного мира, что поставило бы Россию в положение международной изоляции⁴⁴. В этом смысле инициатива, проявленная Петром III буквально с первых часов пребывания у власти, исключила такую опасность. Конечно, резкий поворот внешнеполитического курса России оказался спасительным для Фридриха II, чего он не отрицал и сам. Но и со стороны Петра III, при всем его пиетете к прусскому королю, предпринятые шаги отнюдь не были проявлением альтруизма.

Мир с Фридрихом II он заключал на определенных условиях, отчасти предвосхищавших «северную систему» Панина. В самом деле, в трактатах 24 апреля и 8 июня и секретных приложениях к ним Фридрих II, в числе других гарантий, обещал Петру III, во-первых, «действительно и всеми способами», включая военную помощь, содействовать освобождению Шлезвига из-под датской оккупации; во-вторых, способствовать избранию на курляндский престол дяди императора, принца Георга Людвига (в предвидении предстоявших с Пруссией переговоров и был возвращен из ссылки одиозный Э. Бирон, оставшийся законным курляндским герцогом); в-третьих, выступить вместе с Россией гарантами прав православного и лютеранского населения Речи Посполитой и поддержать выдвижение на польский трон дружественного России кандидата. Осуществившись эта программа, Пруссия оказалась бы в кольце благоприятного для Петра III политического окружения.

Устанавливая с Фридрихом II дружественные отношения, Петр III не был склонен к безграничным уступкам. В депеше от 14 апреля австрийский посланник Мерси передавал слова, сказанные ему императором: «Он сделал уже очень много на пользу короля прусского; теперь ему, государю русскому, нужно подумать о себе и позаботиться о том, как ему подвинуть собственные свои дела и намерения. Теперь он не может выпустить из рук королевства Пруссии, разве только если король ему поможет деньгами». Это не случайно брошенная фраза, а реальность, имеющая документальное подтверждение; в подписанных с Фридрихом II трактатах предусматривалась приостановка вывода русских войск из Пруссии в случае обострения международной обстановки. В соответствии с этим 14 мая Петр III приказал контр-адмиралу Г. А. Спиридову ревелской эскадрой «крейсировать от Рижского залива до Штетинского, прикрывая транспортные суда»⁴⁵ — они снабжали провиантом и военным снаряжением дислоцированный здесь русский экспедиционный корпус.

12 февраля находившимся в Петербурге посланникам иностранных держав была вручена декларация с предложением отказаться от всех территориальных приобретений за время Семилетней войны и установить в Европе всеобщий мир. Но, призывая к окончанию военных действий, правительство России принимало меры по поднятию боеспособности армии и особенно флота, пришедшего к тому времени в упадок. В феврале и марте под председательством Петра III были учреждены специальные комиссии, чтобы привести «военную нашу силу сколько можно в лучшее еще и для приятелей почтительнейшее, а для неприятелей страшное состояние».

И, наконец, обвинение Петра III в намерении «потрясти» и «истребить» православие с заменой его лютеранством. До сих пор остается неясным, что дало повод для такого утверждения. В справке из Шлезвигского архива, относившейся к летним месяцам 1762 г., со ссылкой на «известное донесение на французском языке», утверждалось, что Петр III советовался с Фридрихом II о введении в России лютеранства⁴⁶; о замыслах церковной реформы писали и авторы ряда немецких брошюр, изданных по следам событий 1762 года. Но в законодательстве Петра III это отражения не получило, если не считать нескольких указов по конкретным поводам, вроде запрета устраивать домовые церкви, поскольку сооружение храмов дело не частное, но общее. Даже в апокрифическом «Мнении», будто бы собственноручно написанном и направленном Петром III 25 июня в Синод, упор сделан на право любого человека свободно избирать религию с добровольным соблюдением ее обрядов. В этом, собственно, ничего неожиданного не было — император, всегда относившийся к религии достаточно равнодушно, придерживался принципа свободы совести.

Уже 29 января он положил конец преследованиям старообрядцев за веру, приказав Сенату «никакого в содержании закона по их обыкновению возбранения не чинить». В переданной сенаторам резолюции Петра III подчеркивалось, что в России, наряду с православными, «и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники — христиане, точию в едином застарелом суевении и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно». Права старообрядцев были скреплены манифестом 28 февраля. Бежавшим за рубеж «великороссийским и малороссийским разного звания людям, также раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам» разрешалось возвращаться до 1 января 1763 г. «без всякой боязни или страха». В мотивировке манифеста постулаты свободы совести были увязаны с соображениями экономической пользы.

Прагматизм и просвещенческий рационализм мотивировок не только этих, но и ряда других актов, подписанных Петром III, обнаруживает черту, ранее в литературе не отмечавшуюся, — созвучие, подчас почти текстуальное, с рекомендациями Ломоносова в трактате «О сохранении и размножении российского народа». Называя убежавших в «чужие государства, а особливо в Польшу» раскольников «живыми покойниками», ученый подчеркивал проистекающий отсюда хозяйственный ущерб для страны. Он считал

необходимым пересмотреть малоэффективные способы насильственной борьбы с расколом, заменив их теми, «кои представляются о исправлении нравов и о большем просвещении народа»⁴⁷. Петр III не только следовал по этому пути, но и решился на более радикальный шаг.

Провозгласив свободу вероисповеданий, он задумал поставить церковных иерархов под контроль государства не только политически (что удалось Петру I), но и экономически, путем секуляризации церковно-монастырских имений (чего не смог сделать его дед!). Поручив практическую сторону реформы Волкову, император принял в этом и личное участие. Штелин свидетельствовал: «Трудится над проектом Петра Великого об отобрании монастырских поместий и о назначении особенной Экономической коллегии для управления ими... Он берет этот манифест к себе в кабинет, чтобы еще раз рассмотреть и дополнить замечаниями»⁴⁸. Ввиду крайней взрывоопасности замысла реформа была объявлена не однократным манифестом, а серией указов.

В первом из них, подписанном 16 февраля, по тактическим соображениям подчеркивалось, что речь идет лишь о выполнении воли покойной императрицы, заботившейся о соединении «благочестия с пользою Отечества». Действительно, новый порядок был в присутствии Елизаветы Петровны еще в 1757 г. одобрен Конференцией, хотя и не введен в действие. При всей велеречивости стили преембулы, в тексте указа то и дело прорывались вольтерьянские нотки. В частности, в нем отмечалось, что императрица, желая искоренения вкравшихся нарушений и упрочения «истинных оснований нашея православныя восточныя церкви за потребно наша монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений». Указами 21 марта и 6 апреля для управления бывшими монастырскими и церковными имениями и проживавшими там крестьянами была учреждена Коллегия экономии, а духовенство переходило на содержание государства «согласно штату».

Остается лишь гадать, собирался ли Петр III политический и экономический контроль над церковью дополнить какими-то переменами в обрядовой стороне православия. Тем более, что планы такого рода существовали. Они предусматривали, в частности, снятие ограничений на количество браков вдовцам и запрет на пострижение в монашество мужчинам до 50 лет, а женщинам — до 45 лет; требования крестить младенцев не в холодной, а в теплой воде, перенести время великого поста, сообразно климату страны, на позднюю весну и раннее лето, ибо «посты учреждены не для самоубийства вредными пищаами, но для воздержания от излишества». Пьянству, прилюдным дракам и невежественности части духовенства противопоставлялся образ жизни лютеранских пасторов, которые «не ходят никуда на обеды, по крестинам, родинам, свадьбам и похоронам», обучают детей грамоте и т. д.

Все эти планы объединялись девизом: «Пусть примером будет Германия». Только принадлежали они не «русофобу» Петру III, а великому русскому ученому и патриоту Ломоносову, который хотел привести внутренний устав и общественно-воспитательные функции православной церкви в соответствие с требованиями духа времени⁴⁹. Утверждения некоторых современных авторов, будто Петр III передел православных священников в пасторские одежды и сбрил им бороды, явно сомнительны. Были, впрочем, среди современников и достаточно проницательные люди. К ним относился и архиепископ Амвросий (А. С. Зертис-Каменский), видный церковный писатель и книголюб. Обращаясь в 1763 г. к Екатерине II, он со скрытой иронией, но внешне вполне благонамеренно вопрошал: не возникнет ли из-за поминания Петра III как «благочестивейшего» соблазна в народе, что названные в манифестах «пороки на него напрасно возведены и какие-нибудь другие виды низвержения были»⁵⁰.

В своих воспоминаниях, написанных в начале XIX в., Е. Р. Дашкова утверждала: «Петр III усиливал отвращение, которое к нему питали, и вызывал глубокое презрение к себе своими законодательными мерами»⁵¹. Но это было далеко не так. Политика императора не просто отвечала интересам широких дворянских слоев, но и вызывала с их стороны поддержку и удовлетворение. Многие законы, подписанные Петром III, и замыслы, о которых можно судить по сохранившимся источникам, шли в русле «проектов» шуваловской группы. Во многом они отвечали рекомендациям Ломоносова. Наиболее вероятным посредником между ученым и императором был И. И. Шувалов, которому посвящался ломоносовский трактат «О сохранении и размножении российского народа». Едва ли случайной отрицательное отношение к Ломоносову со стороны Екатерины II. Во всяком случае, свержение Петра III, неожиданное для подавляющей части населения, вызвало шок не только в низах, но и среди дворянства, особенно московского и провинциального. В целом ситуация накануне переворота выглядела иначе, нежели пыталась ее представить Дашкова.

Конечно, многое в подобных оценках определялось личными взаимоотношениями в придворной среде. Вспоминая о днях молодости, престарелая фрейлина Загряжская, по свидетельству А. С. Пушкина, так однажды сказала о Петре III: «Он не похож был на государя»⁵². И это ставилось ему тогда и позднее в вину. Действительно, в Петре Федоровиче уживались многие противоречивые свойства: наблюдательность, азарт и остроумие в спорах и песпешность в действиях, неосторожность и неосмотрительность в разговорах, открытость, доброта, насмешливость и вспыльчивость, гневливость. Все это проявилось в его поведении, когда он стал императором. Он не любил следовать строгим правилам придворного церемониала, нередко сознательно нарушал и высмеивал их. Отсюда в немалой степени и рождались слухи,

что Петр III «ненавидим русскими» (гр. Финкенштейн), «то и дело оскорбляет самолюбие народа» (Ж. Л. Фавье), проявляет «ненависть и презрение к россиянам» (Болотов).

Определенные основания для таких мнений были: ощущение двойственности своего происхождения (немец по отцу и русский по матери) порождало у Петра Федоровича по прибытии в Россию неустойчивый комплекс двойного самосознания. Тем не менее приведенные выше и подобные им сообщения касались не народа в целом, а, как уточнил А. Т. Болотов, «наших знатных вельмож»⁵³. И это была правда: сознательно эпатируя недоброжелательное к нему великосветское окружение, Петр III охотно общался с простыми людьми — эта привычка сложилась у него еще в юные годы. Став императором, он ездил и ходил по Петербургу один, без охраны, навещал на дому своих бывших слуг. Устным указом от 25 мая он разрешил «всякого звания людям» беспрепятственно гулять в Летнем саду и на Марсовом поле «каждый день до десяти часов вечера в пристойном, а не подлом платье»⁵⁴.

Его непосредственность и простота, находя сочувственный отклик в народе, вызывала в верхах усиливавшееся раздражение, важным симптомом которого явились самые невероятные слухи и анекдоты, получившие распространение летом 1762 года. В них Петр III предстал как сумасбродный недоумок и пьяница, не глядя готовый подписать любую подsunутую ему бумагу. Так, манифест о дворянской вольности был якобы составлен Волковым, которого император, удалившись на тайное любовное свидание, запер на ночь в своем кабинете и наказал к утру сочинить какой-нибудь важный закон. Или: во время веселого застолья К. Г. Разумовский, заранее сговорившись с собутыльниками, якобы крикнул «слово и дело» на того, кто не выпил до дна бокал за здоровье императора; устыдившись практикой доносов, Петр III тут же подписал услужливо поднесенный Волковым манифест об упразднении Тайной канцелярии.

Не исключено, что источником многих невероятных сюжетов, которым верило не одно поколение, был Волков, после переворота всчески отрещивавшийся от участия в делах своего недавнего повелителя⁵⁵. В пропаганде подобных слухов после переворота приняла участие и Екатерина II, придав этой деятельности государственное значение. В «Обстоятельном манифесте», например, свергнутый император обвинялся в намерении убить ее и устранить Павла Петровича от наследования престола. Кроме того, поддерживались слухи о желании Петра III вступить в брак со своей фавориткой Елизаветой Воронцовой, а перед тем переженить «40—50 дам света с голштейнцами и пруссаками».

Критически оценивая поток пикантной информации, поступающей из Петербурга через Варшаву, голштейнский дипломат писал в Киль летом 1762 г.: «Эти глупости обсуждаются лишь затем, чтобы воздействовать на народ, после того, как беглая императрица взбунтовала его, прося о защите»⁵⁶. Даже спустя четыре десятилетия Болотов, в то время капитан, служивший при дворе, с ужасом вспоминал о страсти Петра III к курению или о том, как однажды в Ораниенбауме император и его развеселившиеся приближенные стали «все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать»⁵⁷.

Подобные забавы, если к ним отнестись без пристрастия, выглядели вполне невинными в сравнении с развлечениями других самодержцев, правивших до и после Петра III. Как и им, ему это наверняка простилось бы, не переступи он предельной черты политических и материальных интересов правящей элиты, той «горстки интриганов и кондотьеров», которая, по меткому выражению А. И. Герцена, в действительности «заведовала государством»⁵⁸. Эти круги все более испытывали раздражение не только из-за многих далеко идущих замыслов Петра III (например, расширения льгот купечеству или реформы управления церковными имениями), но и практического их проведения в жизнь. Неожиданные и стремительные наезды Петра III в Сенат, а особенно в Синод, куда никто из царствующих особ давно не заглядывал, пугали и раздражали сановную бюрократию, привыкшую к бесконтрольности и отучившуюся по-настоящему работать.

Без энтузиазма воспринимались и шаги императора по укреплению воинской дисциплины в гвардейских частях. Тем более, что он не скрывал своего отрицательного отношения к ним и намеревался со временем вообще их упразднить, а пока предполагал послать против Дании, о войне с которой за возвращение Шлезвига говорил как о деле решенном. Одновременно вводились новые формулы словесных команд, готовилась замена мундиров по прусскому образцу. Некоторые воинские подразделения, стоявшие в Пруссии, были в помощь Фридриху II направлены против недавно союзной Австрии. В кругах столичной аристократии и в гвардейской среде, обеспокоенной своим ближайшим будущим, подобные меры встречались с тревогой и осуждением.

Несмотря на поступающие предостережения, Петр III не принимал мер самозащиты, будучи твердо уверен в незыблемости и естественности своих самодержавных прав. Настолько, что, даже вопреки настоятельным советам Фридриха II, отложил акт коронации до окончания датской кампании, в успешном завершении которой был убежден. Позднее прусский король с солдатской прямолинейностью скажет: «Бедный император хотел подражать Петру I, но у него не было его гения»⁵⁹. Если с этим можно согласиться, то лишь отчасти: мало ли примеров, когда отнюдь не гениальные люди подолгу оставались у государственного кормила.

В феномене Петра III определяющим было нечто иное: нараставший отрыв носителя власти от социальных верхов, оберегавших стабильность самодержавного режима и к тому же имевших альтернативу в лице Екатерины Алексеевны. Силы, недовольные Петром III, сделали ставку на нее в той же мере, в какой она — на них. Причем случилось это не после, а еще до вступления Петра Федоровича на престол.

На первый взгляд, это противоречит версии, восходящей к уверениям Екатерины II, что летом 1762 г. перед ней возникла дилемма «или погибнуть вместе с полумумным, или спастись с толпою, жаждавшею от него избавиться»⁶⁰. Но императрица и в этом случае кривила душой. Известно, что в последние годы и месяцы жизни Елизаветы Петровны в узком кружке придворных обсуждалась возможность высылки великого князя в Гольштейн с объявлением императором малолетнего Павла при регентстве Екатерины. План этот многих, прежде всего Екатерину, которая жаждала большего, тогда не удовлетворил. Но мысль о возможном устранении законного наследника была сформулирована.

Екатерина приняла это к сведению, избрав своей тактикой — в сложнейшей обстановке интриг у постели умиравшей императрицы — осторожность. И когда в конце 1761 г. капитан гвардии М. И. Дашков предложил великой княгине возвести ее на престол, то в ответ услышал слова, которые позднее Екатерина II воспроизвела в своих «Записках»: «Я приказала ему сказать: «Бога ради, не начинайте вздор; что бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть рановременная и не созрелая вещь»⁶¹. Надлежащие выводы, впрочем, она сделала: быть на чеку, провоцировать Петра Федоровича на неосторожные поступки, одновременно привлекая на свою сторону влиятельных лиц из аристократии и гвардии, дожидаться подходящего часа и, выбрав его, нанести удар. В этом смысле будущее Петра III было предрешиено еще до его восшествия на престол.

Но и позднее, устранив супруга и уничтожив его физически, Екатерина II сделала все, чтобы опорочить его не только как правителя, но и как личность. Этой цели была призвана служить его уродливо-гротескная характеристика в манифестах императрицы конца июня — начала июля 1762 г., развитая в «Записках», которыми она, многократно переписывая и изменяя текст, занималась большую часть своего долгого царствования. Примечательно, что народное сознание сразу же уловило фальшь екатерининских манифестов, дав им моральную оценку, которая легла в основу легенды о чудесном спасении «третьего императора».

Материализацией этой легенды стала череда самозванцев, выступившая под именем Петра Федоровича в 60—70-х годах на огромных пространствах России и сопредельных стран — от Сибири и Урала до Адриатики и Центральной Европы. Возведенные на Петра III порочащие обвинения вызывали не меньшее сомнение и у высокопоставленных современников, как это видно на примере упомянутого выше Амвросия. Впрочем, несерьезность этих обвинений вскоре подтвердила и сама Екатерина. Придя к власти, она было отменила указы о секуляризации церковно-монастырских имений, мирный договор с Пруссией, манифест о дворянской вольности и ряд других актов Петра III. Это должно было подтвердить обвинения в его адрес, содержащиеся в манифесте 28 июня.

Но в 1764 г. был заключен новый договор с Фридрихом II и возобновлена секуляризация имений духовного ведомства; хотя и с большой задержкой, но в 1785 г. были подписаны жалованные грамоты дворянству и городам. С. С. Татищев не без удивления отмечал: «Как ни велико, на первый взгляд, различие в политических системах Петра III и его преемника, нужно, однако, сознавать, что в нескольких случаях она служила лишь продолжательницей его начинания»⁶². Впрочем, удивляться следовало бы не этому, а тому, что меткое наблюдение этого историка исследователями не было оценено должным образом.

Между тем, отмеченная им преемственность не только убедительно опровергала смысл основных «пороков» Петра III, названных во вступительном манифесте Екатерины II, но и объективно свидетельствовала, что при всех издержках курс его правительства не был безрассудным или предательским. Силой обстоятельств Екатерина II была вынуждена продолжить некоторые из задуманных и начатых при нем реформ, но, как это нередко случалось в истории России, с большим опозданием, половинчато и выхолостив из них наиболее смелые замыслы.

Конечно, нет нужды идеализировать Петра III, затушевывать его личные недостатки или давать им и его деятельности оценку более высокую, чем они того заслуживают. Но нет причин и безоговорочно осуждать его, недоброжелательно рассматривая любые его поступки вне зависимости от обстоятельств и мотивов, которыми они были продиктованы. Еще более рискованно использовать в качестве основного источника для оценки Петра III «Записки» Екатерины II, прочитав которые сенатор Ф. П. Лубяновский в свое время воскликнул: «Трудно поверить, чтобы тот, кто столько лет жил одною непреодолимую верою в будущую высокую судьбу свою, решился сам собственноручно написать и потомству оставить такой аттестат о себе, да еще и не в покаяние»⁶³.

Резоны, которыми для оправдания восшествия на трон Екатерины II руководствовались историки прошлого, давно утратили доказательную силу и политический смысл. Нужна переоценка устоявшейся и прочно вошедшей в историческое сознание традиции — в интересах установления истины. А для этого необходимо расширение источниковой базы, причем не только за счет отложившихся в архивах материалов государственной деятельности Петра III. Давно уже был поставлен вопрос о критическом анализе

мемуаров Екатерины II, сочувствовавших ей Дашковой и Болотова, ряда иностранных очевидцев событий 1762 г., в том числе книги французского дипломата К.-К. Рюльера «История и анекдоты революции в России».

В этих и подобных им источниках ценная и достоверная информация о Петре III и его времени зачастую соседствует с искажениями, ошибками, грубыми передержками и пикантными, но по сути своей проверяемыми сведениями. Их некритическое воспроизведение лишь способствует превратному восприятию одного из наиболее фальсифицированных периодов отечественной истории. Призыв к справедливой оценке Петра III, Н. М. Карамзин еще в 1797 г. подчеркивал: «Прошло более тридцати лет с той поры, как печальной памяти Петр III сошел в могилу; и обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников»⁶⁴. Думается, давно настала пора оценить по достоинству мнение знаменитого историка.

Примечания

1. ГАВРЮШКИН А. Озабочься благом Отечества. — *Международная жизнь*, 1988, № 12, с. 107.
2. АНИСИМОВ Е. В. Россия в середине XVIII в. М. 1986, с. 214. Новейший обзор историографии вопроса см.: LEONARD C. S. The Reputation of Peter III. — *The Russian Review*, 1988, № 3.
3. ШМИДТ С. О. Внутренняя политика России середины XVIII века. — *Вопросы истории*, 1987, № 3, с. 57—58.
4. ДЕРЖАВИН Г. Р. Избранная проза. М. 1984, с. 266.
5. См. ЛОТМАН Ю. М. А. С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту. 1958, с. 30.
6. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей (ОР ГПБ), ф. 73, № 84, л. 1.
7. ШЕБАЛЬСКИЙ П. К. Политическая система Петра III. М. 1870, с. 12.
8. ШТЕЛИН Я. Я. Записки о Петре Третьем, императоре Всероссийском. — *Чтения в Обществе истории и древностей российских*, 1866, кн. 4, отд. 5, с. 69.
9. Там же, с. 76—77.
10. БРЮКНЕР А. Г. Жизнь Петра III до вступления на престол. — *Русский вестник*, 1883, № 1, с. 195, 197.
11. КАМЕНСКИЙ А. Б. Екатерина II. — *Вопросы истории*, 1989, № 3, с. 66.
12. Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА) СССР, ф. 4, № 109.
13. ШТЕЛИН Я. Я. Ук. соч., с. 71.
14. СОЛОВЬЕВ С. М. История России с древнейших времен. Кн. 12. М. 1964, с. 343.
15. Русский архив, 1875, кн. 2, с. 490.
16. ШТЕЛИН Я. Я. Ук. соч., с. 71, 110; ОР ГПБ, ф. 871, №№ 68, 69.
17. PRIES R. Das Geheime Regierungs-Conseil in Holstein Gottorp. 1716—1773. Neumünster. 1955, S. 74.
18. ШАМРАЙ Д. Д. Цензурный надзор над типографией Сухопутного шляхетного корпуса. В кн.: XVIII век. Т. 2. М.-Л. 1940, с. 301.
19. Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) СССР, ф. 1329, оп. 1, д. 101, л. 3.
20. Там же, лл. 4, 64.
21. Там же, л. 64.
22. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ А. С. Россия и Голштиния. — *Исторический архив*, 1919, № 1, с. 275.
23. ШТЕЛИН Я. Я. Ук. соч., с. 93.
24. Русский архив, 1898, кн. 1, с. 7, 9.
25. ЦГАДА СССР, ф. 1261, оп. 1, № 367.
26. ШТЕЛИН Я. Я. Ук. соч., с. 106.
27. Там же, с. 98.
28. ЦГИА СССР, ф. 1329, оп. 1, д. 101, л. 77.
29. Там же, лл. 87, 88 об.
30. ВИСКОВАТОВ А. В. Краткая история Первого кадетского корпуса. СПб. 1832, с. 31.
31. ШАХОВСКОЙ Я. П. Записки. СПб. 1872, с. 157, 176.
32. ШТЕЛИН Я. Я. Ук. соч., с. 97; БАРТЕНЕВ П. Дневник статского советника Мизере о службе при Петре Третьем. — *Русский архив*, 1911, кн. 2, вып. 5; *Журналы камер-фурьерские 1762 года*. Б. м. Б. г.
33. ПУШКИН А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. М. 1949, с. 175.
34. РЮЛЬЕР К.-К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. В кн.: *Россия XVIII в. глазами иностранцев*. Л. 1989, с. 304.
35. Манифесты по поводу восшествия на престол имп. Екатерины II. В кн.: *Оснадцатый век*. М. 1869, кн. 4, с. 221.

36. ЦГИА СССР, ф. 1329, оп. 1, д. 96.
37. Полное собрание законов Российской империи. Т. 15. СПб. 1830 (остальные упоминаемые официальные акты цитируются по этому же изданию).
38. Журналы камер-фурьерские 1762 года, с. 9—10.
39. СОЛОВЬЕВ С. М. Ук. соч. Кн. 13, с. 12.
40. ШТЕЛИН Я. Я. Ук. соч., с. 103.
41. RAEFF M. The Domestic Policies of Peter III and his Overthrow. — *American Historical Review*, 1970, № 5.
42. ЦГИА СССР, ф. 1329, оп. 1, д. 97, л. 94.
43. ЛОМОНОСОВ М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. М.-Л. 1952, с. 402.
44. ПРИСТЕР Е. Краткая история Австрии. М. 1952, с. 274.
45. Центральный государственный архив Военно-морского флота СССР, ф. 227, оп. 1, д. 17, л. 12.
46. Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv, 8. I. S. II. № 12.
47. ЛОМОНОСОВ М. В. Ук. соч., с. 401—402.
48. ШТЕЛИН Я. Я. Ук. соч., с. 103.
49. ЛОМОНОСОВ М. В. Ук. соч., с. 386, 387, 390, 394, 395, 407—408.
50. Затруднения при поименовании Петра III. Из бумаг М. Д. Хмырова. — *Исторический вестник*, 1881, т. 4, с. 432.
51. ДАШКОВА Е. Р. Записки. 1743—1811 гг. Л. 1985, с. 37.
52. ПУШКИН А. С. Ук. соч., с. 177.
53. БОЛОТОВ А. Т. Записки. Т. 2. СПб. 1871, с. 164—165.
54. ЦГИА СССР, ф. 1329, оп. 2, д. 52, л. 12.
55. ВЕРНАДСКИЙ Г. В. Манифест Петра III о вольности дворянской и законодательная комиссия 1754—1766 гг. — *Историческое обозрение*, 1915, т. 20, с. 51—53.
56. Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv, 400. 5. № 316. Bl, 66.
57. БОЛОТОВ А. Т. Ук. соч., с. 205.
58. ГЕРЦЕН А. И. Собр. соч. Т. 12. М. 1957, с. 365.
59. ФИРСОВ Н. Н. Петр III и Екатерина II. Пг.-М. 1915, с. 23.
60. Переворот 1762 года. Сочинения и переписка участников и современников. М. 1908, с. 6.
61. ЕКАТЕРИНА II. Собр. соч. Т. 12, ч. 2. СПб. 1907, с. 500.
62. Сборник Русского исторического общества. Т. 18. СПб. 1876, с. VI.
63. ЛУБЯНОВСКИЙ Ф. П. Записки. М. 1872, с. 176—177.
64. Цит. по: ЛОТМАН Ю. М. Черты реальной политики в позиции Карамзина. В кн.: XVIII век. Т. 1: Л. 1981, с. 126.

Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева

К Днепру!

Я уже говорил, как готовилась Курская битва. Воронежский фронт должен был перейти в наступление 20 июля, а противник перешел в наступление еще 5 июля. Это — одно. Мы недополучили значительной части подкреплений из тех, что причитались нам по плану. Это — другое. Наступление Рокоссовского должно было начаться раньше нашего, а наступать он должен был с юга на север, с тем чтобы раздвинуть правый фас дуги. Кажется, он должен был начать наступление числа 15 или, может быть, даже раньше. Средства усиления Центрального фронта, которые были приданы ему в виде артиллерийского корпуса Резерва Верховного Главнокомандования, после использования передавались нам. Для этого требовалось какое-то время. Конечно, раз Центральный фронт начинает раньше, то и получает все, что ему по плану положено, раньше нас. Следовательно, к началу немецкого наступления войска Рокоссовского имели больше, а мы меньше, потому что у нас еще оставалось время. Этот артиллерийский корпус уже находился на огневых позициях у Рокоссовского, так что там сложились идеальные условия для отпора противнику огнем.

Хочу объективно оценить сложившееся тогда положение, а не оправдаться как член Военного совета Воронежского фронта; хочу для самого себя объяснить происшедшее и правильно понять, как случилось, что противник на направлении Рокоссовского углубился на меньшую глубину, чем у нас. Есть и другая причина. Мне представляется, что против нас была сосредоточена более сильная группировка противника. У него именно тут было направление главного удара. Поэтому и больше сил было выставлено на этом направлении. Но точно я этого не знаю, тем более, что не знаю также, чем располагал фронт Рокоссовского. Итак, дело заключалось в соотношении сил. Сейчас военному историку будет уже нетрудно разобраться, потому что стали доступны все документы о численности и вооружении и нашей стороны, и противника. Можно их проанализировать и более объективно подойти к оценке сложившегося тогда положения и умения использовать имевшиеся средства во время битвы. Если же кое-кто и пытался тогда (не через печать, а в разговорах) делать нам моральные уколы, то сейчас это уже отпало. Прошло много лет, да и самое главное — битва-то была нами выиграна!

Какое тут подобрать подходящее выражение, которое отражало бы наш успех, разгром врага на Курской Дуге, не знаю! Еще после разгрома немцев под Москвой они пустили в ход слух, что главный союзник русских — зима. Русские зимой побеждают, потому что они в союзе с нею. Это ведь, мол, их зима! Проведение зимних операций им легче, чем немцам, потому что эти условия для них родные — обычный климат тех мест, где они живут. Наполеон, дескать, тоже потерпел поражение зимой. Русские разбили ранней зимой наполеоновскую армию, теперь русские разбили немцев под Москвой тоже зимой. За это Гитлер и сместил их главнокомандующего Браухича. Когда затем под Сталинградом мы разбили колоссальную группировку Паулюса, то немцы тоже говорили, что во всем виновата зима. Осенью окружили

Паулюса, а зимой доби́ли; значит, и тут зима. Кроме того, как под Москвой, так и под Сталинградом велись затяжные бои.

Но совершенно другие условия были на Курской дуге. Лето! Самое лучшее время лета — 5 июля. Все цело, все наливалось, если говорить высокопарными фразами. Во-вторых, здесь инициативу проявили сами немцы: выбрали направления для ударов и ударили, когда хотели. Поэтому все средства, которые они желали сосредоточить для достижения цели, поставленной перед их войсками на Курской дуге, они собрали. Таким образом, здесь немцы уже не могли сказать, что у русских был какой-то союзник вроде зимы. Конечно, это и раньше было не главным, но пускалось ими в ход ради оправдания. А теперь аргументы, которыми оправдывались в Берлине перед своим народом за поражения 1941, и 1942, и 1943 годов, отпадали. Инициатива во всем принадлежала им: и в выборе времени и места, и в накоплении необходимых средств, все буквально было в руках гитлеровского командования. И несмотря на это, даже на возможность первым сделать выстрел, противник был разбит.

Сосредоточение войск, особенно артиллерии, танков, другой техники там было колоссальным. К сожалению, я сейчас не располагаю цифрами и не знаю, в каких работах наши военные историки собрали соответствующие данные и сопоставили их. Когда я занимал положение Первого секретаря ЦК партии и Председателя Совмина СССР, всегда предупреждал военных при изучении прошлого и анализе боев меньше всего полагаться на воспоминания. Надо строго руководствоваться фактическим материалом. Ведь сейчас все это доступно: поднимите карты, сопоставьте силы, посмотрите, как они были расположены с нашей стороны и со стороны противника, взвесьте получившееся, и будет видно, где и как были проявлены умение, знания и способности того или другого командующего. А если опираться только на воспоминания, то следует знать, что очень трудно ожидать объективности от людей, которые лично участвовали в операциях.

Я много времени провел на войне, знал многих командующих, у меня были хорошие взаимоотношения с абсолютным большинством из них, хотя и возникали трения. Без этого нельзя, я тоже не святой. Все люди — живые, и все со своими недостатками. Нельзя прожить жизнь, как говорится, без сучка и задоринки. Но вообще-то я доволен теми людьми, с которыми работал на фронте. Почти всегда мы находили общий язык. Говорю — почти, но мог бы даже сказать — всегда. Появлялись иной раз какие-то разногласия, но сейчас не стану конкретно говорить об этом, чтобы не углубляться в негативную сторону дела. Люди, участвовавшие в тех боях, получили награды и соответственно отмечены, так что ворошить «грязное белье» ни к чему.

Повторюсь: то была грандиозная битва. Враг утратил стратегическую инициативу раз и навсегда, военное счастье больше к немецкому оружию не возвращалось. Помню, когда я приехал к Ротмистрову, он показал мне немецкий документ с приказом, который захватили, разгромив какую-то немецкую часть. В нем содержались такие слова, обращенные к войскам: «Сейчас вы ведете наступление и обладаете оружием, которое превосходит оружие русских. Наши танки превосходят русские танки Т-34, которые до сих пор считались лучшими. Сейчас вы получили немецкий танк «тигр», равного которому нет в мире. Поэтому вы, воины немецкой армии, получив такое оружие, разгромите врага» и пр. Действительно, танк был грозный, нужно отдать ему должное. Но он не сыграл той роли, которую на него возлагал Гитлер. Наши войска быстро научились бить «тигров». Даже когда снаряды еще не пробивали их броню, наши бойцы находили уязвимое в них место и били по гусеницам.

Недавно я видел фильм. Там показывали, как девушку заставили, понимаете ли, ползти по переднему краю и фотографировать «тигра». Но это — художественное произведение; вольно же автору вкладывать в него свою выдумку. А встретились мы с «тиграми» на Курской дуге в условиях, когда было не до фотографий. Да и для чего его фотографировать, тоже непонятно. По замыслу сценариста девушка хотела его сфотографировать, чтобы показать место, куда следует стрелять. Оказалось, надо пробивать бок танка. Но танк обычно движется к врагу не боком, а лбом. Поэтому мы дали директиву бить по гусеницам. Гусеницы — не только самая уязвимая часть танка, но и представляют хорошую мишень, потому что у «тигра» широкие гусеницы. В бок бить, конечно, тоже хорошо: боковая броня в танке слабее, чем лобовая, но бок не всегда подставляют противнику. Не хочу развивать эту тему, хотя вольная выдумка художника противоречит, с моей точки зрения, действительным фактам. Ведь плохо для картины, когда зритель начинает говорить, что вот так-то не было, а было вот так-то. Мнения совпадают лишь в том, что немецкий танк, действительно, был грозен, но потом наши артиллеристы прекрасно справились со своей задачей.

Возвращаюсь к вопросу о значении битвы на Курской дуге. Первая ощутимая победа на том направлении, где я был, имела место в 1941 г.: Ростов. Потом — операция в районе Воронежа, Курска и Ельца. Потом, если говорить о другом направлении, — Москва. Это была действительно грандиозная победа. Враг уже совершенно был уверен, что захватит Москву, но потерпел поражение и был отброшен на большую глубину. Потом — новые неудачи 1942 г., наше поражение под Харьковом, продвижение противника, захват Ростова, продвижение на Северный Кавказ и на Волгу. Затем — опять наши успехи: разгром врага под Сталинградом и в результате крушение масштабного гитлеровского плана, включавшего проникновение в Иран и в Индию. Однако фашисты еще не признали себя побежденными, решили восстано-

вить былую славу немецкого оружия и вернуть себе стратегическую инициативу. Выбрали подходящее место и время, сосредоточили все лучшее, что могли, против наших войск и провели операцию на Курской дуге. Но в результате получили разгром своих войск и после этого стали откатываться под ударами наших войск на обширном фронте.

Вернусь к Сталинграду. Мы там выбирали точку, где нам удобнее ударить. Хотя это было и не главное, но значительным подспорьем явилось то, что мы смогли решить, на каком направлении организовать удар, и выбрать те войска, по которым нужно ударить на этом участке фронта. Мы предпочитали, чтобы там стояли не немецкие войска, а находились бы румыны или итальянцы, их союзники. Когда мы наступали под Сталинградом, то против нас были румынские войска, менее стойкие, менее организованные и хуже вооруженные. Внутренняя устойчивость у них тоже была не та. Они не знали толком, за что воюют, и являлись придатком, сателлитами немцев, которые оскорбительно относились к ним, несколько свысока. Это, конечно, тоже сказывалось на моральном состоянии румынских войск, и они не проявили того упорства, которое проявляли тогда немцы. На Курской же дуге не было такого вопроса. Перед нами не было никаких других войск, кроме немецких. Поэтому не стояло вопроса, какой национальности враг находится перед нами: немцы, румыны, итальянцы или венгры. Если немцы, то даже лучше: громить, так уж главные силы врага, ударные силы. А после Курской дуги данный вопрос вообще отпал, ибо инициатива перешла полностью в наши руки.

После Курской дуги я продолжал быть членом Военного совета Воронежского, а потом 1-го Украинского фронтов. Мы провели битву за освобождение Киева и двинулись дальше на запад. Конечно, и я не лишен чувств человека, его слабостей. Мне приятно, что в этих грандиозных битвах, которые были проведены Красной Армией под Сталинградом и на Курской дуге, я был членом Военного совета соответствующих фронтов. Вот почему мне было обидно, и я внутренне переживал (человеческая слабость, а может быть, и протест против несправедливости), что на торжества, которые состоялись недавно по случаю 25-летнего юбилея разгрома врага под Сталинградом, меня не пригласили. И в исторических фильмах, и в киноэпизодах, которые демонстрировались к этой дате, все, кто близко знал меня и видел эти кинокадры, заметили, как сделано было все, чтобы зритель не увидел, что Хрущев участвовал в той борьбе как член Военного совета Сталинградского фронта. Мне рассказали и о еще более неприятном, я бы сказал, даже позорном, факте. Когда состоялось заседание в Москве по случаю юбилейной годовщины разгрома врага под Сталинградом, по окончании торжественной части один офицер обратился к генералу, который там находился, с вопросом. Я спросил товарищей, которые там были, о фамилии генерала. Им оказался генерал Батов. К нему-то и обратился офицер: «Товарищ генерал, скажите, пожалуйста, Сталин был в Сталинграде, когда шла знаменитая битва?» Возникла пауза, потом Батов говорит: «Я не знаю». Офицер опять обратился к Батову: «Товарищ генерал, а Хрущев был в Сталинграде?» Опять пауза, потом следует ответ: «Я не знаю».

Я с уважением относился к Батову. Пауза, о которой мне передали, свидетельствует об остатке совести, стыда, что ли. Батов сказал офицеру, что он не знает, а ведь он знал, что говорит неправду. Он-то хорошо знал, что Сталина во время битвы никогда там не было. Ну, хорошо, допустим, что это — высокий секрет. Но я-то знаю, я, член Военного совета, что не было там Сталина, и Батов тоже знает. Он взял грех на свою душу, правда, не без угрызений совести, потому и возникла пауза перед ответом. То же — и по ответу на вопрос: «Был ли там Хрущев?» Опять пауза, также признак остатков порядочности. Он не сразу смог ответить, а ответил уклончиво: «Не знаю». Это все же лучше, чем сказать, что не был, что явилось бы наглой ложью. Но и такой ответ — не украшение для человека и для генерала, когда он молодому офицеру говорит по сути дела неправду. А этот офицер все же узнает потом, кто там находился и кого не было. Узнает, потому что проходит какое-то время, умирают те или другие люди, которые заинтересованы непомерно выпячивать какие-то факты или лиц, игравших определенную роль в событиях, и затаптывать, умалять действия других людей. Но время, как реставратор, снимает все наслоения, все налеты неправды и клеветы. Все это будет расчищено, и каждый факт получит правильное освещение, а все участники событий займут свое место. Я в этом глубоко убежден. Я верю в человека, верю в людскую правдивость, и это является сейчас для меня успокоением и утешением.

Возвращаюсь к разгрому вражеских войск под Курском и к нашему торжеству. Просто, как говорится, приятно вспомнить! После длительных переживаний, огорчений, волнений и беспокойства за судьбу страны каждый из нас чувствовал, что победа обеспечена, что это — начало гибели гитлеровской Германии, начало нашего победоносного шествия на пути к Берлину и полному разгрому немецких войск. Можно себе представить переживания людей, которые жили в то время. И вот — их торжество: угроза стране отведена и ликвидирована, мы идем к окончательной победе и будем наслаждаться мирной жизнью, продолжать успешно строительство социализма и коммунизма.

Это, возможно, не каждый поймет из числа тех, кто будет знакомиться с моими воспоминаниями. Здесь нужно как бы проникнуть в душу человека, понять и его, и угрозу, которая висела тогда над нами. Наш народ безропотно страдал от жизненных недостатков, потом умирал на переднем крае войны, погибал под бомбами гитлеровцев, но все делал для того, чтобы обеспечить победу, и добился перелома

в войне. Мы уже были уверены, что теперь Гитлеру, как говорили солдаты, «капут». Все, все это мы пережили тогда, но и сейчас, когда я начинаю вспоминать былое и напрягать свою память, то опять волнуясь, живу горестями и радостями того времени.

Итак, мы перешли в наступление. Я бы сказал даже, не наступление это было, а вытеснение противника, потому что сил у нас было для настоящего наступления еще недостаточно, хотя и противник потерял много. Он утратил не только возможность дальнейшего продвижения, но даже возможность задержаться на рубеже, которого достиг в результате прежнего своего наступления на Курской дуге. Наше вытеснение врага, как будет правильнее его назвать, продолжалось несколько дней. Мы, наверное, теснили противника на расстоянии километров в 20 с лишним или 30. У нас не хватало сил, чтобы отбросить его на старый рубеж, который он занимал до 5 июля, и нам пришлось прекратить это оттеснение. Мы выдохлись и стали подсчитывать свои возможности, когда сможем возобновить наступление. Определили, что сможем 3 августа. Я отлично помню тот день. Он памятен тем, что мы как бы подняли голову, расправили крылья, разогнули спину и приготовились к нанесению удара: не только к оттеснению врага на старый рубеж, нет, мы уже готовились тогда к освобождению Белгорода, Харькова, к повороту на запад, с тем чтобы выйти к Днепру.

Степной фронт, который ранее стоял в резерве, был направлен на Белгород. Командовал им Конев. Харьков тоже вошел в полосу Степного фронта. К 3 августа мы подтянули пополнения, получили боеприпасы и подготовились к наступлению. Тут уже мы сами выбирали время и направление удара. Когда разрабатывался план наступления и выбирался участок главного удара для прорыва фронта, к нам приехал Жуков. У нас имелось несколько вариантов. Пришлось поломать голову, какой избрать вариант: бить в лоб на участке, на котором против нас наступал противник, или же перенести свой удар вправо, то есть западнее, с тем чтобы там прорвать оборону немцев. Последнее считалось более легким: предстояло зайти им в тыл, а может быть и окружить группировку противника. Это было очень заманчиво. Но еще нигде, кроме Сталинграда, мы такой операции не проводили и пока не привыкли к этому.

Долго мы обсуждали, колебались и в конце концов решили бить в лоб. Это предложение внес Жуков, и я с ним был тогда согласен, да и сейчас считаю, что такое решение было правильным. Оно тяжелее в том смысле, что мы были вынуждены (и мы это понимали) приложить больше усилий и больше иметь жертв, чем если бы нам удался фланговый удар. Почему же мы отказались от удара во фланг? Мы располагали сравнительно небольшими силами. Было опасно этими силами проводить маневренный удар. Мы рассуждали так: хорошо, мы ударим с фланга. Зайдем со своего правого фланга и ударим по левому флангу группировки противника. Видимо, прорвем его оборону. Но какая существует гарантия, что противник не сделает то же самое, то есть не нанесет нам фланговый удар по нашему новому флангу? Тогда получится, что мы, желая окружить противника, сами попадем в окружение и понесем потери. То, что мы теснили противника, еще не служило доказательством того, что он, как и мы, не подтянул резервы и не обеспечил себе возможность контрудара. Решили, как сказал Жуков, бить в лоб, перемалывая силы противника: все равно где-то ведь надо их перемолоть, иначе продвижения вперед мы не получим.

Был организован лобовой удар. Сил к тому времени у нас было даже меньше, чем к 5 июля, к началу немецкого наступления. Но мы чувствовали, что и такими силами можем нанести удар противнику. Нанесли удар. Враг дрогнул, стал пятиться. Я говорю — пятиться, но не говорю — бежать. Так путем оттеснения мы оттесняли противника на юго-запад. Заняли Белгород, потом Харьков. Взятие Харькова — это была большая победа. То ли в качестве члена Военного совета фронта поехал я в Харьков, то ли я там был в качестве секретаря ЦК КП(б)У (потому что Харьков в то время не входил в полосу нашего фронта).

Торжество в Харькове состоялось большое. Народ хорошо встретил вступление в город Красной Армии. Мы провели там большой митинг, все было очень торжественно, люди сияли. Но были и омрачения на митинге. Не помню, на какой площади организовали митинг, наверное, на площади перед зданием Госпрома или, может быть, на Сумской улице. Построили трибуну, составив грузовые машины. Народу собралось много. Помню, стояли мы и ожидали, когда городские власти подготовят митинг к открытию. И вдруг появляются один или два воздушных разведчика противника и кружат над городом. Как воробьи, которые, когда летает ястреб, сейчас же прячутся под крыши, так и народ побежал к домам. Вижу, если не принять каких-то мер, то мы можем остаться с пустой площадью, народ разбежится. Я стоял рядом с Жуковым и говорю ему: «Давайте взойдем на трибуну. Это сразу стабилизирует положение». Он отвечает: «Пойдем». Мы поднялись на трибуну, и народ, как только увидел, что мы поднялись на грузовые машины, тоже стал подходить, уплотняться вокруг импровизированной трибуны. Потом появились в воздухе наши истребители, и самолеты противника улетели.

Мы позднее часто вспоминали с Жуковым, в каких условиях пришлось нам проводить митинг, когда Харьков-то заняли, а противник стоял буквально под боком. Еще мы провели в театре какое-то собрание харьковской интеллигенции. Тогда, по-моему, вражеские снаряды вообще падали в этом районе, противник был еще очень близко. Это свидетельствует о том, что у нас сил было достаточно, чтобы отогнать его от Харькова, но недалеко. Вот такие были тогда переживания.

У меня в памяти отложилось еще несколько эпизодов. Правительство Украины устроило для воен-

ных, участников разгрома противника и освобождения Харькова, обед. Не так-то и много было людей на обеде. Были там Жуков и Конев. Но Ватутина не было, так как этот участок отошел от Воронежского фронта к Степному, где командующим был Конев. Обедали. По такому случаю поставили 100 граммов, а желающие могли получить даже больше. Помню, что артист Лаптев, видимо, получил больше 100 граммов. Иначе он не обратился бы со своей просьбой, подойдя к нам. Мы сидели рядом с Жуковым, и он обратился к Жукову: «Вот вы генерал, и я тоже очень хочу быть военным. Я вас очень прошу, присвойте мне звание полковника. Я очень хочу иметь звание полковника». Человек был, так сказать, под хмелем. Я-то знал Лаптева, и если бы не такое его состояние, то вряд ли бы он настойчиво старался показать, как ему хочется быть военным и иметь звание полковника. Генерал, конечно, больше. Но до генерала он не дотянул. Видимо, считал, что за следующим обедом можно будет добраться и до генерала после того, как ему будет присвоено звание полковника.

Я отговаривал его шуточками, но он продолжал просить. И что меня удивило? Под каким-то особым настроением, может быть — под влиянием 100 граммов, вдруг поворачивается ко мне Жуков и говорит: «А знаешь (мы тогда с ним находились в дружеских отношениях), ведь я имею право как заместитель Верховного Главнокомандующего присваивать звания до полковника включительно». Я отвечаю: «Давай мы эти вопросы обсудим завтра». И стал уже более твердо настаивать, чтобы Лаптев прекратил свои просьбы и занял свое место. Он это и сделал. Конечно, на завтра уже никто не поднимал этого вопроса, ни Лаптев, ни тем более Жуков, а я ему даже не напоминал. Представляю себе, если бы такое случилось, то какой невероятный возник бы скандал. Оправданный скандал — ведь воинскими званиями нельзя бросаться, особенно по просьбе тех, которые сами с нею обращаются, нельзя просто так присваивать воинские звания, тем более полковника.

Занялся я делами Харькова. Еще до освобождения и Харькова, и вообще всех областных и районных городов Украины мы заранее создавали организационные комитеты и назначали на определенные посты нужных людей. Как только освобождался очередной город, они вступали в свои права и начинали налаживать жизнь, обслуживание населения, приводить в порядок производство, обеспечивать народ всем необходимым. В первую очередь организовывали снабжение продовольствием, восстанавливали водопровод, электростанции, трамвай, канализацию. Меня тянуло посмотреть, что же случилось с Харьковским тракторным заводом? Он был построен вскоре после Сталинградского тракторного и обладал такой же мощностью. Я хотел посмотреть, как быстро можно восстановить этот завод, потому что без восстановления производства тракторов не было даже возможности думать, что нам удастся восстановить сельское хозяйство Украины, а следовательно, обеспечить народ продовольствием, прежде всего хлебом и сахаром.

Поехал я на Тракторный и увидел там печальную картину. Когда мы зимой 1941—1942 г. в первый раз освободили Харьков, то Тракторный завод был пуст, но его корпуса были готовы принять станочное оборудование. Пожалуйста, давайте заказы и сырье, и сразу можно запускать производство. А в августе 1943 г. завод лежал в руинах. Другие заводы тоже были разрушены, как и жилые кварталы. Харькову был нанесен очень большой ущерб. Но война есть война! Мы хотели, конечно, чтобы было лучше. Но были готовы и к тому, с чем встретились в Харькове, разрушенном гитлеровскими ордами.

Секретарем обкома партии мы назначили, по-моему, Чураева. Председателем облисполкома, когда мы отступали, был, как кажется, Свиноаренко, но он был убит при бомбежке в Валуяхах, где стоял наш штаб фронта. Он шел ночью по улице, взорвалась бомба, и он погиб. Это был хороший, молодой, энергичный человек, по образованию агроном или зоотехник. Кого мы назначили на его место в августе 1943 г., не помню. Сейчас у меня выскочило из памяти, кто же были тогда председатель облисполкома, секретарь горкома партии, председатель горисполкома. Но люди зашевелились, кадры у нас имелись в резерве, и мы сейчас же организовали местное руководство, которое обеспечило восстановление нормальной жизни и деятельности города и области.

Тем временем Воронежский фронт продолжал выпрямлять Курскую дугу. Вершина южного фаса дуги лежала под Сумами. Здесь-то мы и нанесли удар. Но на фланге, с более южной стороны, противник нависал над нами, и нам надо было его и здесь разгромить, иначе он мог бы, восстановив свои силы, причинить нам неприятности. Там у нас оставались 40-я армия Москаленко, 27-я армия Трофименко, 38-я армия Чибисова, а справа примыкала 60-я армия, которая входила в состав Центрального фронта Рокоссовского. Впрочем, в ходе боев наши армии менялись местами.

Мы стали думать об организации нового удара, с тем чтобы сломить противника, стоявшего против армии Москаленко, и сбили там противника с его позиций даже с меньшими усилиями и потерями, чем при наступлении 3 августа, хотя он и оказывал еще довольно сильное сопротивление. Особенно упорное сопротивление мы встретили в районе Томаровки. Враг там не отошел, мы окружили его войска, но затратили довольно много времени и сил, чтобы разгромить их. Они цепко держались, не уступали нам, не бежали, а дрались за каждую пядь земли. Потом продолжила наступление 27-я армия. Она была более полнокровной, так как из нее ранее меньше было взято на главное направление боев. Кроме того, мы получили подкрепление — танковый корпус под командованием Полубоярова.

Тогда уже мы сами выбирали время и направление удара. Мы были абсолютно уверены, что не

только организуем наступление, но и что это наступление завершится разгромом противника. Мы с Ватутиным, Ивановым и другими членами Военного совета и командующими родами войск определили направление главного удара, стали готовиться к наступлению и подтягивать все необходимое. Мы уже тогда получили артиллерийский корпус Резерва Верховного Главнокомандования, который должен был нанести удар по переднему краю противника и облегчить наш прорыв. Не помню, выезжали ли мы все в Москву для утверждения этого плана или послали туда начштаба фронта Иванова. Такие случаи бывали, потому что это наступление не считалось генеральной битвой: просто в результате разгрома противника мы приступили к скальванию его флангов на Курской дуге.

Потом прилетел Жуков. Я был очень рад его приезду, потому что он всегда привносил в операцию что-то новое. Человек он был, уверенный в своих способностях, и решительно вмешивался в подготовку операции и ее проведение. Он всегда с толком разбирался, где и какие силы противника расставлены, и высказывал определенное мнение, как лучше использовать на данном участке наши силы. Я с доверием относился к такому его вмешательству. Это не только не задевало моего самолюбия, но и радовало меня. Не знаю, как думал командующий войсками. Может быть, он и проявлял некоторую болезненность, хотя я не замечал со стороны Ватутина таких переживаний. Готовили мы эту операцию, развесили карты, обсуждали направление удара. Сидели Жуков, Ватутин, я и Иванов.

Жуков подошел к карте, ткнул пальцем и говорит: «А что, если нам не здесь ударить, а несколько глубже?» То есть, опять мы возвращались к старому вопросу, который возник, когда мы готовили наступление 3 августа. Как ударить: в лоб или во фланг? Если ударить, как мы предлагали, в лоб, то получалось небольшое скальвание по линии фронта, сейчас не помню, на сколько километров. Жуков же замахнулся значительно западнее. Там находился крупный населенный пункт, районный центр. У нас в это время уже появился задор: а почему бы и нет? Мы ведь разбили главные силы врага; может быть, здесь следует ударить посмелее? Решили нанести удар в этом направлении и сразу же поручили начальнику штаба переработать оперативную карту и задания для войск, дать необходимые указания командующему армией Трофименко, на участке которого будет проводиться эта наступательная операция. Особенных изменений не произошло, кроме направления самого удара.

Шло время. Работали тылы, подвозили все необходимое для обеспечения боев. Незадолго до начала проведения операции поехали мы с Ватутиным к Трофименко, чтобы послушать его на месте, конкретнее разобраться в обстановке, с тем чтобы быть более уверенными в успехе. Трофименко располагался в поле, в каком-то леске или кустарнике. Лесов там мало, это юг Курской области, на границе с Украиной, а может быть, это была уже украинская земля. Его штаб находился в палатке. Он развернул карту и начал докладывать, как идет подготовка. Я с уважением относился к этому генералу. Он был моложе других командующих армиями, но человек был образованный и опытный. И вдруг Трофименко стал докладывать о новом направлении главного удара как о худшем, чем то, которое было намечено первоначально. Ватутин встрепнулся. Он очень не любил менять принятого решения. Он мне не раз доказывал, что военные, раз приняв решение, не должны менять его. Я же ему возражал: «Товарищ Ватутин, если военный или даже невоенный человек, приняв какое-то решение, видит, что вырисовывается новое, более интересное, которое позволит с меньшими потерями выиграть сражение, то глупо придерживаться старого. Дескать, раз я сказал, то так и буду делать. Это глупо, и я не понимаю этого. Хотя для военных, хоть для гражданских лиц это принцип ослиного упорства, а не разумное изыскание лучшего решения». Произшел довольно натянутый разговор, чего у меня никогда раньше не случалось с Ватутиным, да и позже тоже не случалось. Я его не только уважал, но просто любил этого человека. И я не стал спорить, а только задавал вопросы. «Почему вы считаете, что лучше первое направление?»

Трофименко: «Вот, смотрите по карте. Я здесь на брюхе ползал, ночью и на рассвете, и хорошо знаю этот участок. Вот первое место. Передо мной нет вблизи никакого населенного пункта, передний край проходит в низине, а за этой низиной — заболоченное место, которое танки смогут преодолеть. Я в этом уверен. Если танкам не удастся пройти с ходу, то можно небольшими усилиями обеспечить танкопроходимость участка. Передний же край противника я просто вижу, потому что наши позиции лежат выше, чем у противника». И действительно, когда мы приехали на его командный пункт, то точка для него была выбрана такая, откуда видны окопы противника. «А вот, — продолжает, — новое направление. Здесь наш районный центр, там много кирпичных зданий. Думаю, противник превратил их в доты, поставил пулеметы, может быть и артиллерию. Чтобы выбить оттуда немцев, надо приложить большие усилия. Кроме того, перед районным центром есть три пруда. Они неглубокие, но наполнены водой. Хотя воду можно спустить, но грязь-то останется, и танки вряд ли смогут пройти. Я убежден, что, если останется второе направление, тоже выбью противника, но с большими усилиями и с большими потерями. Я просил бы, если возможно, оставить мне старое направление». Я не стал высказывать своего мнения, потому что высказался командующий войсками, и я не хотел, чтобы перед командующим армией у нас выявились разные мнения. Но не хотел поддерживать и Ватутина. Говорю: «Хорошо, поедем к себе».

Уехали. Когда сели в машину, а мы вместе с Ватутиным ехали на «виллисе», я стал доказывать, что Трофименко, по-моему, прав, его доводы разумны, тем более что это направление именно нами с вами

было выбрано, а переменили мы его по совету Жукова. От только посоветовал нам, но не приказал так делать. Мы сами уцепились за его предложение, потому что оно казалось более выгодным и позволяло глубже сколоть фланг противника. Теперь видно, что мы плохо изучили этот район, а к Жукову предъявлять претензии нельзя: он совсем района не изучал, а просто ткнул пальцем. Считаю, что надо поддержать Трофименко. Ватутин опять начал мне доказывать, что менять решение нельзя. «Мы все распределили, отвели позиции для установки тяжелого артиллерийского корпуса, который уже на марше». Я возражал: «Да, мы выбрали новые позиции для орудий, но и старые у нас тоже выбраны. Корпус перемещается с востока, так что ему старые позиции даже ближе на несколько километров. Думаю, что это не препятствие». Он со мной не соглашался. Приехали мы в штаб. Мне ничего не оставалось делать, как написать Сталину. Я послал шифровку.

Значительно раньше того Сталин предложил мне: «Вы возьмите шифр и шифровальщика, чтобы непосредственно от вас, минуя штаб фронта, я получал то, о чем вы будете считать необходимым докладывать». Теперь я воспользовался этим, составил шифровку и послал Сталину. Назавтра мы собрались с командующим войсками поехать в 38-ю армию. Ею командовал генерал Чибисов. К нему было далеко ехать. В дороге вдруг догоняет нас на «виллисе» офицер из штаба и говорит, что был звонок из Москвы, от Иванова. В то время были в ходу фронтовые псевдонимы, и у Сталина был псевдоним «Иванов». «Иванов приказал позвонить ему по телефону ВЧ из ближайшего пункта». Нам было ближе всего проехать в штаб к Чибисову. Я понял, что Сталин, видимо, прочел мою шифровку и хочет уточнить для себя наши разногласия, поэтому считал своим долгом предупредить командующего фронтом, чтобы он не был застигнут врасплох, и сказал ему: «Николай Федорович, думаю, что Сталин будет спрашивать вот по такому-то вопросу. Я сообщил Сталину мнение командующего армией Трофименко и хочу предупредить, чтобы вы подготовились, продумали ответы на вопросы, которые он поставит». И опять сказал, что я и сейчас считаю, что надо принять предложение Трофименко и вернуться к нашему старому варианту. Он умолк, обдумывая дело. Видимо, волновался. Безусловно, моя позиция вызывала его недовольство, но я вынужден был пойти на это.

У нас сложились добрые, дружеские отношения с командующим войсками. Но ведь шла война. Нельзя в угоду тому, чтобы не нарушить дружеских отношений, пренебрегать опасностью, что мы больше затратим сил и больше прольем крови. Я считал, что нет иного выбора. Приехали мы к Чибисову в штаб и по телефону вызвали Москву. Сталин ответил. Не помню, меня ли он раньше подзвал к телефону или сразу командующего войсками. Стою рядом, а Ватутин говорит: «Я считаю, что если мы опять переменим направление удара, то не сможем уложиться в сроки, которые определены для наступления. Прошу оставить второе направление, тогда мы обеспечим начало операции в определенный срок». Сталин сказал, чтобы тот передал трубку мне, и говорит: «Вы слышали?» Отвечаю: «Слышал, но считаю, что это не совсем точно». И начал доказывать, что арткорпус сейчас на марше, и если мы немедленно примем решение вернуться на старое направление, то там места уже определены для орудий, потому что заранее была проведена разведка командиром корпуса, а проехать туда даже ближе. Думаю, что никакого нарушения сроков не произойдет. Сталин: «Я поддерживаю вас. Если надо будет продлить срок, считаю, что можно продлить». Отвечаю: «Лучше всего мы сейчас поговорим с Трофименко, а потом мы еще раз Вам скажем, каково его мнение». «Ну, хорошо».

Мы тут же вызвали Трофименко по телефону. С ним разговаривал Ватутин. Тот сказал, что укладывается в те же сроки, никакого дополнительного времени ему не нужно. Потом взял трубку я, и Трофименко повторил мне то же самое. Мы опять позвонили Сталину. По-моему, с ним говорил я: «Вот, поговорили с Трофименко, он не просит удлинения сроков, готов проводить операцию в те сроки, которые намечены, и абсолютно уверен в успехе операции». Сталин: «Я согласен, я за ваш вариант». Но это не мой вариант, это вариант штаба фронта, который был утвержден Генеральным штабом и, следовательно, Сталиным. Я передал трубку командующему войсками, и Сталин сказал, что поддерживает вариант Хрущева. На этом разговор кончился.

С обстановкой в 38-й армии мы уже разобрались. Мы приехали к Чибисову, чтобы его послушать, потому что следующей операцией, после наступления Трофименко, была намечена операция 38-й армии. У нас она не была еще разработана, и мы послушали командующего, с тем чтобы он высказал свое мнение, как считает возможным организовать удар прямо на запад. Тут мы, как говорится, лицом повернулись уже к Днепру, к Киеву. Послушали мы его и вернулись к себе. По дороге заехали к Трофименко и сказали, что удовлетворяем его просьбу, изменяем свой приказ и что удар будет наноситься на направлении, которое было определено первым. Тот буквально просиял и начал нас заверять, что операция будет проведена успешно. Мне понравилось, что человек заботится о том, чтобы провести операцию с меньшими затратами.

Продолжалась подготовка, срок вплотную приблизился к намеченному началу наступления. В это время опять к нам приехал Жуков. Он уже знал, что мы изменили направление удара. Я сказал Жукову: «Вы тогда ткнули пальцем в карту и, видимо, не разобрались, а вот командующий армией критически отнесся к этому решению. Мы еще раз изучили обстановку и убедились, что направление, которое было

раньше избрано для наступления, лучше. Поэтому мы изменили решение, принятое в ваш прошлый приезд. Командующий армией настаивал, чтобы вернуться к первому варианту решения, и мы так и сделали, а нам это утвердили». И я был обрадован, что он без всякого ложного самолюбия, спокойно, даже с какой-то веселостью согласился: «Видимо, лучше так. Раз Трофименко говорит, то, видимо, так лучше». Решили мы с Жуковым поехать к Трофименко. Трофименко уже подготовился к наступлению. Было подтянуто все, что нужно, для начала боевых действий. Когда мы приехали, то увидели, что на позициях стояли даже «катюши». Это, так сказать, готовность № 1.

Там произошел такой инцидент. Мы подъехали поближе к переднему краю, чтобы не попасть под навесный обстрел противника, и Жуков спросил офицера, сопровождавшего нас: «Куда нам тут ехать?» Тот ответил: «Вон, на горочку». Мы подъехали. Стоят «катюши». Они стреляют на довольно близкое расстояние, так что мы подлезли очень близко к противнику и на «виллисе» выскочили на горку. Как только выскочили, сейчас же противник накрыл нас минометным огнем, но никто не пострадал. Мы выбрались из «виллиса», а тут лежал ход сообщения, и мы нырнули в него. Жуков очень ругал этого офицера: «Что же ты нас подставил под минометный огонь? Ты что, испытания проводишь?» Офицер должен был предупредить нас, что если мы поднимемся на горку, то противник нас увидит и, конечно, не простит нам такой дерзости, а хотя бы попугает нас минометным огнем.

Прошли мы по ходу сообщения на командный пункт, тоже на горочке, а еще там были накаты, и то, и се. Он выглядел, как пуп на животе, и, видимо, со стороны противника хорошо проглядывался. Но оборудован был хорошо, имелась оптика для наблюдения, очень хорошо был виден передний край и низина, которую нам надо было преодолеть танками. Докладывал Трофименко, полностью уверенный, что готов наступать. Наступление, действительно, протекало хорошо. После артиллерийской подготовки наши войска пошли в атаку на противника. Это с командного пункта все было видно, потому что командный пункт был расположен для обозрения поля боя идеально. Но возникла заминка с танковым корпусом Полубоярова. Ко мне обратился Трофименко: «Танкам пора идти в прорыв, чтобы развивать успех пехоты, а они медлят». Мы приказали командиру корпуса, который находился тут же, с нами, чтобы танки двинулись вперед. Но они не двигаются. Я опять к нему: «Что же вы?» Он: «Там болото. Надо его укрепить, иначе танки не пройдут». Одним словом, тянет дело. Я ему: «Вы примите меры поскорее. Потеряем время, и противник что-то сможет сделать, подтянет в район прорыва какие-то силы, а если у него есть танки, то и танки сюда бросит. Надо воспользоваться успехом, который создан сейчас пехотой». Меня его задержка тогда очень рассердила.

Потом я упрекал этого генерала: «Вы бережете танки, но не бережете солдатскую кровь. Хотите, чтобы пехота расширила прорыв и обеспечила лучшие условия для продвижения танков». Действительно, ни один танк там не застрял. Трофименко был прав, когда говорил, что это болото проходимо для танков. Полубояров, видимо, этот случай очень переживал. Он вообще-то человек добросовестный. Помню даже, как после войны он приехал ко мне в Киев именно с тем, чтобы объяснить; говорил, что хочет, чтобы его правильно поняли: имелись такие-то и такие-то препятствия, которые он должен был преодолеть, чтобы пустить танковый корпус в прорыв, осуществленный пехотой. Но у меня сложилось впечатление, что он жалел танки. И я ему сказал: «Дело прошлое, война кончилась, противник разбит. Ваши танки хорошо действовали, когда пошли в бой, но я считаю, что вы замедлили ввод танкового корпуса в прорыв, который был образован пехотой. Впрочем, победителей не судят» (ходячая фраза у военных).

Успех был достигнут. Наши армии наступали и развивали успех дальше. Конкретных же воспоминаний о действиях 27-й армии у меня не отложилось в памяти. 38-я армия двинулась в наступление последней. Шли упорные бои, но мы продвигались вперед, выровняли линию фронта и разогнули часть дуги, которая с юга нависала над нами. Фронт развернулся теперь прямо на запад по всей своей линии. То же самое сделал Рокоссовский: он развернул правую сторону дуги, тоже выровнял фронт и повернул на запад. Когда мы готовились к наступлению, я ездил к нему в штаб и беседовал с ним. Я не в первый раз встречался с ним. Мы встречались еще тогда, когда он командовал войсками Донского фронта. Встретиться с Рокоссовским всегда было приятно. Он был хорош как командующий и как умный человек.

Двинулись мы на запад. К нам поступила еще одна армия, 4-я Гвардейская. Командовал ею генерал Кулик. Его понизили в звании в первый же год войны, лишив маршальского звания. Не помню, в каком генеральском звании он тогда был у нас: не то генерал-майор, не то генерал-лейтенант. Членом Военного совета у него был Шепилов. Армия же — Гвардейская, как говорится, одета и обута с иголки, а вооружена всем, чем мы могли в то время вооружить ее. Мы, конечно, были рады, что получили такую армию, но ни я, ни Ватутин не обманывали себя. Ее командующий не внушал нам ни доверия, ни уважения. Я был знаком с ним раньше, знал его плохой характер, и мне просто было жаль этой армии. Такая замечательная армия, а вот командующим был назначен Кулик. Почему Сталин назначил его, мне трудно объяснить. Он сам его прежде разжаловал, но не знаю, насколько тот был виноват, насколько было обосновано лишение его звания Маршала. Значит, его наказали за конкретные дела. Он всегда был человеком ограниченным. Маршальское звание получил потому, что Сталин знал его по Царицыну 1918 года.

Прибыла эта армия, начала действовать. Мы, по-моему, поставили ее в направлении примерно на

Полтаву или немного севернее Полтавы. Сам Кулик был родом из деревни под Полтавой. Мы с Ватутиным выехали в его армию. Мне хотелось еще раз встретиться с Куликом. Зашли к нему в штаб, он как раз вел разговор по телефону. Я слушал, и меня очень обеспокоил и даже раздражал этот разговор, фразы его по содержанию были довольно нечеткими, и я жалел командиров корпусов. Они тоже, видимо, чувствовали недостаточную квалификацию командующего армией. Тогда мы отправили Сталину записку, в которой сказали, что недовольны командующим армией и что надо его заменить, потому что мы боимся за армию, боимся, что будут лишние потери, причем самые тяжелые. В результате неумелого управления войсками. В конце концов Сталин согласился с нами, и нам сообщили, что Кулик отзывается и назначается новый командующий.

Шепилов же тогда произвел на меня хорошее впечатление. Он умный человек, и я считал, что он на своем месте как член Военного совета армии. Но, каким бы он ни был, это ведь не командующий. Командующий определяет все: и командует, и дает указания. Поэтому важно брать хорошего командующего. Я сейчас не помню фамилии нового командующего. Я его не знал и, собственно говоря, так и не смог с ним встретиться. Он погиб. Он полетел прямо в расположение армии, и не знаю, почему не захел в штаб фронта. Когда же он с аэродрома ехал на «виллисе» в штаб армии, то совершенно случайно подорвался на mine. Противник, видимо, разбрасывал мины, и вот он наехал на такую мину и погиб. Таким образом, мы не получили нового командующего, и какое-то время Кулик еще продолжал командовать. Потом прислали еще кого-то. Не помню, кто сменил Кулика в командовании этой Гвардейской армией. Эта армия поредела в результате боев, но в какой-то степени потери были увеличены неумелым руководством со стороны Кулика.

Сталин вскипел. Он позвонил и выражал очень резко свое недовольство тем, что подорвался на mine новый командующий. Можете себе представить, ехал командующий на «виллисе» и наскочил на мину противника. Значит, член Военного совета фронта виноват! Сталин упрекал меня, что я не берегу командующих армиями. А я не представляю себе, как можно уберечь командующего армией, чтобы он не наскочил на мину. Мы все там ездили, и солдаты, и офицеры, и генералы, и маршалы. Это же война. А где лежит мина противника — она об этом не говорит. Это неизбежные потери, как на всякой войне. Но у нас это усугублялось тем, что незадолго до того, и тоже на mine, подорвался командующий еще одной армией, который был назначен вместо Чибисова. Чибисов был освобожден от должности, потому что мы с Ватутиным были им недовольны и говорили об этом Сталину. Новый командующий принял армию и буквально через неделю подорвался на mine. Оба генерала подорвались в течение одной недели. И опять — упреки: «Вот уже два командующих у вас подорвались. Не бережете вы их». Меня возмущало, как он может, сидя в Кремле, требовать, чтобы я давал указания командующим, как им ехать на «виллисе», дабы не налететь на мины, разбросанные противником. Мы как раз вступили в полосу наступления, и это могли быть и наши мины, которые мы раньше оставляли тут. И мы минировали, и противник минировал, и здесь никаких претензий не должно быть.

Помню, как через два года после войны в Киеве, у дороги, по которой уже было открыто движение и прошли минеры, подорвался трактор. Ехал, свернул с дороги и подорвался на mine. Тогда же я, конечно, возмущался, что Сталин выражает недовольство, и отвечал, что здесь я никак не могу взять на себя вину в гибели двух генералов. Это непредвиденная гибель, которая всегда возможна на фронте.

Хочу вернуться к воспоминаниям о несколько другом периоде. Тогда командующим воздушными силами у нас на фронте был генерал Красовский. Сейчас он начальник Военно-воздушной академии имени Гагарина. По национальности белорус. Порядочный человек, душу вкладывает в свое дело, старается, чтобы дело шло лучше. Однажды он пришел ко мне с предложением, новой выдумкой, как уничтожить противника. Рассказывает: «Я хочу провести такую операцию: вооружить самолеты зажигательным порошком, который, если его разбросать с воздуха, зажжет посевы, траву, а если попадутся самолеты, то и самолеты могут сгореть. Если эту зажигательную смесь высьшем на аэродромы, то трава, она сейчас сухая, сразу загорится, и самолеты, следовательно, тоже загорятся». Я слушал его и вспоминал первый год войны. Сколько раз мы пользовались этой смесью, но не знаю случая, чтобы оказался хороший результат. Говорю: «Товарищ Красовский, по-моему, ничего из этого не выйдет. Мы только себя будем утешать и питать какие-то надежды, а трава-то не загорится. Сколько раз мы ее поджигали. Бывало, выгорит кусочек, но солдаты быстро гасят пожар. Мы поджигали и посевы созревшей пшеницы, чтобы не оставлять ее немцам, но оставались люди, а это — их пшеница. У них имелись свои соображения, и они сами все гасили. И потом, это вообще малоэффективное средство. Прежде чем применять на фронте, испытайте. Насыпьте где-то этот порошок и посмотрите, как он действует, чтобы быть уверенным, что мы уничтожим им на аэродромах авиацию противника». Он испытал порошок и, как добросовестный человек, пришел ко мне и говорит: «Да, вы правы, затея не стоит труда, я отказываюсь от нее». Мы иной раз потом шутили на эту тему с Красовским. Он очень приятный человек, и я относился к нему с уважением.

Вот еще один эпизод. Шел второй год войны. Тогда командующим авиацией у нас был генерал Фалалев. Хороший генерал. В тяжелый момент наступления противника, когда мы были совсем истощены и

перед нами стояла одна перспектива — отступать и отступать. так как мы не могли сдерживать врага, он принес боевое донесение от авиации с просьбой включить его во фронтовое боевое донесение и послать в Генеральный штаб. В нем сообщалось, какие мы нанесли противнику потери в течение дня. Фалалеев докладывал, что наша авиация в этот день вывела из строя 500 танков противника. Я взглянул на него: «Товарищ Фалалеев, 500 танков? Это никак я не могу принять и не смогу согласиться. 500 танков за один день? Да вы знаете, какая это сила? Ну, хорошо, вот вы заместитель командующего фронтом и командующий авиацией. Как вы считаете, если мы уничтожили 500 танков, то каким завтра будет наше положение на фронте? Удержим мы позиции, на которых стоят наши войска, или нам придется отступать?» А я знал, что придется отступать, что наши войска не удержатся. Он тоже говорит: «Нет, наши войска не удержатся». «Так как же тогда Ставка будет рассматривать наше донесение? 500 танков мы уничтожили за один день и бежим от противника? Тут ведь нет логики. Я думаю, что вам врут, пишут, сколько было прямых попаданий. Пишут, что некоторые танки даже перевернулись. Я советую вам, товарищ Фалалеев, проведите эксперимент. Обстреляйте с этих штурмовиков эрсами любые танки и назначьте премию за попадание. Вы увидите, как трудно получить прямое попадание с воздуха. Возможно, вообще летчики не получают премий. А то, что из эрсов попали точно под танк и танк переворачивается — это абсурд. Я рекомендую вам, возьмите эрсовский снаряд, подложите под танк и взорвите его. Думаю, что у него не хватит взрывной мощи перевернуть танк. А тут ведь не подкладывается снаряд, а попадает с воздуха. Это же невероятный случай. Давайте напишем 250?» Не помню, на какой цифре мы тогда сошлись. Какую-то цифру надо было написать, основанную на теории вероятности. А Фалалеев говорил, что у него все просчитано. Я же не верил такому счету.

Мы послали донесение и, действительно, вынуждены были затем отходить. Потом Фалалеев докладывал мне, что провел эксперимент: «Я поставил стол и назначил премию тому, кто в стол попадет с воздуха». Премия никем не была взята. Конечно, наши штурмовики били по танкам, но чтобы в один день уничтожить 500 танков? Этого и противник не мог тогда сделать, а у него в ту пору авиация была сильнее нашей. Мы же, к сожалению, никак не могли такого сделать, тем более в 1942 г., когда наши силы были основательно потрепаны и истощены. Вот как случается на войне. Говорят, Суворов, когда взял Измаил и написал донесение матушке-царице Екатерине, сообщил, что он уничтожил 70 тысяч турок. Адъютант ему сказал: «Ваше превосходительство, там их столько и не было». Суворов же ответил ему: «Басурман не жалко, пиши!» Наверное, так происходило еще и до Суворова.

Перехожу опять к рассказу о нашем наступлении к Днепру. После боев под Полтавой наши солдаты, офицеры и генералы были уверены в своих силах. Если раньше нам казалось, что, когда против нас стоят немцы, их трудно или даже невозможно сбить с позиций, то теперь в сознании всех, от солдата до генерала, точка зрения изменилась. Появилась уверенность в наших возможностях и даже в превосходстве над противником. Это было очень приятное время. Мы продолжали продвигаться вперед, к Днепру. Помню, пришел однажды Красовский и докладывает, что прилетели летчики с операции. Возвращаясь, они видели сплошное море огня, пшеница созрела, рожь созрела, яровые созрели и вот горят. Мне было больно слушать его. Он тут ни при чем, докладывал то, что видели летчики. Отвечаю: «Не могу согласиться, думаю, что это не так». Мне просто не хотелось верить ему. Я сам себе объяснял, что это невозможно. Говорю: «Летчики возвращались из боя на большой скорости. Может быть, где-то и возник очаг огня, а когда они проскакивали, то у них в глазах образовалось целое море огня. Не может того быть!» Я очень не хотел этого.

Мы наступали, хотелось получить хлеб для страны и для армии. И действительно, в освобожденных районах в 1943 г. мы заготовили сравнительно много хлеба. На Украине урожай был как раз хорошим. Сказал Красовскому: «Будем наступать, увидим». А когда мы наступали и освобождали наши районы, то нигде не видели, чтобы сгорело много хлеба. Я потом шутил: «Товарищ Красовский, где же сгоревшие поля, то море огня, которое видели летчики?» Мои предположения сбылись. На войне иной раз случается расширение зрачков.

Помню также доклад относительно ночных бомбежек. К нам в то время прибыл генерал Скрипко. Он тогда командовал ночной бомбардировочной авиацией дальнего действия. Хороший генерал. Я знал его по Сталинграду и говорил раньше, что он хорошо там поработал. Это бывалый «ночник». Он, прибыв в наше распоряжение, работал теперь в интересах нашего фронта. Нам тогда донесли, что под Полтавой (я и сейчас отлично помню название этого села — Мачоха) расположен не то склад боеприпасов, не то ремонтная база противника. У нас возникла необходимость разбомбить эту базу. Мы готовились наступать, а лишить противника боеприпасов, горючего и других средств ведения войны — заветная мечта каждого командующего. Вызвали Скрипко и показали донесение разведки, дали задание — разбомбить! Конечно, сейчас могут сказать, что в селе же живут люди. Да, живут люди, но и наступают люди. На войне всегда встает очень тяжелый выбор: пожалеешь одного, потеряешь больше. Поэтому мы разрешили бомбить склад, который будут использовать немцы, чтобы бить наших же.

Наутро Скрипко докладывает: «Все сровнял с землей. Все уничтожено». Но я уже имел опыт, и немалый. Посмотрел на него и говорю: «Имейте в виду, ведь мы же наступаем, скоро будем в Полтаве и осво-

бодим Мачоху. Я потом скажу вам, насколько соответствует истине донесение, которое вы получили от тех, кто бомбил склад». Какое же огорчение было для Скрипко, когда мы освободили этот район, и я ему сказал: «Товарищ Скрипко, можете поехать в Мачоху. Ни один дом не сожжен, Мачоха вообще никаких потерь не имела. Спрашивается, куда летчики сбросили бомбы? Что горело, когда вы докладывали, что все там уничтожено?» И потом я часто спрашивал при встречах: «Товарищ Скрипко, так как там Мачоха?» Мачоха стала для него нарицательным понятием. Конечно, в боевых операциях было и то, и другое. И бомбили, и зажигали, и уничтожали, и разносили врага. Но бывали и случаи, когда доносили о таких вещах, которые были построены неизвестно на чем. Была ли то сознательная ложь или они куда-то сбросили ночью бомбы, просто потеряв ориентировку? Трудно сказать. Я сейчас даже не помню, было ли вообще что-либо сожжено вблизи Мачохи.

А вот еще и такой случай. О нем я знал со слов Сталина. Когда мы воевали с Финляндией в 1939/40 г., то тогда тоже доносили, как наши летчики уничтожали паровозы противника. Имелся приказ лишить финнов паровозов, чтобы создать им затруднения в пользовании железнодорожным транспортом. Донеся, что мы столько набили этих паровозов, что у них ни одного целого паровоза не осталось. Когда же мы вошли в этот район, то и не нашли битых паровозов. Сталин прямо говорил: «Врали!» Я не могу говорить так грубо. Одно дело — врать, другое дело — ошибаться. Это же война. Не думаю, что врали сознательно. Нет, думаю, что ошибались, а ошибки возможны, тем более при ночной бомбежке.

(Продолжение следует)

Вилли Брандт Воспоминания

Две Германии и старая столица

В правительственном заявлении от октября 1969 г. я констатировал, что «хотя в Германии существуют два государства, они друг для друга не являются границей — их отношения друг с другом могут носить только особый характер». Это явилось традиционным прощанием с отжившими представлениями. Многие на это рассчитывали, но для многих это явилось неожиданностью.

Я смог предпринять этот шаг, без которого в проведении восточной политики не было бы движения вперед, только потому, что больше не ставил его на обсуждение. Конечно, важным было то, что я заручился согласием Шееля. Федеральный президент тоже был согласен. Эгон Бар считал, что не следует торопиться с заявлением, но никому, кроме меня, он не высказывал свои сомнения. Хорст Эмке, новый министр в ведомстве канцлера, успокоил меня с точки зрения конституционного права. Волнение было огромным.

Признание того, что ГДР представляет собой второе государство на немецкой земле, и готовность к переговорам об урегулировании практических вопросов были взаимосвязаны. Это я усвоил еще будучи бургомистром Берлина. В качестве федерального канцлера я предложил переговоры без дискриминации и без предварительных условий. Реакция руководства ГДР была неестественной. В декабре 1969 г. Вальтер Ульбрихт, выступая как председатель Госсовета, направил федеральному президенту Хайнеманну проект договора, целью которого было признание ГДР в соответствии с нормами международного права и установление равноправных отношений с ФРГ. Но какие препятствия таило это предложение! Советская сторона предложила помощь — в конце концов, она не хотела излишне обременять договор с Бонном, «торги» по которому предстояли, и просигнализировала о своей готовности принять нашу точку зрения, даже если она считала наше «нет» международно-правовому признанию ГДР нелогичным. Коммюнике нельзя было понять превратно: за переговоры, не отягощенные больше никакими предварительными условиями. Мне было тактично указано, что, как я, наверно, помню, в Берлине уже в марте бывает довольно хорошая погода.

Итак, 22 января 1970 г. я обратился с письмом к Вилли Штофу, председателю совета министров ГДР, в котором предложил ему начать переговоры об отказе от применения силы, а также о соглашении по урегулированию практических вопросов. В этом случае предметом обмена мнениями могли бы стать и равноправные отношения. Штоф пригласил меня на февраль в Восточный Берлин. Однако из этого ничего не получилось, так как другая сторона пыталась мне предписать способ прибытия — на самолете до Восточного Берлина. Я же собирался приехать на поезде и сделать остановку в Западном Берлине. Мы искали и нашли выход, согласившись встретиться 19 марта в Эрфурте, в Тюрингии. Перед тем как сесть в поезд специального назначения, я подтвердил, что для меня политика имеет лишь один смысл: «Она должна служить людям и миру».

День Эрфурта. Был ли в моей жизни другой день, столь же наполненный переживаниями? По ту сторону германо-германской границы вдоль железнодорожного полотна стояли люди и махали мне руками, хотя народная полиция должна была бы вмешаться. Женщины приветствовали меня из окон домов, а их мужья — со своих рабочих мест или стоя на улице. Я ехал по исконной земле немецкого протестантизма и рабочего движения. Вилли Штоф встречал меня на вокзале, откуда мы пошли в гостиницу «Эрфуртер хоф». Собралась большая толпа, люди что-то радостно выкрикивали. Когда я отошел от окна, они начали скандировать: «Вилли Брандт — к окну!» Я не сразу последовал этому призыву, но потом все же пошел для того, чтобы жестами попросить их вести себя сдержаннее. Я был тронут, видя, что народ со мной. Каким же сильным должно было быть проявившееся таким образом чувство солидарности и единства! Но тут же возникал вопрос: не прорываются ли здесь наружу надежды, которым в ближайшее время не суждено сбыться? Завтра я опять буду в Бонне. Могу ли я быть уверенным в том, что мое влияние поможет тем, у кого из-за их демонстрации симпатий возникнет конфликт с менее симпатичным начальством?

В течение дня были мобилизованы люди, верные линии партии. Они взяли под свой контроль площадь перед отелем, в котором проходили переговоры, и время от времени радовали другого Вилли — господина Штофа — возгласами в его честь. Во второй половине дня я в сопровождении министра иностранных дел ГДР Винцера посетил бывший концлагерь Бухенвальд. Здесь снова проявилась общность наших судеб, хотя наши «мелодии» и не были созвучны. По дороге туда и обратно на окраинах Веймара — снова много приветливо машущих руками людей.

Председатель совета министров не произвел на меня особенно сильного впечатления. То, что говорилось или, как правило, зачитывалось за столом переговоров, не оправдывало затрат. Штоф делал вид, что он проникнут сознанием непогрешимости СЕПГ. Трудно поверить, но он действительно назвал возведение стены «актом человечности». А Западная Германия, сказал он, должна отвечать за то, что это обошлось гражданам ГДР в сто миллиардов марок.

В одном мы были согласны, и в последующие годы это стало широко распространенной формулой: «с немецкой земли не должна больше исходить война». Согласились мы и с тем, что нам не нужен переводчик. Коллега с другим номером полевой почты сказал: «Немецким-то мы владеем оба».

Вилли Штоф делал вид, что его ничего кроме международно-правового признания ГДР не интересует, а об отношениях особого рода нечего больше и думать. Таким образом удалось заблокировать или, по крайней мере, отодвинуть то, что мы хотели обсудить в первую очередь, — как облегчить людям жизнь. В то же время он не скрывал большого интереса к успешному развитию торговли. С глазу на глаз он не опасался затрагивать тему ЕЭС. Благодаря настоящим Федеративной Республики, ГДР в некоторых областях сделалась негласным участником Экономического Сообщества. В других странах Восточного блока за этим следили не без зависти.

Однако посланец Ульбрихта прибыл в Эрфурт с заданием добиться международно-правового признания, а кроме того выиграть время. Ибо в Восточном Берлине, как и в Бонне, было хорошо известно, что в советской столице начались переговоры о заключении Московского договора. Отбросит ли это ГДР назад или ей удастся еще до их окончания кое-что отхватить и для себя?

Утром во время беседы с глазу на глаз, а потом вечером председатель совета министров спросил: «Почему бы нам не договориться немедленно об обмене послами?»

Вечером он добавил к сказанному: «Почему бы не опубликовать заявление о том, что мы по обоюдному согласию ходатайствуем о принятии нас в ООН?» У нас было другое «расписание». В конце концов, мы должны были все время думать и о том, чтобы у Федерального конституционного суда не было оснований нас дезавуировать из-за характера согласуемых с ГДР отношений.

19 марта, поздно вечером, мы еще раз встретились со Штофом для короткой беседы без наших сотрудников. Это было сделано для того, чтобы избежать впечатления, что встреча закончилась полным провалом. При этом мы уже договорились о второй встрече 21 мая в Касселе. В докладе Штофа в Народной палате говорилось: «В ФРГ не многое изменилось». Печать ГДР упрекала правительство Брандта в том, что оно все еще не отказалось от агрессивных намерений.

Встреча в Касселе прошла под несчастливой звездой. Полиция не справилась с поставленной задачей. Несколько тысяч нацистов и те, кто своим поведением напоминал их, собрались под лозунгом «Акция сопротивления». Развернутый ими транспарант «Брандта к стенке!» получил дополнение, необходимое для того, чтобы гость из Восточного Берлина не почувствовал себя обойденным вниманием. Впрочем, он распорядился, чтобы его приветствовало какое-то число приверженцев коммунистической партии. Машина, в которой мы ехали с вокзала в гостиницу «Шлосотель», подверглась нападению. Перед гостиницей юные фанатики сорвали флаг ГДР.

Пришлось отменить возложение венков у памятника жертвам фашизма. Сделали мы это только вечером. Когда скандалисты удалились, Кассель показал себя с лучшей стороны. Однако ГДР использовала эти внешние проявления для того, чтобы как можно меньше сказать по существу предложенных тем. Мы охватили принципиальные и практические вопросы, содержащие уже некоторые элементы договора в

хорошо сформулированных двадцати пунктах, и обогатили их двумя предложениями особого рода: провести обмен постоянными представителями и приложить взаимные усилия или использовать все возможности для вступления в международные организации.

В отличие от нашей беседы с глазу на глаз за столом переговоров Штоф заговорил в довольно резком тоне, которого он придерживался все это время. Он заявил, что договор возможен только на основе международного права, и повторил то же, что и в Эрфурте: «Не могли бы мы во всяком случае договориться и подать одновременно ходатайство о приеме в члены ООН?» Развернутая против него «злостная травля» очень затруднила, как заявил Штоф, подготовку к встрече в Касселе. В действительности в отношении Штофа было отдано распоряжение о «непривлечении его к уголовной ответственности» — этакое трогательное проявление немецкого простодушия! Однако он не хотел сдерживать решение практических вопросов, особенно в области торговли. Штоф заявил: «Не должно создаться впечатление, что Кассель означает разрыв наших отношений или прекращение усилий. Возможно, сделать паузу для обдумывания было бы совсем неплохо». Домой он сообщил, как нам немедленно донесли, что паузу для обдумывания предложил я. Публично же он дал такое толкование: нам необходимо время, чтобы собраться с мыслями. Так уж обстоят дела с расстановкой акцентов не только тогда, когда это делают коммунистические партнеры по переговорам.

Частично наши беседы с глазу на глаз происходили в Касселе на открытом воздухе. Штофу это давало возможность вести себя непринужденно. Казалось, его воодушевляет уверенность в том, что его не подслушивают. Именно теперь он отчетливо понял, что решающую роль играют наши переговоры с Советским Союзом. Вечером, перед тем как перейти в зал заседаний он еще раз повторил: «Сотрудничество в области экономики, транспорта, почты ни в коем случае не должно пострадать». Он поблагодарил за то, что возложение венков все же состоялось и что население, в отличие от дебоширов, вело себя подчеркнуто дружелюбно.

В то время как новые соглашения с ГДР состоялись лишь в 1971 г., когда Ульбрихт отошел от решения оперативных вопросов, послы четырех держав — советский в ГДР и три от западных держав в Бонне — в конце марта 1970 г. начали переговоры по Берлину, за которые мы выступали в течение продолжительного времени.

Еще в 1968 г., будучи министром иностранных дел, я убедил своих коллег от трех западных держав в необходимости начать переговоры с Советским Союзом, чтобы добиться улучшений в Берлине и для берлинцев. Среди прочего я смог сообщить коллегам, что реакция посла Абрахимова на предложение о полном возмещении расходов за пользование подъездными путями к Берлину была положительной. Во время конференции НАТО на уровне министров в Вашингтоне в апреле 1969 г. министры иностранных дел по моему настоянию договорились о том, что три западные державы по официальным каналам выяснят точку зрения Советского Союза по единственной теме: улучшение положения в Берлине и вокруг Берлина. Послы в Москве сделали соответствующее представление в июле 1969 года. Они изложили Советскому правительству, что федеральное правительство готово к переговорам с ГДР по транспортным проблемам и стремится к улучшению положения в Берлине и вокруг него, особенно в смысле доступа. Затем они дали понять, к каким компромиссам готов Бонн (речь шла о правительстве Большой коалиции) в отношении советских жалоб на некоторые действия ФРГ, относящиеся к Берлину. В конце февраля 1969 г., перед избранием Хайнеманна (на пост президента. — *Прим. ред.*), федеральный канцлер Кизингер заявил советскому послу, что мы готовы отказаться от проведения выборов федерального президента в Берлине, если в ответ на это Советский Союз использует свое влияние, чтобы дать западным берлинцам возможность посещать восточную часть города. Громько дал ответ 10 июля в своей речи на сессии Верховного Совета, обосновав, в свою очередь, принципиальную готовность Советского Союза обменяться с «союзниками по войне» мнениями о предотвращении в будущем «осложнений вокруг Западного Берлина». Осознание того, что Московский договор, а вернее, его ратификация невозможна без соглашения по Западному Берлину, продолжало творить чудеса.

Добиться соглашения по Берлину помогла неофициальная, но в высшей степени эффективно действовавшая «тройка» в Бонне: американский посол Кеннет Раш, бывший также официальным участником переговоров по Берлину (он пользовался личным доверием Никсона), советский посол Валентин Фалин, статс-секретарь в ведомстве канцлера Эгон Бар. Генри Киссинджер, который установил прямую связь с Баром и по соображениям целесообразности поддерживал в Вашингтоне контакт с послом Добрыниным, в своих мемуарах подробно описал этот интересный способ урегулирования кризисных ситуаций.

Однако переговоры сдвинулись с мертвой точки лишь тогда, когда Запад и Восток договорились вынести за скобки вопросы статуса и права; в советском проекте от марта 1971 г. речь уже шла только о «соответствующем районе».

Мы хотели, чтобы доступ в Западный Берлин был обеспечен, а связь с Федерацией — подтверждена. С этим было связано право федерального правительства представлять Западный Берлин и его граждан за границей. Кроме того, мы хотели добиться права на посещения в Восточном Берлине и за его пределами. Руководство ГДР стремилось, по крайней мере, добиться суверенитета в отношении подъездных путей и

вытеснить из Берлина федеральные учреждения. Однако ему пришлось в значительной степени пойти на попятную. Щепетильный вопрос связей с Федерацией привлек чересчур большое внимание дипломатов. Дело в том, что было сделано два немецких перевода: один — в редакции западной стороны, другой — восточной. Против единого официального немецкого текста выступил французский посол, мотивируя это тем, что немцы не являются договаривающейся стороной. По пять сотрудников от каждого государства совместно с владеющими немецким языком советниками посольства США и СССР установили в текстах переводов 19 смысловых расхождений. По большинству из них удалось прийти к общему знаменателю. Открытым оставался вопрос, означает ли английское «ties» «связи» или «единение»?

Парафированное в сентябре 1971 г. четырехстороннее соглашение, хотя оно могло вступать в силу лишь постепенно, явилось значительным прогрессом. Сообщение с Берлином происходило в основном без помех, а возможности для посещения намного превосходили то, чего мы достигли соглашением о пропусках. В известной степени в последний момент мне еще удалось внести ясность в вопрос, имевший, с моей точки зрения, важное значение. Летом 1971 г. я направил Брежневу написанное от руки письмо, в котором содержалась просьба, чтобы советский посол больше не препятствовал решению вопроса о паспортах ФРГ для западных берлинцев. Когда я был бургомистром, меня особенно возмущало непризнание таких паспортов в странах Восточного блока. Французов и англичан удивила внезапная уступчивость Абрашимова. Американцы, все старания которых оставались тщетными, были информированы о принятых мной шагах, и это их не удивило. По новым правилам в паспорте ФРГ для западных берлинцев, шла ли речь о поездке в Москву или в Прагу, должен стоять штамп «Выдан в соответствии с четырехсторонним соглашением от 03.09.1971».

В самом Берлине успех поначалу не получил достойной оценки. Нелегко было расстаться с представлением о «столице, временно лишенной своего столичного статуса». Вместо того, чтобы получить подтверждение этому, пришлось примириться с недвусмысленной оценкой, согласно которой Западный Берлин не является «конституционной частью» Федеративной Республики. Сокращение демонстративного «федерального присутствия» было, правда, не особенно обременительным. Оно компенсировалось щедрой помощью, которую Федерация оказывала Берлину как центру культуры.

Вальтеру Ульбрихту, воспротивившемуся советским требованиям об улучшении отношений с Федеративной Республикой, пришлось в мае 1971 г. оставить свой пост главы Единой партии. Я с ним никогда не встречался, но неоднократно слышал отзывы о нем, в том числе и от моих восточных собеседников, как о всезнайке и унылом человеке. Абсолютно не зная его, я тем не менее в некотором смысле находился под впечатлением его упрямства. Я считал, что в его пользу говорит то обстоятельство, что при нем — в отличие от Праги и Будапешта — не проводились показательные процессы над «уклонистами», заканчивавшиеся смертными приговорами. Ульбрихта сменил Эрих Хонеккер, ставший после его смерти летом 1973 г. также председателем Государственного совета.

Соглашение четырех держав по Западному Берлину должно было быть дополнено договоренностями между обеими германскими сторонами. Уже в декабре 1971 г. состоялось подписание соглашения о транзитном сообщении, благодаря которому наконец-то были округлены тарифы. Сенат Западного Берлина заключил соглашение, регулирующее вопросы посещения жителями Западного Берлина ГДР. Особое значение имел транспортный договор с ГДР, заключенный в мае 1972 г. — в том же месяце, в котором прошли через бундестаг Московский и Варшавский договоры. Транспортный договор при девяти воздержавшихся и ни одном «против» был одобрен, прежде чем депутаты досрочно распущенного в сентябре бундестага разъехались по домам.

В том же мае 1972 г. Никсон и Брежнев наметили еще более далеко идущие цели. В июле представители четырех держав подписали в Берлине Заключительный протокол и устранили, таким образом, последние препятствия — соглашение вступило в силу. Советы затягивали этот последний акт до тех пор, пока он не совпал с ратификацией договоров. В конце года оба германских государства заключили Договор об основах взаимоотношений, о существовании которого договорились статс-секретарь Эгон Бар и Михаэль Коль. В глазах многих этим закреплялась разрядка в Европе. Как когда-то блокада символизировала холодную войну, так и теперь урегулирование вопроса о сосуществовании двух германских государств, которое должно было превратиться в единое существование, оповещало о начале нового этапа послевоенной истории Европы, хотя и не исключало возможность заморозков.

Договором об основах отношений предусматривалось открытие постоянных представительств и облегчалось выполнение гуманитарных задач. В преамбуле содержалось указание на «различия во взглядах по принципиальным вопросам». Как и в Москве, было вручено особое письмо, заключающее надежду на то, что будущие поколения будут жить в Германии, в политическом устройстве которой смогут участвовать все немцы сообща.

Опозиция, как это уже повелось, усидила «чересчур поспешное» проведение переговоров. Штраус призвал баварское правительство обратиться в конституционный суд, который постановил, что договор соответствует Основному закону, хотя мотивировки в некоторых случаях вызывают удивление.

Оба правительства ввели договор в действие 20 июня 1973 года. На следующий день Совету Безопас-

ности были представлены два заявления о приеме в члены ООН. В начале июля в Хельсинки собрались министры иностранных дел, чтобы подготовить общеевропейское совещание. Особенно большое значение для человечества — и для национального сплочения! — имело облегчение возможности посещений, чем уже вскоре воспользовались миллионы граждан, хотя в основном в направлении с Запада на Восток.

В начале 70-х годов, конечно, нельзя было достичь больше того, что было достигнуто. Мы не могли заставить исчезнуть стену по мановению волшебной палочки. Не удалось найти решения для Берлина в целом. Была ли попытка обречена на неудачу? Как в рамках нового процесса сближения разных частей Европы будет решаться германский вопрос, оставалось неясным. Однако у меня не было ни малейшего сомнения в том, что укрепление мира и согласия в сердце Европы является долгом обоих германских государств. Такая услуга, оказанная Европе, была бы запоздалой компенсацией за несчастья, исходившие с немецкой земли. Общая ответственность существует и при расколе. Теперь казалось не таким уж невозможным сделать тяготы этого раскола более терпимыми.

Признание — отказ от борьбы или новое начало?

Меня часто спрашивали, была ли действительно необходимость признать раскол Германии и возникшие на основе права победителей новые границы? Зачастую подобные вопросы диктовались не желанием узнать правду, а дешевой полемикой или задиристой несговорчивостью. Я не признавал ни старой, ни новой несправедливости. Я не мог отдать то, что нам больше не принадлежало. Вернее, то, что уже давно было потеряно. Абстрактный отказ от применения силы я перенес на конкретные факты, вытекавшие из развязанной Гитлером войны. Аденауэр заявил, что с ним можно о многом договориться, если улучшится положение «людей в советской зоне», и что нужно постараться избавиться от доктрины Хальштейна, пока за нее еще что-то можно получить. Разве не оставалось всего лишь конкретизировать это высказывание?

Я хотел, мы хотели, чтобы горькое наследие не мешало строить будущее. Поэтому следовало признать итоги истории. Не для того чтобы отказаться от борьбы против раскола, а чтобы сбросить балласт, мешавший нам действовать в направлении мирного изменения положения в Европе и в Германии. Моя критика была направлена и в мой собственный адрес.

Все старания быть понятыми остались безрезультатными, во всяком случае, почти безрезультатными. Протрубили сигнал к охоте на сторонников «политики отказа». Кизингер в 1967 г. сначала неодобрительно назвал некоторых публицистов, а затем и мою партию «партией признания». Неонацисты и те, кто не хотел выглядеть таковыми, в последующие годы устраивали демонстрации против тех, кого они обвиняли в отказе, граничащем с изменой родине, или в аморальном согласии с несправедливостью. Еще в 1988 г. перед встречей с Горбачевым я получал письма, в которых меня спрашивали, не собираюсь ли я «продать» еще что-нибудь от Германии.

Иногда высказывается мнение, что настоящее признание ГДР состоялось лишь осенью 1987 г., когда Хонеккер нанес визит в Бонн. Если эта теория верна, то внутривнутриполитическая борьба, начавшаяся за 17 с половиной лет до моей поездки в Эрфурт, являлась битвой призраков. Причем и осенью 1987 г. не стеснялись придумывать протокольные каверзы. Меня и позабавило и поразило, когда я увидел, как встречали председателя Госсовета перед ведомством канцлера, слегка сократив военную церемонию: рота почетного караула выступила в несколько уменьшенном составе, рапорт отдавал не командир роты, а его заместитель, исполнялись не государственные гимны, а просто гимны, что, впрочем, не отразилось на их мелодии.

Режиссеров этого спектакля в какой-то мере оправдывало то, что наследие времени, когда протокол заменял политику, отбрасывало очень длинную тень. Федеративная Республика настолько запуталась в ритуалах непризнания другого немецкого государства, что не смогла бы сразу избавиться от этих пут. Работая еще в Берлине, я понял, что разъяснять иностранцам нашу философию непризнания очень трудно, а порой и безнадежно. Гарольд Вильсон, став премьер-министром, в шутку сравнил сложившуюся ситуацию с посещением зоопарка: если я узнал слона, это еще не значит, что я его признаю. При этом ему очень помогло двойное значение английского слова «recognize».

Во время парламентских дебатов по «восточным договорам» я не в последнюю очередь подчеркнул, что признание сложившегося положения, связанное с желанием улучшить его, решительно отличается от сопровождаемого клятвенными заверениями бездействия. Еще на дортмундском съезде СДПГ, ранней весной 1966 г., я призвал к двойной правдивости: по отношению к своему народу и по отношению к иностранным партнерам: «Нехорошо, когда кто-то обещает больше, чем может дать». В Москве, как и потом в Варшаве и в других местах, мы разъясняли и не оставляли сомнения в том, что у нас серьезные отношения и к отказу от применения силы, и к нашему участию в установлении мирного порядка в Европе, но что мы не собираемся ни признавать другую часть Германии заграничным иностранным государством, ни приписывать несвойственные ей признаки демократии. Тем более не могло быть и речи о том,

чтобы проставить на всех случайностях и нелепицах послевоенных лет и холодной войны штамп «окончательно». Правда, я охотно признаю, что мне доставляло большое удовольствие видеть, как марксисты или те, кто хотел, чтобы их таковыми считали, наперегонки с другими консерваторами утверждали, что существующие условия и обстоятельства никогда не изменятся.

Московский договор не предвосхитил мирный договор и не подрвал права четырех (!) держав. То, что это пришлось выяснять Министерству иностранных дел, — ерунда. Мы также не нуждались в указаниях на то, что неприкосновенность границ не обязательно должна быть идентичной их окончательному характеру. Если говорить конкретно, то дальше всех пошел проницательный Эгон Бар, когда он в ответ на требование международно-правового признания ГДР заявил о нашей готовности заключить соглашение, «которое будет иметь такую же обычную между государствами обязательную силу, как и другие соглашения, заключенные ФРГ и ГДР с третьими странами».

С полным основанием и с учетом интересов миллионов восточногерманских земляков в декабре 1979 г. в Варшаве я особо выделил то, что мы намерены и чего не намерены признавать. «Договор не означает, — сказал я по телевизору, — что мы узакониваем несправедливость, оправдываем насилие или одобряем изгнание. Нам больно за потерянное, и я не сомневаюсь, что многострадальный польский народ уважает нашу боль». В Бонне я просил изгнанных обратить свои взоры в будущее. Никто из нас не мог с легким сердцем примириться с потерей четвертой части германской территории (в границах до гитлеровской экспансии), с потерей областей, так много значивших для германо-прусской истории, а также для немецкой культуры. Однако с присущей мне логикой я повторял: «Нельзя отдать то, что тебе больше не принадлежит, нельзя распорядиться тем, чем распорядилась история».

Марион Денхоф, гамбургская публицистка, представительница восточнопрусского дворянского рода, писала после 7 декабря 1970 г.: «Договор — это венок на могилу Пруссии, но этой могиле уже много лет». Я пригласил графиню Денхоф, а также уроженца Данцига Гюнтера Грасса и выходца из Восточной Пруссии Зигфрида Ленца поехать со мной в Варшаву. Она отказалась и просила понять ее: для нее это было бы слишком большим испытанием. Глубоко тронул меня также подарок от родственников много переживших прусских семей: скульптура женщины «Предостережение потомкам» выражала желание, чтобы ужасы прошлого никогда не повторились.

В Златой Праге, когда подписывался наш договор с Чехословакией, я также сказал: «Договор не санкционирует происшедшую несправедливость; следовательно, он тоже не означает, что мы задним числом узакониваем изгнание. Но я очень надеюсь, что вчерашняя вина, которую нельзя искупить разговорами, не в состоянии удержать наши народы от риска примирения».

После того как отношения с ГДР — в пределах возможного — были приведены в порядок, а четырехстороннее соглашение по Берлину подписано, мы установили дипломатические отношения с Венгрией и Болгарией, что практически означало преобразование торговых представительств в посольства. Особенно плодотворными оказались контакты с Венгрией. Янош Кадар и я время от времени проводили доверительный обмен мнениями и информацией. Я считаю, что он, до того как на Востоке начались крупные изменения, кое-что сделал для своего народа, во всяком случае, ему удалось предотвратить худшее.

Еще будучи министром иностранных дел, я смог в 1968 г. поднять на прежний уровень отношения с неприсоединившейся Югославией и позотонуться об обмене послами. Но и до этого наше сотрудничество развивалось неплохо. В дальнейшем я неоднократно встречался с Тито на Бриони, в Дубровнике и в Белграде, а также несколько раз в Бонне. При всем его, как казалось, заимствованном у феодализма своеобразии я его очень ценил. Не только за то, что он отдавал должное моим усилиям по достижению разрядки и сотрудничества в Европе. Тито заслужил высокое уважение той мужественной борьбой, которую он вел сначала против оккупантов, а потом против предпринятой Сталиным попытки унификации, а также своими энергичными усилиями по созданию современного федеративного государства, что отвечало интересам стабильности в районе Средиземноморья. К сожалению, опасения, что многонациональному государству еще предстоят тяжелые времена, оправдались.

Арбергартный бой, имевший особое значение для «восточной политики», закончился установлением официальных отношений с Китайской Народной Республикой. Осенью 1972 г. Вальтер Шеель отправился в Пекин и дал там вопреки многочисленным советам другого рода недвусмысленные разъяснения, что мы не собираемся участвовать в попытках столкнуть друг с другом великие коммунистические державы. В 1973 г. я получил приглашение посетить Китай осенью 1974 года. Гельмут Шмидт поехал год спустя и развеселил меня, передав привет от председателя Мао. Прошло почти целое десятилетие, прежде чем я — уже в другом качестве — познакомился с этой важной частью мира.

После того как была установлена рама, создание картины завершилось, можно сказать, само по себе. С Монгольской Народной Республикой дипломатические отношения были установлены (без обмена собственными послами) в 1974 году. В 1975 г. вновь были восстановлены отношения с Вьетнамом и Кубой. В том, что Албания долгое время оставалась особым случаем, «восточная политика» была ни при чем. Контакты наладились лишь в 1987 г., когда началась нормализация внутри страны.

Только понимание действительного положения вещей, с одной стороны, и немецкой ответственнос-

ти — с другой, придало нам способность проявить тот реализм, который шел дальше баланса интересов и поднял нашу ответственность за судьбы Европы над обычным уровнем. Урок, который многие извлекли слишком поздно, а некоторые так и не смогли это сделать, состоял в следующем: если хочешь изменить данные факты, нужно из них и исходить; только тот может позволить себе в течение длительного времени не признавать изменившуюся реальность, кого это не затрунуло.

В декабре 1971 г. в Осло мне вручили Нобелевскую премию мира. Меня тронуло такое признание моих заслуг. Я сказал, что политика мира — это единственная реальная политика нашей эпохи. «Если при подведении итогов моей деятельности будет сказано, что я помог открыть путь новому чувству реальности в Германии, то это явится осуществлением большой надежды моей жизни». «Хороший немец, — добавил я, — знает, что он не может отказаться от европейского предназначения. Благодаря Европе Германия вновь обретает самое себя и созидательные силы своей истории. Наша Европа, рождение которой сопровождалось страданиями и крещениями, — это обязательное веление разума».

В моем выступлении в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября 1973 г. шла речь о переменах. Я прибыл сюда, сказал я, не для того чтобы использовать ООН как «стену плача». Напротив, мне хотелось бы, чтобы наша просьба о приеме обоих германских государств была воспринята как призыв «произнести слова «мирное сосуществование» по-немецки». Возможно, когда-нибудь в этом увидят важный эксперимент. «Если все же удастся с помощью мер по укреплению доверия уменьшить чудовищное расточительство, являющееся результатом недоверия между антагонистическими системами, то мы этим покажем исторический пример».

С первых дней моего пребывания в должности министра иностранных дел я старался проложить путь к Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я высказался за ее проведение в Хельсинки, когда большинство еще было против этого. Когда летом 1975 г. эта конференция состоялась, еще не было и намека на глубинные перемены. Параллельно с ней в Вене велись переговоры о сокращении вооружений в Центральной Европе. Протекали они крайне неудовлетворительно, превратившись в многолетнее военно-дипломатическое топтание на месте. В Хельсинки также многие вопросы остались открытыми.

Особенно трудно достигалось взаимопонимание по так называемой третьей корзине, в которую были «уложены» вопросы облегчения контактов между людьми и обмена информацией. Я хотел бы видеть более «тощий» документ вместо того, в который было заложено столько спорных трактовок. Некоторые писали, те, что всегда тут как тут, сделали вывод, будто Брежнев и его товарищи по блоку сами себя лишили могущества. Этого они, конечно, не сделали, но в сотрудничестве между Востоком и Западом наметился явный прогресс.

Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что борцы за гражданские права и другие диссиденты могли ссылаться на Хельсинки. Это не могло сгладить различия между системами, но помогло устранить некоторые табу. Последующие конференции проходили со все большим успехом. Но этот процесс, особенно в части военных проблем безопасности, стал только тогда плодотворным, когда вследствие изменившихся отношений между западными державами появилась возможность оценить новые общие данные.

Тот, кто считал, что хельсинкский процесс существует только для того, чтобы Советский Союз закрепил статус-кво в Европе, ошибался и теперь все больше предпочитает помалкивать. В действительности наступал период противоречивых изменений.

Европа теперь не только извлекала выгоду или терпела убытки вследствие того, что по большому счету происходило в отношениях между Западом и Востоком. Старый Свет, какие бы противоречия его ни раздирали, начал снова познавать себя и влиять на международные события. В этом отношении продолжалось то, что в начале 70-х годов происходило от германской «восточной политики».

Великий Шарль и малая Европа

Тот, кто задавал вопрос о Германии, должен был знать — отвечая, нельзя не сказать о Франции. А также о человеке, сказавшем о себе, что ему, в то время почти безвестному, пришлось «взвалить Францию на свои плечи». Его деятельность после 1940 г. в Лондоне и Алжире сравнивали с маяком, не погасшим во время долгой ночи гитлеровской войны. На меня этот француз, не укладывавшийся как консерватор ни в какие рамки, произвел сильное впечатление, и я сожалел, что мне уже не довелось вместе с ним заниматься европейской политикой.

В начале февраля 1968 г. федеральный президент Генрих Любке поехал в Париж, чтобы торжественно открыть старо-новое прусско-германское посольство на Рю де Лилль. Его сопровождали два федеральных министра — один из них замещавший меня Герберт Венер. Де Голль, присутствовавший на торжественном вечере, вернул конфискованное здание в соответствии с установленным порядком. Не только в министерстве финансов сочли, что подарок обошелся чересчур дорого: новая резиденция стои-

ла бы половину той суммы, которую пришлось уплатить за восстановление дворца. Когда-то Фридрих-Вильгельм III купил его у Евгения Богарне, пасынка Наполеона. Какое-то время он служил резиденцией Бисмарку. Деньги были потрачены не зря — французы оценили немецкое уважение к истории.

Однако в тот февральский вечер никто не обменивался воспоминаниями. Ибо моих коллег по кабинету испугало сообщение одного из телеграфных агентств, что в городе Равенсбурге, в Верхней Швабии, на каком-то собрании я якобы назвал президента Франции сумасшедшим. На следующее утро обоим федеральным министрам, а также присутствовавшему статс-секретарю министерства иностранных дел (никто из них не догадался немедленно мне позвонить) сообщили, что президент очень рассержен и отменяет в отношении их свое приглашение на обед в честь Любке. Федеральный президент, посчитав, что надо закрыть на это глаза, явился в сопровождении посла, хотя ему было сказано, что я не позволил себе даже намек на приписываемое мне оскорбление.

Генрих Любке, способности которого к соответствующему восприятию и реакции сильно снизились, мог бы знать, что в той равенсбургской речи я настоятельно рекомендовал не впадать в раболопие. Буквально я сказал следующее: «Во всяком случае, как и федеральный канцлер, я считаю, что если мы около двух недель находимся в Париже, то ни у кого не должно создаться впечатления, будто германская политика проводится под лозунгом «Трусость перед другом». В обоснование я сослался на Европейское Экономическое Сообщество и планы его расширения: «Для германо-французского сотрудничества действителен примат добрососедства. Дружеское, основанное на доверии сотрудничество вовсе не означает, что один партнер всегда поддакивает другому».

Что же случилось? Я находился вместе с Кизингером с государственным визитом в Риме. Мы там еще раз обсуждали французское «нет» вступлению Великобритании в ЕЭС. Нас приветствовали политические представители итальянского «конституционного списка». Над тем, почему среди них находился руководитель КПИ Луиджи Лонго, тогдашний федеральный канцлер ломал себе голову еще меньше, чем я. Тем более что мы находились за пределами германских границ. Из Рима я полетел в Южную Германию, чтобы принять участие в работе партсъезда своих друзей в земле Баден-Вюртемберг. Свою речь я заранее не готовил. В ее внешнеполитическом разделе, посвященном Европе, говорилось, что примирение французов с немцами, переросшее потом в дружбу, теперь живо в сердцах многих людей в обеих странах. Исходя из этого, я выразил надежду, что узы дружбы настолько крепки, «что даже неразумные правительства будут не в состоянии что-либо изменить».

Я испытывал огромное уважение к генералу и никогда бы не подумал отзываться о нем так, как это сделал бывший госсекретарь США Дин Ачесон, назвавший его «чудаком из Парижа». Не разделял я и мнения одного опытного дипломата из моего министерства, видевшего в нем смесь Дон Кихота с Парсифалем. Для меня долговязый бригадный генерал из Северной Франции был и остался символом Сопrotивления. Как-то само собой получилось, что я, подобно его соратникам в те трудные годы, обращался к нему «мой генерал». То, что он, несмотря на сильное противодействие, дал колониям самостоятельность, а североафриканским департаментам независимость, внушило еще большее уважение к нему.

Мое слегка критическое замечание, высказанное в то субботнее утро у швабов, опиралось на нечто само собой разумеющееся: во время консультаций в Париже мы должны, как и везде, высказывать свое мнение и отстаивать свои интересы. Даже по прошествии более чем 20 лет трудно объяснить, как из этого могла получиться «равенсбургская депеша»? Это даже было не делом рук какого-то моего недоброжелателя из среды журналистов. Им оказался сотрудник информационного агентства, не замышлявший ничего плохого и, как мне рассказывали, разделявший мои взгляды. Возможно, он просто не выспался и написал то, что по его мнению, могло быть сказано.

Усугубило дело то, что я не придавал большого значения одному телефонному разговору. Знакомый журналист позвонил мне домой, чтобы обратить мое внимание на возможные последствия фальсифицированной информации. Поняв в чем дело, я привел в действие все рычаги. Но это был тот случай, когда легче сказать, чем сделать. В местном бюро партии никого не оказалось. Человека, у которого хранились ключи, долго не могли найти. А потом прошло еще много времени, прежде чем пленка была доставлена в Бонн, подлинный текст переписан и передан в Париж. Тягостную реакцию на крайне неприятный прокол удалось лишь смягчить, но не предотвратить.

Когда я вскоре после этого вместе с Кизингером прибыл для очередных консультаций в Париж, никому уже не хотелось больше вспоминать об этом смятении. Во время приветствия перед обедом я спросил генерала, глядя ему прямо в глаза, может ли он мне посочувствовать, насколько тяжело осознавать, что ты невиновен. Он и бровью не повел, но попытался обезоружить меня изысканной любезностью. За столом я сидел слева от него, и он приказывал, чтобы меня особенно хорошо обслуживали.

В первый раз я был в Елисейском дворце в июне 1959 года. Де Голль приветствовал меня по-немецки. Каждый из нас, как и при всех последующих беседах, говорил на своем родном языке. Его переводчик, врач родом из Берлина, бывший участник Сопrotивления, вел запись беседы и, если мы хотели быть особенно точными, помогал при переводе «трудных» формулировок. Генерал на посту президента распра-

шивал меня подчеркнуто дружелюбно, но, тем не менее, как главнокомандующий, наводящий справки у командира дивизии:

«Что может бургомистр рассказать мне о состоянии дел в Берлине?» «Какова ситуация в Федеративной Республике?» «Каково положение в Пруссии?» Я не сразу сообразил, что под «Пруссией» подразумевается ГДР. Сделанное мною разъяснение привело, правда, только к тому, что в следующий раз он говорил о «Пруссии и Саксонии». Так ему подсказывало его понимание исторических взаимосвязей. Общественным системам и наднациональным группировкам он не придавал никакого значения, нациям и государствам — огромное. Советы для него всегда оставались «русскими».

Наконец, он хотел знать: «А что делает СДПГ?» Этого четвертого вопроса я ждал меньше всего. После моего короткого сообщения президент заметил, что, с его точки зрения, бургомистр Берлина входит в число тех людей в Европе, о которых еще будут говорить. На следующий год он развил этот тезис. Я сделал тогда следующую запись: «Он сослался на то, что говорил мне в 1959 г. о роли различных личностей в деле дальнейшего развития Европы».

Он вежливо, но решительно отклонял приглашения посетить мой город (Берлин. — *Ред.*), к чему я за эти годы неоднократно пытался привлечь его внимание. В первый раз в 1959 г. он объяснил свои сомнения тем, что не располагает такими средствами, как американцы. Это значило, что он не хочет гарантировать того, что, возможно, не выполнит ведущая держава Запада. В конце 1959 г. он сказал британскому премьер-министру Гарольду Макмиллану, которому связанный с Берлином риск казался чересчур большим: «Вы не хотите умирать за Берлин, но Вы можете быть уверены, что русские этого тоже не хотят». Несколько позже он не особенно убедительно и с обезоруживающей откровенностью разъяснил мне, что не может приехать, так как его приезд будет означать «признание стены». «В отношении американцев есть опасения, что они идут на неверные компромиссы, — сказал он. — Впрочем, у Запада достаточно возможностей дать на советское давление в Берлине контрответ в другом месте. Жители Западного Берлина, — продолжал де Голль, — не должны сомневаться во Франции, но она не одна и, к тому же, не самая сильная из западных держав». (Это, конечно, не было преуменьшением.) «В позиции Франции по Берлину, — так он говорил в 1963 г., — не может быть никаких сомнений». Его политика состоит в том, чтобы не отдавать ничего, что принадлежит свободному миру. Если существует шанс ободрить людей на Востоке и облегчить их жизнь, то он готов им воспользоваться. Его беспокоят переговоры американцев с русскими потому, что все время приходится опасаться за позиции Запада. В ООН следует быть особенно начеку, прежде всего из-за нейтральных государств, так как они склонны занимать позицию, устраивающую Советский Союз. Из этого, по его мнению, следовало: никаких изменений статуса Берлина. Он может оставаться таким еще 18 лет. Тогда будет видно, где стоят русские. Должен ли был правящий бургомистр считать эти заявления конструктивными?

В понимании де Голля Восток никогда не переставал быть частью Европы. Однако лишь в последние годы своего президентства он пытался сделать из этого политические выводы. Они были неразрывно связаны с его позицией по отношению к Соединенным Штатам. Он не верил, что атомная мощь США защитит Европу, тем не менее он не хотел разрыва с ними. Во всяком случае, самостоятельность, к которой он стремился, была несомнима с принадлежностью к интегрированному НАТО.

Когда Франция в 1966 г., заранее об этом уведомив, вышла из общей и интегрированной организации обороны Запада, НАТО перенес свою штаб-квартиру из Фонтенбло в Брюссель, а французские войска в Германии были выведены из командной структуры союза, президент был уверен в правильности своего шага: Федеративная Республика Германии не захочет, да и не сможет сделать то же самое. Можно легко требовать: «Американцы, вон из Франции!», будучи уверенным, что они остались в Германии. В свое время получила распространение формула «Американцы, вон из Европы, но не из Германии!»

Французский флот в Средиземном море генерал вывел из-под командования НАТО еще весной 1959 года. Этому предшествовало его столкновение в 1958 г. с Лорисом Норстэдом, американским главнокомандующим в Европе, который не мог ему сказать (потому что не имел права этого говорить), сколько единиц американского ядерного оружия и где именно размещено во Франции. Де Голль на это заявил, что руководителю Франции не придется во второй раз выслушивать подобный ответ. К этому добавилось то, что Эйзенхауэр отклонил желание Франции составить вместе с США и Великобританией своего рода западный триумvirат. Вскоре после этого, в декабре 1962 г., Кеннеди пообещал англичанам ракеты «поларис». Представление нового президента, что союз покоится на двух столпах, тем более не убедило французов. Ибо для чего же тогда Франция — без значительных материальных затрат — добилась положения великой державы *homois causa*? Теперь речь шла о попытке объединить средства Федеративной Республики со своими собственными, чтобы вновь обосновать претензии на ведущую роль в Европе.

Германия могла бы извлечь из этого большую пользу, чем она это сделала. Правда, она должна была бы знать, чего можно ожидать от партнера, а чего нет. Де Голль сказал в 1962 г. австрийскому министру иностранных дел Крайскому: «Мы предложили Германии дружбу Франции, а ведь это стоит, по крайней мере, столько же, сколько воссоединение».

Аденауэру он откровенно и без всякой дипломатии заявил летом 1960 г.: положение Франции в

НАТО «в ее нынешней форме» не может долго оставаться неизменным. А мне он сказал несколько позже, что не надо считать его безрассудным; само собой разумеется, он также придерживается мнения, что Атлантический альянс должен остаться, о частностях можно будет договориться. На мое замечание, что многим из нас также не нравится роль сателлитов или острия США, он ответил, что с пониманием относится к ситуации в Германии, и добавил с некоторым сарказмом: «Был период Даллеса, когда политика Запада сводилась к тому, чтобы победить Советский Союз, а после этого решить германский вопрос. Теперь же у нас, кажется, хотят решить германский вопрос таким образом, что западные державы время от времени подают петицию Москве». Хотя у Франции не очень хороший опыт отношений с объединенной Германией, он за национальное единство. Однако нам следует знать, что у нас не будет никаких шансов, если мы не признаем границы с Чехословакией и Польшей (заодно он добавил еще и Австрию!). Кроме того, мы не должны стремиться к обладанию ядерным оружием. Термин «право участвовать в совместном решении» у него буквально растаял во рту, когда он спросил, может ли здравомыслящий человек всерьез думать, что ядерная держава предоставит кому-то право участвовать в решении вопросов, связанных с ее атомным оружием.

В 1963 г. он мне сказал: «Если мы хотим иметь Европу, то она и должна быть Европой, а не Америкой плюс отдельные европейские государства». Впрочем, или будет война или Советский Союз столкнется с новыми проблемами. Как доктрина и как режим коммунизм в России и Восточной Европе «гораздо менее убедителен, чем во времена Сталина». Он проинформировал другую сторону, какие основные вопросы следовало бы включить в мирное урегулирование. Для него, заявил де Голль, вопрос, действительно ли немцы в этом заинтересованы (он имел в виду границы), остается открытым. Франция в крайнем случае может жить и с разделенной Германией.

Очень позитивно глава французского государства оценивал политику малых шагов, проведения которой я добился в Берлине. Министр иностранных дел Кув де Мюрвиль сказал, что поначалу его правительство относилось к этим действиям сдержанно, но вскоре убедилось в том, что правовые позиции не ущемляются и успешное проведение этой политики соответствует общим интересам.

Между тем среди политиков ХДС/ХСС в Мюнхене и в Бонне образовалась группировка, считавшая себя «голлистской», или «европейской», в отличие от доминировавших в правительстве (и в СДПГ) «атлантистов». В споре с ними немецкие «голлисты» в двух случаях не учитывали реальности: они не замечали или не хотели замечать, что генерал никогда и ни при каких обстоятельствах не собирался потакать их мечтам о европейском атомном вооружении или об участии в атомном вооружении Франции; они не замечали, что де Голль не хотел слишком сильного немецкого влияния в ЕЭС, кроме того, он собирался дать новое обоснование своей собственной политике разрядки, политике, которая скорее бы пошла на пользу, чем во вред немецкой «восточной политике». Боннские «атлантисты», в свою очередь, лелеяли призрачную мечту об особых стратегических отношениях с США, для которых не существовало ни малейших предпосылок. Они не учитывали в должной мере, что американцы только на словах выступали за единение Европы. К предполагаемой собственной динамике западноевропейского сплочения Вашингтон относился явно без энтузиазма. Его беспокоила как более сильная экономическая конкуренция, так и растущая политическая самостоятельность Европы.

Консультативное совещание летом 1964 г. особенно наглядно показало, сколь худосочной и неизобретательной оказалась политика Бонна. Противоречие между договором о дружбе, подписанным в Елисейском дворце в начале последнего года правления Аденауэра, и резким «нет» французам расширению ЕЭС попытались довольно неуклюже отодвинуть на второй план. Президент явился в сопровождении всех основных членов своего правительства и был изрядно разочарован, когда его представления о европейской самостоятельности, в том числе ее военного компонента, не нашли отклика. Министр иностранных дел не составил себе никакого мнения, канцлер не проявил ни понимания, ни чутья. Эрхард произнес фразу, получившую печальную известность среди посвященных: «Тогда продолжим нашу повестку дня».

В те недели весны 1964 г., выступая перед нью-йоркской публикой, я сказал, что не считаю ни правильным, ни справедливым возлагать всю ответственность за трудности западного мира на де Голля. Некоторые его решения понять нелегко, говорил я, но я не хочу обвинять его, тем более в США. Наоборот, нам следует осознать тот факт, что «де Голль в своей манере смело и своевольно размышляет о немислимом и начал делать из этого выводы». Равновесие страха дает возможность привести в движение застывшие фронты. Французский президент воспользовался этим на свой лад, и иногда я как немец себя спрашиваю: «А почему, собственно, только он один?» Если мы строим мост из прошлого в будущее, то нам в силу необходимости нельзя упускать из виду настоящее.

Это «почему только он один?» вызвало у друзей в Америке и в моей стране дилетантскую критику и озабоченные вопросы. Кое-где по недоразумению сочли, что мне безразлично внутривнутриполитическое развитие в соседней стране. На самом деле я весьма близко принимал к сердцу заботы, которыми делились со мной французские друзья — левые и центристы.

В докладе перед Германским обществом внешней политики я напомнил прописную истину, что в политике есть вещи, которые нельзя охватить ни простым «за», ни обыкновенным «против». Недаром

говорят: движение само по себе еще не является чем-то хорошим, однако неподвижность сама по себе тоже не представляет собой ничего хорошего. Особенно когда трескается ледяной покров и льдины приходят в движение. Я приводил следующий аргумент: не только французы, но и англичане и другие, а также, конечно, американцы на свой лад используют относительную свободу действий. «А что делаем мы? Федеративная Республика не должна создавать впечатление, будто у нее нет собственных интересов и собственной воли. Вопрос о пользе свободы действий, следовательно, стоит и перед Федеративной Республикой. И этим объясняется смысл почтительного и дружеского предупреждения, кроющегося за вопросом «почему, собственно, только он один?»»

В начале 1965 г., когда я накануне выборов в бундестаг снова побывал в Париже и среди прочего выступил на ассамблее того Западноевропейского Союза, участницей которой была и Великобритания. де Голль высказал свое беспокойство по поводу того, что европейцы стали жертвами неверной американской стратегии: используя обычное и так называемое тактическое атомное оружие, они осуществляют «стратегию гибкого устрашения» за счет интересов обеих частей Германии и, вероятно, Франции, которые окажутся пострадавшими. В действительности же необходима решимость Америки нанести тотальный ответный ядерный удар, заявлял де Голль. Мы должны исходить из того, что Советский Союз и США не хотят воевать друг с другом. На тот случай, если дела будут обстоять иначе, Франция создает собственную ядерную оборону. Соответствующее решение было принято еще в 1956 г., когда премьер-министром был социалист Ги Молле.

После того как в декабре 1966 г. я принял министерство иностранных дел, моя первая поездка за границу, которую я уже воспринимал как переход к европейскому «пригородному сообщению», привела меня в Париж, где в последний раз заседал Совет НАТО. На тогдашнюю дискуссию наложили отпечаток решения Франции, с которыми Федеративная Республика не могла согласиться. Первый вывод, подготовленный еще предыдущим федеральным правительством, гласил: «Мы заключили с Парижем соглашение о размещении французских войск в Германии». Договоренность далась нелегко. Мы исходили из того, что по вопросам обоюдной обороны существует единство мнений. Но независимо от того, соответствовало это действительности или нет, неудовлетворенность не могла быть единственной отправной точкой нашей ориентации. Для того чтобы избавиться от груза прошлого и активизировать германо-французские отношения, нам следовало предпринять значительные усилия. В этом между Кизингером и мной существовало полное единство. Отношениям с Францией был нанесен урон, да и отношениям с Америкой это также не пошло на пользу. Скорее, наоборот. Для нас дальнейшим разочаровывающим и осложняющим обстоятельством явилось то, что Франция с лета 1965 г. проводила в совете министров ЕЭС «политику пустующего кресла».

Де Голль и его сотрудники приняли к сведению, что в правительственном заявлении Большой коалиции были отчетливо расставлены германо-французские акценты. Кизингер, по согласованию со мной, сказал: «Европейская география и европейская история в современных условиях диктуют необходимость высшей меры согласия между двумя народами и странами. Сотрудничество, к которому мы стремимся, не направлено против какого-либо другого народа или другой страны. Оно, скорее, является точкой кристаллизации нашей политики, поставившей своей целью единение Европы. Та Европа, которая — как этого требуют американские государственные деятели — будет говорить «в один голос», предполагает во все большем объеме постоянное согласование немецкой и французской политики. Германо-французское сотрудничество в возможно большем количестве областей имеет также большое значение для улучшения отношений с восточноевропейскими соседями... По этой причине федеральное правительство желает как можно конкретнее использовать содержащиеся в договоре от января 1963 г. шансы на координацию политики».

Между тем мы не скрывали, что обе страны и в будущем будут выражать различные интересы и мнения. Дружба не означает отказа от собственных интересов или поддакивание партнеру. Так, мы пытались разъяснить нашему французскому соседу, почему мы придерживаемся иного мнения по вопросам расширения ЕЭС. И почему мы придаем большее значение союзу с Америкой. Но, несмотря на это, уверены, что Европу можно строить только с участием Франции и Германии. Примирение между обоими народами стало послевоенной реальностью, возможно, важнейшей и, во всяком случае, самой отрадной.

В связи с недавним визитом Косыгина в Париж Кув де Мюрвиля занимало все то, что «русские называют европейской безопасностью», ибо в этом, по его мнению, заключались проблемы будущего Германии. Советская сторона, считал он, без возражений приняла к сведению, что Франция выступает за улучшение отношений между Бонном и Москвой, а также со странами Центральной и Восточной Европы. В действительности именно на Кэ д'Орсе (т. е. в министерстве иностранных дел Франции. — *Прим. ред.*) хорошо знали, что в одиночку в политике разрядки ничего не добьешься. Я объяснил, каким образом мы намереваемся сформулировать вопросы германского единства и увязать их с нашей политикой обеспечения мира. Пока не найдено политическое решение, мы хотим сконцентрировать свои усилия на том, чтобы сохранить как можно больше связей между обеими частями германского народа — путем торговли, культурного обмена, упрощения поездок — и были бы рады рассчитывать при этом на понимание фран-

цuzов. Следует предпринять серьезную попытку вдохнуть в германо-французский договор больше политической жизни. Реакция Кув де Мюрвиля была положительной. Позднее он метко заметил, что я сильно отличался от Кизингера, «однако так же, как он, заботился о германо-французских отношениях».

Тогда, в декабре 1966 г., де Голль принял меня для беседы с глазу на глаз. Я объяснил, почему эта серьезная попытка придать работе в духе германо-французского договора новое содержание отвечает нашим интересам. Де Голль сказал, что он рад тому, что я стал министром иностранных дел. Он надеется также, что сможет плодотворно сотрудничать с новым федеральным канцлером. Он не питает никаких недобрых чувств по отношению к Людвигу Эрхарду, напротив, ценит его. Сотрудничество с Эрхардом «всегда практиковалось по мере возможности». Наше правительственное заявление де Голль нашел интересным и даже ободряющим. Теперь следует подумать, что делать дальше. Франция не предпримет ничего, что могло бы затруднить наше положение. Но не следует преувеличивать значение договора. В первую очередь это документ доброй воли и примирения. Это всегда важно. Между намерениями обеих сторон не существует принципиального различия. Желание немцев воссоединиться известно Франции, и она не только ничего не имеет против этого, но и разделяет это желание, исходя из дружеских чувств к Германии и потому, что только так можно окончательно преодолеть последствия войны. Однако в условиях холодной войны к этой цели можно приблизиться лишь в том случае, если не будет намерений вести войну против России, заявил де Голль. Но этого не хотел никто, «даже Германия, и Америка тоже». Следовательно, позиция силы никогда не могла быть настолько внушительной, чтобы, опираясь на нее, добиться германского единства. Необходимо искать другой путь. «Как вы знаете, Франция рекомендует путь европейской разрядки. Именно в германском вопросе не будет никаких подвижек, если отношения между европейскими государствами не будут поставлены на новую основу», — заявил президент. Разумеется, Франция должна проявлять осторожность. Россия, хотя это очень большая держава, не пошла дальше того, что ей по праву досталось в Ялте. Все говорит за то, что у нее нет агрессивных намерений. Главная забота России — это Китай. Кроме того, ей необходимо развивать собственную страну, а для этого нужна помощь Запада. Она в своем роде миролюбивая страна с сильным тоталитарным режимом, хотя и с ослабевающей идеологией. Франция (т. е. он сам, побывав в июне 1966 г. в Советском Союзе) заявила русским, что она приветствует политику германо-советской разрядки. Естественно, это предполагает, что Германия намерена проводить такую политику и что-то делает в этом направлении. Я спросил господина Косыгина: «Когда господин Брандт приедет в Москву — а Вы ведь поедете в Москву, — хорошо ли его примут русские?» Косыгин ответил: «Может быть, хорошо».

Де Голль продолжал: «Если Германия пожелает, Франция поможет ей продвинуться по новому пути (она даже начала кое-что в этом отношении предпринимать). Прежде всего в Москве и в области политики разрядки в целом она воздержится от всего, что могло бы повредить Германии». Будучи в России, он также заявил, что не могут существовать вечно два немецких государства — есть только один немецкий народ. Возможно, в один прекрасный день это поймут и русские. Во всяком случае, признание ГДР как государства не входит в намерения Франции. Однако ее позиция в вопросе германских границ «на Востоке и на Юге» останется неизменной. Дружить она хочет только с неимпериалистической Германией. «Нельзя быть другом Германии, если она хочет вернуть себе то, что потеряла в результате войны». «У Германии, — сказал де Голль, — и не будет никакой возможности передвинуть границу на Восток, так как сегодняшнюю Россию не сравнить с тогдашней». С точки зрения Брежнева, это выглядело так: «Когда де Голль стал проводить самостоятельную внешнюю политику, наши отношения во всех областях удалось улучшить». Генерал повторил, что как только Федеративная Республика пожелает улучшить практические контакты с населением в советской зоне оккупации, Франция будет рассматривать подобные попытки как «полезные для всех, и особенно для самих немцев». Он продолжал: «Прежде всего дело в том, чтобы у каждого была своя политика. У Франции должна быть французская политика, и она у нас есть. У Германии должна быть германская политика, и ее создание зависит от самой Германии. Французская, или германская, или английская политика, которая была бы американской политикой, — это нехорошая политика». При этом, — говорил он, — Франция ни в коей мере не выступает против Америки, она друг Америки. Однако для Европы нет ничего хуже, чем «американская гегемония, при которой Европа угасает и которая мешает европейцам быть самими собой. Американская гегемония мешает европейцам верить в самих себя».

Нет сомнения, что де Голль добивался большего, чем просто предотвращения конфликтов, что соответствовало моей концепции «урегулированного сосуществования», того сосуществования, которое должно было стать совместным существованием. Самый гордый среди гордых французов считал, что германский вопрос имеет историческое значение и должен быть «проверен, урегулирован и гарантирован» перед лицом народов Европы. Вашингтон и Париж, как казалось, были едины в том плане, что имели в виду добиться сначала европейского, а затем немецкого единства — именно в такой последовательности.

Я не преминул заметить, что немцам положение вещей представляется более запутанным, чем ответственным лицам в Париже и в Вашингтоне, хотя и согласился с тем, что агрессия русских, по расчетам немцев, также исключена. После того как де Голль несколько раз упомянул и Австрию, я был вынужден

заявить, что в Германии нет ни одного ответственного политика, который бы думал о новом «аншлюсе». Де Голль заметил: то, что мы собираемся делать, ему кажется разумным, хотя в том, что касается изменения психологических факторов, мы чересчур осторожны.

После нескольких обстоятельных бесед, которые я в течение ряда лет имел с самим генералом и его ближайшими сотрудниками, для меня не было неожиданностью, что мы достигли с французской стороной хорошего взаимопонимания в вопросах «восточной политики». Мне врезалось в память сравнение с кладоискателями, которое де Голль летом 1967 г. во время своего предпоследнего визита в Бонн интерпретировал следующим образом: он надеется, что Германия и Франция вместе откопают клад, представляющий собой политику, которая преодолет раскол Европы.

Аденауэр уже пять лет был не у дел, но забота о том, чтобы поднять отношения с Францией на более высокий уровень, жила в нем по-прежнему. Ему хотелось, чтобы люди верили в то, что он и де Голль прямо-таки ждали встречи друг с другом и были, как говорится, из одного теста. Но это лишь домыслы. В действительности у них было мало общего, кроме преклонного возраста и консервативных взглядов по принципиальным вопросам. Кроме того, француз, считавший немца провинциалом, был больше связан с прошлым и дальше заглядывал в будущее.

На закате жизни Аденауэр допускал мысль о том, что если кто-то еще и способен объединить Западную Европу, то только де Голль. При этом в 1958 г., когда в Париже генерал вновь взял бразды правления в свои руки, первая реакция канцлера была не восторженной, а настороженной. Его пришлось долго уговаривать, когда де Голль в сентябре 1958 г. пригласил его к себе домой в Лотарингию в Коломбэ-ле-дэ-Эглиз. Его приезд растопил лед, и визит прошел успешно. «Старик» все же не был так наивен, как простодушный Людвиг Эрхард. Когда я в мае 1958 г. встретил вице-канцлера (он замещал Аденауэра, а я в то время был председателем бундесрата) на аэродроме Кельн — Бонн, он с наивной серьезностью сказал: наверно, во Франции пробил час фашизма. Это была чушь, но и я был обеспокоен. Мои опасения подтвердились (иногда меня охватывало очень мрачное настроение), когда мои парижские друзья посетовали на то, что де Голль надумал превратить внутриполитический ландшафт в пустыню: при случае старались провести параллель с Берлином в начале 1933 года.

После окончания войны и связанных с ней унижений Франции самой предстояло разобраться, что же с ней произошло. Де Голлю удалось сделать в этом отношении немного, и он, рассердившись, отошел от дел. Вернувшись снова к власти в конце 50-х годов, он решил путем «мирной хитрости» закончить войну в Алжире. А кто другой обладал необходимым для этого авторитетом? О том, что он не так прост, ходили слухи еще во время войны. Однажды Черчилль, тяжело вздохнув, сказал, что лотарингский крест — самый тяжелый из крестов, которые ему приходилось когда-либо нести. Рузвельт высказался еще более язвительно. Миттеран мне рассказывал, как он по секретному поручению французского подполья прибыл через Лондон в Северную Африку и явился в штаб-квартиру генерала; глядя неодобрительно, тот первым делом спросил, уж не на английском ли самолете он прилетел.

Могу себе представить, что де Голлю, как и другим, не только консервативно настроенным французам, было нелегко хоть в какой-то мере непредвзято относиться к немцам. Послевоенному правительству Франции план создания центральных управлений во главе с немецкими статс-секретарями был еще менее симпатичен, чем всем другим.

Так почему же Париж должен был выступить в защиту немцев и их единства? Как и другим, де Голлю мерещилось, что левый берег Рейна, в том числе севернее Эльзаса, станет западной границей Германии, а Рурская область будет поставлена под «международный контроль». Когда этот вопрос встал на повестку дня, он был против «наднациональной» Европы и способствовал тому, чтобы идея создания Европейского Оборонительного Сообщества (ЕОС) не прошла из-за вето французского парламента. Его сторонники голосовали там против Европейского Экономического Сообщества — ЕЭС. Правда, придя к власти, он все же согласился с его существованием. Но англичан он в нем видеть не хотел, на его взгляд, они были слишком близки к США. Кроме того, существовала опасность, что они будут оспаривать претензии Франции на ведущую роль в Западной Европе.

В конце концов он заключил с Аденауэром договор о дружбе от января 1963 года. За пять дней до его подписания в Елисейском дворце на одной из своих пресс-конференций, напоминавших торжественное обнародование указов, генерал еще раз подтвердил свое несогласие с членством Великобритании в ЕЭС. Аденауэра это не беспокоило. Когда его министр иностранных дел (им был Герхард Шрёдер) несколько сбивтый с толку «выбором времени» позвонил ему из Брюсселя, он спросил: «А разве Вам было бы приятнее, если бы де Голль сделал свое заявление после подписания?» Я в это время как раз был в Лондоне и видел, с какой сдержанной горечью реагировало тамошнее правительство и в какой ужас пришел германский посол. Его коллега в Париже, многолетний сотрудник ведомства канцлера Бланкенхорн, назвал договор «событием, к которому я отношусь со смешанным чувством». К тому же федеральное правительство упустило из виду, что договор нужно подстраховать или сочло это излишним. Вследствие этого Кеннеди, которому дали недостаточно продуманный совет, спросил федерального канцлера, считает ли он, что ему по пути скорее с Парижем, чем с Вашингтоном?

Но вся эта дипломатическая безграмотность не нанесла ущерба примирению, и никто не мог утверждать, что договор ему в чем-то повредил. Новые взаимоотношения между обеими странами, дружба, живущая в сердцах подрастающего поколения, стали основой европейского мирного сосуществования. Де Голль в сентябре 1962 г., за год до договора о дружбе, нанес вызвавший сенсацию визит в Федеративную Республику, где он говорил о «великом немецком народе». Ему оказали восторженный прием, порой казалось, что многие видят в нем своего рода «эрзац-фюрера» и хотят своими приветственными возгласами излить душу. В разговоре со мной он заметил, что не думал, что поездка будет протекать «столь эмоционально». После обеда, который де Голль дал в Годесбергском редуте (замок в Бонне, предназначенный для торжественных приемов. — *Ред.*), он с глазу на глаз поблагодарил за проникновенное заявление, которое я сделал в берлинской палате депутатов.

В апреле 1963 г. Дни культуры Берлина привели меня в Париж. Вместе с Андре Мальро я открывал в Лувре выставку Ватто. Марлен Дитрих не преминула прийти на один из вечерних приемов. Кув дал в честь меня обед, и я впервые встретил Жоржа Помпиду в резиденции премьер-министра. Президент отправился в поездку по провинции и распорядился доставить меня на военном вертолете в Сен-Дизье в Лотарингии. Тогдашний министр сельского хозяйства Эдгар Пизани тоже был там — мы находились на территории его избирательного округа. Де Голль сказал, что реакция Бонна на заключенный с Аденауэром договор его «несколько обеспокоила». Теперь следует подождать, добавил он. Мы должны знать, что практическому сотрудничеству он придает еще большее значение, чем букве договора. Я стал его заклинать, при всем уважении к его исторической роли, не ввергать германский народ в ненужные конфликты. Это касается главным образом отношений с Америкой, которые имели и будут иметь решающее значение для послевоенного развития, сказал я. И в бундестаге и в бундесрате договор будет ратифицирован подавляющим большинством голосов. Он должен проявить понимание в случае, если в преамбуле или каким-то другим способом будет заявлено, что мы не хотим нанести ущерб отношениям с Атлантическим союзом вообще и с США в частности, а также обязательствам, вытекающим из нашего членства в ЕЭС. Мне было тяжело это говорить, ибо подготовка и парламентское обсуждение германо-французского договора меня вовсе не радовали. Де Голль остался недоволен. Вашингтон тоже. Излишняя торопливость неминуемо должна была вызвать сомнения в серьезности германской внешней политики.

В бундесрате мне, как председателю комиссии, выпала задача рекомендовать германо-французский договор для ратификации. Я еще раз взял слово в прениях. Наши отношения с Соединенными Штатами, сказал я, до сих пор не приводили к серьезным противоречиям ни с Францией, ни с Великобританией. Так должно оставаться и впредь. Признавая мужество и энергию, с которыми генерал принимает за новые планы (другой вопрос, всегда ли они правильны или нет), необходимо и в дальнейшем крепить сплоченность с союзниками, рассматривать участие в Европейском Сообществе как всеобъемлющую задачу и, наконец, отнестись серьезно к предложению президента Кеннеди по атлантическому партнерству. Как сказал мне в 1965 г. де Голль, у него создалось впечатление, что они с Аденауэром придерживаются одного и того же мнения относительно элементов общей политики. Однако преамбула, которую мы предпослали договору, в значительной степени его обесценила и привела к зависимости наших совместных действий от третьих сторон. Из договора получился скорее сентиментальный, чем политический документ. К итогу подписанного два года назад договора можно относиться скорее отрицательно, чем просто критически. Правда, де Голль не делал из этого выводов, которые поставили бы договор под сомнение. Прессе следует быть более сдержанной, заявил он. В Париже это в основном уже произошло. Я обратил внимание на то, что нужно открыто говорить о различии в представлениях, например, в области оборонной концепции, и в то же время теснее сотрудничать в практических областях. Он ответил, что именно немецкая сторона совершенно или почти не использовала подобные возможности, а в военных заказах полностью придерживалась линии США.

Во всех этих спорах речь шла, конечно, о вещах более важных, чем заказы, хотя французское правительство хотело заполучить их. Оно не стеснялось прибегать к дипломатии и давлению, чтобы перехватить у немцев заказы на рынках третьих стран. К тому же де Голль и люди его поколения не простили ни американцам, ни англичанам, что они после первой мировой войны якобы воспрепятствовали осуществлению справедливых требований Франции. Ныне же речь шла о руководящей роли в (Западной) Европе. Она принадлежала бы Парижу, если бы удалось удержать Лондон на дистанции, — немцы в этой роли никого не устраивали. Их экономическим интересам, казалось, отвечало экономическое сообщество, использующее британские торговые традиции и международный опыт. Кроме того, с точки зрения людей моего типа, нежелательно было отказываться от участия в нем не только Великобритании, но и других социал-демократических и протестантских регионов.

Де Голль еще в сентябре 1968 г., то есть позже, чем обычно, прибыл для консультаций в Бонн. Эта встреча так же, как и последняя в 1969 г. в Париже, не оправдала ожиданий. Генерал, как всегда мастерски, не по «бумажке» суммировал итоги германо-французских встреч. Однако по нему было видно, как сильно на него подействовал майский кризис во Франции. Канун того кризиса я провел в Дижоне в веселой компании: Кув де Мюрвиля и меня только что посвятили в сан рыцарей ордена бургундского вина,

когда моего французского коллегу срочно вызвали в Париж. Генерал еще не вернулся из Румынии, где он находился с государственным визитом, когда начались студенческие волнения, повлекшие за собой забастовки и чуть было не приведшие к революции.

29 мая глава государства и его семья спешно прилетели на вертолете в Баден-Баден к генералу Массю. (Старый рубака был в свое время отозван де Голлем с поста командующего в Алжире. Я познакомился с ним еще будучи бургомистром, после того как он стал главнокомандующим французскими войсками в Германии.) Это было скорее безрассудство, чем настоящее бегство. Когда его верный военачальник, которого никто не предупредил о прилете президента, встретился с ним в Баден-Бадене, де Голль сказал, что теперь все пропало, все заблокировали коммунисты. Тогда возник вопрос, может ли он отправиться в Страсбург. Он согласился лететь в Коломбэ, а на другой день уже вернулся в Париж. Версию, согласно которой де Голль хотел устроить путч, я считаю неверной — у него просто сдали нервы. Массю позднее говорил: «Если бы президент остался в Баден-Бадене, это бы означало катастрофу, из этого получился бы второй Варенн» (намек на арест во время французской революции Людовика XVI).

Трудно представить себе де Голля в своего рода эмиграции именно в Германии. Трагикомическое приложение: начальник советской военной миссии в Баден-Бадене сообщил генералу Массю, что Москва доброжелательно относится к сохранению режима.

В Париже, где коммунисты больше успокаивали других, чем делали революцию, произошли многоярусные контрдемонстрации консерваторов, которые помогли изменить обстановку. Было объявлено о проведении новых выборов. Премьер-министра Помпиду, после того как он благодаря своему хладнокровию спас режим, де Голль больше не хотел видеть во главе правительства. Его сменил Кув де Мюрвилль. Для этого блестящего знатока всех хитростей государственной власти это явилось последней короткой остановкой перед тем, как он покинул правительство. Его преемником в министерстве иностранных дел стал голлистский архангел Мишель Дебре, с которым я, к удивлению многих, неплохо ладил. Референдум, состоявшийся весной 1969 г., по вопросам децентрализации и реформы сената де Голль назначил, очевидно, в предчувствии отставки. После того как стал известен результат, он, ни с кем не попрощавшись, уехал в Коломбэ. Один из последних творцов военного и послевоенного порядка в Европе, сохранивших ее народам чувство национального достоинства, оставил свой штурвал. Нам он напомнил, что мы все же что-то собою представляем. Несмотря на разочарование, которое он доставил нам и всем европейцам, он позволил себе надеяться, что утопия о вечной мирной Европе осуществима.

Можно было предположить, что де Голль не долго проживет после «расставания» с властью. Весть о его смерти в ноябре 1970 г. тронула меня до глубины души. Из-за болезни я не смог поехать на похороны. В январе 1971 г., когда я в очередной раз приехал в Париж, я сказал: «По пути сюда сегодня утром недалеко от поля битв злополучных войн я посетил могилу человека, который как никакой другой государственный деятель осознавал горький опыт нашей общей истории и, вероятно, именно поэтому смог стать одним из создателей переходящего в дружбу взаимопонимания между нашими народами».

На эту германо-французскую консультативную встречу я приехал поездом. В то мрачное зимнее утро я стоял у скромной могилы в Коломбэ. Спустя годы мой путь привел меня и к большому лотарингскому кресту, поставленному за деревней в память о французе с непростым характером, о единственном в своем роде европейце, стоявшем между прошлым и будущим, человеке, который всеми своими чувствами был ближе к единой Европе, чем все те, кто хотел чересчур быстро и чересчур прочно приспособиться к послевоенному ландшафту.

Событие...

Среда, 24 апреля 1974 года. В середине дня я прилетел на правительственном самолете из Каира, где совещался с Садатом, а в предшествующие дни в Алжире с Бумедьеном.

В аэропорту Кёльн — Бонн меня встречали Геншер и Граберт, министр внутренних дел и руководитель ведомства федерального канцлера. Уже издали было видно, что они хотят мне сообщить необычную новость. Действительно, господин Гильйом, один из моих референтов, рано утром был арестован у себя на квартире по серьезному подозрению в шпионаже. Вместе с ним арестовали его жену. Гюнтер Гильйом признался, что «он является гражданином ГДР и офицером спецслужбы». Явившись с повинной, он несколько облегчил работу тем, кто занимался выяснением его личности. Те доказательства, которые удалось представить суду, выглядели довольно жалкими.

Это известие было для меня ударом, хотя и не настолько сильным, чтобы лишить меня чувства самообладания. Я знал, что примерно год назад в отношении этого человека, занимавшегося по моему поручению контактами с партиями и профсоюзами, подготовкой встреч и сопровождавшего меня при поездках «в провинцию», появились (как я думал, неопределенные) подозрения. Подобные предположения я не принимал всерьез и тем самым — не в первый раз — показал, что не особенно хорошо разбираюсь в людях. Кроме того, я считал маловероятным, что руководители другого германского государства приста-

вят ко мне на многие годы замаскированного под социал-демократа с консервативными взглядами агента. в то время как я, преодолевая очень сильное сопротивление, стараюсь наладить межгосударственные отношения. Моя доверчивость объяснялась еще и тем, что он не работал под собеседника, хорошо разбирающегося в политике, а стремился произвести впечатление надежного адъютанта. Он не был тем человеком, с которым можно поговорить по душам. Я назвал бы его старательным и любящим порядок исполнителем. Как я сообщил шефу соответствующих органов, я не выносил его подолгу около себя.

Я не знал и даже не предполагал, что его разоблачение будет означать конец моей карьеры канцлера. Разумеется, я должен был быть готовым к критическим вопросам прессы и оппозиции, но считал, что с этим я справлюсь. И даже сейчас, 15 лет спустя, я не могу, кивнув головой, помочь тем людям, которые пытаются успокоить свою совесть отговоркой, что мне все равно недолго пришлось бы оставаться главой правительства. От того, что этой версии придерживаются заинтересованные лица не только в одной партии и не только в одном германском государстве, она не становится правдоподобнее.

Благодаримие требовало, чтобы я по возвращении из Северной Африки сосредоточился на этом неотложном шпионском деле, потребовал ознакомить меня со всеми фактами, отменил все встречи, кроме самых неотложных. Вместо этого все пошло своим чередом. В день возвращения — посэдка в «Дом Аденауэра», чтобы поздравить Кизингера с 70-летием. До и после этого — работа за письменным столом, затем беседа с партнерами по коалиции о земельном праве. В четверг — открытие ярмарки в Ганновере, в пятницу утром — в бундестаге «актуальный час» с вопросами по «делу», подготовленная речь в прениях о реформе § 218. Во второй половине дня — встреча с членами правительства от моей партии, в том числе в связи с предусмотренной мной перестановкой. Вечером — у шведского посла, где я встретил друга по Стокгольму писателя Эйвинда Джонсона, которому в том же году должны были присудить Нобелевскую премию по литературе. В конце недели — подготовка речей, которые мне предстояло произнести 1 мая в Гамбурге и затем в некоторых других местах.

То, что я во время «актуального часа» говорил без подготовки, показывает, что я не чувствовал себя в опасности. То, что я дал неверную информацию по одному важному вопросу и не сразу поправился, говорит не только о том, что память может подвести, но и о том, к каким неприятным последствиям может привести недостаточное бюрократическое сопровождение. Я начал с тяжелого вздоха: «Бывают времена, когда кажется, что судьба не была к тебе благосклонна». И добавил, что, как и любой другой канцлер, я не отвечаю за проверку своих сотрудников на благонадежность. Затем я сказал, что агент никогда по моему поручению не работал с секретными документами. Это не входило в его обязанности. Это заявление было субъективно верным, но по своему действию явилось роковым, так как я совершенно забыл, что Гильюм прошлым летом находился вместе со мной в отпуске. Наконец, в моем кратком объяснении были перепутаны и неправильно поняты еще две фразы: в одной я говорил о враждебности государства, которым правит СЕПГ, в другой — о разочаровании в людях. Вскоре мне приписали, что я подтвердил свои иллюзии в отношении Востока. В действительности, я был в ужасе от обнаружившихся масштабов лицемерия и злоупотребления доверием.

У меня просто стерлось из памяти и никто не напомнил мне, что в июле 73-го, когда Гильюм как представитель бюро канцлера был со мной в Норвегии, через его руки прошло несколько конфиденциальных и даже зашифрованных текстов. Он приносил сводки из телетайпной, которую БНД оборудовала поблизости, и относил туда обработанные бумаги. В боннском ведомстве он не занимался секретными делами, хотя ведомство по охране конституции в 1970 г. после двукратной проверки установило, что данных, препятствующих его работе с секретными документами, «включая совершенно секретные», у них нет. После проверки документации в архиве руководитель ведомства федерального канцлера несколько дней спустя подтвердил: через Гильюма прошли лишь два секретных документа, которые можно считать пустяковыми.

В Норвегии речь, очевидно, шла о четырех конфиденциальных телексах и 12 секретных сообщениях о переговорах, которые министры иностранных дел и обороны вели в Вашингтоне. Чья-то буйная фантазия превратила это в совершенно секретные донесения, посланные мне президентом Никсоном. Тогда я не имел права сказать то, что говорю сегодня: я лишь в принципе считал это дело серьезным, в остальном же не видел в нем ничего отягчающего. Если бы я тогда указал на то, что содержание упомянутых документов вскоре явилось предметом открытых дискуссий, это выглядело бы так, как будто я хочу преуменьшить опасность утечки информации. Это было бы неоправданным ни с объективной, ни с субъективной точки зрения.

Значение того, что мне прислали из Вашингтона, было сильно преувеличено средствами массовой информации, не знавшими сути дела. Речь шла о недовольстве Мишелем Жобером, министром иностранных дел у Помпиду, который в конце июня посетил Вашингтон и не очень-то следовал указаниям президента в вопросах выработки совместной американо-европейской декларации. О соотношении сил между НАТО и Варшавским пактом также можно было узнать, внимательно читая прессу.

Агент и его ведомство (или в обратном порядке) в своих позднейших публикациях возвеличили себя, создавая впечатление, что им удалось раздобыть массу материалов, имевших огромное значение для

«социалистического сообщества» и, разумеется, для дела мира. «Как политический разведчик, я хотел помочь активизации нашей политики мира. Других заданий я никогда не получал...» Самовосхваление и хвастовство присущи этой профессии.

В действительности то, о чем докладывал Гильём, очевидно, исчерпывалось в основном сплетнями, курсировавшими в социал-демократической партии. Однако я не собирался высказывать свои сомнения, которые могли расценить как желание преуменьшить значение случившегося. Кроме того, сразу же последовала возбужденная или даже истеричная реакция, причем с единственной целью — погоня за сенсацией. Было очевидно, что парламентская оппозиция не останется пассивным наблюдателем. Не было неожиданностью, что кое-где всплыли на поверхность скрытые предрассудки. Вызывала беспокойство лихая беззаботность, с которой некоторые чиновники из органов безопасности пытались отвлечь внимание от собственных недостатков. Они больше беспокоились об удовлетворении любопытства жаждавшей сенсаций непосвященной публики, чем о собственных ошибках и проколах.

Если существовали серьезные подозрения, то этого человека нельзя было оставлять в моем непосредственном окружении. Его следовало перевести на другую работу, даже с повышением, но так, чтобы он все время находился под наблюдением. Вместо того чтобы охранять канцлера, из него сделали «провокаatora секретной службы собственной страны». Один французский наблюдатель, выразивший эту точку зрения, назвал «признаком доверчивости» то, что я без возражений последовал совету оставить при себе Гильёма. Совет этот, кстати, исходил от соответствующего министра. Однако я не разделял и гораздо более далеко идущего подозрения по отношению к руководству ведомства по охране конституции, согласно которому меня заманили в ловушку.

Тем не менее фактом остается то, что Гильёма не изобличили во время его явочных встреч в Федеративной Республике, а летом 1973 г. в Норвегии или той же осенью на юге Франции за ним вообще не велось наблюдения. Далее, фактом является и то, что чиновники следственного управления, когда Гильём после ареста отказался давать показания, открыли резервный «театр военных действий» — взялись за мою частную жизнь, перевернув ее вверх дном. Бездарные сотрудники органов безопасности, среди них политические противники и редкостные блюстители морали, плели интриги, по отношению к которым я чувствовал себя растерянным и беспомощным.

Во второй половине дня 26 апреля, когда в бундестаге проводился «актуальный час», Гельмут Шмидт и я, встретившись с коллегами по кабинету, шутили, что следователи не спускают глаз с секретарш — знакомых Гильёма. Мы еще не знали, что нам предстоит. Тем не менее я высказал догадку, что, возможно, мы столкнемся еще со «стихийным бедствием». Итак, я, очевидно, не был больше уверен, что выберусь из этого омута целым и невредимым. Несколько дней спустя во время одного из ночных споров я высказал опасение, что в предстоящих важных переговорах с Востоком (Москва прошупывала возможность встречи с Хонеккером) не смогу быть беспристрастным.

Весьма некстати ко всему прочему прибавились банальные неприятности, связанные с самочувствием. Вернувшись в пятницу вечером от шведов, я слег из-за какой-то болезни желудка, которую я подцепил на Ниле. После уик-энда пришлось обратиться к зубному врачу: мне вытащили два коренных зуба. Когда все кончилось, Клаус Харппрехт спросил: «А как бы развивались события, не будь у Вас зубной боли и в ясную погоду?»

30 апреля после последнего для меня заседания кабинета несколько подавленный я полетел на митинг в Саарбрюккен, а вечером в Гамбург. Между тем поползли слухи. Мне доложили: Гильём сказал, что задания сообщать о моей частной жизни он не получал. В прессе же появились явно насаждаемые непристойные намеки. Перед отлетом в Саарбрюккен ко мне явился для короткой беседы озабоченный министр юстиции. В федеральной прокуратуре ему дали понять, что Гильём, возможно, «поставлял мне девочек». Я ответил Герхарду Яну, что это просто смешно и из-за подобных слухов у меня не прибавится седины. Позднее я упрекал себя в том, что не стукнул кулаком по столу и не потребовал, чтобы этим безобразиям был немедленно положен конец. Но разве это могло помочь?

1 мая, когда я завтракал в гостинице «Атлантик», мне позвонил министр внутренних дел. Его сотрудник, сказал он, везет мне документ, содержание которого он советует мне немедленно обдумать. После произнесения речи в одном из залов Дома профсоюзов я ознакомился с запиской президента федерального ведомства криминальной полиции (она мне была вручена в запечатанном конверте, и после прочтения я должен был ее вернуть). В ней говорилось, что на допросе были установлены так называемые интимные знакомства во время моих «политических поездок». Некоторые из этих — действительных или мнимых — «знакомств» были зафиксированы.

Что же представляло собой содержание этой бумаги? Продукт необузданной фантазии. Во-первых, грязная смесь из частично имевших место, а частично придуманных событий. Во-вторых, речь шла о милой подруге, с которой я, не думая делать из этого тайну, в течение многих лет встречался и которая абсолютно не заслуживала того, чтобы стать объектом полицейской слежки. Жене одного моего друга без всяких оснований приписали «любовную связь» со мной. Интервью вечерней газете в Копенгагене (где Гильём даже не был) извратили, представив все как любовное похождение. Много лет спустя одна

скандинавская журналистка жаловалась, что ей приписывают то, чего она никогда не делала. Эта публицистка, на которую возвели напраслину из-за забытого колья, сообщила мне в письме: «Я тогда ничего не писала о длившихся целыми днями невероятно наглых допросах в полиции, которую интересовали гораздо больше Вы, чем шпион». В остальном же, если бы все делалось честно, невозможно было бы бросить на меня даже и тень подозрения. В парижских правительственных кругах, как мне говорили, это вызвало только смех.

Не скрою, что я был в какой-то мере шокирован тем уроком, который мне преподали в Гамбурге. Министр внутренних дел посоветовал мне позвонить только что назначенному генеральному прокурору Зигфриду Бубаку (несколько лет спустя он стал жертвой покушения террористов) и помочь ему «расставить все на свои места». Я счел это выходящим за рамки приличия и заявил, что вообще не собираюсь высказываться по поводу подобных публикаций. Я не вижу даже намека на наказуемые деяния, а Гильюму не известно ничего, что могло бы быть поставлено мне в вину. Я позвонил министру юстиции и предложил, чтобы мы втроем встретились в следующий понедельник, а в случае необходимости — и в конце недели. Этой стороне дела я и в дальнейшем не придавал слишком большого значения. А может быть, я не решался вести себя более энергично, когда речь шла о моих личных делах?

Вторую половину дня и вечер 1 мая я провел в приятном обществе на острове Гельголанд. Там сотрудник службы безопасности, сопровождавший меня с тех пор, как я начал работать во внешнеполитическом ведомстве, сказал мне, что ему приказано вернуться в Бонн для дачи дальнейших показаний. Неделю спустя, когда я уже ушел в отставку, он мне написал, что в процессе допросов ему пригрозили превентивным арестом и он собирается подать жалобу в суд. Его самого и его коллег, писал он, «вынуждают давать показания, смысл которых мы до сих пор не можем понять». Вечером того дня, когда я «спустил паруса», этот сотрудник со слезами на глазах признался мне, что у него «еще задолго до этого» создалось впечатление, что против меня собирают компрометирующий материал.

Несколькими неделями раньше в полицейском училище земли Нижняя Саксония я выразил свою благодарность «господам из Боннской группы безопасности, которые в течение многих лет выполняли очень трудную работу». Через какое-то время, когда я уже не был канцлером, президент Федерального ведомства уголовной полиции попросил меня передать, что он предвидел такое развитие событий. Много было пустой болтовни. Болтали о том, что я якобы ношусь с мыслью о самоубийстве, раздувая мое подавленное состояние до невероятных размеров.

2 мая начали работу первые группы сотрудников постоянных представительств в обоих немецких государствах. В тот же день корабль военно-морских сил ФРГ «Кельн» доставил меня с Гельголанда обратно на материк. Мне предстояло принять участие в различных мероприятиях от Вильгельмсхафена до Нордхорна. И везде я встречал почти единодушное одобрение, когда говорил: «Из-за того, что ко мне сеют недоверие, я не отойду от политики, которая необходима и потому в основном правильна».

На следующий день началась нормальная работа в ведомстве федерального канцлера. Гельмут Шмидт доложил о затруднениях, возникших у него при составлении нового бюджета, и о тех, которые он ожидает при проведении налоговой реформы. С глазу на глаз я ему сказал, что пусть для него не будет неожиданностью, если ему вскоре предложат стать канцлером. Я принял президента федеральной счетной палаты и подписал закон о распределении доходов государственного бюджета между федерацией и землями. Мой последний иностранный посетитель — Марио Соареш, собиравшийся вернуться из эмиграции в Лиссабон, сказал, что «революция красных гвоздик» началась.

В тот же день руководители двух ведомств, которым во время слезки никак не удавалось встретиться, взяли судьбу отечества в свои руки. Толковый президент висбаденского управления уголовной полиции посещает в Бонне считающегося толковым президентом ведомства по охране конституции и зачитывает ему свой доклад. В нем идет речь как раз о тех сплетнях, которые были собраны на допросах в последние дни. Ноллау записывает: «Если Гильюм заговорит в судебном заседании о щекотливых подробностях, Федеративная Республика и федеральное правительство осрамятся вконец». Если же он об этом ничего не скажет, «правительство ГДР будет обладать средством для дискредитации любого кабинета Брандта и СДПГ». Согласно более позднему рассказу, Ноллау за год до этого отрицательно ответил на вопрос руководителя группы безопасности: «Касается ли нас частная жизнь тех, кого мы охраняем?»

Я знал Ноллау с 1948 г., когда он, будучи еще адвокатом в Дрездене, посетил меня в Берлине. Он заблуждался, думая, что я навязал ему тогда связного от СДПГ. С Восточным бюро партии я имел дело лишь в тех случаях, когда время от времени подыскивал более взыскательных собеседников. Два года спустя Ноллау бежал в Берлин (Западный. — *Ред.*) и устроился в ведомстве по охране конституции. Больше я о нем ничего не слышал, только знал, что ему покровительствует его дрезденский земляк Герберт Венер. В дневнике экс-президента имеется следующая запись от 3 мая 1974 г.: он и его коллеги пришли к выводу, что «кто-то должен настоять на отставке федерального канцлера». Им должен быть человек, пользующийся большим политическим и моральным авторитетом. Он, Ноллау, сообщит обо всем Венеру. Что он и сделал. И разнеслась весть: председатель фракции взял меня за жабры и заставил подать в отставку. Причина: я подаю шантажу.

На самом деле все было не так. Мы встретились 4 мая в Мюнстерейфеле. Поводом послужило то, что я пригласил туда на уик-энд руководителей профсоюзов, чтобы обсудить с ними вопросы экономической политики. Когда я беседовал с Венером и прокомментировал публикации и слухи, распространявшиеся в последние дни, он что-то сказал об «особенно неприятном известии», которое ему пришлось бы мне сообщить, если бы я сам об этом не заговорил. Мне было не ясно, что он имеет в виду. Он делал туманные намеки на какой-то объемистый отчет, подробности которого он не запомнил. Два дня спустя. во время переговоров с партнерами по коалиции в Бонне, он снова сказал, что «умышленно не назвал имена и подробности», но потом вдруг совсем невпопад выпалил имя одной женщины. Какое бы решение я ни принял, сказал Венер, он его поддержит. Позднее он говорил, что был «безоговорочно верен мне при любом обороте событий». А день спустя — все еще в Мюнстерейфеле, когда мы беседовали шестером, — он вел себя очень сдержанно. Кроме Венера, Шмидта и меня в этой беседе участвовали: казначей Нау, управляющий делами Хольгер Бернер и статс-секретарь Равенс. Гельмут Шмидт решительно возражал против моего уже созревшего решения уйти в отставку. Перед этим меня пробовали переубедить два моих ближайших сотрудника. Все собеседники настаивали на том, что я должен остаться председателем партии.

В воскресенье вечером, вернувшись в Бонн, я написал на имя федерального президента заявление об отставке (в понедельник я сохранил ту же формулировку). Я показал его Вальтеру Шеелю, который сказал, что это надо обмозговать. Эгон Бар посоветовал еще раз убедиться в том, что меня защитят от упреков.

6 мая заседания и совещания следовали одно за другим. Вечером руководитель ведомства федерального канцлера передал Густаву Хайнеманну, который в это время находился в Гамбурге, мое письмо. Коллеги из СвДП еще раз недвусмысленно посоветовали мне не уходить в отставку. До этого ко мне пришел Зигфрид Бубак вместе с министром юстиции (это были мои последние посетители). Я выразил свое удивление относительно действий следственных органов и того интереса, который был проявлен к моей частной жизни. Совершенно очевидно, что здесь намешали много нелепостей. Гильом не располагал информацией относительно меня, которая бы затрагивала интересы государства. Бубак ответил, что подтверждение фактов из личной жизни было целесообразно: нужно было установить, распространилось ли вероломство Гильйома и на эту сферу. Затем он сказал, что отдаст распоряжение прекратить допросы должностных лиц. В конце мая министр юстиции — им был уже Ганс Йохен Фогель — сообщил мне, что в «данной сфере» вопрос о разглашении тайны отпадает, и он попросил генерального прокурора действовать в соответствии с этим. Однако много лет спустя тележурналисту, планировавшему фильм о деле Гильйома, подсунили документ, который уже давно следовало бы уничтожить.

В письме на имя федерального президента я обосновал свою отставку «халатностью в связи с делом агента Гильйома», за которую я несу политическую ответственность. В письме на имя вице-канцлера Шееля я перед словом «ответственность» вставил в скобках: «а также, конечно, и личную». В понятие «халатность» я не вкладывал юридический смысл. Я считал, что халатно действует и тот, кто следует неверным советам. Про себя я подумал, что кто-то должен сделать выводы, и утром 7 мая я заявил на заседании фракции бундестага, что я слагаю с себя полномочия «в силу опыта, приобретенного мной на этом посту, в силу моего понимания неписаных правил демократии, а также потому, что не могу допустить подрыва моей личной и политической репутации». Именно в такой последовательности. При этом я не пропустил мимо ушей, что федеральный министр Эмке и руководитель ведомства федерального канцлера Граберт предложили, если я сочту это уместным, уйти со своих постов. Вопрос моей личной ответственности мучил меня тогда больше, чем это считали оправданным мои ближайшие сотрудники, и больше, чем это, оглядываясь назад, считаю оправданным я сам.

В знаках симпатии и сочувствия не было недостатка. Я был измотан и задавал себе вопрос: смогу ли я прийти в себя после всей этой кампании? Но кроме собственной неудачи мне было важно, учтут ли другие на будущее, как легко, чуть ли не на манер переворота, можно устранить конституционный орган, если интриганы из службы безопасности занимаются подглядыванием в замочную скважину и раздувают истерию? Хотелось бы добавить, что иностранные коллеги дали мне знать, что подобная провокация и реакция на нее не находят у них понимания.

Не предвосхищая уголовно-правовое наказание, правительство образовало комиссию и поручило ей подготовить свое заключение. Ее председатель Теодор Эшенбург сообщил, что согласно Основному закону федеральный канцлер в первую очередь является лицом, несущим политическую ответственность. Однако в его отставке, для которой эта афера явилась скорее поводом, чем причиной, не было необходимости. Отставка из-за этого инцидента, вызванного срывами в работе и нарушениями правил на среднем уровне, не соответствовала ожиданиям общественности.

Должен ли я был уйти в отставку? Нет, такой настоятельной необходимости не было, хотя в то время этот шаг казался мне неизбежным. Я серьезно относился к политической ответственности, возможно, чересчур серьезно. Фактически я брал на себя значительно больше меры своей вины. Трудности в правительстве с начала 1973 г. возросли, а мои позиции, как, разумеется, и моя выдержка, ослабли. Можно предположить, что на другом фоне я вел бы себя не так пассивно. Во всяком случае, в данной ситуации

был нужен канцлер, который мог бы без всяких ограничений посвятить себя выполнению стоящих перед ним задач. Не могу сказать, что я испытывал отвращение к власти, как это предположил в «Камбале» Гюнтер Грасс. Но надо признать, что интриги меня измотали, и было бы удивительно, если бы тяготы, выпавшие на долю моей семьи, не испытывал и я сам. Эгон Бар сказал, что было бы бессмысленно пытаться меня переубедить. Я, по его мнению, или заранее принял окончательное решение или у меня не было сил вывести этот конфликт. И то и другое верно, но я бы еще добавил, что, если бы тогда мое физическое и психическое состояние было таким, как в более поздние годы, я бы не подал в отставку, а навел бы порядок там, где его следовало навести.

Многие гадали, какое влияние в те майские дни оказывал Герберт Венер? Неделю спустя после моей отставки в письме членам нашей партии я констатировал: «В утверждении, что Венер вытеснил меня с моего поста, нет ни слова правды». Я хотел предотвратить вред, который мог быть нанесен партии, и был в тот момент чересчур занят собственными делами, чтобы пытаться переложить ответственность на других. При этом я даже не был особенно удивлен, когда Тито, посетивший Бонн через несколько дней после моей отставки, спросил меня напрямик: «Какова роль во всем этом Венера?» Формулировка в письме к партии все равно не могла предотвратить позднейшие спекуляции. Тем более что даже невооруженным глазом было видно, что мы уже не ведем себя как друзья, каковыми мы когда-то были.

7 мая, когда я был у федерального президента, Венер докладывал на заседании фракции о тех трех днях, которые предшествовали отставке. Все присутствующие — в обеих коалиционных партиях — выразили мнение, что они «не только сожалеют о решении Вилли Брандта, но и настоятельно рекомендуют ему воздержаться от его выполнения». Журналисты, а также «добросовестные люди» говорили: «Наверное, здесь кто-то приложил руку, чтобы с помощью этой уловки устранить Брандта». Не исключено, говорилось также, «что кампания травли, против которой Вилли Брандту приходилось бороться с самого начала своей политической биографии, будет продолжена самым постыдным образом». Когда я вошел в зал, председатель выразил «уважение к принятому решению», самые благожелательные чувства к моей персоне и проводимой мной политике (по мнению некоторых, это прозвучало чересчур восторженно). Много лет спустя, в начале 1980 г., он заявил: «Я ничего не считал необходимым... Я сказал, что нет нужды в том, чтобы федеральный канцлер Вилли Брандт уходил в отставку из-за того, что называется халатностью». Скорее должен был уйти статс-секретарь, сказал Венер. И потом: «При всех неприятностях, которые он мне доставил, я и сегодня, хоть он больше и не канцлер, отношусь к Брандту с пониманием и вполне лояльно».

«Неприятности, которые он мне доставил» — в этих словах ключ к разгадке Герберта Венера, вечно обиженного и разочарованного человека, которому всегда казалось, что им пренебрегают и плохо к нему относятся. Он хотел, чтобы его видели таким даже в то время, когда у него было много власти. Он был недоверчив и никогда не мог забыть те дни, которые он пережил в Москве во времена Коминтерна, и избавиться от того, что привело его к разрыву с коммунистической партией — ощущения постоянной угрозы. Помимо его запальчивости при обсуждении социальных вопросов, организационного таланта и тактических способностей ему было присуще ненасытное честолюбие. Он считал несправедливым, что путь к высшему руководству нашей партией был для него закрыт. Уже в 1952 г. он пытался завести об этом разговор в кулуарах дортмундского партсъезда. Только что умер Курт Шумахер. Венер, должно быть, создавал, что Шумахер ему очень помогал, но тем не менее понимал и то, что ему никогда не доверят руководство партией. Удовлетворить свою жажду власти он пытался в стремлении управлять теми, кто реально стоял «наверху». Эриху Олленхауэру, председателю партии с 1952 г. и до своей смерти в конце 1963 г., пришлось с ним немало помучиться.

После того как Венер и я — он в Бонне, а я в Берлине — нашли общий язык, отношения между нами практически сразу дали первую серьезную трещину. Это произошло осенью 1961 г., когда мы вместе поехали ночным поездом в Любек. Я должен был там проводить в субботу вечером ставший традиционным митинг перед выборами в бундестаг. Венер, приняв немного красненького, сказал по адресу председателя СДПГ Олленхауэра: «Он должен уйти. Ты должен быть вместо него». Я возразил не резко, а скорее взвешивая каждое слово, потому что был сбит с толку и испуган тоном, чуждым и недостойным такой партии, как наша. Вопрос о преемственности в руководстве партии, считал я, нельзя решать путем путча. Да и с какой стати? С Эрихом Олленхауэром у меня установились товарищеские отношения. Он не препятствовал обновлению партии. Наоборот, он был гарантом того, что «старая» партия шла с нами одним путем. Венер запомнил мою реакцию, реакцию нерешительного и слабовольного человека. А я запомнил его выпад, выпад человека, передвигающего по собственному усмотрению фигуры на шахматной доске политики.

Доверительность в наших отношениях не выходила за определенные рамки. В 1962 г. он ничего не сказал мне о проведенном им исследовании по вопросу создания Большой коалиции. Позднее я узнал об этом от Олленхауэра. Еще за несколько часов до открытия годесбергского партсъезда он не решил, как будет голосовать, и каждую минуту менял свои намерения. Но как только «поезд» с новой программой партии тронулся в путь, он занял место в головном вагоне. В таких делах он был большой мастак. Свою

знаменитую речь о внешней политике в июне 1960 г. он произнес, не сообщив своим содокладчикам, Олленхауэру и Эрлеру, заранее, что он собирается говорить. Ему доставляло удовольствие плохо отзываться о других социал-демократах, когда он был вместе с видными деятелями ХДС, а еще лучше — с епископами. Генрих Кроне в 1966 г., еще до Большой коалиции записал в своем дневнике: «Венер занимает твердую позицию против Брандта. Он сказал мне совершенно откровенно, что тот проводит в Берлине политику в пользу Москвы, являющуюся просто опасной. В этом вопросе он действует рука об руку со Шрёдером. Венер прав». Во времена Большой коалиции он обхаживал канцлера и, как говорил Кизингер, «самым непристойным образом» насмеялся надо мной.

Было бы несправедливо такого человека, как Венер, выставлять лишь таким, каким он выглядел, когда его мучили болезни и он не мог справиться с душевными мучениями. То, что годами, хотя и не без видимых усилий, удавалось сдерживать, все больше выходило из-под контроля и грозило взрывом. Готовность прийти на помощь и жажда власти все чаще сменяли друг друга. Тон становился крайне резким, он больше орал, чем говорил, выражения становились непристойными. Все чаще, а вскоре уже и постоянно он твердил о долге, который ему надлежит исполнить. Вполне возможно, что невроты доставляли ему еще больше хлопот, чем другим политикам его калибра. В афере Гильйома дуэт Венер — Ноллау проявил себя как не эффективный и не полезный. Ноллау считал Венера начальником и каждый раз информировал его о делах, от которых меня отстраняли. О своих контактах с ГДР Венер тоже умолчал.

Когда Венер в конце мая 1973 г. вернулся из ГДР, где он с Хонеккером имел беседу с глазу на глаз. Ноллау тотчас же отправился к нему в Хайдерхоф. Он упорно отрицал, что бывал там и до отъезда Венера. Ноллау, как он сам об этом говорил, доложил, что удалось напасть на след шпиона в рядах СДПГ, которого разыскивают уже в течение многих лет. Его имя и фамилия начинаются на букву «Г». В отношении этого шпиона были уже установлены контакты с Эрихом Олленхауэром и Фрицем Эрлером. В 1973—1974 гг. ведомство по охране конституции именно по этому делу поддерживало связь с бюро правления партии в ГДР.

От меня также скрыли письма и сообщения, поступившие из Восточного Берлина в те дни, когда решался вопрос о моей отставке. В своем опубликованном дневнике Ноллау записал 3 мая 1974 г., что во второй половине дня он посетил Венера на его квартире. Тот, провожая его к машине, заметил: «В библиотеке сидит посланец Хонеккера, доверенное лицо из Восточного Берлина. Он мне заявил, что еще сегодня утром разговаривал с Хонеккером и должен мне передать: Хонеккер не знал, что в ведомстве федерального канцлера сидит шпион. Министр государственной безопасности заверил Хонеккера, что Гильйома «отключили», как только он получил место у Брандта». Ноллау не стоило говорить Венеру, что он думает о подобных заявлениях.

В те дни в Восточном Берлине особенно тщательно взвешивали каждое слово. Еще до того как я освободил свое место, начались хлопоты по приглашению моего преемника.

...и молчание

Гельмут Шмидт стал моим конкурентом внутри партии. Однако в его отношении ко мне как до, так и после моей отставки не было и тени недоброжелательности. Он считал, что он должен извиниться за то, что «плохо вел себя в Мюнстерейфеле» и «однажды чересчур погорячился». В действительности же он считал тогда, что если глава правительства из-за такой «глупой» истории «спускает паруса», то это неадекватная реакция, и настоятельно просил меня еще раз все как следует обдумать. «Во всяком случае, — сказал он, — ты должен остаться председателем партии. Ты можешь сохранить единство партии, а я нет».

6 мая все стало более или менее ясно. Во дворце Шаумбург, куда Шмидт вскоре должен был переехать (по крайней мере, временно, до окончания строительства новой резиденции канцлера), я дал ему дружеский совет: не следует говорить, что он якобы получил разваленное наследство. Мне не пришлось долго ждать ответа. Три дня спустя он заявил перед советом нашей партии: «Наше общее предприятие — Федеративная Республика Германии — отнюдь не стоит на грани банкротства. Наоборот, мы совершенно здоровы, мы — одно из самых здоровых предприятий в мировой экономике». Действительно, в 1973 г. наш долг составлял добрых 57 млрд. марок, в 1983-м он вырос до 341 млрд. и почти до 500 млрд. в 1989 году.

Утверждение, что Гельмут Шмидт, будучи членом кабинета, облегчал жизнь федеральному канцлеру, не совсем соответствовало действительности. Министр финансов Алекс Мёллер ушел в мае 1971 г. со своего поста потому, что не мог прийти к согласию с министром обороны. Министр экономики и финансов Карл Шиллер покинул в начале лета 1972 г. кабинет также потому, что постоянные разногласия со Шмидтом приняли гротескные формы. Назначив его на место Шиллера и новым суперминистром, я неофициально сделал Шмидта вторым человеком в социал-демократической команде кабинета. Это было правильно понято, а именно, как предварительный выбор возможного преемника. Хотя за это время была одержана крупная победа на выборах, и в связи с этим можно было бы легко перетасовать карты по-новому. Но было бы неблагоприятно и бессмысленно именно в этой ситуации не последовать логике

вещей. Итак, я предложил преемника и был рад, что соответствующие органы нашей партии единодушно утвердили Гельмута Шмидта.

Существовавшие между нами разногласия в значительной мере объяснялись различием в темпераментах. Если бы мы к ним относились чересчур серьезно, они бы легли слишком тяжелым бременем на наше сотрудничество. Мы видели в себе и друг в друге немецких патриотов, обладающих чувством ответственности за Европу, и всегда проявляли взаимоуважение, даже в тех случаях, когда наши мнения расходились. Нам всегда казалось, что вместе мы очень многого можем добиться — для своей страны и для своей партии. Выйдя из разных политических течений, мы отдавали все свои силы германской социал-демократии. Мы были связаны с ней различным образом, но одинаково ощущали свой внутренний долг. Когда СДПГ праздновала свой 125-летний юбилей, я напомнил о том, что мы, в течение десятилетий идя вместе, действительно очень много сделали для нашей страны и для нашей партии. Об этом мы напомнили друг другу в декабре 1988 г. во взаимных поздравлениях с днем рождения, когда Шмидту исполнилось 70, а мне 75 лет.

С аферой Гильйома Шмидт не имел ничего общего. Однако именно ему год спустя пришлось заговорить с Хонеккером об этом деле. Они встретились летом 1975 г. в связи с общеевропейской конференцией в Хельсинки. Но прояснений обстоятельств эта встреча не принесла. В остальном ответственные лица с обеих сторон проявляли заинтересованность в дальнейшем развитии практического сотрудничества. Впоследствии Восточный Берлин неоднократно просил федеральное правительство о досрочном освобождении осужденного шпиона. Гильюм был выдворен лишь в 1981 году.

Ко мне лично (сначала через руководителя ведомства федерального канцлера в мае 1976 г., а затем несколько раз через главу постоянного представительства ГДР в Бонне) нередко обращались с просьбой о включении Гильйома в список обмена заключенными. Я неизменно высказывал ту точку зрения, что не своєю личным счетом, но вместе с тем никто не вправе ожидать от меня инициативы в этом вопросе. Я не мешал федеральному правительству делать то, что оно считало целесообразным и допустимым с точки зрения права. От этой позиции я не отступал и тогда, когда в печати время от времени появлялись нашпигованные клеветническими измышлениями публикации. Недостатка в них и прежде никогда не было. «Перебежчики» рассказывали соответствующим немецким и союзническим службам сказки о том, как я, будучи бургомистром, а затем федеральным канцлером, тайком посещал Восточный Берлин и Москву. Сотрудники одного крупного издательства хвастались в кругу коллег материалами, свидетельствующими о том, что я якобы говорил с Брежневым о выходе Федеративной Республики из НАТО. На тот случай, если я буду «слишком высываться», готово было обвинение в измене родине.

Когда шпион был разоблачен, а я ушел в отставку, публику, разумеется, заинтересовал вопрос, каким же образом в январе 1970 г. этот помощник референта попал на работу в ведомство федерального канцлера? Все ли происходило в конечном счете по заведенному порядку? Но это было связано не с порядком, а, в первую очередь, с положением дел внутри СДПГ. Дал на него заявку как на помощника референта по «связям с профсоюзам и различными обществами» Герберт Эренберг, бывший в то время заведующим экономическим и социально-политическим отделом ведомства федерального канцлера. В глазах Эренберга Гюнтер Гильюм зарекомендовал себя как «надежный правый». Еще в избирательной кампании 1969 г. он успешно выступил в роли доверенного лица федерального министра Лебера. В нем и в его парламентском статс-секретаре Хольгере Бернере, ставшем впоследствии федеральным секретарем, а затем премьер-министром земли Гессен, Гильюм и нашел новых заступников. Впрочем, большинство втянутых в эту историю потом уже и представить не могли, какими обязательствами они себя связали. Мне самому Гильюм был не особенно симпатичен и не стал более симпатичен, когда выяснилось, что он хорошо справляется со своими организационными задачами. Осенью 1972 г. у меня возникли сомнения по поводу его повышения в должности не потому, что я питал какие-то подозрения, а потому, что считал его ограниченным человеком. Его услужливость, смешанная с панибратством, действовала мне на нервы, однако я старался не обращать на это внимание. Для меня, в первую очередь, было важно то, что он исправно и добросовестно следил за расписанием моих мероприятий.

После летних каникул 1972 г. он попал в мое ближайшее окружение. Бывший секретарь Эссенской парторганизации, а впоследствии обер-бургомистр Эссена Петер Ройшенбах баллотировался на выборах в бундестаг и очень добивался того, чтобы Гильюм его сначала замещал, а затем и заменил. В первую очередь бросалась в глаза его внешняя корректность и немногословность в ответах на вопросы. Когда во Франкфурте был избран новый председатель городской партийной организации и захотел узнать, что он из себя представляет, молниеносно последовал холодный ответ Гильйома: «Это я могу Вам сказать — он коммунист».

Гильюмы прибыли в 1956 г. через Западный Берлин во Франкфурт якобы как беженцы. На следующий год он вступил в СДПГ. В 1964 г. ему удалось стать районным секретарем СДПГ, а в 1968 г. — секретарем фракции в городском собрании депутатов, куда он был избран в том же году. Председателем там был Герхард Век, беженец из Саксонии, который провел долгие годы в заключении во времена нацистов, а потом сидел еще много лет, но уже в ГДР, в тюрьмах госбезопасности. Он стал для Гильйома забот-

ливым покровителем. От мучительного разочарования его избавила смерть. Госпожа Гильюм поступила на службу в государственную канцелярию в Висбадене.

Один остроумный француз сказал: во время казни детали не имеют значения. Но в данном случае подробности играют важную роль. Так, следственная комиссия бундестага установила, что проверка Гильюма производилась небрежно. Не одно учреждение обратило внимание на некоторые моменты, вызывавшие подозрение, но никто не сделал из этого должных выводов. Подозрение падало, в частности, на 1954—1955 гг., то есть на то время, когда он еще не переселился в Федеративную Республику. Директор БНД, генерал Вессель, рекомендовал провести тщательную проверку закулисной стороны его бегства на Запад и предложил устроить его на другую должность. Этот совет оставили без внимания.

Как я позже узнал, Хорст Эмке как глава учреждения провел строгий опрос, а ведомство по охране конституции после двукратной проверки выдало свидетельство о благонадежности для работы с секретными документами с грифом «совершенно секретно» включительно. Мне не было известно, что Эгон Бар, замещавший в конце 1969 г. Эмке, указал на возможность утечки секретной информации и подтвердил это документально. Так как я в 1973 г. последовал совету, по возможности, никого в это дело не посвящать, то ни Бару, ни Эмке я не сказал ни единого слова, а ведь они могли мне помочь лучше осознать стоявшие передо мной проблемы.

В 1970-м или 1971 г. кто-то, вероятно, Эмке, заметил, что затребовали биографию «прибывшего оттуда» Гильюма. Я вспомнил многие случаи, свидетелем которых я был в Берлине, и подумал: вот так всегда по отношению к беженцам из ГДР выдвигают подозрения, которые большей частью не оправдываются. Когда в 1972 г. Ройшенбах оставил свой пост, а Гильюм был готов занять его место, я, скорее вскользь, спросил, не было ли тут чего-то, что следовало бы еще раз проверить? Ответ из моего ведомства безопасности гласил: «Все в порядке». Просто частенько случается, что на соотечественников из ГДР обрушиваются с необоснованными обвинениями. В конце концов, этот человек хорошо зарекомендовал себя во Франкфурте.

Следственная комиссия бундестага с пристальным вниманием рассмотрела странное поведение президента ведомства по охране конституции в период с мая 1973 по апрель 1974 года. Ее заключение: информация, передаваемая ведомством по охране конституции министерству внутренних дел, была недостаточной, а ведомство, возглавляемое Ноллау, отличалось недобросовестностью и необдуманностью действий. Докладчик, член ХДС Герстер, говорил о серьезном, даже грубом нарушении служебного долга: как руководитель ведомства по охране конституции Ноллау дискредитировал себя. Это было резко сказано, но диктовалось не только политическими соображениями. Группа сотрудников ведомства по охране конституции написала мне уже на следующий день после моей отставки: «Виноваты не Вы, а другие. Выражаем Вам наше уважение и благодарность».

Я располагал парламентским опытом многих десятилетий, и меня не нужно было убеждать в том, что следственным комиссиям редко удается сделать истину конкретной. У каждой стороны свои мотивы, иногда они бывают противоположны, иногда в чем-то сходны. В данном случае все стороны были заинтересованы в том, чтобы пощадить министра внутренних дел. Одни, к которым принадлежал я, а также новый федеральный канцлер, не хотели навредить партнеру по коалиции Геншеру, другие, во главе которых являлся со Штраусом теперь стоял Гельмут Коль, не хотели обозлить будущего союзника Геншера.

Что этому предшествовало? 29 мая 1973 г. министр внутренних дел по окончании коалиционного совещания пришел ко мне. «Нет ли среди Ваших ближайших сотрудников человека, фамилия которого звучит на французский манер?» — спросил он. Я назвал Гильюма, его должность и спросил, что это должно означать. Геншер ответил, что у него был Ноллау и попросил согласия на установление наблюдения. Существуют какие-то неясности, относящиеся к 50-м годам, и давние радиogramмы, дающие основание для определенных подозрений. Пусть Г. продолжает работать на том же месте. Разумеется, я согласился на установление наблюдения и спросил, относится ли совет не изменять его род занятий и к моему предстоящему отпуску. Ведь Г. был назначен сопровождать меня в июле в Норвегию, так как оба личных референта по семейным обстоятельствам не могли со мной поехать. Ему было разрешено взять с собой жену и сына.

На другой день министр внутренних дел снова был у меня и сообщил — как я предполагал, после разговора с Ноллау — следующее: в отношении сопровождения во время отпуска также ничего не нужно менять. Позже Геншер говорил, что тогда речь шла об опасении, но еще не о подозрении. Я сам отнесся к этому предупреждению несерьезно, считая, что для таких дел, в конце концов, существуют соответствующие службы и ведомства. Однако руководство, к компетенции которого это относилось, взялось за дело так, как будто оно писало сценарий для низкопробного детектива.

Ноллау, как он сам признал, был вообще против того, «чтобы информировать федерального канцлера уже на этом этапе». Впоследствии он в полемическом угаре даже напал на меня за то, что я 29 или 30 мая конфиденциально сообщил об этом заведующему бюро канцлера, а 4 июня — руководителю ведомства федерального канцлера, после его возвращения из отпуска. Он сам считал неразумным обсуждать это дело с лицами, имеющими отношение к правительству.

Я ввел этих людей под свою ответственность в курс дела и тем самым совершил еще одну ошибку. Мне следовало просить Ноллау или Геншера разрешить обсудить все вопросы, вытекающие из их сообщения, с руководителем ведомства федерального канцлера и, конечно же, привлечь к этому уполномоченного по вопросам безопасности. Вопрос о передаче конфиденциальных или секретных телеграмм в отпускное время нужно было бы так или иначе обсудить. Или же ведомство, ведущее наблюдение, по каким-то своим соображениям определенно не желало здесь ничего менять. Но это уже была не моя забота, а то, что на этом деле мне выруют яму, я и не подозревал.

Мне настоятельно рекомендовали ничего не менять в характере работы Г. Однако Ноллау и его сотрудники вообще не знали, что он делает в ведомстве канцлера. Как выяснила следственная комиссия, они даже не установили, что Г. со своей семьей переехал из Франкфурта в Бонн. Согласно Ноллау, они еще в конце мая 1973 г. считали, что Г. работает в хозяйственном отделе. «Ведомство федерального канцлера нам не сообщило, что он переведен с повышением в бюро главы правительства». При этом не требовалось никаких секретных дознаний, а достаточно было телефонного звонка, чтобы обнаружить, что Г. ведомственным распоряжением от 30 ноября 1972 г. прикомандирован к бюро федерального канцлера для выполнения задач, которыми раньше занимался Ройшенбах. Главный страж конституции и министр внутренних дел исходили, видимо, из того, что референту с таким кругом задач, как у Гильйома, имеющему правомерный допуск к секретным документам, никоим образом не могут быть поручены «правительственные дела». Даже в том случае, если он является единственным референтом, сопровождающим федерального канцлера в отпуск.

Итак, Норвегия. Ноллау, как явствует из его заявлений в следственной комиссии и позднейших публикаций, якобы лишь в начале июля узнал из газет, что я уехал в отпуск. Из ведомства федерального канцлера не поступало никаких сообщений. Он решил (что это: бюрократическое головотяпство или нечто иное?) снять наблюдение. Казалось невероятным, что Г. встретится в пустынных горах Норвегии со связным секретной службы ГДР. Ноллау, очевидно, рисовал в своем воображении окрестности Хамара так, как ему того хотелось. Знанием дела здесь и не пахло. Федеральное ведомство по охране конституции было обязано и располагало всеми возможностями навести справки о таких элементарных вещах, а также узнать во всех подробностях, чем занимается Г. После того как я дал согласие на наблюдение, следовало навести соответствующие справки через ведомство федерального канцлера — его начальника, заведующего канцелярией или уполномоченного по вопросам безопасности. Почему президент ведомства по охране конституции утверждал, что он лишь задним числом узнал о поездке в Норвегию? Министр внутренних дел передал мне 30 мая его совет относительно отпуска: «Ничего не менять». А начальнику ведомства федерального канцлера Граберт 5 июня еще раз запросил Геншера по этому вопросу. Неужели произошла потеря ориентации? А может быть, хотели скрыть собственную неспособность? Или еще что-нибудь?

А почему ведомство по охране конституции удовлетворилось переданной через министра внутренних дел расплывчатой информацией, что Г. не занимался «правительственными делами»? Из чего был сделан вывод, что во время пребывания в Норвегии его деятельность ограничится «партийными делами»? Было совершенно ясно, что референт, сопровождающий федерального канцлера, будет поддерживать связь между ним, ведомством и партией по всем возникающим вопросам. И разве я не переспросил недвусмысленно, относится ли рекомендация «ничего не менять» и к этим обязанностям? Если ведомству Ноллау это было неясно, то ему следовало бы навести справки. Возможно, оно не справлялось с наблюдением, но именно в этом случае соображения, связанные с исполнением служебного долга, требовали установить контакт с ведомством канцлера и пересмотреть установку «ничего не менять». Ведомство Ноллау погрязло в бездеятельности и хранило молчание.

Я исходил, правда, из того, что в Норвегии наблюдение будет продолжено. И уж если не хотели просить группу безопасности о выделении в порядке ведомственной помощи одного из ее сотрудников, то было бы проще подключить БНД. Его работники обслуживали в непосредственной близости телетайпную. Следственная комиссия констатировала: «телетайпистам» из БНД можно было бы поручить помимо шифровки и расшифровки переписки взять на себя роль курьеров (между моим домом и телетайпной).

Тогда я больше ничего не слышал об этом деле. Время от времени я спрашивал статс-секретаря Граберта, который отвечал с вежливым постоянством: «Ничего нового не поступило». Телетайпы молчали до 1 марта 1974 г., когда ко мне явился Геншер в сопровождении Ноллау и сообщил: «Подозрения настолько подтвердились, что рекомендуется передать дело федеральной прокуратуре». Я согласился, но и сегодня отношусь к этому с недоверием. Мой скепсис подкрепляет ошибка, допущенная Ноллау. Он сказал, что в одной из расшифрованных старых радиোগрамм идет речь о двух детях Гильйома. Я указал на то, что, насколько мне известно, у него только один сын. В действительности, в радиোগрамме его поздравляли со «вторым мужчиной». Имелось в виду рождение сына в 50-х годах!

В первой половине апреля 1974 г. Гильюм, вероятно, совершил краткосрочную поездку в Южную Францию. Как сообщил Ноллау, он попросил французских коллег установить наблюдение. Первое, что мы узнали: не произошло ничего, что заслуживало бы внимания. Гильюм заметил, что за ним следят.

Начальник французской контрразведки, как говорил Ноллау, впервые-де услышал о деле Гильёма, когда он в апреле 1974 г. сообщил ему о предстоящей поездке этого человека во Францию. Однако один хорошо информированный французский журналист указал на то, что французская секретная служба, «как ни странно», больше знала о Гильёме, чем немецкая.

То, что в октябре 1973 г. Гильём сопровождал меня в Южную Францию, ведомство Ноллау, видимо, совсем упустило из виду. Французская же секретная служба, если она об этом вообще что-то знала (ведь из Бонна ее не предупредили), потеряла след. Несколько дней я с наслаждением отдыхал на Лазурном берегу в обществе Ренаты и Клауса Харпрехтов. Издатель Клод Галлимар предоставил мне свой дом. За официальное сопровождение отвечал заместитель заведующего канцелярией. Гильёму удалось упрости, чтобы и ему позволили поехать во Францию. В своей книге, в которой он оправдывает свои действия, Гильём выдает себя за «квартирмейстера». В действительности же он просто использовал остаток отпуска, приехал один, а по поводу возмещения путевых расходов обратился к партийному казначею. Ведомство по охране конституции действовало согласно девизу «Не все оставлять, как было, но как можно меньше изменять». Его шефу даже не было известно, что Гильём ездил в Ла Круа-Вальмер в те же дни, что и я.

В своем вышедшем в 1988 г. опусе Гильём пишет, что в октябре 1973 г. он посетил в Валлорисе музей Пикассо и встретился с «большим человеком» из своей организации. Этот человек настоятельно посоветовал ему скрыться, пока еще открыт путь к отступлению. А вот то, о чем он умолчал, а начальник немецкой контрразведки, очевидно, ничего не знал: Гильём снял комнату в той же «Ротонде», в которой жили сотрудники службы безопасности. В один из вечеров, когда Гильём после небольшой выпивки прилег на кровать и заснул, у него из кармана выпала записная книжка. Один из сотрудников осторожно засунул ее снова ему в карман. Гильём заморгал глазами и — это может показаться невероятным — пробормотал: «Свиньи, вы меня все равно не застукаете!» Насколько мне известно, рапорт об этом не подали, а мне сообщили об этом значительно позже.

Когда 1 марта Ноллау в присутствии Геншера сделал мне сообщение и изложил конкретные исходные данные, он добавил: арест последует через две или три недели. По прошествии трех недель мы с начальником моей канцелярии гуляли в парке, и один из нас сказал: «Ничего не произошло, может быть, это вообще пустяковая история?» «Может быть» — в смысле «будем надеяться». Но кому это можно было бы объяснить после ареста? Тем более на фоне усиленно распространявшейся демагогии?

Кто какие интересы преследовал? Ноллау хотел отвлечь внимание от просчетов в своей работе и был разочарован тем, что его «успех» не оценили по достоинству. Геншер, который по должности осуществлял надзор за ведомством по охране конституции, сделал все возможное, чтобы этот инцидент ему не повредил. Я не был заинтересован в том, чтобы осложнить работу своей партии и правительства. Гельмут Шмидт полностью сконцентрировался на решении собственных задач. Во всяком случае, через некоторое время он добился того, чтобы Ноллау отправили на пенсию. Потом министерство внутренних дел предоставило ему свободу действий для написания всякой всячины. Венер и другие в более или менее конфиденциальных беседах старались внушить, что моя отставка и без дела Гильёма была лишь вопросом времени. Из Москвы передали восточноберлинскую версию: в действительности я освободил свое кресло из-за внутрипартийных разногласий и конфликтов с профсоюзам.

Где искать ответственных за манипуляции с делом Г.? Я не сомневаюсь, что у некоторых причастных к делу ответственных сотрудников определенную роль сыграла злонамеренность, обусловленная политическими и личными мотивами. Однако она могла играть роль лишь потому, что в области внутренней безопасности инертность и неспособность заключили между собой роковой союз.

Дюссельдорфский верховный земельный суд приговорил Г. в декабре 1975 г. к 13 годам тюремного заключения. Он отсидел семь лет. В том же 1975 г. федеральная прокуратура начала против меня предварительное расследование «в связи с передачей через Гильёма не подлежащих разглашению сведений». Это же относилось к Геншеру, Граберту, заведующему канцелярией Вильке и Ноллау. Так как с уголовно-правовой точки зрения обвинение не подтверждалось, дознание не состоялось.

Во время процесса в Дюссельдорфе судья задал вопрос. Не хотел бы я — в закрытом заседании — проинформировать суд о том, что мне сказал о деле Г. Брежнев? Я правдиво ответил, что ничего полезного для дела сообщить не могу. Когда летом 1975 г. я встретился в Москве с Брежневым, ему пришлось собраться с духом, прежде чем выдать из себя несколько фраз: он очень сожалеет, но его сторона с этим никак не связана; он также был разочарован. От его ближайшего окружения стало известно, что когда весной 1974 г. ему об этом сообщили, он «пришел в ярость». Я не считал, что это высказывание имеет принципиальное значение.

Десять лет спустя я впервые после Эрфурта ступил на землю ГДР и встретился с Эрихом Хонеккером. Мы обсуждали актуальные проблемы, но я был готов услышать кое-что о случившемся со мной. Так оно и было. Председатель Госсовета сделал паузу, изобразил торжественную мину и глубоко вздохнул, а я про себя смеялся: такие истории он тоже узнает из газет. «Я хотел бы добавить одно слово», — сказал Хонеккер. — В то время я был председателем совета обороны и, когда это случилось, резко осудил «наших

людей». Он отметил, что через его руки не прошел ни один натовский документ, и если бы он узнал об этом, то сказал бы: «Уберите его оттуда!» Как бы там ни было, но из этой темной игры, затеянной осведомителями со ссылкой на Хонеккера, а то и по его распоряжению, следовал вывод: «Это были не мы, а русские». Подобные высказывания дошли, между тем, до Москвы и вызвали там весьма сильное недовольство.

Когда в конце 1988 г. мемуары Г. — подчищенные, подкрашенные и получившие благословение Маркуса Вольфа, ушедшего на пенсию начальника Главного разведывательного управления министерства государственной безопасности, — вышли в ГДР в издательстве «Милитерферлаг», а отрывки из них были перепечатаны в Федеративной Республике, пошли в ход спекуляции: интрига против Хонеккера? Кто и за чей счет хочет спустя полтора десятилетия себя выгородить? И с какой целью? То, что Миша Вольф, бывший начальник Гильйома, пытался свалить вину на Хонеккера, было весьма сомнительной версией. Я дал знать руководству ГДР, что до некоторой степени неприятно удивлен. И представьте себе: реакция последовала незамедлительно! Председатель Госсовета выразил свое сожаление — руководство ГДР также неприятно удивлено — и сообщил: соответствующие организации получили указание конфисковать немногие экземпляры, уже поступившие в продажу, и уничтожить весь тираж. Больше того, он передал для меня один экземпляр книги, как было сказано, принадлежавший ему лично.

Рай с изъяном

Едва окончилась война, как даже в странах, которые сами понесли в ней тяжелые потери, и прежде всего в Соединенных Штатах, проявилась готовность к оказанию гуманитарной помощи. Многие тысячи семей и союзов, церковных общин и фондов, профсоюзов и фирм занимались благотворительностью, основанной на милосердии. И — как результат — многие беженцы-одиночки получили шанс на выживание. Разработанный на правительственном уровне план Маршалла по восстановлению Европы, который не обходил и «враждебные государства», разумеется, учитывал также и собственные интересы Америки. И, как показывает история, подобное дополнение — не самое плохое.

Основанный в начале президентства Кеннеди «Корпус мира» и многочисленные негосударственные организации провозгласили не только символическое единение с бедными и обездоленными. В финансовом отношении помощь развивающимся странам со стороны богатейшего государства мира также имела большое значение (значительно большее, чем аналогичная помощь европейцев), хотя она и не достигала согласованной доли валового национального дохода. В 80-е годы в связи с обострением проблемы задолженности отток финансовых средств в Соединенные Штаты превысил сумму оказываемой ими помощи. Склонность американцев пренебрегать Организацией Объединенных Наций, выходить из комиссий по «многостороннему» сотрудничеству и концентрироваться на задачах, которые они могли сами ставить перед собой, сделала свое дело и представила Вашингтон в неприглядном свете. Если верх берет уверенность в собственных силах, дополненная разочарованием в партнерах в других частях света, это не может не вызвать реакции с трудноустраимыми последствиями. В области контроля над вооружениями и разоружения долгое время царил неуверенность, что шло, отнюдь, не на пользу миру. Перемены наступили после того, как Рональд Рейган нашел в лице Михаила Горбачева партнера, заставившего его изменить свои взгляды.

Джордж Буш, став президентом, сделал важные промежуточные выводы относительно ограничения гонки вооружений. С тех пор отношения с другой мировой ядерной державой определялись обоюдной доброй волей, а некоторые региональные конфликты достигли стадии урегулирования. Тот факт, что именно консервативный популист из Калифорнии во время второго срока своих полномочий в интересах дела достаточно уверенно принял «пас» от неортодоксального партийного секретаря, относится к самым приятным неожиданностям конца 80-х годов. Когда уже казалось, что разрядке вот-вот наступит конец, в нее вновь вдохнуло жизнь первое соглашение по разоружению, которое заслужено так называют.

Я был знаком со всеми президентами, начиная с Франклина Д. Рузвельта (с Трумэнэном мы познакомились, когда он уже не занимал этот пост), и имел с ними полезные беседы. Рейгану же не советовали встретиться со мной для серьезного разговора. Это можно было пережить, а мое уважение к президенту, собравшемуся одолеть «империю зла» и нашедшему общий язык со своим русским визави, от этого не стало меньше. То, что в других областях он остался верен старым предрассудкам, к делу не относится.

В те годы в официальном Вашингтоне с направленными в будущее предложениями по проблемам «Север — Юг» ничего нельзя было добиться. Я не скрывал своего мнения об операциях США против «держав» в Центральной Америке и в Карибском бассейне и получил за это плохие «отметки». В 1981 г. я был по делам в Нью-Йорке. Александр Хэйг попросил меня зайти в госдепартамент. Главная тема беседы — Никарагуа. Четыре года спустя в весьма приятной и деловой беседе с вице-президентом Бушем все та же главная тема — Никарагуа. В вашингтонском сенате и во влиятельных общественных группах я по праву считался «старым другом Соединенных Штатов». Однако ультраправые идеологи и сверхусердные

помощники занесли меня в свои черные списки, но это не помешало госсекретарю Джорджу Шульцу снабжать меня информацией и не произвело никакого впечатления на Поля Нитце, который по возможности ориентировал меня в проблемах тяжело протекавших Женевских переговоров. Когда при встречах с членами конгресса решались германо-американские дела, а особенно когда обсуждались отношения между Востоком и Западом и их военно-политические аспекты, ничто не омрачало атмосферу переговоров.

Время от времени я старался что-то предпринимать ввиду неправильных действий Москвы. Так, в феврале 1980 г. я послал письмо Генеральному секретарю Брежневу, в котором пытался побудить его положить конец афганской аванюре и советовал устранить и другие препятствия на пути к разрядке. Это было время, когда унижительная история с заложниками в Тегеране совпала с возмутительным кабульским переворотом. И здесь мне бы особо хотелось отметить следующий момент: президент Картер сказал мне, что он ждет случая вернуться к переговорам и продолжить процесс разрядки. На мой вопрос, желает ли он облегчить или затруднить жизнь Советскому Союзу, он ответил: облегчить. По его словам, США стремятся улучшить отношения с Советским Союзом, а не ставить его в затруднительное положение или провоцировать. Лично я не хотел бы вдаваться в подробности, однако считаю, что ответ Картера дает пищу для раздумий.

И СССР, и США были проинформированы о результатах совещания, состоявшегося по предложению Бруно Крайского и под моим председательством в начале февраля 1980 г. в Вене. В нем приняли участие председатели 28 социал-демократических партий. В своем выступлении я остановился на факторах, осложняющих международное положение. Помимо событий в Афганистане и в Иране задержка с ратификацией договора ОСВ-2 и бремя ядерного арсенала средней дальности все более угрожали разрядке, которая вот-вот могла испустить дух. «Там, где мы это считали необходимым, мы критиковали и предостерегали, — говорил я, — но мы также прежде всего выражали глубокую озабоченность по поводу того, что могут оказаться под угрозой достижения разрядки, ибо, как мы опасались, возврат к холодной войне приведет мир на грань катастрофы. Подтвердилась наша убежденность в том, что разумной альтернативы разрядке нет». Собравшиеся в Вене (и это может служить примером множества усилий в одном направлении) договорились «использовать все свои возможности для установления контактов, чтобы оказывать поддержку продолжению политики разрядки, способствовать улучшению отношений между США и СССР и достижению конкретных результатов на переговорах о контроле над вооружениями и разоружении».

Я много раз был в Соединенных Штатах, всегда хорошо себя там чувствовал и всегда возвращался с какими-то идеями. Как бургомистр Берлина я особенно нуждался в американской поддержке. Занимая ответственные посты в Бонне, я придавал дружбе с США очень большое значение, и не потому, во всяком случае, не только потому, что мы в Федеративной Республике Германии за многое были благодарны американцам. Когда Ричард Никсон в начале 1970 г. принимал меня как федерального канцлера в Белом доме, я мог на этой красочной церемонии без тени сомнения заявить: «Выступая за тесное партнерство, я исхожу из желаний и наказов моих сограждан». Поэтому я был крайне возмущен, когда в последующие годы, следуя отвратительной моде, в спорах между западногерманскими партиями стали использовать жупел антиамериканизма. То, что при Аденауэре могло еще иметь основания и, во всяком случае, значение (хотя уже тогда это не поддавалось скрупулезному взвешиванию), стало из-за твердящих одно и то же эпигонов просто скандалом.

Этот век войдет в историю как век Америки. К такому выводу должен был прийти каждый, кто, как я, считал, что Соединенные Штаты как руководящая сила способны на более конструктивные действия. Они решили исход двух мировых войн, второй еще более убедительно, чем первой, не уходя вновь в изоляцию. Экономическая помощь, которая нам, как и многим другим, пошла на пользу, родилась не только от любви к ближнему. Она была разумной и к тому же сотворила чудо. Мы в Германии, точнее в западных зонах, ставших позднее Федеративной Республикой, видели, сколь рьяно домогаются нашего расположения, что облегчило нам процесс восстановления экономики, но соответственно осложнило критический пересмотр происшедшего. Нам пришлось нести бремя холодной войны и искать свое место в условиях нового соотношения сил. Могло быть и хуже. В данной ситуации нам следовало добиваться максимально возможного.

Отношение к миру и к Соединенным Штатам быстро менялось. Мы снова стояли на собственных ногах и определяли собственные интересы. Еще в 1958 г. во время моего первого визита в США в качестве бургомистра я выступал в роли человека, свидетельствующего свое почтение державе-победительнице. На пресс-конференции в гостинице «Уолдорф-Астория» меня спросили, как я отношусь к предложению Джорджа Кеннана о сокращении вооруженных сил в Европе. Вместо ответа я прикусил язык. Лишь десятилетие спустя, будучи министром иностранных дел, я и по ту сторону океана, не колеблясь, защищал концепцию разрядки от сторонников жесткого курса и всякого рода истериков. Спустя еще десять лет «семейные дела» в Атлантическом союзе разладились, так как в Бонне решили, что мы можем иметь собственное — отличное от других — мнение, что было на пользу западной безопасности.

Времена изменились. Не изменились основы германо-американских отношений. Какими бы серьез-

ными ни были иногда расхождения, в Федеративной Республике настолько привыкли к американскому «соответствию», что порвать отношения было нельзя.

Соединенные Штаты уже давно не являлись страной неограниченных возможностей, но их жизнеспособность и мобильность не угасли. Для меня никогда не существовала только одна Америка: рядом с импонирующей мощью экономики, науки, армии всегда соседствовала крайняя нищета; рядом со сказочным прогрессом — мрачная реакция; рядом с сохранившимся господствующим влиянием Восточным побережьем с его белопротестантским истеблишментом — подъем Запада и Юга. Какая неизрасходованная энергия генерировалась здесь! Это была та Америка, в которой вырывались из оцепенения потомки африканских рабов, начинавшие использовать свое влияние. Та Америка, где живой ум никогда не покорялся толстому кошельку и где даже вопиющее стремление к наживе не могло затмить compassion — деятельную отзывчивость. Здесь же всегда была другая Америка — Америка борьбы за гражданские права и социальных движений.

Америка — это и талантливые канадцы, которых долгое время недооценивали на Севере, и многочисленные беспокойно-нетерпеливые латиноамериканцы в другой части субконтинента. Разумеется, среди американских друзей было немало таких, кому не давал покоя вопрос, сумеет ли их великая страна достаточно быстро настроиться на нужную волну и своевременно осознать новые проблемы, способные привести мир на край пропасти. Я знал: без Америки этого не сделаешь.

Я уже говорил, чем являлись Соединенные Штаты 50 лет тому назад для немецкого эмигранта в Скандинавии, и выразил надежду, которую связывал с их послевоенной ролью. Для меня Америка стала воплощением свободы и демократии задолго до того, как я оказался на берлинском «испытательном стенде». Впервые я ступил на землю Америки в начале 1954 г. и сразу же познакомился с Нью-Йорком и Вашингтоном, Новым Орлеаном и Чикаго, Техасом и Калифорнией. Вместе с тремя друзьями и коллегами — Карло Шмидом, Фрицем Эрлером и Гюнтером Клейном — я побывал там по приглашению американского правительства. Оно выделило немного денег для того, чтобы значительное число людей, облеченных в Европе властью, или тех, кому это еще предстояло, могло составить представление о гигантской стране с ее многообразными региональными структурами и плюрализмом мнений, то есть о нечто гораздо большем, чем это обычно могут предложить официальные институты.

Признаюсь, что во время этого первого визита на меня самое сильное впечатление произвели вещи вполне банальные. Из самолета лучше, чем из поезда или из автомобиля, видишь континент, ресурсы которого еще далеко не разведаны и тем более не исчерпаны. Встречаешь многих людей, в большинстве своем дружелюбных и готовых прийти на помощь, не скрывающих своего наивного любопытства. При этом сразу замечаешь, что наш старый континент не потерял своей привлекательности и значимости, однако европейское высокомерие здесь совершенно неуместно. Средний американец — «а кто сейчас в Германии кайзер?» — знает о Европе немного. Но разве у нас люди знают о США больше?

Мои книжные познания оказались весьма скудными. Только в результате многочисленных поездок я убедился, как мало к тамошним политическим структурам подходят европейские мерки. Глубокое и каждый раз захватывающее впечатление на меня производили изменения, происходившие во взаимоотношениях черных американцев и большинства их светлокожих земляков. Могу засвидетельствовать: они неизменно вели к равноправию граждан. Впечатляющим, даже глубоко волнующим уроком стало для меня критическое отношение американцев к войне во Вьетнаме и то, как они пытались осмыслить ее прискорбный опыт.

Пожалуй, проще всего было понять, что не только партийный ландшафт, но и понятие о партиях коренится в собственных американских традициях. Между европейским социал-демократом и американским демократом можно было установить понимание в общественно-политических вопросах, но как только затрагивались международные проблемы, поражала близость к либеральному республиканцу и необычность взглядов консервативного демократа, особенно если он был из южных штатов. Обе большие партии — одна — с ослом, другая со слоном на гербе — создали специфическую североамериканскую традицию. Каждая из них представляет собой широкий союз, который не подходит ни под какую европейскую мерку.

Европейские, прежде всего немецкие и скандинавские социал-демократы, которых судьба занесла в Америку, оставили немало следов не только на среднем Западе. Полностью они не стерлись до сих пор, однако идейное наследие, занесенное этими эмигрантами за океан, распространить не удалось: «по ту сторону» на общественные отношения наложила свой отпечаток чрезмерная мобильность. «Другая Америка» живет во множестве групп и группировок. Одни занимаются гражданскими правами и делами обездоленных, другие группируются вокруг университетов и церквей под знаменами прогресса. Хотя некоторым людям посещение церкви, совершаемое многими американцами каждое воскресенье, кажется чем-то показным, те импульсы человеческой ответственности за судьбу ближнего, на которых делают акцент в общинах, безусловно, воодушевляют. Кстати, моя первая встреча с американскими социал-демократами состоялась в одной из нью-йоркских церквей.

Американские профсоюзы на протяжении важных периодов истории и особенно в послевоенные

годы активно действовали на внешнеполитическом поприще, и не в последнюю очередь приложили много сил для воссоздания и укрепления демократических структур в Германии. Еврейские организации в США так заботились о немецких противниках нацизма, а после войны — о создании условий для демократических начинаний, что нам должно быть стыдно, что их усилие до сих пор не получили должного признания. Американцы немецкого происхождения, как ни странно, почти не участвовали в подобного рода помощи. Если они вообще как-то выделялись в политическом отношении, то, во всяком случае, не прогрессивным образом. Когда Эрнст Рейтер в разгар блокады в марте 1949 г. вернулся из поездки в США, он сказал: «Брандт, если Вы хотите встретить сегодня нацистов, Вам нужно поехать в Чикаго». При этом он имел в виду не нацистов в буквальном смысле слова, а тот тип немецких националистов, которым даже Бисмарк казался чересчур прогрессивным.

Когда я в 1961 г. нанес Джону Кеннеди свой первый визит в Белый дом, он при прощании пожелал мне приятной встречи вечером того же дня. Членов организации «Americans for Democratic Action», с которыми я должен был встретиться, он назвал своими «либеральными друзьями». Выступал Мартин Лютер Кинг, посвятивший нас в свою мечту об Америке, такой, которая покончила бы с расовой сегрегацией. Вскоре он по моему приглашению посетил Берлин. Главным действующим лицом в тот вечер был все же Губерт Хэмфри, общительный и красноречивый сенатор из Миннесоты, бывший мэр Миннеаполиса, унаследовавший традиции рабоче-крестьянской партии своего региона. Мы были знакомы с 1959 г., когда он после долгих переговоров с Хрущевым посетил Берлин. Вместе с Уолтером Рейтером, энергичным профсоюзным лидером швабского происхождения, мне доводилось иногда встречаться с ним на летних приемах, на которые нас приглашал в Харпсунд Таге Эрландер, первый шведский послевоенный премьер и предшественник Улофа Пальме.

Губерт, безнадменно уступая в материальном отношении своим соперникам, в 1960 г. вступил в борьбу за выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах. После насильственной смерти Кеннеди Джонсон сделал его вице-президентом. В день траурной церемонии, вечером, мы в кругу добрых друзей собрались в шведском посольстве и пришли к оптимистическому выводу, что Губерт имеет неплохие перспективы и что дальше все пойдет хорошо. Однако этого не случилось. Губерт Хэмфри был бы в 1968 г. избран вместо Никсона президентом США (соотношение голосов составляло 42,7:43,4%), если бы предвыборная борьба продлилась еще несколько дней, а главное, если бы он не перегибал палку с предписанной ему по должности лояльностью и соблюдал дистанцию по отношению к вьетнамскому курсу президента Джонсона. В 1977 г. Хэмфри умер от рака. Болезнь уже угнетала его, когда мы с Киссинджером и другими в последний раз ужинали в германском посольстве. Он произнес дружеский тост в мою честь, и я остался его должником.

Вьетнамская трагедия, поколебавшая как доверие к Америке, так и ее внутреннее равновесие и вызвавшая громкие протесты со стороны молодежи и в США, и во всем мире, началась при президенте Кеннеди. Я долгое время не осознавал ее последствий, а затем пытался об этом не думать. Исходя из информации, полученной мной позднее из конфиденциальных источников, можно предположить, что молодой президент не допустил бы перерастания поражения в катастрофу и был полон решимости положить конец вьетнамской войне. Шарль де Голль, усвоивший горький опыт Франции, предупреждал его в 1961 г. в Париже: «Если нация однажды проснется и развернет свою социально-революционную энергию, то никакая сила в мире не сможет подчинить ее чужой воле. С каждым шагом вы будете все глубже и глубже утонуть в военном и политическом болоте».

Линдон Б. Джонсон, видевший для себя в китайской идее «мирового коммунизма» еще больший вызов, чем в советской, хотел только победы. После его вступления в должность президента резко возросло число размещенных в Индокитае американских солдат: 14 тысяч в начале его президентства, четверть миллиона в конце 1966 г., полмиллиона в середине 1968 года. Техасец, проживший слишком заурядную политическую жизнь, совершенно не отвечал высоким требованиям, предъявляемым президенту США. Когда я вместе с Фрицем Эрлером был у него весной 1965 г., он не мог оторваться от полученных агентурных сообщений и бесвязно говорил что-то о вертолетах, убитых вьетконговцах, освобожденных деревнях. В другой раз к этой статистике прибавились данные института Геллапа, которые должны были показать, что Роберт Кеннеди ему и в подметки не годится. В феврале 1966 г. я стал свидетелем одного мероприятия в Нью-Йорке, на котором Джонсон говорил о том, что его политике нет альтернативы. Однако на близлежащих улицах тысячекратно и громко звучали заявления противоположного характера. В тот вечер Бобби Кеннеди еще вел себя по отношению к Джонсону подчеркнуто лояльно. Если бы он сам стал президентом, он нашел бы в себе силы покончить с изнуряющей и деморализующей войной. Его, как и Мартина Лютера Кинга, убили весной 1968 года.

В «теорию домино», по которой если сегодня падет Сайгон, то завтра та же участь постигнет всю Азию, а послезавтра Европу, я никогда не верил. Следовательно, я не верил в то, что во Вьетнаме защищают Берлин. Однако мне было безразлично, что в другой части света Соединенные Штаты изображают — по Мао — как «бумажного тигра». Вместе с тем я не считал, что мы, немцы, призваны выступать в качестве учителей по мировой политике, а тем более моралистов. Я считал также неуместным упрекать

американское правительство за действия в той сфере, которую оно объявило жизненно важной. В конце концов, я подавил в себе глубокие сомнения и не раскрывал рта там, где следовало, с одной стороны, громко возражать, а с другой — выплескивать свои скрытые симпатии. Примерно так же обстояло дело с Алжиром. В Париже не только правые, но и демократически настроенные левые реагировали с раздражением на проявление немцами симпатий к поборникам самоопределения. Одно дело — включить антиколониализм в свою программу и совсем другое — придерживаться ее на практике.

В нашей стране и во многих странах Европы, а еще раньше в Америке молодые бунтари, у которых Вьетнам вызвал прилив политической активности, не замечали, что я понял их чувства лучше, чем способ, которым они их выражали. Хотя стоит сказать и о том, что руководству моей партии также понадобилось много времени, чтобы определиться со своей осторожной критикой. На мое послание коллеге-секретарю в Вашингтоне пришел ответ, из которого явствовало, что ему трудно меня понять. Одно дело — не бросать на произвол судьбы даже могущественных друзей, когда у них возникают серьезные проблемы, а другое — не солидаризоваться с ними, если они проводят неправильную политику. Весной 1967 г. я собрал в Токио наших послов в странах Азии. После этого вообще не осталось никаких сомнений: о нашей поддержке войны во Вьетнаме не может быть и речи. Федеративная Республика, констатировали мы, должна использовать свои ограниченные политические возможности и действовать в интересах мирного решения конфликта. В таком же духе высказались и видные японские деятели, с которыми я обсуждал эту тему.

Я не подозревал, что кровопролитие, устроенное американцами во Вьетнаме, еще продлится долгие годы. Когда на пороге нового, 1972 г. я встретился с Никсоном во Флориде, мне передалась его убежденность в том, что самые большие трудности уже позади: дескать, Южный Вьетнам располагает теперь одной из лучших армий в Азии, и он сможет постоять за себя. У Северного Вьетнама, напротив, нет больше сил для проведения наступательных операций против Юга, а число убитых американцев снизилось до минимума. Последние бомбардировки Северного Вьетнама преследовали профилактические цели, и их не следует драматизировать. Советы третьих стран, как это ни жаль, нежелательны, сказал президент.

Прежде чем Генри Киссинджер заключил в январе 1973 г. в Париже перемирие с Северным Вьетнамом, Никсон сократил контингент американских солдат до 50 тысяч. Фактическое окончание войны два года спустя выглядело все же совсем иначе, чем многие его себе представляли. В Южном Вьетнаме произошла настоящая катастрофа как в военном, так и в политическом отношении. Какая травма для мировой державы, проигравшей стоившую больших жертв региональную войну и не понявшей, для чего она ее начала! В беспощадном, мучительном, жестоком самоиспытании американцев я никогда не хотел видеть проявления слабости. Мое предположение оправдалось: это было признаком силы.

Казалось, что «теория домино» вновь ожила, когда США уже на Американском континенте пустили в ход тяжелую артиллерию против малочисленных революционных движений. Сегодня я еще больше, чем раньше, считаю доказанным, что Фидель Кастро не стремился к конфликту с США. Сообщения из Гаваны не встречали в Белом доме должного внимания. Хрущев еще летом 1961 г. в Вене пытался разъяснить Кеннеди, что Кастро не коммунист, но экономические санкции могут его таковым сделать. Хотя Центральная Америка, за исключением Мексики, не имеет большого значения для безопасности Соединенных Штатов, они реагировали на революцию в Никарагуа и на подпольную борьбу в Сальвадоре так, как будто на них надвигается большая опасность. Ведущие европейские политики также дали убедить себя в том, что советское влияние фактически расширяется и достигает угрожающих размеров. В то же время в окружении президента Рейгана главную роль играли люди, которые открыто препятствовали мирному решению. Осенью 1984 г. — я это говорю опять-таки на основании собственного опыта — во время конференции в Рио-де-Жанейро чуть было не пришли к соглашению по Никарагуа. Сандинистский «команданте» Баярдо Арке дал согласие, и казалось, что путь к выборам, в которых могли бы участвовать и силы невооруженного сопротивления, открыт. Артуро Крус, представитель оппозиции, также был готов согласиться, но его американские советники велели дать отбой. Венесуэльский экс-президент Карлос Андрес Перес, с начала 1989 г. во второй раз возглавивший свою страну, и немецкий «trouble-shooter» (специалист по улаживанию конфликтов. — *Ред.*) Ганс-Юрген Вишневский, приложившие немало усилий для достижения взаимопонимания, были разочарованы и возмущены. Впрочем, не только они.

Сомнения в собственной роли мировой державы зашли далеко. Но еще дальше зашла борьба вокруг расового конфликта и путей его преодоления. Эта тема была мне близка хотя бы потому, что профессор Мюрдал, мой добрый друг военных лет в Швеции, только что закончил свою большую работу «Американская дилемма», написанную им по заказу Фонда Карнеги. Во время моего первого визита в США я видел разительные примеры апартеида. В Нью-Йорке я посетил председателя профсоюза проводников спальных вагонов, являвшегося членом небольшой партии социалистов. Это было, наверное, самое высокое положение в обществе, которое мог занять представитель черной Америки; профессии такого рода были предназначены для негров. На Юге я посетил высшую школу для черных. Такие институты все же были, но находились в полной изоляции. Я видел общественный транспорт, где цветные должны были сидеть отдельно от белых, рестораны, гостиницы и другие заведения, в которых так-

точно, но недвусмысленно давали понять, кого здесь не желают видеть. Были еще и клубы, куда не пускали евреев.

Это было в 1954 году. Меньше чем десятилетие спустя черная Америка, поддерживаемая смелыми борцами за гражданские права из рядов численного большинства, проявила мужество и силу. Она не желала больше мириться с дискриминацией. Чуткая администрация в Вашингтоне оказала ей поддержку. Министр юстиции Роберт Кеннеди применил вооруженную силу, чтобы обеспечить детям из негритянских семей возможность посещать смешанные школы. Свой письменный стол он украсил каской раненого солдата национальной гвардии. Мое прежнее предположение, что некоторые южные штаты, в основном заселенные черными, в конце концов выйдут из состава США, можно было сдать в архив. Еще при жизни одного поколения чернокожие стали мэрами в ряде крупных городов. Мы стали свидетелями великой и замечательной, довольно бескровной революции.

Потом появился Джесси Джексон, входивший в молодости в круг лиц, близких к Мартину Лютеру Кингу, и, как оказалось, унаследовавший его призвание. Он еще не смог стать кандидатом в президенты, но в избирательной кампании 1988 г. сыграл роль, которую уже никто не мог игнорировать. Я знал и ценил его по встречам в Федеративной Республике. Во время кампании 1988 г. я встречался с ним в США и видел, насколько он перерос роль выразителя интересов цветного меньшинства. Его программа не обошла вниманием амбиции тех, кто хотел идти дальше по пути к полному равноправию. Ведь она охватывала ключевые сферы новой социальной ответственности на основе здравого смысла и реализма.

Говорилось о «коалиции всех цветов радуги». В это понятие включалась и растущая «латиноамериканизация». Иммигранты с юга континента и из Карибского бассейна изменяют облик Соединенных Штатов. Не только на Юге и на Западе, где к тому же значительную часть населения составляют выходцы из Азии, но и в Нью-Йорке испанский стал разговорным языком. Европейец с моей судьбой, думая об эксцессах кровопролитного расизма, может только снять шляпу при виде этих изменений. В Америке и в этом плане все решилось наилучшим образом.

Было бы удивительно, если присущая Соединенным Штатам тяга к миссионерству, которую они широко культивировали, не привела бы к различным неожиданным эффектам в политике. То, что некоторые направления, по которым проводили и проводят эту политику, с трудом поддаются пониманию, связано именно со склонностью к улучшению мира. Было бы также удивительно, если бы такое богатое и могущественное государство не пострадало от некоего высокомерия власти. Я употребил здесь выражение достопочтенного Уильяма Фулбрайта, заслуги которого состоят не только в том, что он на протяжении многих лет председательствовал в сенатской комиссии по иностранным делам, но и в том, что по его инициативе начался оживленный обмен студентами. Я назвал лишь одно имя, имея в виду и целый ряд других. Не всегда сознаешь, что конгрессмены оказывают более сильное влияние на межгосударственные и международные отношения, чем некоторые члены администрации США.

К миссионерству относится и проявившаяся не только в последние годы склонность делить мир на добрый и злой, отождествлять коммунизм или то, что за него принимают, с неизменным злом, своеобразно толковать понятие «свободный мир», а в остальном восхвалять «американский образ жизни» даже там, где он этого не заслуживает. Зачастую упрощенный взгляд на вещи приводил ко всяким заблуждениям и путанице: петеновцы, Франко и Салазар, греческие полковники-путчисты — всех их изображали людьми, достойно представляющими ценности Запада. Сразу после войны даже гестаповцев принимали на службу в соответствующие органы, ожидая, что они принесут пользу в борьбе против нового главного врага. Президент Маркос мог славить себя как «маяк демократии», тираны Центральной Америки получали поддержку главным образом тогда, когда они ставили свои команды убийц на службу интересам иностранного капитала. Протестующих политических деятелей «третьего мира» заочно объявляли опасными революционными противниками. И т. д. и т. п.

Даже добрая традиция защиты прав человека все время присваивалась двуличными или оппортунистическими фанатиками, место реальных усилий занимала пустая символика. Но гораздо важнее было то, что первоначальные моральные стимулы не оказались погребенными, и в самой Америке снова и снова брали слово беспощадные критики. Снова и снова прорывались наружу движущие силы великой нации, которая еще много даст своим гражданам и всему миру.

(Продолжение следует)

Технология власти

А. Г. Авторханов

VIII. Разгром Московского комитета

На второй день утром после злополучного собрания, проходя по коридору, я, как обычно, остановился у доски объявлений ячейки ВКП(б) ИКП. На доске висел свежотпечатанный список студентов и профессоров, которые «срочно» вызывались в бюро ячейки. В списке была и моя фамилия. «Срочными» я считал все-таки свои обязанности студента и поэтому направился в лекционный зал, с тем чтобы во время перерыва заглянуть в бюро. Едва началась лекция (была философская лекция Л. Аксельрод-Ортодокс), как зашел технический секретарь бюро ячейки, который прервал лектора, огласил тот же список, что висел на доске. Он добавил, что явиться нужно сейчас же. С разных мест поднялось около десятка человек. Встал и я. Спрашивая друг друга, что это могло значить, мы вместе двинулись в бюро. Там же собралась значительная группа и с других курсов.

В бюро сидел, нахмурившись и важно перебирая свою густую рыжую шевелюру, новый секретарь ячейки. Его серые и безжизненные глаза, которые обычно выражали все, что угодно, кроме «большевистского огня», на этот раз дышали и «огнем», и злобой одновременно. Когда кто-то из его сокурсников попробовал шуткой рассеять нарочито напущенную, казалось, начальническую важность секретаря, последний грубо прервал: «Мы не в кабаке, а в бюро ячейки». «Что ты, шутки не понимаешь, Павлуша?» — попробовал было тот же сокурсник исправить свою ошибку. «Моя фамилия Юдин», — резко ответил он, явно недовольный фамильярным обращением к себе как к «Павлуше». Сокурсник замолчал. Молчали и мы. Юдин сделал переключку по списку. Студенты явились все, но не было профессоров. Вернувшийся секретарь доложил, что профессора заняты на семинарах. «Вызвать», — приказал Юдин. Через несколько минут явились не менее нас озадаченные профессора.

«Все вызванные мною товарищи должны явиться сегодня в ЦК к 6 часам вечера», — объявил Юдин. На вопросы студентов и профессоров, в чем дело и к кому обращаться, Юдин отвечал коротко: «Там узнаете!» Разные мысли нахлынули мне в голову: «Донос Орлова? Возвращение на Кавказ? Участие в «казни» Сталина? Или что-либо лучшее? Но о чем лучшем может быть речь, как не об оставлении на учебе?» Я решил руководствоваться правилом — «Думай о лучшем, но будь готов к худшему». Однако Сталина я не «казнил», в троцкистах не состоял — что может быть хуже? Как всегда в таких случаях, я побежал к Сорокину. Как на зло его сегодня не оказалось. Попытался узнать у Елены Петровны, секретарши Покровского, она ответила, что слышит все это только от меня. Я вернулся на лекцию. Старушка Аксельрод рассказывала о Нише. Есть избранные и толпа, «господа» и «рабы». Избранные призваны делать историю. Толпа — навоз истории. Воля к власти — движущая сила человеческого развития. Ею обладают только избранные! Оригинально и кстати!

Свежие мысли и певучая речь лектора, «последнего могокана философии независимого марксизма»,

как мы ее называли, действовали отвлекающе. Другие лекции прошли мимо ушей. Ловил себя часто на мысли, что думаю об Орлове, Юдине и ЦК. Обедал без аппетита, по обязанности. Сейчас же после обеда, пропустив урок немецкого языка, поехал на квартиру Сорокина. И дома его нет. Поехал к Зинаиде Николаевне и застал ее и его. Вошел Резников, еще более бледный и расстроенный, чем я. «Я сообщу вам катастрофическую новость, — сказал он, — сегодня Угланов и Котов сняты с работы, сняты секретари Рогожско-Симоновского, Краснопресненского, Хамовнического районов. Создана комиссия ЦК под председательством Молотова по проверке всего руководящего состава московской организации» (дело было в конце октября 1928 г.). «Это ужасно и непостижимо!» — сказала Зинаида Николаевна каким-то глухим, замогильным голосом. На ее глазах я заметил слезы. Резников подтверждая кивнул головой и грузно опустился на диван. «Это ужасно и непостижимо!» — повторила Зинаида Николаевна, уже всхлипывая от плача. Мне стало ее очень жалко. Я подал ей стул и стакан воды. Она села, но от воды отказалась.

«Да вы же не понимаете, товарищи, это ведь начало настоящей контрреволюции», — сказала она, постепенно приходя в себя. «Для одних начало, для других конец!» — лаконично заявил Сорокин. Я чувствовал, что Сорокин видел дальше и лучше смысл происходящих событий, переживал их, быть может, больше и глубже Зинаиды Николаевны, но старался не выдавать себя. Это ему явно не удавалось. «Как это произошло и какова реакция в МК?» — спросил Сорокин Резникова, сдерживая свое волнение. Резников рассказал, что дня три тому назад совершенно неожиданно для членов бюро МК некоторые члены МК (Ворошилов, Менжинский, Булганин, Караваев и др.) и один член бюро МК (Бауман) предложили созвать внеочередное заседание бюро вместе с руководящим активом для важного заявления. Угланов, который был одновременно и секретарем ЦК, попытался узнать, в чем дело, но ему ответили, что об этом будет доложено на самом заседании. Когда же по этому поводу Угланов обратился в ЦК, то Молотов (Сталин будто бы отсутствовал), предварительно заметив, что ЦК не в курсе дела, разъяснил: каждый член МК, как и ЦК, имеет право требовать созыва заседания. ЦК со своей стороны охотно пришлет своих представителей на это заседание, если названные члены МК имеют сказать что-либо важное.

Угланов назначил заседание на 10 часов вечера. На заседание явились Сталин, Молотов, Каганович и целая группа членов МК и «активистов», не являющихся членами бюро. С самого начала члены МК поставили вопрос о разрешении последним присутствовать на заседании бюро. Котов и Резников это предложение ответили. Бауман (он был и шефом деревенского отдела МК) поддержал. Молотов вмешался в дело и сказал, что это нарушение духа «внутрипартийной демократии», если «актив» МК на основании буквы партийного порядка не может присутствовать здесь. Стало ясно, что члены МК и «актива» явились не зря. Резников продолжал протестовать, но Угланов согласился и открыл «заседание бюро МК совместно с руководящим активом». Булганин, который тогда работал директором Московского электрозавода, но всегда числился в «активе чекистов», попросил слово для «заявления группы членов МК и ЦК о работе правых в московской организации».

В заявлении подчеркивалось, что в московской организации, во главе важнейших учреждений и предприятий, в исследовательских институтах и вузах, в ряде районных комитетов и даже в самом Московском Комитете «орудуют правые оппортунисты», их прямые ставленники и ученики, старающиеся свернуть партию на путь капиталистической реставрации. Секретарь МК Угланов, члены бюро МК Котов, Пеньков, Резников, Рютин, разглашающие на словах о «генеральной линии», на деле являются теми же «правыми». Авторы заявления от имени районных активов и члены МК потребовали: 1) отставки московского руководства и 2) назначения специальной комиссии по проверке партийного лица руководящего состава всех московских учреждений, предприятий и советского и партийного аппарата. Не только для членов бюро МК, но и для самого Угланова заявление Булганина явилось полной неожиданностью. Угланов объявил перерыв и потребовал частного совещания с членами Секретариата ЦК (Сталин, Молотов, Каганович присутствовали не как члены Политбюро, а как секретари ЦК). Каганович категорически отвел предложение Угланова. Угланов апеллировал к Сталину, но Сталин недоумевающе развел руками. Заговорил Молотов: «ЦК еще в феврале этого года предупредил МК и лично Угланова о возможности такого оборота дела, как сейчас. В ЦК поступало много сигналов и даже требований районных организаций Москвы об оздоровлении руководства МК, но мы не хотели вмешиваться в ваши дела в надежде, что члены бюро МК одумаются, но все это оказалось тщетным. Сейчас уже нет другого выхода — открыто поставленный вопрос надо обсудить открыто». Молотов предложил продолжать обсуждение заявления. Угланов еще раз предложил Сталину перенести обсуждение данного вопроса на частное заседание бюро МК и Секретариата ЦК, а если необходимо, и на заседание Политбюро. Сталин ответил уклончиво: «Не нахожу положение столь трагическим, чтобы нужно было устраивать другое специальное заседание, хотя принципиального возражения и нет».

Выступление Сталина подействовало на Угланова обнадеживающе, и он официально возобновил заседание. Начались прения. Все выступающие члены МК, ЦК и «актива» единодушно поддержали заявление Булганина. Один из членов Бюро МК (кажется, Полонский) сделал компромиссное предложение — поскольку данное заседание неправомочно обсуждать вопрос о руководстве МК, созвать чрезвычайный

плenum МК и МКК для рассмотрения заявления группы членов МК. Угланов поставил предложение на голосование — все члены бюро, кроме Баумана, «за», весь «актив» — «против», секретари ЦК не голосуют. Находчивый Каганович перевернул результат голосования: «По статуту сегодняшнего объединенного заседания бюро МК и «актива» предложение о созыве пленума я считаю отвергнутым, так как абсолютное большинство данного заседания проголосовало против». Тогда возмущенный Угланов вскочил со стула и громко спросил: «Кто здесь секретарь МК — я или вы, товарищ Каганович?» «Пока что вы, товарищ Угланов», — невозмутимо ответил Каганович. «Так разрешите вам заявить, что таковым я отныне не являюсь. Продолжайте теперь вашу демагогию...» Угланов быстро схватил со стола свой портфель и демонстративно вышел из кабинета. За ним медленно последовал Сталин, но скоро вернулся без Угланова. «Где же товарищ Угланов?» — спросил Молотов. «Побежал к Бухарину», — ответил за Сталина Булганин.

Каганович предложил продолжать заседание, чтобы принять соответствующее решение МК по оглашенному группой членов МК заявлению. Члены бюро МК, в том числе и Резников, начали доказывать, что в отсутствие Угланова невозможно и незаконно всякое обсуждение. Тогда выступил Сталин. Он выразил сожаление, что здесь разгорелись столь жаркие споры и страсти, так как, говорил он, речь не идет об отдельных личностях, а об определенном, для дела очень опасном идеологическом и политическом течении в партии, речь идет об уклоне в сторону от марксизма, о правом, реставраторско-кулацком уклоне. Совершенно неважно, доказывал Сталин, кто возглавляет или отражает на практике этот уклон, но абсолютно необходимо, чтобы все наши коммунисты поняли, что не ныне разоблаченный левый, троцкистский, а правый оппортунистический уклон является сейчас главной опасностью в партии. Надо разоблачать и ликвидировать эту опасность. Сталин не согласился и с Булганиным, что члены бюро МК во главе с Углановым являются «правыми». Это преувеличение и «перегибание палки». Но Сталин не считает в создавшихся условиях возможным, чтобы бюро МК могло вести успешную борьбу против правой опасности, тем более, что московский актив, как явствует из заявления Булганина и из выступлений участников данного заседания, настроен против нынешнего состава бюро МК. Сталин остановился персонально на Угланове, указал на его большие заслуги в подполье до революции, на его активное участие в революции и гражданской войне, на его непримиримую борьбу против троцкизма, на его заслуженный и высокий авторитет в партии и закончил речь: «Все-таки, мы, большевики, привыкли прислушиваться к голосу массы, тем более партийной массы; поскольку партактив Москвы хочет сменить свое руководство, то ЦК готов отозвать Угланова и других членов бюро МК в свое распоряжение».

Каганович, который продолжал фактически председательствовать на заседании после ухода Угланова, начал «ковать железо, пока горячо». Он внес новое предложение: «Участники заседания бюро МК совместно с активом 1) сожалеют, что Угланов покинул заседание, грубо нарушив тем самым всякую партийную дисциплину, 2) просят ЦК об отзыве в свое распоряжение членов нынешнего руководства МК, 3) предлагают срочно созвать экстренный пленум МК для выбора нового руководства, 4) секретарем МК рекомендуют секретаря ЦК ВКП(б) В. Молотова». «Теперь мы только поняли, — рассказывал Резников, — почему было созвано «экстренное заседание» и почему Булганин пригласил на него секретарей ЦК». «Мне кажется, что вы не поняли даже теперь, в чем дело и что происходило на заседании, — возразил Сорокин. — Вы думаете, что инициатива исходит от «активиста» Булганина? Игра более тонка и она затеяна самим ЦК. Именно аппарат ЦК, Секретариат, подготовил и заседание МК с «активом» и «заявление группы». При этом, как явствует из твоего сообщения, роли между секретарями ЦК (за спиной Политбюро) были заранее распределены. Молотов — «умеренный», Каганович — «агрессор», а Сталин — благодетельный арбитр. Но чтобы успешнее разыграть всю эту комедию до конца, предварительно надо было вывести из терпения Угланова так, чтобы он ушел с заседания. Все фарисейские слова Сталина о его заслугах — дымовая завеса для более успешной атаки».

«Нет, на этот раз Сталин был искренен», — вмешался Резников. «Да, точно так же, как он был искренен, когда к первой годовщине Октябрьской революции писал в «Правде», что успешной подготовкой и победоносным проведением октябрьского переворота «мы прежде всего и главным образом обязаны т. Троцкому». Куда же он теперь загнал «отца Октября»? Сейчас Троцкий обо всех нас пишет как об «эпигонах Октября» потому, что Сталин и всерьез его уверил, что без него не было бы Октября. Но Сталин это писал не для красного словца и даже не для подхалимства, а в своих собственных целях — усыпить бдительность врага (Троцкий был ему и тогда враг), войти в его доверие, забраться в его крепость и взорвать эту крепость вместе с его командиром. Так он поступил с Лениным, когда стал секретарем ЦК, так он поступил с Троцким, когда умер Ленин, так он поступает теперь с Бухариним... Сталин лукавил тогда и по отношению к Бухарину: «Мы не дадим в обиду своего Бухарчика», — кричал тогда Сталин на Троцкого. С пеной у рта Сталин защищал Бухарина, возводил его заслуги до небес, более того, в период борьбы против Троцкого Сталин искусственно создал «культ Бухарина», «славу Бухарина».

«Сталин ни слова не говорил на заседании о Бухарине», — заметил опять Резников. «Нет, говорил. Все, что он говорил хорошего об Угланове, есть бомба и против Бухарина, и против Угланова, и против всех нас. «От ступеньки к ступеньке» — это любимое выражение Сталина. Он делает все осторожно,

хитро, но основательно. Он постоянно называл Троцкого Иудой, но теперь нам уже должно быть понятно, что он выболтал тогда свое собственное внутреннее существо. Если он тебя похвалил и ты верно подданно не стал на колени, так знай, что тебе суждено стоять на ногах до тех пор только, пока он не соберется с силами, чтобы свалить тебя в бездну. Станем ли мы на колени? — вот вопрос, на который мы вынуждены будем вскоре ответить».

Сорокин говорил долго, порою с резкими упреками по адресу Резникова. Резников редко и необдуманно возражал, видимо, только для того, чтобы возражать. Он в глубине души чувствовал себя виноватым перед Сорокиным, что так легко сдался на заседании. «Что же мы должны были делать, по-твоему?» — спросил он вдруг Сорокина. «Уйти вслед за Углановым, оставив Сталина со своими наемниками». «И что же получилось бы?». «Получился бы скандал, а на скандал Сталин не готов». Резников ничего не возразил. Зинаида Николаевна на протяжении всей беседы сидела молча. Я собрался уйти, но Сорокин попросил меня поехать под Москву, на дачу к «Генералу». Я должен передать ему, что его ждут на квартире Зинаиды. Так как было уже поздно, я вынужден был сообщить Сорокину причину невозможности исполнить его просьбу, а стало быть — и тайну своего визита. «К 6 часам вечера меня вызывают вместе с другими студентами в ЦК, едва ли я успею выполнить твое поручение», — сказал я. «Это в связи с чем?» — недоуменно спросил он. И цель моего визита отпала. Сорокин не был в курсе дела. Я отправился в ЦК.

IX. На допросе в ЦК

В ЦК я пошел пешком, так как идти было недалеко. Зинаида жила в районе Театральной площади. Мне нужно было пройти через Лубянку на Старую площадь, где находится здание ЦК. Я пришел вовремя. В вестибюле находилось несколько человек, но из наших не было никого. На правой стороне от лифта — «справочное окно» для посетителей. На стене большая черная доска с указанием комнат отделов ЦК и кабинетов секретарей ЦК. Даже указаны дни и часы приема посетителей секретарями: «И. Сталин принимает по... (дням) от ... до ... (часов)». То же самое и у других секретарей ЦК — Молотова, Кагановича, Кубяка. Никаких специальных пропусков, предъявляя свой партбилет — иди прямо в секретариат Сталина и требуй, чтобы тебя приняли! Какие были демократические времена!

Когда я в последний раз посетил ЦК в 1940 году, порядок был другой: в приемной сидели чекисты в форме и без формы, к партийному билету надо было иметь еще специальный пропуск о разрешении входить в ЦК и только в указанный в пропуске отдел, но и этого недостаточно — чекист должен был перед заполнением пропуска созвониться с тем партийным бюрократом, к которому вы идете, и, если он согласен на свой риск пустить вас в здание, то заполняется на вас опросный бланк и тогда вы вступаете в «священную обитель». Доска «приема Сталина» и других секретарей исчезла уже с начала тридцатых годов. Но в 1928 году было время пресловутой «внутрипартийной демократии», и я беспрепятственно вошел в здание. Поднимаюсь на лифте на третий этаж и иду в Агитпроп, которому прямо подчинялся наш Институт. В коридоре встречаю выходящих из Агитпропа некоторых наших студентов. Спрашиваю, куда мы должны обращаться и в чем было дело. Отвечают, что в чем дело еще неизвестно, но что я иду правильно, а там скажут, что делать дальше. Вхожу в приемную шефа Агитпропа, застаю там еще несколько наших. Как только я вошел, ко мне обратился один из сотрудников, рыжий, до уродливости худой мужчина в пенсне: «Вы, товарищ, из ИКП?» «Да!» «Как ваша фамилия?» Называю. Рыжий скелет смотрит в список, находит мою фамилию. Против фамилии какая-то буква и цифра, выведенные красным карандашом. «На четвертый этаж, кабинет такой-то», — чахоточным голосом говорит он.

Я поднимаюсь на четвертый этаж в указанный кабинет. Поражает мертвая тишина на этом этаже. Все двери в комнаты и кабинеты плотно обиты кожей на войлоке. По коридору тянутся длинной лентой мозаичные дорожки. В этом ряду на дверях никаких надписей, только номера. Стучу в указанный кабинет о мягкую кожаную дверь, но я знаю, что ни меня не услышат, ни я ничего не услышу. Поэтому нерешительно вхожу в кабинет: ба! за столом, в мягком, но довольно потертом кресле сидит Орлов! «Как вы сюда попали?» — совершенно глупо и некстати спрашиваю я. Находчивый Орлов отвечает вполне резонно: «Не так, как вы!» Потом он прямо переходит к делу: «Под страхом исключения из партии, а значит и из ИКП, предупреждаю вас от имени ЦК, чтобы вы отвечали правдиво на поставленные мною вопросы. Мы знаем всю правду, но если вы постараетесь утаить ее от ЦК, вы выйдете отсюда без партбилета».

Орлов делает маленькую паузу и начинает перебирать бумаги в папке. Внушительный тон его, серьезность внутрипартийной обстановки, а главное, его таинственный кабинет в ЦК производят свое впечатление. Я убеждаюсь, что этот желчный и недалекий человек может решить мою судьбу. Молниеносно пролетают в голове мысли о «казни Сталина», «дне рождения» у Зинаиды, дружбе с Сорокиным, о сегодняшней встрече с Резниковым. Значит, Орлов все знает. И его дилемма тоже ясна: расскажу — останусь в ИКП, нет — выгонят из ИКП и из партии. Я волнуюсь и этим порчу дело, так как знаю, что Орлов исподлобья наблюдает за мною. Беру себя в руки и сосредоточиваюсь, вернее, стараюсь делать это. Я готов

отвечать на все вопросы во имя Зинаиды, Сорокина и кавказской чести категорическим «нет!». Пусть исключают. Пусть сошлют в Сибирь. Пусть...

Внезапным вопросом Орлов перебивает мысли: «Вы были вчера на собрании в Комакадемии?» «Да, был». «Кто вам билет дал?» «Дали в ИКП». «Кто персонально?» «Сорокин». «Почему он дал именно вам?» «Спросите у него». «Я вас спрашиваю». «Вы амлодировали Бухарину?» «Да». «Почему?» «Потому, что он член Политбюро». «Вы кричали «ура» Бухарину?» «Вы мне скажите лучше, зачем я вызван сюда. Я считаю излишним отвечать на эти глупые вопросы». «Не забывайте, что вы находитесь в ЦК, и отвечайте на вопросы», — грозит Орлов. Но у меня уже легче на душе. Я вижу, что Орлов учиняет надо мною мелкий полицейский допрос без серьезных для этого данных. Поэтому я храбрюсь и перехожу в контратаку: «Я только вчера впервые в своей жизни увидел Бухарина и, когда амлодировали все, даже президиум, амлодировал и я. Но если за это время с Бухариным произошло что-нибудь неладное, то тут виноват не я, а ЦК, членом которого он является».

«А вы амлодировали Кагановичу?» — вдруг спрашивает Орлов. «Да, и на том же основании, что и Бухарину». «Разделяете вы теоретические воззрения и политические взгляды Бухарина?» Я вскакиваю со стула, изображаю глубокое возмущение и угрожаю Орлову, что за такие провокационные вопросы с его стороны я пойду с жалобой к самому Сталину. Мои угрозы не действуют. «Перестаньте закатывать мне здесь истерику, как баба, и заниматься демагогией. Я вашу антипартийную душу вижу насквозь... Не пугайте и Сталиным, работая против Сталина... Подумаешь, не успел еще вылупиться, а хочет учить. Итак, будете вы отвечать по существу на поставленные вам вопросы?» Последние слова Орлов произносит громко и почти по слогам. Его всегда желчная физиономия превратилась вся в вопросительный знак. Но и я теперь действительно вне себя. Слова «как баба» (у кавказцев это самое тягчайшее оскорбление) ядовитой пулей сразило мое самолюбие. У меня потемнело в глазах. В этот миг мне казалось, что я готов на убийство, на смерть. «Гражданин Орлов, ты был и остался шпиком и карьеристом, которому не должно быть места в аппарате ленинского ЦК. Или я потеряю свой партбилет, или тебя отсюда выставят!»

При этих словах я выбегаю из кабинета. Забыв сесть в лифт, спускаюсь по лестнице. Еще не дошел я до третьего этажа, как слышу сзади крик: кто-то бежит за мною, громко называя мою фамилию. Останавливаюсь. Подходит незнакомое мне лицо кавказского типа, средних лет, в военном костюме без знаков и, широко улыбаясь, будто мы с ним давнишние друзья, просит меня зайти в его кабинет. Я добиваюсь узнать, в чем дело, но незнакомец просит сначала зайти. Поднимаемся обратно на четвертый этаж, идем мимо кабинета Орлова и через два или три кабинета незнакомец открывает мне дверь. Заходим. Обстановка в первой комнате почти та же, что и у Орлова. Здесь сидит довольно пожилая женщина и что-то печатает. Мы заходим в следующую комнату. На ходу незнакомец говорит женщине: «Если кто-нибудь придет, то я занят». Незнакомец, продолжая все еще улыбаться, указывает мне на стул, сам садится после меня в кресло — менее потертое, чем у Орлова. На столе два телефона (внутренний и внешний), свидетельствующие о ранге более высоком, чем у Орлова.

Незнакомец представляется: «Вы меня, конечно, не знаете — я ответственный инструктор ЦК и моя фамилия Товмосян. Но о вас я слышал от ответственного инструктора ЦК т. Кариба. Вы его знаете, недавно он инструктировал Северный Кавказ и Дагестан. Он о вас самого лучшего мнения и пророчит вам большие успехи. Я знал, что вас сегодня вызвали в ЦК к Орлову по каким-то вашим институтским делам. Я попросил Орлова после окончания беседы познакомить меня с вами, но, оказывается, вы с ним поссорились. В чем дело, что случилось?»

Я не хотел возвращаться к теме об Орлове, но Товмосян был весьма настойчив и любопытен. Тогда я рассказал суть дела. «Вы по форме совершенно правы — он вас лично оскорбил, знай он наши «кинжальные обычаи» Кавказа, этого бы не случилось, но вы не правы по существу. Вы чересчур погорячились и тем ухудшили свое положение. Если это дело дойдет до ЦКК, то будет плохо не ему, а вам. В Москве, разумеется, знают, что мы — народ горячий, но нашей горячностью мы должны пользоваться против врагов партии, а не против друзей». «Если в партии вообще есть враг, то этот враг — Орлов», — заметил я тут же. «Ошибаетесь, он не дипломат и даже не теоретик, но предан партии всеми фибрами души». «Он был «всеми фибрами души» предан и белой контрразведке», — отвечаю я. «Откуда вы это знаете?» «Видел документы». «Да, это старая история. Она не раз была предметом расследования ЦКК. Ничего порочащего на него не нашли. Ведь, в конце концов, сейчас важно не то, что кто-то когда-то кем-то был, важно другое — кто кем является сегодня. У нас в партии немало членов с дореволюционным стажем, но какой от них толк, если они смотрят назад, а не вперед. Если хотите, такие старые члены партии сегодня даже вредны для нашего дела».

Товмосян при этих словах пристально посмотрел мне в глаза. И в этих глазах он несомненно читал величайшее удивление. В самом деле, только впервые от Товмосяна я слышал столь грубое и циничное определение: «Старые члены партии сегодня вредны». Я решительно не мог понять этого, еще меньше понимал я, почему и к чему Товмосян все это говорит мне, неужели только для этого заявления он вернул меня назад. Товмосян вжидаяще замолчал. Мне было не о чем говорить, да и бесполезно возражать. Убедившись, что я не имею или не хочу что-нибудь сказать, он перешел, видимо, к основному пункту.

«Вы знаете, как правые лидеры смотрят на национальный вопрос?» — спросил он. «О правых лидерах я слышу впервые из ваших уст», — притворился я наивным. «Я говорю о теоретической школе Бухарина в вашем ИКП», — уточнил вопрос Товмосян. «Я заявляю, что и об этой школе тоже слышал в первый раз только вчера из уст Кагановича».

Не знаю, насколько он мне поверил, но действительно я не имел ни малейшего представления о наличии особой концепции по национальному вопросу у «правых». Я знал, что Ленин критиковал Бухарина по самым различным правовым и тактическим вопросам (теория о государстве, Брестский мир, национальный вопрос, истмат и диамат), но не знал, были ли у Бухарина сейчас свои особые взгляды на национальную политику партии (ранее у Пятакова и Бухарина такие взгляды по вопросу о праве народов на самоопределение были, но теперь это отошло в область истории). Тем охотнее я попросил Товмосяна рассказать, в чем сущность национальной концепции «школы Бухарина».

Однако, в изложении Товмосяна, национальная теория «правых» (далее он говорил о «правых») выглядела так, как я ее себе представлял, когда впервые столкнулся с Сорокиным в ИКП. «Правые» считают, доказывал Товмосян, что ЦК дерусифицировался. Раньше было еврейское засилье, а теперь — кавказское. Иначе говоря, они считают, что убрав из ЦК евреев (Троцкого, Зиновьева, Каменева), власть захватили кавказцы — Сталин, Микоян, Орджоникидзе и др. Поэтому «правые» объявили войну Кавказу. Победа «правых» в нашей партии означала бы победу не просто великодержавного шовинизма, но и махрового русского империализма. Кто сейчас идет против Сталина — основоположника ленинской национальной политики — тот идет против своего народа. «Вы еще молодой и политически неопытный, — повторил Товмосян, — но меня и вас, кавказцев, это касается раньше и больше всех. Вот против этой идеологии вместе с нами борется и русский коммунист Орлов. Поэтому несправедливо объявлять его врагом и для этого копаться в его биографии».

Беседу нашу Товмосян закончил совершенно конкретным предложением — сообщить ему обо всех проделках «правых» в ИКП, о которых мне известно что-либо существенное. «Вы хотите сказать, что я знаю какой-нибудь заговор неизвестных мне правых и этот заговор скрываю от ЦК?» — начинаю я возмущаться. «Нет, нет, ваша позиция вне сомнения, но все ли благополучно у ваших друзей?» — успокаивает он меня. На столе зазвенел телефон. Товмосян не спеша берет трубку. Отвечает односложными «да» или «нет». Хотя мне кажется, что речь идет обо мне, но трудно угадать, к чему «да» или «нет». Товмосян кладет трубку и, не возвращаясь к прежней теме, сообщает мне, что сейчас будет интересная беседа. «С кем это?» — невольно вырывается у меня. «С Кагановичем», — отвечает Товмосян тоном безразличия, будто речь идет о беседе с нашим Дедодубом. Потом добавляет: «Каганович — умный человек, никогда не даст в обиду нашего брата».

У меня так забита голова сегодняшними впечатлениями и так напряжены нервы от волнения, что я был бы очень рад, если бы мне сказали: «Вы свободны». Однако я знаю, что бесполезно отказываться от «высокой чести». Я покорно иду за Товмосяном, и через несколько минут мы уже в приемном зале Кагановича, на том же этаже, но на другом конце (кабинеты секретарей находились на южной стороне четвертого этажа), и на внутренних дверях надписи: «И. Сталин», «Л. Каганович», «В. Молотов», «Н. Кубяк».

В зале застаю всех наших вызванных: и студентов, и профессоров, и даже Юдина вместе с Орловым. Все присутствующие молчат, только в другом углу зала, стоя у окна, Юдин и Орлов о чем-то тихо шепчутся между собою. Из кабинета в зал входят Криницкий и Каганович. Мы все встаем. Каганович приглашает сесть. Сам он не садится и произносит краткую речь, смысл которой заключается в том, что ИКП был и остается вернейшей теоретической опорой ЦК в борьбе со всеми врагами ленинизма. Он призывает присутствующих быть достойными этого высокого призвания красной профессуры. Сославшись на свою занятость, он говорит, что должен покинуть нас, но что Криницкий изложит нам конкретные цели сегодняшнего заседания. При этих словах он передает слово Криницкому и, поклонившись нам, выходит из зала приемной.

«Вчерашняя демонстрация в Комакадемии против ЦК, — начал свою речь Криницкий, — определенно свидетельствует о неблагоприятии в ИКП. Большинство из присутствующих так или иначе причастны к этой демонстрации. Вы должны помнить, что мы не можем держать в стенах ИКП людей, которые в вопросах борьбы за чистоту марксизма-ленинизма становятся на точку зрения фальсификаторов. То, что простительно рабочему от станка, мы не можем простить будущим теоретикам партии. Может быть, некоторые из вас находятся в заблуждении в отношении личности товарища Бухарина, но против товарища Бухарина как личности ЦК ничего не имеет. Мы боролись и будем бороться против антиленинской идеологии и теории Бухарина, хотя он и является членом Политбюро. Сейчас слишком серьезное время, чтобы мы могли равнодушно смотреть на ревизию ленинизма представителями правого оппортунизма в партии. Главой этого оппортунизма и является товарищ Бухарин. Конечно, гораздо проще исключить товарища Бухарина из Политбюро и даже из ЦК, но правый оппортунизм есть идеология, которая не поддается механическому исключению. Она есть идеология старых, реставраторских классов. Ее надо выжечь каленым железом ленинизма. Самого товарища Бухарина мы призываем к этому и надеемся, что он станет рано или поздно на этот путь. Но ждать, пока сам товарищ Бухарин соберется сделать это, ЦК

не может. ЦК несет ответственность перед всей партией и Коминтерном за всякое искажение ленинизма ее членами. Вот почему ЦК объявил сейчас правую опасность главной опасностью в партии, а всякое примиренчество к ней антипартийным преступлением».

Закончил свою длинную речь Криницкий указанием, звучавшим и как приказ, и как угроза: либо все вы, слушатели и преподаватели ИКП, должны включиться в активную борьбу против правой опасности в самом ИКП, в печати и на партийных и рабочих собраниях Москвы, либо ЦК вынужден будет обсудить вопрос о личном составе ИКП. Уже было около одиннадцати часов вечера, когда мы покинули здание ЦК.

Х. Рекогносцировка в стане бухаринцев

Совершенно неожиданно для нас ИКП очутился в центре внимания ЦК. Конечно, для этого были весьма серьезные основания. Во-первых, здесь были собраны лучшие пропагандистские силы партии, во-вторых, Бухарин признавался в этих стенах до сих пор непререкаемым авторитетом в области марксистской теории. После снятия троцкистов, преподавательский состав из числа партийцев считался чисто бухаринским. Сам Бухарин с самого начала организации ИКП числился одним из его ведущих профессоров по политической экономии и теории советского хозяйства. Поэтому для ЦК было важно, чтобы дисквалификация Бухарина как теоретика началась «стихийно», снизу и именно с ИКП. Только впоследствии я понял, почему ЦК вместо того, чтобы просто объявить Бухарина еретиком и предать его школу анафеме, стал на этот окольный и более сложный путь расправы. В конце концов, прав был Криницкий — дело не в личности Бухарина, а в том, насколько велико его влияние в теоретических и академических кругах партийного актива и каковы те силы, с которыми надо расправиться наряду с Бухариным.

Выступления против Бухарина были не столько пробным шаром, сколько глубоко рассчитанной рекогносцировкой в стане настоящей и возможной армии бухаринцев. ЦК, вернее, его Секретариат, боролся за резкую дифференциацию партии — «за» и «против» Бухарина. Низовая партийная масса была уже в руках сталинского партийного аппарата, но в верхах партии соотношение сил далеко не определилось. Предварительная «проработка» Бухарина пока что только по линии теории была призвана внести искусственный раскол в партийный актив. Этой цели служило собрание Коммунистической академии, для той же цели намечались собрания актива Москвы, Ленинграда. Киева, Минска, Свердловска, Баку, Тифлиса и других крупных партийных центров. Однако наше первое «опытное» и несомненно весьма важное, с точки зрения ЦК, собрание явно провалилось. Понятно, какое отрицательное для нас впечатление оно произвело на сталинцев. Как только в ЦК заметили, что Бухарин располагает большими силами и предположительно большей симпатией в кругах актива, чем это думали оптимисты из окружения Сталина, последовали первые меры организационного воздействия и политического давления.

Первый удар был нанесен московскому руководству. Без объявления мотивов 27 ноября 1928 года была официально снята руководящая группа МК ВКП(б) во главе с Углановым (ее судьба была предрешена еще в конце октября, как я уже говорил выше). Одновременно было объявлено, что Молотов «избран» секретарем МК, сохраняя по совместительству пост второго секретаря ЦК ВКП(б). Уже через полтора года (апрель 1930 г.) в «Обращении МК к членам партии» не без основания говорилось: «Именно в московской организации правые оппортунисты, пытавшиеся наступать на генеральную линию партии, получили первый решительный удар». Но ни в 1928 году, ни до конца 1929 года в партийной прессе не писали, что руководство МК снято за правый оппортунизм. Говорилось и писалось о том, что в московском руководстве оказались «примиренцы» к правым, но при этом не приводилось ни одного имени. Сам Угланов был назначен наркомом СССР (если не ошибаюсь, наркомом труда СССР). Уханов, председатель Московского Совета, держался на своем посту до конца 1930 года, когда его заменил Булганин — «герой» разоблачения Угланова, но внутри партии, во всяком случае в партийном активе, было известно, что руководство МК было разогнано за поддержку Бухарина с временным предоставлением его членом хотя и видных, но для ЦК менее опасных правительственных постов.

Все это было грозным предупреждением и вместе с тем действительно первым ударом по бухаринской оппозиции. Правда, все догадывались, что разгром московского руководства — это победа аппарата ЦК и может стать пирровой победой, если будет произведен свободный опрос партийной массы. К тому же полной загадкой оставалось соотношение сил на пленуме ЦК, когда открыто и остро встанет вопрос: существует ли в партии «правая» опасность в лице Бухарина и Угланова (о позиции Рыкова и Томского еще ничего не было известно), которые столь решительно боролись еще вчера вместе со всем руководством ЦК против левого уклона, против троцкистов. С этой точки зрения и борьба против Троцкого была палкой о двух концах. Широкие круги партии приписывали относительно легкую победу над Троцким именно теоретической мощи и ленинской последовательности Бухарина, а не Сталина. В этой же борьбе против Троцкого колоссально вырос авторитет Бухарина как ортодоксального теоретика партии. Как же убедить эту партию, что Бухарин — негодный теоретик и антипартийный уклонист? Как согласовать с

человеческой, даже со сталинской логикой объявление задним числом всего написанного Бухариным в борьбе против меньшевиков и троцкистов антиленинскими писаниями, тем более, что все эти труды вышли в свет еще при Ленине, многие даже с одобрения и под редакцией самого Ленина? Как быть, наконец, с неоднократными заявлениями Сталина во время дискуссии против троцкистов, что он не даст Бухарина никому в обиду?

Что же случилось сегодня с Бухариным, что заставляет аппарат ЦК объявить его самым опасным человеком для партии? Дело не в прошлых произведениях Бухарина, а в его настоящей позиции внутри Политбюро, рассуждали в партийном активе. И тут же спрашивали, в чем же тогда заключается эта позиция? На собрании партийного актива в Коммунистической академии Бухарину слова не дали. То, что говорил Каганович, к делу не относилось, а что происходило на заседании Бюро МК и московского «актива» партии, не было известно и тщательно скрывалось. Назначение опальных из МК на другие, юридически более ответственные, правительственные посты способно было лишь дезориентировать не только партию, но и самих «опальных» (последняя цель, конечно, тоже преследовалась до поры, до времени). Одно было бесспорно: в ЦК назревает новый кризис. «Сталин или Бухарин?» — вот и формула кризиса. Кто стоит за Сталиным, уже более или менее известно, кто же за Бухариным — неизвестно. Еще менее известны подлинные причины кризиса. Пущенная в ход Агитпропом ЦК успокаивающая формула гласила лишь: «Голосуйте за Сталина — не ошибетесь!» Наиболее ретивые из нас отвечали на это формулой Троцкого: «Не партия, а голосующее стадо Сталина!»

Аппарат ЦК работал, однако, интенсивно и организованно, вербуя обывателей, запугивая «примиренцев» и терроризируя «уклонистов». Учебная жизнь в ИКП практически давно уже приостановилась. Беспартийные профессора и академики отсиживали свои часы в кабинетах и библиотеках, а партийные вместе со студентами бились на партийных собраниях и дискуссиях. Неудавшееся общее собрание актива в Коммунистической академии было решено проводить сначала по отдельным учебным и научным учреждениям — в ИКП, Комакадемии, РАНИИОНе, Свердловском университете и КУТВ им. Сталина. На всех собраниях обсуждали один и тот же стандартный вопрос: «Кооперативный план Ленина, классовая борьба и ошибки школы Бухарина». Основные докладчики — члены «теоретической бригады». В ИКП докладчиком выступил уверенно шедший в гору Л. Мехлис. Собрание было нарочито растянуто на два или три дня, чтобы дать возможность выступить большему количеству преподавателей и слушателей. Мехлис выполнил свою задачу блестяще. Ни одно утверждение, ни один тезис не были «взяты с потолка» — все это обосновывалось бесконечным количеством больших и малых цитат из Маркса, Энгельса и особенно из Ленина. Последнюю часть своего доклада Мехлис уделил так называемым «двум путям» развития сельского хозяйства — капиталистическому и социалистическому. Докладчик утверждал, но уже менее успешно и менее уверенно, что бухаринская школа толкает партию на капиталистический путь развития. В качестве доказательств приводились длиннейшие цитаты из книг Бухарина «Экономика переходного периода» и «К вопросу о троцкизме». Мехлис закончил свой доклад указанием, как и Сталин в начале 1928 года на пленуме МК и МКК ВКП(б), что в Политбюро нет ни «правых», ни левых и что речь идет о теоретических и политических ошибках Бухарина в прошлом. Но этим утверждением Мехлис испортил свой доклад, а главное, политику дальнего прицела Сталина — Молотова — Кагановича.

Этой ошибкой Мехлиса немедленно воспользовались явные и «скрытые» ученики Бухарина. Мне хорошо запомнились в связи с этим выступления тогдашнего члена ЦКК Стэна и Сорокина. Стэн открыто разделял нынешние взгляды Бухарина, но Сорокин в глазах икапистов и ЦК все еще числился в ортодоксальных рядах. Но сегодня наступил день, когда нужно было класть свои карты на стол. Как это делает Сорокин? Очень немногие из нас знали, что он полон негодования и протеста против наметившегося сейчас «протроцкистского» курса ЦК. Многие верили, что при его прямом характере, болезненном идеализме и личном мужестве от него можно ожидать чего угодно, но не трусливого бегства от острых тем или рассчитанного двурушничества для глубокой конспирации. Прошло уже несколько дней, как мы с ним виделись последний раз на квартире Зинаиды Николаевны. Перед началом собрания я с ним столкнулся лицом к лицу в коридоре Института, но он прошел не поздоровавшись. Меня это озадачило и оскорбило. Неужели он думает, что я о нем говорил что-нибудь в ЦК или, может быть, ему сообщили, что я на него «показал»? Я был в том и другом случае оскорблен и побежал за ним, чтобы потребовать объяснения. Но я потерял его в толпе студентов, а скоро началось и собрание. Я занял место в одном из последних рядов, не зная, как себя будет вести Сорокин на сегодняшнем собрании. С тем большим напряжением я ожидал его выступления. Он выступил одним из первых.

Сорокин прежде всего взял под сомнение теоретическую ценность и доброкачественность самого доклада. Еще свежо звучит в моих ушах вводный тезис Сорокина: «Такого серого, теоретически бездарного и политически убогого доклада я не ожидал даже от Мехлиса», — заявил Сорокин. Это введение приковало к речи Сорокина всеобщее внимание. Водворилась выжидательная тишина. Сорокин пункт за пунктом начал анализировать доклад, обвиняя докладчика то в сознательной фальсификации марксистско-ленинской теории, то в явно невежественной ее интерпретации. Когда Мехлис начал настойчиво протестовать против «демагогических приемов» оратора, то Сорокин ответил, что он готов извиниться перед

докладчиком, если докладчик ему растолкует следующее положение — при этих словах Сорокин прочел довольно большую цитату с явно марксистскими рассуждениями о путях развития современного капитализма и, закончив цитату, вызываясь обратился к Мехлису: «Скажите, товарищ Мехлис, согласны ли вы с изложенными здесь положениями?» «Конечно», — ответил Мехлис. «Тогда поздравляю вас, товарищ Мехлис, — цитата эта из Муссолини», — сказал Сорокин под всеобщий хохот собрания.

Сорокин, ловко воспользовавшись произведенным впечатлением (об этом случае мы всегда говорили потом как о «цитатном инциденте»), патетически воскликнул: «Человек, который не может отличить красное от черного, Ленина от Муссолини, хочет учить нас премудрости марксистской теории! До чего низко пала наша теория, если к ней допустили всяких недоучек, вроде Мехлиса! Но я нахожу, — продолжал Сорокин, — что Мехлис нас сознательно или бессознательно дезориентирует, когда заявляет, что мы собрались лишь обсуждать «архивные» ошибки Бухарина и что эти былые ошибки его не имеют отношения к сегодняшнему положению дел в Политбюро. Нет, имеют и тысячу раз имеют! Бухарин ошибался по вопросу о государстве в 1916 году, Бухарин ошибался по вопросу о Брестском мире в 1918 году, Бухарин ошибался по вопросу о профсоюзах в 1921 году, Бухарин мог ошибаться по какому-либо вопросу сегодня, в 1928 году, но тогда мы вправе критиковать Бухарина не за мнимые или прошлые, а за настоящие и политические ошибки. Прошлое может служить лишь иллюстрацией, но не характеристикой нынешнего политического лица Бухарина. К тому же, назовите хоть одного из членов Политбюро, который в прошлом не ошибался? Ошибаются революционеры, но не революция. Но ни один архивариус типа Мехлиса еще не был революционером. Он трусливо роется в архивах вместо анализа сегодняшней позиции Бухарина. Сказки о белом бычке недостойны большевиков. Или — или. Или товарищ Бухарин действительно толкает партию на путь реставрации капиталистических порядков, тогда его место не в Политбюро, а на какой-нибудь финансовой бирже, или товарищ Бухарин находит нынешний курс ЦК ошибочным, тогда надо потребовать от него изложить свою точку зрения открыто и перед всей партией, как это всегда бывало в таких случаях, избавив от этой непосильной задачи крикунов от теории, вроде Мехлиса. Игра в прятки в политике чревата катастрофой, особенно если она ведется среди единомышленников».

Свою речь Сорокин кончил неожиданным предложением: 1) просить ЦК предложить товарищу Бухарину выступить в печати с изложением своих взглядов на текущую политику партии, 2) просить ЦК при отказе Бухарина выполнить это требование поставить вопрос об исключении его из Политбюро. Едва Сорокин закончил свою речь, как в зале раздался бурные протесты. «Перегибщик!», «Хирург!», «Мясник!», «Троцкист!», — кричали в зале. Даже Мехлис, уже тогда опытный в интригах во внутрипартийных делах, явно растерялся от такого неожиданного конца речи Сорокина. Председательствующий Юдин вместо того, чтобы ухватиться за предложение Сорокина, бесцветно говорил о заслугах Бухарина.

Всегда беспринципный, но хитрейший из приспособленцев Митин, полностью соглашаясь с оценкой Сорокина ошибок Бухарина, назвал предложение об исключении Бухарина из Политбюро «троцкистским» «на данном этапе дискуссии». Малоориентированный Луппол, проректор ИКП по учебной части, квалифицировал выступление Сорокина как «катастрофическое». Константинов, Леонтьев, Федосеев и Гладков доказывали, что выступление Сорокина безответственное и вредное. Но Сорокин достиг своей цели — разброда среди сталинцев. Из преподавателей ИКП помню речи Варги и Стэна (Митин тогда не допускался к преподаванию в ИКП, он был преподавателем ниже стоящей Академии коммунистического воспитания им. Крупской).

Варга в монотонной, грамматически безупречной, но с сильным венгерским акцентом речи прочел целый реферат о теории кризисов Маркса, который, кажется, не имел никакого отношения к обсуждаемой теме. Стэн, высокий, стройный мужчина с рыжей шевелюрой, как и Юдин, сильнейший оратор и неотразимый диалектик в теоретических дебатах, повернул внимание собрания к докладу Мехлиса: «Когда люди, которые еще вчера были не только первыми учениками Бухарина, но и его личными оруженосцами, подобно Мехлису, начинают нам говорить о грехопадении своего учителя, не вскрывая при этом причин своей ему измены, они производят всегда мерзкое впечатление. Если теоретическая пустота у подобных людей компенсируется их безошибочным политическим чутьем конъюнктурщиков, это, однако, не свидетельствует об их моральной чистоте. Все вы знаете, знаю и я, что буквально до этих дней Мехлис и Стецкий клялись в этих стенах кстати и некстати именем Бухарина больше, чем именем Ленина. Что же касается лично Мехлиса, то для него Ленин как теоретический авторитет вообще не существовал. Богом Мехлиса был и оставался всегда один Бухарин. Сегодня Мехлис сделал поворот на 180 градусов, но тогда позволительно спросить и его — в чем же тайна вашей столь мудрейшей «трансцендентальной апперцепции»? Слов нет, Бухарин — грешник, мы об этом писали и говорили еще тогда, когда (простите за нефилософское выражение) вы ему лизали пятки, но скажите — чьи пятки вам пришлось по вкусу сегодня? Природа не любит обижать слабых, она наделила хамелеона всеми цветами радуги, ежа — колючками, черепаха — панцирем, но бодливой корове она не дала рог. Если вы хотите, чтобы мы поверили вашему детскому лепету об ошибках Бухарина, то начните с истории собственного хамелеонства в партии и ренегатства в группе Бухарина».

Во все время речи Стэна Мехлис то беспокойно двигался на стуле, то нервно ерошил волосы. Когда Юдин спросил, есть ли еще желающие выступить, то Сорокин встал и попросил проголосовать его предложение и тем закончить обсуждение вопроса. Из зала раздались вновь протесты против предложений Сорокина. Кто-то потребовал дать слово Мехлису для объяснения по поводу выступления Сорокина и Стэна. Мехлис попросил сделать перерыв до завтра, но собрание не согласилось. Тогда Мехлис отказался от слова, что вызвало реперолох в зале. «Слабб, слабб, значит!» — начали кричать из зала. «Он должен консультироваться у новых пяток», — раздался новый голос.

Совершенно растерянный Юдин не знал, что ему делать, а между тем страсти все больше и больше разгорались. Тогда кто-то внес новое предложение: «Ввиду отказа товарища Мехлиса от заключительного слова собрание переходит к голосованию предложений товарища Сорокина». Юдин вопрошающе посмотрел на Мехлиса, но Мехлис и без Юдина догадывался, что уже одно голосование такого предложения означало бы для него политическую смерть в глазах ЦК. Его не страшила речь Стэна, на нее он мог, если не убедительно, то во всяком случае весьма ловко ответить, но предложения Сорокина шли дальше его полномочий на данном собрании: «Просить ЦК исключить Бухарина из Политбюро», но и выступать против такого возможного решения собрания он не имел достаточно мужества. Однако, руководствуясь «мудрой» формулой тех дней — «лучше перегибать, чем недогибать», Мехлис, вероятно, единственный раз в своей жизни пошел на риск. Он выступил, Юдин облегченно вздохнул, а в зале вновь водворилась напряженная тишина.

Мехлис, разумеется, весь свой огонь и гнев разрядил на Стэна. «Я, — говорил он, — был и учеником Бухарина, и быть может, и его оруженосцем, когда это оружие метко било по троцкистам, но я его бросил, как только оно заржавело, а вы, Стэн, подобрали его в тот момент, когда оно явно целит в сердце партии. Партии вам не взорвать подобным оружием, но оно может взорваться на вашу собственную голову». В отношении Сорокина Мехлис назвал речь его демагогической, непонятной в той части, в которой Сорокин требовал открытого выступления Бухарина. Но неожиданно и для собрания и, как потом я убедился, для самого Сорокина, по поводу второго предложения последнего Мехлис заявил: «Я целиком и полностью присоединяюсь к предложению товарища Сорокина поставить вопрос о пребывании Бухарина в Политбюро ЦК партии!» В зале опять поднялся кавардак: «Мы не судьи членам Политбюро! Здесь не заседание ЦКК! Это против завещания Ленина! Бухарин — не Сорокин, не Мехлис, а вожьд партии!»

Трудно себе представить, чем бы все это кончилось, если бы упорно молчавший до сих пор Покровский не прибег к своему испытанному средству: «Товарищи, объявляю перерыв до завтра, так как через несколько минут будет моя общекурсовая лекция «Троцкизм и русский исторический процесс» (по этой части все были единодушны). Нам, конечно, было не до лекции, но Покровский как ректор спешил спасти лицо Института. Юдин и Мехлис были спасены, спасен был и Институт. Мы вышли из душного зала, мысленно благодаря спасителя. Дедодуб по-прежнему продолжал величественно стоять на своем посту, Елена Петровна, как ласточка, порхала по коридорам. Там, за окнами, здоровая некрасовская осень зримо шагала в запоздалую зиму, а луна, такая бледная и несчастная, насили вырываясь из цепких объятий грозowych туч, мерно ползла куда-то далеко-далеко, в бесконечность... Куда же ползли мы?

XI. Сталин создает «правых»

ЦК упорно, последовательно и методически продолжал свою линию по разоблачению или, вернее, по созданию «правого оппортунизма» в партии. В первое время резко подчеркивалось, что речь идет не о конкретных лицах в ЦК, МК и на местах, а об идеологии, которая существует и в партии, и в стране. Вся устная и уже начинавшаяся печатная пропаганда была в эту точку. Цель такой пустой, беспредметной, безымянной пропаганды не была ясна партийному середняку, не говоря уже о рядовом обывателе. Многие, даже у нас в Институте, недоуменно спрашивали себя и друг друга — если нет «правых оппортунистов» в ЦК и в партии, то откуда же появился этот вредный «правый оппортунизм»? Не вернее ли будет сказать, что у определенной группы лиц в ЦК появилась мания преследования, пугающая воображаемыми «правыми», или политическая галлюцинация «правого оппортунизма»? Но аппарат ЦК был неумолим. «Левая опасность — пройденный этап, но существует другая, теперь уже главная опасность для партии — правая опасность. Весь огонь и весь гнев партии и народа — против правого оппортунизма», — так начинались и кончались закрытые письма Секретариата ЦК к партийным организациям на протяжении всего 1928 года.

Если бы эти письма не подписывались Сталиным, то партийная масса, несомненно, думала бы, что первый «правый оппортунист», видимо, сам Сталин. В самом деле, он, Сталин, критиковал Троцкого с правых позиций: ведь это он, Сталин, выступал против «перманентной революции», ведь это он, Сталин, отстаивал нэп и крестьянскую хозяйственную свободу против желания Троцкого «грабить крестьянство», ведь это он, Сталин, отстаивал священное право профсоюзов защищать профессиональные и материальные интересы рабочих перед бюрократическим аппаратом советского государства против требования

Троцкого об «огосударствлении» профессиональных союзов, ведь это он, Сталин, требовал вступления в Лигу Наций, союза с Персией (тред-юнионы) и Чан Кай-ши, — кто же мог быть «правым» среди большевиков, если не этот Сталин?

Но Сталин требует борьбы против «правого оппортунизма», значит не он «правый». Тогда кто же? Перебирали всех членов Политбюро, Секретариата, ЦК и ЦКК, наконец, Коминтерна, Профинтерна, Крестинтерна, но правее Сталина никого не находили. Еще больший хаос в умы коммунистов внес сам Сталин в октябре 1928 года, когда, как уже указывалось, на пленуме МК и МКК заявил: «У нас в Политбюро нет ни правых, ни левых!» Были ли «правые» где-нибудь в республиканских ЦК или обкомах? Нет, не было. Словом, «правых» нигде не было, а вот правая, смертельная опасность существовала. Откуда же? Ведь все коммунисты на учете, все руководители на виду! По мнению Сталина получалось, что любой из них является возможным «правым», поэтому — беспощадная борьба против этих возможных «правых»! Поскольку никто не хотел быть этим будущим кандидатом в Сибирь, то каждый старался «застраховать» себя: вся почти миллионная партия кричала в один голос: «Ловите вора!» Уже к концу 1928 года каждое выступление коммуниста на партийном собрании, любая статья в прессе, очередная передача по радио, народные частушки на сцене, клоунские прибаутки в цирке сопровождалась одной неизменной моралью: «правая опасность» — главная опасность! Безвестной «правой» опасности в СССР за один год сделали столько отрицательной рекламы, что наиболее правоверные стали неистово кричать: хватит бесконечно болтать о «правой» опасности, дайте нам «правых» — мы их истребим!

На том же октябрьском пленуме МК и МКК Сталин обратил внимание на тот массовый психоз, который он сам создал в партии. Сталин говорил: «Неправы и те товарищи, которые при обсуждении проблемы о правом уклоне заостряют вопрос на лицах, представляющих правый уклон. Укажите нам правых или примиренцев, говорят они, назовите лиц, чтобы мы могли расправиться с ними. Это неправильная постановка вопроса. Лица, конечно, играют известную роль. Но дело тут не в лицах, а в тех условиях, в той обстановке, которые порождают правую опасность в партии. Можно отвести лиц, но это еще не значит, что мы тем самым подорвали корни правой опасности в нашей партии. Поэтому вопрос о лицах не решает дела, хотя и представляет несомненный интерес. Нельзя не вспомнить в связи с этим об одном эпизоде в Одессе, имевшем место в конце 1919 и начале 1920 года, когда наши войска, прогнав денкинцев из Украины, добывали последние остатки денкинских войск в районе Одессы. Одна часть красноармейцев с остервенением искала тогда в Одессе Антанту, будучи уверена, что ежели они поймут ее, Антанту, то войне будет конец».

Однако цель психоза была достигнута — Сталин назвал первую жертву: Бухарина. В этом случае даже «актив» ахнул: этот теоретик большевизма, любимец партии, гроза Троцкого, спаситель Сталина, «левейший» из «левых коммунистов» в 1918 году, оказался «правым» реставратором капитализма, идеологом кулачества и врагом партии! Этому не поверили даже и после такой подготовки. Так обстояло дело к концу 1928 года. Но для отступления было уже поздно. Либо Сталин, либо Бухарин — так стоял вопрос уже сам по себе. Бухарин пользовался доверием партии, симпатией правительства (Рыков), поддержкой профессиональных союзов (Томский) и обладал ученой головой. У Сталина ничего этого не было. Но у него было нечто большее, чем партия, профсоюзы, правительство и ученая голова, — железная воля к власти и прекрасно организованный аппарат профессиональных конспираторов внутри партии и государства. Дальнейшая работа этого аппарата пошла по двум линиям: мобилизация «актива» против Бухарина и провокация Бухарина на «антипартийные» выступления. Из-за одних старых ошибок, известных и прощенных самим Лениным, уничтожить Бухарина было невозможно. Нужны были новые, свежие ошибки или «раскрытие» старых, «не известных» до сих пор преступлений Бухарина (что, как мы знаем, потом и случилось — «Бухарин хотел в союзе с эсерами убить Ленина, Сталина, Свердлова» в 1918 году!).

По первой линии поступали так, как у нас в Институте. У нас, конечно, как и в Коммунистической академии, дело у аппарата ЦК шло плохо. Но это объяснялось специфическим составом ИКП и персональным влиянием и личными связями Бухарина с этими учреждениями. Проще обстояло дело в других учреждениях и организациях, особенно в послушных центре местностях. Уже к концу 1928 года аппарат ЦК сумел провести во всех крупных центрах страны сначала узкие (для разведки!), а потом широкие активы с докладчиками от самого ЦК. На всех собраниях актива обсуждали один и тот же доклад — «Правая опасность и ошибки т. Бухарина». Докладчики имели не только готовые тезисы, но и готовый текст резолюции от ЦК, которые надо было только ставить на голосование. И дело пошло! «Мы решительно осуждаем ошибки т. Бухарина...»; «Мы решительно поддерживаем ленинский ЦК...»; «Мы решительно требуем разоружения Бухарина...»; «Мы решительно требуем от ЦК привлечения т. Бухарина к ответственности...»

Конечно, не везде удавалось ЦК заполучить такие резолюции. Там, где сидели сторонники Бухарина (Урал, Харьков, Иваново-Вознесенск), бросали шаргалку ЦК в корзину, далеко не вежливо выпроваживали посланцев ЦК и выносили явно антисталинские резолюции. Например, на Свердловском активе (секретарь обкома Кабаков), Иваново-Вознесенском (секретарь обкома, кажется, Комаров) выносились резолюции, в которых требовали «сохранения единства и прекращения аппаратных интриг против заслу-

женных вождей партии». В самом Политбюро и Президиуме ЦКК в первое время, кроме Рыкова и Томского, Бухарина поддерживали Орджоникидзе, Калинин, Шверник, Енукидзе и Ярославский. Н. К. Крупская, вдова Ленина, уже раз обжегшаяся на Троцком (Сталин в свое время из-за ее поддержки Троцкого чуть не исключил ее из партии), на заседаниях Политбюро и Президиума ЦКК во время обсуждения правых угрюмо молчала, а после заседания, как рассказывали тогда, приходила на квартиру то к Рыкову, то к Бухарину и часами плакала, говоря: «Я все молчу из-за памяти Володи (Ленина), этот азиатский изверг так-таки потащил меня на Лубянку, а это позор и срам на весь мир...» А потом, постепенно приходя в себя, повторяла свою знаменитую фразу троцкистских времен: «Да что я? Действительно, живи сегодня Володя, он бы и его засадил. Ужасный негодяй, мстит всем ленинцам из-за завещания Ильича о нем!»

Вторая линия — это, как я ее называю, линия провокации выступления будущих «правых» по важнейшим вопросам текущей политики партии и правительства. Эта политика, главным образом, была предопределена последними двумя съездами партии — в области индустриализации XIV съездом (1925 г.) и коллективизации XV съездом (1927 г.). То, что потом Сталин приписывал «правым», — будто они были против этой общей политики в развитии промышленности и сельского хозяйства, — было лишено всякого основания. Не в том «правые» расходились со Сталиным, что надо повести дело к социализму, не в том, что надо проводить индустриализацию, не в том, что надо держать курс на социалистическое сельское хозяйство, а в том, *как и какими методами* все это делать. Сталин на кардинальный вопрос — «как и какими методами» не давал абсолютно никакого конкретного ответа до декабря 1929 года, но от «правых» потребовал ответа еще в июне 1928 года, сейчас же после своего выступления в Институте красной профессуры. Были созданы две комиссии Политбюро — промышленная комиссия под председательством главы советского правительства Рыкова при заместителе Куйбышеве и деревенская комиссия под председательством второго секретаря ЦК В. Молотова при заместителе Я. Яковлеве. В ту и другую комиссию входили Сталин и Бухарин. Промышленная комиссия разрабатывала первую «пятилетку», а деревенская — план коллективизации сельского хозяйства.

В распоряжении обеих комиссий находился огромный аппарат специалистов Госплана (председатель Кржижановский) и Центрального статистического управления (начальник Осинский). По вопросу «что делать?» обе комиссии пришли к единодушному решению — и пятилетку, и коллективизацию проводить, а вот по самому важному и решающему вопросу — «как и при помощи каких методов» — докладчиками были назначены: Рыков в своей комиссии, а Бухарин — в комиссии Молотова. Оба докладчика, опираясь на данные, консультации и заключения специалистов уже названных мною учреждений, представили письменные тезисы, которые, как и по первому вопросу, должны были считаться тезисами Политбюро и директивами ЦК, когда они будут приняты комиссиями. С тех пор и родились «правые» и в Политбюро.

Квинтэссенция тезисов Рыкова — соблюдение правильной пропорции между двумя отраслями развития промышленности — между тяжелой и легкой индустрией. Курс — на тяжелую индустрию, но легкая индустрия — как стимул и один из источников развития тяжелой индустрии при соблюдении равенства темпов развития той и другой отрасли промышленности. Отказ от любых форм принудительного труда как нерентабельного в экономике. Отказ от бюрократического декретирования и широкая инициатива местам по развитию местной промышленности, по производству средств потребления. Два варианта пятилетки — оптимальный и минимальный. Оптимальный — это желательный для выполнения план, но далеко не реальный, минимальный — это возможный и реальный план. Добиваться оптимального, выполняя минимальный. Поскольку пятилетний план — первый опыт и грандиозное предприятие для всего народного хозяйства, то в пределах этой пятилетки особо выделить первые два года, разработав специальный двухлетний план по развитию сельского хозяйства как первую ступень к выполнению всей пятилетки. Таков в основном смысл тезисов Рыкова.

Тезисы Бухарина — курс на развитие социалистического земледелия, на кооперирование сельского хозяйства во всех трех формах: производственной, торговой и сбытовой. Одинаковое и равномерное развитие всех трех форм при решительном отказе от административного принуждения. Добровольность, не казенная, а настоящая добровольность коллективизации. Широкая государственная поддержка — кредитование и субсидия — желающим вступить на путь производственной кооперации при одновременном налоговом нажиме на кулаков, могущем их заставить тоже отказаться от индивидуальных форм хозяйствования и встать на путь коллективизации («мирное вращение кулака в социализм»). Всемерное поощрение — снижение налогов, снижение оптовых цен, кредит — торговой кооперации, дающее ей возможность продавать свои товары по ценам более низким, чем у нэпмана (частная торговля). Повышение цен на сельскохозяйственные продукты и снижение цен на промтовары в сети государственной торговли для развития сбытовой кооперации и общего поднятия сельского хозяйства. Словом, бросить в крестьянскую Россию лозунг — «Обогащайтесь!». Таков был смысл бухаринских тезисов.

Когда эти тезисы были представлены на утверждение очередного заседания Политбюро (на заседании Политбюро присутствовали обычно с правом совещательного голоса и несколько членов Президиума ЦКК), Куйбышев и Молотов резко, грубо и вызывающе заявили: все, что нам теперь предлагают Рыков и Бухарин, и есть план «правого оппортунизма». В последовавших горячих дебатах роли были разыграны

по расписанию: Каганович, Ворошилов, Микоян, Киров, уже заранее подготовленные Сталиным, не только присоединились к оценке Куйбышева и Молотова, но и потребовали довести до сведения ЦК, а потом и до сведения всей партии, что в Политбюро имеются «правые» в лице Рыкова и Бухарина. Уже дискуссия сознательно велась не в плоскости принятия или непринятия предложенных тезисов, а *выявления и объявления* до сих пор безымянных «правых оппортунистов». Сталин, как обычно в таких случаях, играл в «нейтралитет», пока окончательно не выяснятся соотношения сил и реакция Бухарина и Рыкова. На этом заседании Томский открыто присоединился к Бухарину и Рыкову, а Орджоникидзе, Шверник, Калинин и Ярославский выступили против необоснованных обвинений Куйбышева и Молотова, предлагая деловое обсуждение тезисов для принятия или отклонения.

Сталин ни словом не обмолвился ни за, ни против по существу дискуссии. При приблизительно одинаковом соотношении голосов заседание кончилось «вничью». Была выбрана общая комиссия для обсуждения по пунктам обоих тезисов. Председателем комиссии был избран «нейтральный» Сталин, в нее, конечно, были включены и Бухарин с Рыковым, Томского забаллотировали, а остальными членами комиссии были те же лица, которые выступали против «тезисов» на Политбюро. Теперь Бухарин и Рыков имели дело с твердым большинством против себя при подозрительной «неизвестности» позиции «нейтрального» председателя. Хотя заседание Политбюро было закрытым, мы в ИКП на второй же день знали только что рассказанные мною подробности. Официально это, конечно, тщательно скрывалось. Именно тогда впервые циркулировал слух (намеренно пущенный в ход, или просто народная молва — этого я не могу сказать), что сам Сталин находится в числе «правых», хотя под давлением большинства Политбюро он и разрешил от имени ЦК «теоретическую обработку» Бухарина. Бухаринцы это категорически отрицали, но сталинцы почему-то долгое время этого не опровергали.

Сталин продолжал утверждать: «Мы имели случаи столкнуться с носителями правой опасности в низовых организациях... Если подняться выше, к уездным, губернским парторганизациям... то вы без труда могли бы здесь найти носителей правой опасности... Если подняться еще выше и поставить вопрос о членах ЦК, то надо признать, что и в составе ЦК имеются некоторые, правда, самые незначительные, элементы примиренческого отношения к правой опасности... Ну, а как в Политбюро? Есть ли в Политбюро какие-либо уклоны? В Политбюро нет у нас ни правых, ни «левых», ни примиренцев с ними. Это надо сказать здесь со всей категоричностью. Пора бросить сплетни...»

Декабрь 1928 года окончательно прояснил горизонт: Сталин на заседании общей комиссии предложил свои контртезисы против Бухарина и Рыкова и по вопросам коллективизации, и по вопросам индустриализации. Тезисы эти были утверждены комиссией против двух голосов (Рыкова и Бухарина). Контртезисы Сталина радикально расходились с установками Рыкова и Бухарина, даже больше — с директивами XIV и XV съездов партии, именно по вопросу о методах, путях и темпах проведения пятилетки в промышленности и сельском хозяйстве. Комиссия, приняв план Сталина, предоставила, однако, право Бухарину и Рыкову изложить свою критику плана Сталина в письменном виде на очередном заседании Политбюро. Рыков был против того, чтобы воспользоваться этим правом, Бухарин хотел доказать во что бы то ни стало недоказуемое. Томский беспрекословно присоединился к Бухарину. Рыков тогда сдался. Так появились контр-контртезисы по всем основным вопросам хозяйственной политики партии от имени этой тройки. Аппарат ЦК размножил эти тезисы и как «платформу правых» разослал местным организациям еще до того, как они стали предметом обсуждения в Политбюро. К ним были приложены тезисы Сталина — как решение ЦК, против которого теперь выступает «правая тройка». Сталин оформил «правых» юридически, а «партактивы» начали требовать расправы с «тройкой».

Пока Сталин считал возможным созвать заседание Политбюро, в ЦК образовалось наводнение резолюций с мест — «Решительно осуждаем правых капитулянтов — Бухарина, Рыкова, Томского», «Решительно требуем их вывода из Политбюро», «Решительно требуем... требуем...» Сейчас же, в разгаре этого потока резолюций и «негодования партии» по адресу «правых», было созвано совещание секретарей обкомов, крайкомов и ЦК национальных коммунистических партий для подведения итогов обсуждения «платформы правых». Совещание, при незначительном количестве «против», но при значительном количестве «воздержавшихся», внесло предложение в Политбюро и Президиум ЦКК об осуждении «платформы правых». Теперь Сталин созвал Политбюро и доложил результат «дискуссии» в местных «организациях» партии и центрального совещания при ЦК. Колеблющиеся члены Политбюро и Президиума ЦК покорились «воле партии». Рыков, Бухарин и Томский оказались в изоляции. Уже тогда Рыков произнес впервые цитированную мною в другом месте известную фразу: «Сколько раз я говорил Николаю Ивановичу (Бухарину. — А. А.) — не надо составлять письменных документов!» Впоследствии, в феврале 1937 года, он эту фразу вновь повторил. Рыков не понимал, что беспокойной рукой Бухарина водила незримая воля Сталина. Сталину нужны были письменные документы (он, конечно, и без них сделал бы свое дело, но так было легче), а Бухарин любил писать. Эту слабость Сталин использовал. «Вот документы, вами же подписанные, товарищи», — швырял ими Сталин каждый раз, когда правые сопротивлялись.

(Продолжение следует)

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

Очерки русской смуты

Генерал А. И. Деникин

Т о м в т о р о й. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 — апрель 1918

Г л а в а V I I. *Ликвидация Ставки. Арест генерала Корнилова.
Победа Керенского — прелюдия большевизма*

«Направление средств для ликвидации Ставки», о котором говорил генерал Алексеев в своем разговоре с Лукомским, принимало угрожающий характер. Еще по пути в Могилев Алексеев узнал, что Витебский и Смоленский комитеты собирают войска для похода на Ставку. В Орше он встретил сводный отряд, набранный из войск Западного фронта, под начальством подполковника Короткова. Отряд шел по приказу Керенского, распорядившегося, уже после отъезда генерала Алексеева, о «начатии решительных действий против Могилева»¹, причем военное министерство указывало и способы действия...². 32-го передовые части отряда находились уже на станции Лотва, последней перед Могилевом. По иронии судьбы Коротков был тот самый председатель «боевой контактной комиссии» фронтового комитета, который во время моего июльского наступления явился к генералу Маркову и с неподдельным чувством отчаяния докладывал: «Господин генерал! Мы совершенно бессильны. Нас никто не слушает. «Они» не хотят идти...» Теперь «они» шли.

Даже 1-го сентября, когда генерал Алексеев находился уже в Могилеве, командующий войсками Московского округа, полковник Верховский говорил ему по аппарату: «Сегодня выезжаю в Ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить то издевательство над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место! Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющевский-Плющик, Пронин и Сахаров должны быть арестованы немедленно и препровождены»... Революционный неопит был так нетерпелив в своем желании лично разгромить Ставку, что не соглашался подождать ответа отвлеченного к другому аппарату Алексеева: «Выеду непременно, не имею времени ожидать, отдаю распоряжения об отъезде»...

Генерал Алексеев, беседуя с Керенским по аппарату³, указав на создаваемые им осложнения, говорил: «Я принял на себя обязательство путем одних переговоров окончить дело... Мне не было сделано даже намек на то, что уже собираются войска для решительных действий против Могилева». Керенский оправдывался и необычайно торопил ликвидацию: «Нами был получен за сутки целый ряд сообщений устных и письменных, что Ставка имеет большой гарнизон из всех родов оружия, что она объявлена на осадном положении, что на 10 верст в окружности выставлено сторожевое охранение, произведены фортификационные работы с размещением пулеметов и орудий... Принимая всю обстановку во внимание, не считаю возможным подвергать вас и следственную комиссию возможному риску и предложил Короткову двинуться. Никаких других распоряжений каким бы то ни было другим частям от меня не исходило. Я

П р о д о л ж е н и е. См. Вопросы истории, 1990, №№ 3—12; 1991, №№ 1—3.

предлагаю вам передать генералу Корнилову, что он должен сдать вам должность, отдать себя в распоряжение власти, демобилизовать свои войсковые части немедленно, причем ответственность на эти части не упадет, если это будет сделано немедленно... Все это должно быть выполнено... в 2-часовой срок с момента окончания нашего с вами разговора... Если через два часа не получу от вас ответа, я буду считать, что вы захвачены генералом Корниловым и лишены свободы действий».

Генерал Алексеев возражал, что должность он принял, «безопасность и свобода действий его и следственной комиссии вполне обеспечены», что «в Могилеве никакой артиллерии нет, никаких фортификационных сооружений не возводилось, войска вполне спокойны, и только при наступлении подполковника Короткова столкновение неизбежно». Наконец, в течение двух часов он не в состоянии собрать всех военных начальников.

Но Керенский, очевидно, не верил еще в благополучный исход ликвидации и проявлял великое нетерпение и страх. В исходе дня начальник его кабинета, полковник Барановский вновь обратился в Ставку с напоминанием: «Верховный главнокомандующий требует, чтобы ген. Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия взволнована свыше меры, и все грозит разразиться колоссальным взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв в форме выступления Советов и большевизма ожидается не только здесь, в Петрограде, но и в Москве и других городах. В Омске арестован командующий войсками, власть перешла к Совету. Обстановка такая, что дальше медлить нельзя: или промедление и гибель всего дела спасения родины, или немедленные решительные действия, аресты указанных вам лиц, и тогда возможна еще борьба. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет ген. Алексееву решение и он примет его немедленно: арестует Корнилова и его соучастников... Сегодня, сейчас необходимо дать это в газеты, чтобы завтра утром об аресте узнала вся организованная демократия. Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Советы бушуют, и разрядить атмосферу можно только проявлением власти и арестом Корнилова и других. Повторяю, дальнейшее промедление невозможно. Нельзя дальше только разговаривать, надо решаться и действовать»...

В этом панического характера обращении⁴ к Вырубову с исчерпывающей ясностью установлены взаимоотношения министра-председателя с Советами и те личные побуждения, которые двигали им во всей истории столкновения. Это впечатление не устраняет введенная в обращение вводная фраза о спасении Родины...

Алексеев ответил: «Около 12 1/2 часов главковерху отправлена мною телеграмма, что войска, находящиеся в Могилеве, верны Временному правительству и подчиняются безусловно главковерху. Около 22 часов генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, полковник Плющевский-Плющик арестованы. Приняты меры путем моего личного разъяснения Совету солдатских депутатов установления полного спокойствия и порядка в Могилеве; послан приказ полковнику Короткову не двигать войска его отряда далее станции Лотва, так как надобности в этом никакой нет. Таким образом, за семь часов времени пребывания моего в Могилеве были исполнены только дела и исключены разговоры. Около 24-х часов прибывает следственная комиссия, в руки которой будут переданы чины, уже арестованные, и будут арестованы по требованию этой комиссии другие лица, если в этом встретится надобность. С глубоким сожалением вижу, что мои опасения, что мы окончательно попали в настоящее время в цепкие лапы Советов, являются неоспоримым фактом».

* * *

Когда велись еще последние переговоры, они имели по существу информационный, формальный характер, ибо психологически в Ставке все уже было кончено. Еще 29-го весьма поспешно уехал из Могилева Завойко — «подымать Дон»⁵. Многие чины Ставки перестали ходить на занятия; большая группа толпилась днем и ночью в том доме, в котором должен был остановиться генерал Алексеев... В хронике Корниловского полка описывается сцена, как 31-го в одной группе «приближенных» шли разговоры о «бегстве», и только один из присутствовавших с возмущением заявил, что долг всех, стоявших заодно с генералом, до конца оставаться при нем и разделить его участь, хотя бы это была смерть. Заместитель арестованного председателя Главного комитета офицерского союза спрашивал Алексеева по прямому проводу «как быть» и докладывал своему почетному председателю, что «союз до последней минуты шел по тому пути, на который Вы его благословили, и Главный комитет всюду поддерживал те требования, которые предъявлялись генералом Корниловым для устройства армии»... Доклад заканчивался тревожной фразой: «Смею добавить, что судьба Главного комитета и всего союза в Ваших руках»...

С полками простился Корнилов в лице их командиров. Он был спокоен и внешне ничем не проявлял внутреннего состояния своей души. «Передайте Корниловскому полку, — сказал он, — что я приказываю ему соблюдать полное спокойствие; я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля братской крови».

Капитан Неженцев, командир Корниловского полка, рыдая, как ребенок, говорил: «Скажите слово одно, и все корниловские офицеры отдадут за вас без колебания свою жизнь...» Более сдержанным был командир Текинского полка, полковник Кюгельген, который на вопрос приближенных Корнилова, можно ли ожидать от полка самопожертвования, ответил: «Я не знаю». Полковник Кюгельген не сроднился с полком и говорил только от себя.

Впрочем, все уже было кончено и решено. Даже нечто страшное, еще не высказанное, но уже владевшее мыслью и сдавившее ее в холодных тисках обреченности... Наступила ночь, и губернаторский дом погрузился в тревожную жуткую тишину. Верховный подводил итоги своей жизни. Все кончено, все усилия его спасти страну и армию пошли прахом; поддержки тех, на кого надеялся, не встретил; надежды более нет. Жить дольше не стоит.

Я не знаю, но я уверен, что в эти минуты на решение Верховного влияло и связывающее слово, сказанное им 28-го в «обращении к народу»: «... Долг солдата, самопожертвование гражданина Свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня в эти грозные минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства... Я заявляю всему народу русскому, что предпочитаю смерть устранению меня от должности Верховного». Завойко позволил себе, не имея нравственного права, поместить в проекте воззвания столь индивидуального характера фразу, которая могла бы исходить лишь от самого лица, обращавшегося с воззванием, оказывала, несомненно, нравственное давление, и исключение которой для Верховного было психологически трудно или даже невозможно.

Но Корнилов не мог уйти из жизни тайно. Его мысли разгадала друг-жена, делившая с ним 22 года его трудную, беспокойную жизнь... На другой день в той самой комнате, где некогда томился духом свергаемый император, происходила новая мистерия, в которой шла борьба между холодным отчаянием и беспредельной преданной любовью... Выйдя из кабинета мать сказала дочери: «Отец не имеет права бросить тысячи офицеров, которые шли за ним. Он решил испить чашу до дна».

* * *

Так как все чины Ставки, причастные к выступлению, подчинились добровольно, то арест их, произведенный 1-го сентября генералом Алексеевым, имел скорее характер необходимой предосторожности против «правительственных отрядов» и революционной демократии, враждебно настроенной в отношении «мятежников». Губернаторский дом окружили постами георгиевцев, внутренние караулы заняли верные текинцы. На другой день генерала Корнилова и его соучастников перевели в одну из могилевских гостиниц, а в ночь на 12 сентября всех перевезли в Старый Быхов, в наскоро приспособленное для заключения арестованных здание женской гимназии.

Ставка и город начали мало-помалу приходить в себя. Гарнизон несколько еще волновался: корниловцы испытывали тяжелое чувство недоумения, внутренних противоречий и подавленности от пережитой драмы; георгиевцы подняли головы. Ген. Алексеев поддержал нравственно первых, пристыдил вторых, обещая прочесть длинные списки полученных ими за городские выборы «денежных подарков» от еврейского населения Могилева. На первом же смотре корниловцев он громко, в присутствии собравшейся толпы солдат и граждан сказал, что Корнилов не виновен в приписываемых ему преступлениях и что праведный суд снимет с него тяжелое и необоснованное обвинение...

Одно это коренное расхождение во взглядах до крайности затрудняло совместную службу его с Керенским. Но и кроме этого атмосфера Ставки становилась совершенно невыносимой: корниловские мероприятия для оздоровления армии были отброшены; армия волновалась, офицерство попало в еще более мучительное положение. «Я сознаю. — писал Алексеев одному из союзных военных агентов, — свое бессилие восстановить в армии хоть тень организации: комиссары препятствуют выполнению моих приказов, мои жалобы не доходят до Петрограда; Керенский рассыпается в любезностях по телеграфу и перлюстрирует мою корреспонденцию; невзирая на все обещания его, судьба Корнилова остается загадочной»⁶...

Еще более определенно высказался генерал Алексеев в письме своем к Каледину: «Три раза я вызвал к совести Керенского, три раза он давал мне честное слово, что Корнилов будет помилован; на прошлой неделе он показывал мне даже проект указа, одобренный якобы членами правительства... Все ложь и ложь! Керенский не подымал даже этого вопроса. По его приказу украдены мои записки. Он или к... или сумасшедший. По моему — к...». В этом письме совершенно новое требование помилования. В Быхове шел разговор исключительно о реабилитации, и амнистия считалась совершенно неприемлемой.

Так же безрезультатны были его усилия вырвать из Бердичева находившуюся там в тюрьме группу генералов. Генерал Алексеев, не достигнув в этом отношении никаких результатов в смысле воздействия на Керенского, написал горячее письмо редактору «Нового Времени» Б. Суворину, требуя, чтобы немедленно была поднята газетная кампания «против убийства лучших русских людей и генералов». Действительно, вскоре печать занялась нашим делом, хотя, впрочем, усилия ее только разжигали еще более страсти бердических военно-революционных организаций.

Но совершенно невыносимым стало положение ген. Алексеева, когда он получил неожиданное сведение, что его действия вызывают осуждение со стороны... ген. Корнилова, который считает, что с ликвидацией Ставки роль генерала Алексеева окончена и что дальнейшее пребывание столь авторитетного лица на посту начальника штаба только укрепляет морально позицию Керенского... Дальнейшая жертва оказалась ненужной, и генерал Алексеев ушел. На должность начальника штаба Верховного был призван генерал Духонин, начальник штаба Западного фронта.

* * *

Корниловское выступление закончилось. В ряду катаклизмов русской революции — это был едва ли не наиболее спорный в оценке его целесообразности и последствий. По первому вопросу я высказался раньше: нет надобности говорить о целесообразности явления, когда оно стало исторически неизбежным. По второму... Керенский считает корниловское движение «прелюдией большевизма» — оценка, имеющая вполне правильное обоснование, если только довести мысль до логического конца, определив, какой именно момент движения считать «прелюдией». Таким моментом была без сомнения победа Керенского.

Победа Керенского — поражение Корнилова. Этот этап в историческом ходе революции своими ближайшими видимыми результатами, вне исторической перспективы, заслонил истинный характер движения, создав теории настолько же элементарные, насколько и близорукие: «контрреволюция», «бонапартизм», «авантюризм». Между тем, выступление Корнилова было только, хотя и односторонней, но яркой вспышкой на фоне долгой, тягучей и бездейственной борьбы между социалистической и либеральной демократией⁷. Корпус Крымова и офицерские организации, невзирая на преобладание, быть может, в командном составе их элементов более правых, являлись все же в силу сложившейся обстановки и характера организующего центра, орудием либеральной демократии. Поэтому, когда в стане своих врагов корниловцы увидели всю революционную демократию и особенно приостановивший на время свое вооруженное выступление левый сектор ее (большевиков), — это было понятно и естественно. Но что из среды рыхлой, боязливой или инертной интеллигентской массы, сохранявшей «нейтралитет», на той стороне оказалось много, очень много видных либеральных деятелей — это являлось совершенно неожиданным, представляя большое и роковое историческое недоразумение.

Газеты начала сентября наполнены резолюциями отделов партии народной свободы и общественных комитетов, из которых одни призывали к осторожности в вопросе осуждения Корнилова, другие выносили ему резкое осуждение, третьи присоединялись к клеветническим нападкам против него революционных организаций. Даже, когда последние призывали русских воинов «не верить тем, кто во имя восстановления старого порядка готов предать свободу, предать родину и открыть путь немцам». И это говорили или по крайней мере с этим соглашались те самые люди, которые только две недели тому назад на Московском совещании пели «осанну» Верховному главнокомандующему, возлагая на него все свои надежды.

Вообще в эти дни несуществующее⁸ правительство получило от самых разнообразных кругов огромную массу телеграмм и постановлений, выражавших доверие к нему, сочувствие и обещание активной поддержки: революционный этикет имел точно установленные и строго обязательные формы, скрывающие истинную сущность...

Русская либеральная демократия в этот исторический момент проявила удивительное отсутствие прозорливости и даже простого политического такта. Все ждали, все хотели изменения порядка государственного управления, не могли заблуждаться относительно тех путей, которыми придет это изменение и, тем не менее, остались теплыми среди холодных и горячих — для того, очевидно, чтобы через два месяца приступить к лихорадочной организации «центров» и очагов восстания и сопротивления.

Буржуазия, распыленная и физически, и духовно, терялась во враждебной ей стихии, и часть ее из чувства самосохранения присоединяла свой голос к голосу тех, кто шествовал за победной колесницей. Каким образом слагалась эта психология общественности в корниловские дни, поясняют следующие строки одного из видных общественных деятелей того времени: «Перед страной было неудавшееся, сорванное выступление, которое нельзя было уже ни спасти, ни переделать. Как могли отнестись ко всему этому так называемые общественные круги?».

«Многие поникли головой и опустили руки. Другие, еще державшиеся на поверхности и пытавшиеся еще что-то спасти, не имели ни времени, ни оснований останавливаться на несостоявшихся действиях и оценивать их в отвлеченности. Им оставалось только идти дальше. Наконец, третьи с резкостью напали на неудачную попытку, которая сыграла в пользу противников».

«Эти три течения были в кругах не социалистических. А среди этих последних стоял скрежет зубный и клочкотала небывалая ярость».

«Я нарочно очерчиваю сейчас общее обывательское состояние, ибо тогда все реагировало, все воспринимало, все отзывалось. Под этим общим настроением разумею и настроение массы членов партии к. д. и примыкавших к ним. Эти настроения возникали и слагались сами, ибо никакой общей команды из центра партии не было».

«Нужно принять также во внимание и то, что во многих местах к. д. были связаны разными техническими соглашениями с умеренными социалистами, входили в разные коалиции, которые отражали на местах коалицию Временного правительства. Наконец, нужно иметь в виду, что к. д. были в составе Вр. правительства. И вдруг, это самое Вр. правительство объявляет стране, что готовилось на него, а не на Советы покушение. Очевидно, что для недоумения, сблзнов и неразберихи полной и общей было более чем достаточно оснований. Истинное положение стало выясняться только позднее. В «первые же дни», как это всегда бывает при неудаче, вихрем понеслись обвинения, порицания и проклятия. Эсеровские думы выли от злобы и бешенства. К.-д. фракция отражала названные выше настроения».

Правда, были и объективные условия, способствовавшие углублению недоразумения. В широких провинциальных кругах, мало посвященных в тайны нового «двора», настоящая физиономия Временного правительства и истинная роль в нем триумvirата и Керенского были недостаточно хорошо известны. Еще менее определенным казался политический облик Корнилова, в силу исключительного положения его как военного вождя и вследствие конспиративного характера деятельности его окружения. Наконец, с самого своего начала в силу ряда неблагоприятных обстоятельств успех выступления представлялся весьма проблематичным...

Последнее обстоятельство — едва ли не самое главное. Я глубоко убежден, что техническая удача выступления в корне изменила бы всю политическую оценку корниловского движения. Нашлись бы и глубокая почвенность, и сочувствие широких либеральных кругов, и самое яркое, кричащее его проявление. В бесстрастном отражении истории отпадает вся театральная бутафория, созданная человеческой слабостью; резолюции общественных деятелей — дань революционной традиции, приносимая не раз «страха ради иудейска»... Проявление покорности правительству генералов — не только просто ненавидевших его, но и причастных к подготовке выступления... Постановления о своей непорочности и с порицанием «мятежу» — войсковых частей, военно-общественных организаций, неведомых «офицерских депутатов», даже столичных военных училищ, чуть ли не поголовно причастных к конспиративным кружкам... Все эти декорации создавали картину пожара, где на обширном поле, объединенные в несчастье, сидят среди своего спасенного скарба — «завоеваний революции» — негодующая демократия, порицающая буржуазия и «обманутые» войска. А посреди мрачно высаятся обгорелые стены Быховской тюрьмы.

Генерал Корнилов чувствовал себя всеми покинутым и болезненно нервно относился к сообщениям печати о своем «деле»: «Я понимаю, что лбом стены не прошибешь, но зачем они так стараются...» Особенно удручали его слухи, что даже его детище — Корниловский полк — снял свои нарукавные знаки⁹ и пошел «на поклонение новым богам». Слухи были не верны. Возмущенный ими командир полка, капитан Неженцев, писал: «Я приказал снять эмблему, так как был бессилен в борьбе с темной солдатской массой, разжигаемой... агитаторами, заполняющими все железнодорожные станции и, подобно кликушам, выкрикивающими с надрывом голосовых связок против Вас и полка, носящего Ваше имя... Но, сняв дорожку нам эмблему,.. мы ею прикрыли наш ум, наше сердце и волю»...

Как бы то ни было, после августовских дней в словаре революции появился новый термин — «корниловцы». Он применялся и в армии, и в народе, произносился с гордостью или возмущением, не имел еще ни ясных форм, ни строго определенного политического содержания, но выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины».

К половине октября буржуазная пресса открыла кампанию в пользу реабилитации Корнилова, а на возобновившемся многолюдном «Совещании общественных деятелей» в Москве вновь послышалась «осанна» мятежному Верховному. Сначала робко — из уст Белевского, который говорил: «...Нас называют корниловцами. Мы не шли за Корниловым, ибо мы идем не за людьми, а за принципами. Но поскольку Корнилов искренно желал спасти Россию, — этому желанию мы сочувствовали». Потом смелее — устами А. И. Ильина: «Теперь в России есть только две партии: партия развала и партия порядка. У партии развала — вождь Александр Керенский. Вождем же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась». Оба заявления были встречены «громом аплодисментов».

Мало-помалу положение стало проясняться. Снова начинало организовываться сбитое с толку в августовские дни общественное мнение, теперь уже явно сочувственное корниловскому движению.

* * *

Керенский победил.

Все трагическое значение этой победы обнаружилось на другой же день после ареста Корнилова: 2-го сентября 3-му конному корпусу велено было двигаться к Петрограду для защиты государственного строя, Временного правительства и министра-председателя от готовившихся посягательств анархо-большевиков. В составе корпуса были все те же офицеры, которые вчера еще шли сознательно против Временного

правительства, и только во главе корпуса вместо «мятежного» генерала Крымова стоял подлинно «царский» генерал Краснов, притом между Ставкой и Керенским происходили трения: последний намечал на должность корпусного командира генерала Врангеля.

Победа Керенского означала победу Советов, в среде которых большевики стали занимать преобладающее положение, упрочила позицию самочинно возникших левых боевых организаций, в виде военно-революционных комитетов, комитетов защиты свободы и революции и т. д. Не приобретает ни в малейшей степени доверия революционной демократии — этот термин в понимании масс переместился теперь значительно влево — Керенский окончательно оттолкнул от себя и Временного правительства те либеральные элементы, которые, пережив период паники, не могли потом простить ему своего ослепления; оттолкнул окончательно и офицерство — единственный элемент — забытый, загнанный, попавший в положение парив революции и все же сохранивший еще способность и стремление к борьбе. Потеряв решительно всякую опору в стране, Временное правительство считало возможным продолжать еще два месяца свои функции, заключавшиеся преимущественно в словесной регистрации тех явлений окончательного распада, которые переживало государство.

В октябре известная часть петроградской печати, с легкой руки Бурцева, выпускала зажигательные статьи и летучки под общим аншлагом: «Керенский должен поехать в Быхов и сказать генералу Корнилову: виноват!» Это предложение вызывало у одних гнев, у других улыбку и казалось тогда лишь более или менее остроумным полемическим приемом — не более того. Между тем, официальная реабилитация Корнилова действительно была единственным выходом из положения, требовавшим от Керенского, по нашему разумению, — справедливости, по его психологии, — политического и нравственного самопожертвования; выходом, который в бесстрашном и нелицеприятном освещении истории стал бы актом высокой государственной мудрости.

В Быхов Керенский не поехал. Но... в конце ноября судьба заставила его поехать в Новочеркасск и постучаться в двери другого «мятежника», генерала Каледина, ища убежища и защиты. Дверь оказалась запертой.

В оправдание свое революционной демократией часто высказывается мнение, что корниловское выступление окончательно развалило армию, ибо «вся трудная работа армейских организаций по созданию новой дисциплины и взаимного доверия в армии была снесена этим неслыханным актом мятежа высшего офицерства»...¹⁰ Та картина состояния армии, которую я привел в 1-м томе, свидетельствует, что развал шел, неизменно прогрессируя, ибо не ставилось никаких преград этому процессу. И, если дни выступления вызвали ряд новых кровавых расправ над несчастным офицерством, то это были только пароксизмы в общем течении социальной болезни, ставшей или вовсе неизлечимой или требовавшей хирургического вмешательства. Подмена генерала революционным деятелем на посту Верховного не внесла большего доверия к военной власти; массовые перемены в старшем командном составе не изменили его внутреннего существа, так как в этой среде были «корниловцы», были перелеты, но не было вовсе «керенцев»; выброшенный за борт по подозрению в «контрреволюционности» новый десяток тысяч офицеров, ослабив интеллектуально армию, не сделал оставшийся состав более однородным и революционным.

Армия шла к предназначенному ей концу. Но и в самом офицерстве под влиянием августовских событий произошли замешательство и некоторый психологический сдвиг. Замешательство при виде неустойчивого и сомнительного поведения многих старших начальников... Сдвиг — пока еще не в области политического мирозерцания, а лишь в поисках тех общественных группировок, которые удовлетворяли бы элементарным запросам их оскорбленного человеческого достоинства и возмущенного чувства патриотизма. В корниловские дни офицерство видело, что либеральная демократия, в частности кадеты, за немногими исключениями находятся или «в нетях» или в стане врагов. Это обстоятельство они учли и запомнили. Оно сыграло впоследствии немаловажную роль в создании известных политических настроений в стане антибольшевистских армий. Офицерство больно почувствовало тогда, что его бросила морально часть командного состава, грубо оттолкнула социалистическая демократия и боязливо отвернулась от него — либеральная.

* * *

Все описанные явления произвели бурное волнение лишь в верхних слоях — политически действенных — русского взбаламученного моря и отчасти в армии. Глубин народных, — того народа, во имя которого строилась, боролась, низвергалась власть, — корниловское выступление не всколыхнуло. Совершенно безразлично отнеслась к нему деревня, занятая черным переделом; несколько более экспансивно — рабочая среда в массе своих «беспартийных»; а безликий обыватель, еще более павший духом, продолжал писать теперь уже в Быхов — с мольбою о спасении, тщательно изменяя при этом свой почерк и опуская письма подальше от своего квартала.

«Бердичевская группа арестованных» ехала беспрепятственно в Старый Быхов¹¹. Предполагалась враждебная встреча на станции Калинковичи, где сосредоточено было много тыловых учреждений, но ее проехали ранним утром, и вокзал был пуст. Из конского вагона в Житомире нас перевели в товарный — приспособленный, с нарами, на которые мы тотчас улеглись, и после пережитых впечатлений, вероятно, все заснули мертвым сном. Когда проснулись утром — вся обстановка в вагоне так разительно отличалась от той — вчерашней, которая еще давила на мозг и память, как тяжелое похмелье... Наша стража — караульные юнкера — относились к нам с трогательным, каким-то застенчивым вниманием. Помощник фронтowego комиссара Григорьев, зашедший в вагон, воодушевленно рассказывал, как его на вокзале «помяли» и как он «честил» революционную толпу. Казалось, что мы находимся в кругу своих доброжелателей, и единственный, кто чувствует себя арестованным, — это очередной комитетский делегат, вооруженный револьвером в какой-то огромной кобуре, хранящий молчание и беспокойно поглядывающий по сторонам.

В Старом Быхове мы простились с нашими спасителями — юнкерами. Я не знаю ни имен их, ни судьбы: всех разметало по лицу земли, многих погубило русское безвременье. Но если кому-нибудь из уцелевших попадутся на глаза эти строки, пусть примет мой низкий поклон.

На станции нас ожидал автомобиль польской дивизии и брички. Я с Бетлингом¹² и двумя генералами сели в автомобиль; комитетчики запротестовали, пришлось одного взять на подножку. Покружили по грязным улицам еврейского уездного города и остановились перед старинным зданием женской гимназии. Раскрылась железная калитка, и мы попали в объятия друзей, знакомых, незнакомых — быховских заключенных, которые с тревогой за нашу судьбу ждали нашего прибытия.

Явился к Верховному. «Очень сердитесь на меня за то, что я вас так подвел?» — говорил, обнимая меня Корнилов. «Полноте, Лавр Георгиевич, в таком деле личные невзгоды ни при чем».

Мы уплотнили население Быховской тюрьмы; я и Марков расположились в комнате генерала Романовского. Все пережитое казалось уже только скверным сном. У меня наступила реакция — некоторая апатия, а самый молодой и экспансивный из нас — генерал Марков писал 29-го в своих летучих заметках: «... Нет, жизнь хороша. И хороша — во всех своих проявлениях!...»

* * *

Ко 2-му октября в тюрьме находились: генералы 1. Корнилов, 2. Деникин, 4. Эрдели, 3. Ванновский, 5. Эльснер, 6. Лукомский, 8. Романовский, 7. Кисляков, 9. Марков, 10. Орлов; подполковники 17. Новосильцев, 13. Пронин, 20. Соотс; капитаны Ряснянский, 18. Роженко, 12. Брагин; есаул 19. Родионов; штабс-капитан Чунихин; поручик 21. Клецандо; прапорщики 14. Никитин, 15. Иванов; военный чиновник Будилович; 16. И. В. Никаноров — сотрудник «Нового Времени»; 11. А. Ф. Аладьин — член 1-й Государственной думы¹³.

Быховские узники менее всего похожи были на опасных заговорщиков. Люди самых разнообразных взглядов, в преобладающем большинстве совершенно чуждые политике и объединенные только большим или меньшим соучастием в корниловском выступлении и безусловным сочувствием ему. Одни принимали в нем фактическое участие, другие попали на таких же основаниях, на которых можно было привлечь $\frac{9}{10}$ всего офицерства, третьи — просто по недоразумению. Жизнь разметала их впоследствии; семеро из них погибло¹⁴; некоторые по своим взглядам и позднейшей деятельности ушли далеко от идейного содержания корниловского движения... Но, тем не менее, 1 $\frac{1}{2}$ месяца пребывания в Быховской тюрьме, близкое общение, совместные переживания, общая опасность и общие надежды оставили после себя живой след и добрую память. Отбросим темные пятна...

Быховские узники пользовались полной внутренней автономией в пределах стен тюрьмы. Ни Верховная следственная комиссия, ни представитель Совета — Либер, ни комиссары Вырубов и Станкевич, посещая тюрьму, не делали никаких посягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое впечатление, будто всем было очень неловко играть роль наших «тюремщиков».

Корнилов в глазах всех заключенных оставался «Верховным»; его распоряжения исполнялись одинаково охотно как заключенными, так и чинами Текинского полка и офицерами георгиевского караула. Впрочем распоряжения эти не выходили за пределы лояльности, за исключением разве льготного допуска посетителей и корреспонденции.

День в тюрьме начинался в 8 час. утра. После чая — прогулка и посещение нас близкими. Это право двукратного посещения в день для многих было особенно ценным и мирило с тягостным лишением свободы. С особого разрешения следственной комиссии, на практике — с разрешения коменданта, подполковника Текинского полка Эргардта, допускались и посторонние. Это было по преимуществу офицерство:

члены комитета офицерского и казачьего союзов, чины Ставки, приятели... небольшого чина — все люди преданные и не стеснявшиеся столь «компрометирующей» в глазах правительства и Совета близостью к Быхову. За все полуторамесячное пребывание мое в Быховской тюрьме из старших чинов я видел там только генералов Абрама Драгомирова и Субботина. Из числа политических деятелей, так или иначе прикосновенных к корниловскому движению, не был никто; они не вели и переписки и вообще не подавали никаких признаков жизни.

Чаще других приезжали «по должности» комендант Ставки, полковник Квашнин-Самарин, бывший в мирное время адъютантом Архангелогородского полка, которым я командовал, и командир Георгиевского батальона, полковник Тимановский, ранее — офицер «железной дивизии». Оба они были глубоко преданы и корниловскому делу и лично нам и выдерживали яростный напор со стороны могилевских Советов, которым не давала покоя Быховская тюрьма. Квашнин-Самарин парировал нападки Советов необыкновенным хладнокровием и тонкой иронией; Тимановский терпел, мучился и ждал только дня нашего освобождения, чтобы освободиться самому от нестерпимой жизни в развращенной среде георгиевских солдат.

Обедали за общим столом. Иногда присутствовал и Корнилов, который вообще предпочитал столоваться в своей камере и по несколько дней не выходил на прогулку, чтобы, на всякий случай, приучить прислугу и георгиевский караул к своему длительному отсутствию¹⁵... Я приглядывался и прислушивался к новым людям. Разговор за столом также мало обличал «заговорщиков», перебегая с одной, подчас весьма неожиданной, темы на другую. Вот Аладьин, как-то особенно скандируя слова, что должно было означать английскую манеру, с пафосом говорит о Бердичеве, который за наши обиды «нужно стереть с лица земли так, чтобы на месте его выросли джунгли»... Ему возражает Марков: «Какая кровожадность в штатском человеке; и почему непременно джунгли, а не чертополох?» «Зачем вы сидите здесь, сэр Аладьин?» — вмешивается шутя генерал Корнилов. — Неужели вам еще не надоело с нами?» Это деликатный вопрос. во всех свидетельских показаниях говорится, что Аладьин попал по недоразумению; его предлагают освободить — он не соглашается.

На другом конце стола Новосильцев с трудом отбивается от атаки Никанорова и Родионова, бичующих кадетскую политику. Новосильцев изнемогает, но по счастью появляется «громоотвод»: вмешивается Аладьин, оказавшийся единомышленником с крайними правыми. «Позвольте, как так? Это говорит «трудовик»-Аладьин, который после разгона 1-ой Думы поднимал финскую красную гвардию?..» В другом месте Эрдели начал о Толстом, с которым он в дальнем родстве и знаком был лично, и кончил параллелью между литературными типами французской и русской женщины, обнаружив неожиданно большую эрудицию и тонкое литературное чутье. Мрачный Ванновский вполголоса, угрюмо бурчит о том, что «впереди мерзость запустения» и что «всему виною... отмена крепостного права». Ему возражает Романовский: «Конечно — это только образ? Но и он не верен: виною очевидно запоздалая отмена крепостного права»... Иногда в спор вмешивается Лукомский солидно, категорично, с некоторой иронией. А с левого фланга по рукам передают рукопись кого-то из наших поэтов: Брагин — злободневный бытовик, Будилович — лирик.

Полудни приходят газеты, и поэтому за ужином разговор ведется исключительно на злобу дня: ругаем правительство и Керенского, поносим Совет и ищем проблеска на политическом горизонте. Проблеска, однако, не видно. С 8-го октября, после внушения, посланного Корниловым общественным деятелям, газеты переполнены нашим делом. У Маркова под этой датой записано: «До нас доходят тысячи слухов. Рекомендуют опасаться ближайших 10—12 дней. В какой еще водоворот попадешь».

Кисляков, проштудировав последний номер «Известий», меланхолически заявляет: «Не важно... Как вы думаете — прикончат?» «Нас не за что, а вас — несомненно: подумайте, «какой позор!» — сам на себя восстал!...»¹⁶. Талантливый и веселый человек, но не слишком мужественный. Напророчил себе несчастье: осенью 1919 г. в дни большевистской вспышки в Полтаве, вскоре подавленной, проезжая по улице в генеральской форме, был буквально растерзан толпой.

Нет, положительно, не стан мятежников, а «клуб общественных деятелей» или военное собрание. Вечером в камере № 6 как самой поместительной собирались обыкновенно арестованные для общей беседы и слушания очередных докладов. Иногда доклады были дельные и интересные, иногда совсем дилетантские. Темы — крайне разнообразные: Кисляков докладывал, например, стройную систему организации временного управления с «вопросительным знаком» во главе, долженствовавшим изображать фигурально диктатуру; Корнилов рассказывал о мартовских днях в Петрограде; Никаноров — о торговых договорах и православной общине (приходы); Новосильцев рисовал милую пастель на тему о русской старине и роде Гончаровых; Аладьин делал экскурсии в область потустороннего мира. Никогда не выступал Лукомский. Он только оппонировал или поддерживал высказанные положения; характерной чертой его речи было всегда конкретное, реальное трактование всякого вопроса: он не вдавался в идеологию, а обсуждал только целесообразность. Его речь с некоторым оттенком скептицизма и обыкновенно хорошо обоснованная не раз умеряла пыл и фантазию увлекавшихся.

Все разговоры сводились, однако, в конце концов, к одному вопросу, наиболее мучительному и боль-

ному — о русской смуте и о способах ее прекращения. Впрочем, политические идеалы вообще не углублялись и поэтому быховцев не разделяли. Средством же спасения страны, невзирая на постигшую недавно неудачу, всеми признавалось только одно — заключавшееся в схеме Кислякова.

* * *

День кончался обыкновенно в нашей камере, иногда с гостями, иногда в беседе втроем: Романовский, Марков и я.

Иван Павлович Романовский. Человек, оставивший после себя яркий след в истории борьбы за спасение Родины. Человек, олицетворявший собою светлый облик русского офицера и павший от преступной руки заблудившегося духовно русского офицерства. Человек — «загадочный»... Это впечатление «загадочности» создалось действительно впоследствии среди широкого круга людей, даже без предубеждения относившихся к Романовскому, не имея решительно никаких оснований в искренней, прямой натуре покойного. «Загадочность» явилась извне как результат противоречий между жизненной правдой и той тиной лжи, которую создавала вокруг него сложная политическая интрига. Об этом — речь впереди. Тогда же личность Ивана Павловича была кристально ясной и привлекла к нему общие симпатии.

Я мало знал тогда Ивана Павловича, но много слышал о нем от других, в том числе от Маркова — его наиболее близкого друга. Родился он в семье армейского офицера. Отлично окончил Константиновское артиллерийское училище и вышел в гвардейскую артиллерию; прослушал Академию Генерального штаба и тотчас же, против желания начальства, уехал на войну, в Манджурскую армию. Тогда уже впервые сложилась боевая репутация «капитана Романовского» из многих мелких бытовых и боевых фактов, о которых сам он никогда не рассказывал, но которые становились известными в кругу людей, знавших его.

Потом служба в Туркестанском округе. Трогательные отношения, установившиеся между молодым офицером и старым ветераном — генералом Мищенко. Несмотря на разницу в возрасте, характере и мировоззрении, было нечто удивительно близкое и общее в этих представителях двух эпох, двух поколений русского офицерства: то особенное рыцарское благородство, преломленное в многократной призме времени, но словно только что навеянное страницами «Войны и мира» или старой кавказской были... Воспоминания о Туркестане, о поездках на Памир, в Бухару, к границам Афганистана сохранились особенно ярко в его памяти. Там, вдали от людской пошлости и злобы, среди буйной и дикой природы, не раз мечтал он отдохнуть когда-либо от каторжного труда, который судьба взвалила на его плечи...

Потом Петроград. Сначала в Генеральном, потом в Главном штабе. Этот период службы Ивана Павловича имел уже более общественный характер. В жизни Главного штаба, после длительного периода отчуждения от армии, наступил перелом. Три человека — генералы Кондрозовский (дежурный генерал), Архангельский (начальник отдела) и полковник Романовский (начальник II отделения), ведавший назначениями, внесли новое направление в деятельность учреждения, довлеющего над бытом армии: своим беспристрастием и доброжелательством они сумели умиротворить ту вереницу придавленного робкого и возмущенного офицерства, которое не раз обивало пороги импонирующего своей надменной важностью желтого дома под триумфальной аркой.

Иван Павлович с необыкновенным терпением выслушивал всех, исполнял, что мог и что позволяла совесть, а когда приходилось отказывать, делал это от себя, не сваливая на начальника и не обнадеживая просителя — с той исключительной прямоотой, которая впоследствии, в добровольческий период, создала ему так много врагов.

Офицеры Генерального штаба, состоявшие в главных управлениях, перед войной специализировались каждый в своем узком деле, зачастую чуждом стратегии и боевых вопросов. «Не было никакого общего руководства нашим образованием, — говорит один из них. — Мы были предоставлены сами себе и имели полную возможность мирно спать, довольствуясь ролью военных чиновников»... Чтобы хоть несколько расширить военные горизонты, компания молодежи, по инициативе Романовского, Маркова и Плещевского-Плющика, организовала военную игру. «Среди нас, — говорил один из участников, — особенно крупной фигурой выделялся Иван Павлович. Спокойный, скромный, но, вместе с тем, уверенный в себе, он поражал нас верностью и обоснованностью своих решений... Даже такие строптивые, как покойный Марков — наш общий и незабвенный друг, молчаливо признали его авторитет».

С началом отечественной войны Иван Павлович состоял начальником штаба 25-й пехотной дивизии, а потом командиром Сальянского полка. Только удивительная скромность его привела к такой обидной несообразности, что храбрый офицер этот не носил георгиевского креста. Многократные представления его где-то застревают и не приводят к желанным результатам. В одном из случайно сохранившихся представлений Ивана Павловича в чин генерала так была охарактеризована его боевая деятельность: «24 июня... Сальянский полк блестяще штурмовал сильнейшую неприятельскую позицию... Полковник Романовский вместе со своим штабом ринулся с передовыми цепями полка, когда они были под самым жестоким огнем противника. Некоторые из сопровождавших его были ранены, один убит и сам коман-

дир... был засыпан землей от разорвавшегося снаряда... Столь же блестящую работу дали Сальянцы 22 июля. И этой атакой руководил командир полка в расстоянии лишь 250 шагов от атакуемого участка под заградительным огнем немцев... Выдающиеся организаторские способности полковника Романовского, его умение дать воспитание войсковой части, его личная отвага, соединенная с мудрой расчетливостью, когда это касается его части, обаяние его личности не только на чинов полка, но и на всех, с кем ему приходилось соприкасаться, его широкое образование и верный глазомер — дают ему право на занятие высшей должности...

В тяжелых словах официальной реляции — глубокая внутренняя правда, не поблекшая до последнего часа, когда люди с иступленным разумом и гнилою совестью грязнили светлый облик Ивана Павловича и убили его.

Помню, как в начале революции в дни своего начальствования Ставкой я получил однажды из армии пять настоячивых предложений для Ивана Павловича различных высоких назначений по Генеральному штабу; и как он, запрошенный о своем желании, категорически отказался выбирать, предоставив Ставке назначить его «туда, где служба его будет признана более полезной». Его назначили тогда начальником штаба 8-й армии к Каледину, с которым служить пришлось недолго, так как вскоре по требованию Брусилова Каледина отчислили в Военный Совет. Но и двух недель совместной службы было очевидно достаточно, чтобы создать те теплые отношения, которые я потом наблюдал между ними в Новочеркаске и которые были не совсем обычны для хмурого и замкнутого Каледина.

Я знал, что в корниловском выступлении Иван Павлович был доверенным лицом Верховного, и поэтому тем более ценной была в нем удивительная простота и скромность во всем, что касалось его роли и взаимоотношений к Корнилову. Никогда — никакой фразы, никакого подчеркивания, никакой «ревности» к чужому влиянию на Верховного. В его речи как будто совсем исключались местоимения «я» и «мы», которыми так играла хлестаковщина, случайно прикосновенная или вовсе чуждая выступлению, расцветшая махровым цветом особенно тогда, когда первая опасность миновала и когда звание «корниловца» давало некоторые моральные, иногда даже и материальные выгоды.

В быховском «альманахе» записаны слова Романовского: «Могут расстрелять Корнилова, отправить на каторгу его соучастников, но «корниловщина» в России не погибнет, так как «корниловщина» — это любовь к Родине, желание спасти Россию, а эти высокие побуждения не забросать никакой грязью, не затоптать никаким ненавистникам России».

Иван Павлович был убежден в правоте корниловского дела и без фразы, без позы и жеста отдал ему свои силы, сердце и мысль. И сделал это так просто, как только мог сделать человек высокой души. Это обстоятельство тем более характерно, что его несколько тяготили и параллельное существование в Ставке двух штабов — официального и неофициального, и физиономия ближайшего «окружения», и... отсутствие веры в успех выступления.

Это последнее обстоятельство побудило Ивана Павловича отнестись с величайшей осторожностью к технике отдачи распоряжений, относившихся к выступлению, чтобы возможно меньшее число подчиненных лиц подвести под ответ. Всю вину и всю ответственность он брал на себя. 2-й генерал-квартирмейстер Ставки, полковник Плющевский-Плющик рассказал мне характерный эпизод.

Все вызовы надежных офицеров из армии под предлогом обучения их пулеметному делу были сделаны Романовским, за его подписью, хотя это входило в обязанность П.-П.-ка. Эти подписи впоследствии послужили серьезнейшим поводом к обвинению Ивана Павловича. «Он сознательно спасал меня, — говорил П.-П., — и не только спасал, но сумел скрыть это от меня же. Я узнал об этом совершенно случайно, присутствуя при подписании Романовским последнего вызова, кажется, уже на второй день корниловского выступления». «Что ты делаешь? — спросил я его. — Ведь это моя обязанность». — «С какой стати я стану подводить тебя. Я уже человек обреченный, и лишняя подпись разницы не составит. Ты же фактически в деле участвовал, и ввязываться теперь не имеет смысла».

~ ~ ~

Чем дольше я присматривался к Ивану Павловичу, тем ближе, роднее становился он мне. И жизнь в камере текла мирно, беседы, оживляемые пылким воображением Маркова и добродушной иронией Романовского, еще теснее сближали нас в обстановке неволи и томления духа. О прошлом говорили мало, больше о будущем. Помню, как однажды, после обсуждения судеб русской революции, ходивший крупными шагами по комнате Марков вдруг остановился и с какой-то детской доброй и смущенной улыбкой обратился к нам: «Никак не могу решить в уме и сердце вопроса — монархия или республика? Ведь если монархия — лет на десять, а потом новые курбеты, то, пожалуй не стоит...»

Эти слова знаменательны: они являются отражением тех внутренних переживаний, которые испытывала часть русского офицерства, мучительно искавшая ответа, где проходит грань между чувством, атавизмом, разумом и государственной целесообразностью.

Председатель следственной комиссии Шабловский принял поручение не от Керенского, а от Временного правительства. Это обстоятельство и давало ему довольно широкую свободу в определении «мер пресечения» и порядка содержания арестованных. Вмешательство Керенского не могло играть поэтому решающей роли, тем более, что по ходу дела он являлся если не стороной, то, во всяком случае, главным свидетелем. Тем не менее, Керенский требовал от комиссии скорейшего выполнения следствия и ограничения его в отношении военного элемента только установлением виновности «главных участников». Он понимал, что, если углубить вопрос о корниловском движении, то правительство останется вовсе без офицеров.

Наружную охрану несли полурота георгиевцев — весьма подверженная влиянию Советов; внутреннюю — текинцы, преданные Корнилову. Между ними существовала большая рознь, и текинцы часто ломанным языком говорили георгиевцам: «Вы — керенские, мы — корниловские; резать будем». Но так как в гарнизоне текинцев было значительно более, то георгиевцы несли службу исправно и вели себя корректно.

Неоднократно проходившие через станцию Быхов солдатские эшелоны проявляли намерение расправиться с арестованными. Были случаи высадки и движения их в город. Впрочем, такие неорганизованные попытки быстро ликвидировались польскими частями, расквартированными в городе. Командир польского корпуса, генерал Довбор-Мусницкий, считая свои войска на положении иностранных, отдал распоряжение начальнику дивизии — не вмешиваясь во «внутренние русские дела» и в распоряжения Ставки, не допускать насилия над арестованными и защищать их, не стесняясь вступать в бой. Действительно, два—три раза, ввиду выступления проходивших эшелонов, поляки выставляли сильные дежурные части с пулеметами, начальник дивизии и командир бригады приходили к нам улаживать с Корниловым относительно порядка обороны.

Тем не менее угроза самосуда все время висела над быховцами. Советский официоз, за ним вся левая печать громко, иногда истерически требовали вывода нас из Быхова и применения каторжного или, по крайней мере, арестантского режима. Переведенный в Ставку большевистский генерал Бонч-Бруевич¹⁷, назначенный начальником моголевского гарнизона, на первом же заседании местного Совета солдатских и рабочих депутатов сказал зажигательную речь, потребовав удаления текинцев и перевода быховцев в моголевскую тюрьму, и с этим требованием во главе депутации явился к Керенскому... Эволюция генерала Бонч-Бруевича по моральным его свойствам хотя и не была неожиданной, но представляет все же известный психологический интерес: в дни первой революции (1905—07 гг.) в печати появился ряд его статей, изданных потом отдельным сборником, в которых, наряду с проявлением крайних правых воззрений, он призывал к бессудному истреблению мятежных элементов...

Мелочи жизни: книжку Бонч-Бруевича быховцы отыскали и послали моголевскому Совету с надписью приблизительно такого содержания: «Дорогому моголевскому Совету от преданного автора». Не воздействовало: совдеп знал цену людям... с таким широким моральным диапазоном.

Одновременно принимались меры воздействия на текинцев с целью их удаления из Быхова. С мест шли вести, что Закаспийскую область постиг полный неурожай, и семьям текинцев угрожает небывалый голод. В то же время Туркменский областной съезд ходатайствовал перед Керенским об отправлении полка в Персию — «в даль от колес русской революции и лиц, могущих воспользоваться им, как слепым орудием», считая что в корниловском деле полк «действовал против русского народа», уронив себя в глазах «товарищей-солдат, вполне основательно могущих питать (к нему) недоверие и подозрительность». Несомненно, это постановление съезда было инспирировано извне. Корнилов в письме к Каледину, прося его оказать помощь хлебом семьям текинцев, так объяснял происхождение постановления: «Г. Керенский, которому не удалось заставить Текинский полк покинуть меня в критическую минуту, для того, чтобы по уходе его организовать над нами самосуд, теперь пытается сбить с толку текинцев, стараясь повлиять на них через Закаспийский Областной комитет»...

В то же время шли переговоры между Керенским и Исполнительным комитетом о замене текинской охраны сводным отрядом, составленным по выбору от... армейских комитетов. Ставка под напором всех этих давлений начала сдавать. Получено было сведение о переводе нас в местечко Чериков, удаленное верст на 80 от железной дороги и занятое гарнизоном из четырех разложившихся запасных батальонов... Позднее, уже в дни октябрьского выступления большевиков польский гарнизон получил распоряжение об уходе из Быхова, и начальник польской дивизии прибыл к нам в тюрьму со своим недоумением. Все это заставляло нервничать быховских заключенных: генерал Корнилов слал в Ставку грозные и резкие послания; было заявлено, что увод поляков и текинцев, а также перевод в Чериков равносильны выдаче нас на самосуд черни, что из Быхова мы не уйдем и не остановимся перед вооруженным сопротивлением, оставляя последствия его всецело на совести начальства Ставки.

Ставка нервничала еще более. Генерал Дитерихс (генерал-квартирмейстер) присылал от себя и от

имени начальника штаба успокоительные заверения. 29-го октября он, между прочим, писал генералу Лукомскому: «Увод текинцев — вымысел. Пока мы здесь с Духониным, этого не будет; и для того, чтобы сохранить текинскую охрану как у вас, так и у нас, мы согласились на уступку влияниям со всех сторон (что было необходимо для данного момента) временно взять комендантом этого субъекта...¹⁸. С поляками вышло недоразумение... Будьте покойны». В конце он прибавлял: «Ради Бога, желательно смягчать выражения генерала Корнилова, так как они истолковываются в совершенно определенном смысле. Сегодня в Минске вспышка, т. к. разнесся слух, что генерал Корнилов бежал. Из-за этого на весь сегодняшний день невероятно осложнилась обстановка на Западном фронте, и нам не пропускают ни одного эшелона, то есть потерял еще один день».

В лице Духонина, ставшего фактически Верховным главнокомандующим, Керенский и революционная демократия, представленная комиссарами и комитетами, нашли действительно тот идеал, который они долго и напрасно искали до тех пор. Духонин — храбрый солдат и талантливый офицер генерального штаба принес им добровольно и бескорыстно свой труд, отказавшись от всякой борьбы в области военной политики и примирившись с ролью «технического советника» — той ролью, которую революционная демократия мечтала навязать всему командному составу. Судьба как будто хотела, чтобы и этот последний опыт подчиненного сотрудничества с революционной демократией был произведен над умирающей армией — опыт, оказавшийся наименее удачным. Духонина никто из них не заподозривал в малейшем отсутствии лояльности. Он не препятствовал продолжавшимся упражнениям новоявленных творцов «революционной армии», хотя и не облекал свое отношение к ним в пафос и ложь Брусиловской тактики.

Духонин стал оппортунистом *par excellence* (в высшей степени. — *Ред.*). Но в противовес другим генералам, видевшим в этом направлении новые перспективы для неограниченного честолюбия или более покойные условия личного существования, — он шел на такую роль, заведомо рискуя своим добрым именем, впоследствии и жизнью, исключительно из-за желания спасти положение. Он видел в этом единственное и последнее средство.

Взаимоотношения Быхова и Могилева (Ставки и «Подставки», как острили в Совете) были поэтому весьма оригинальны. Ставка, несомненно, сочувствовала в душе корниловскому движению. Духонин и Дитерихс испытывали тягостное смущение неловкости, находясь между двух враждебных лагерей. Сохраняя полную лояльность в отношении к Керенскому, они в то же время тяготились подчинением ему и отождествлением с этим лицом, одиозным для всего русского офицерства; их роль — наших официальных «тюремщиков» — также была не особенно привлекательна; моральный авторитет Корнилова в глазах офицерства сохранился, и с ним нельзя было не считаться.

Не раз Быхов давал некоторые указания Могилеву, которые в мере возможности Ставка исполняла. Однажды Духонин прислал словесно просьбу Корнилову не приводить в исполнение его, якобы, намерения — выйти из Быхова и завладеть Ставкой, приводя ряд мотивов о нецелесообразности, несвоевременности и губительности для общего дела этого шага. Из тревожных и искренних слов Духонина можно было заключить, что он, осуждая в принципе ожидавшийся переворот, решительно никакого противодействия появлению Корнилова не окажет... Духонин, конечно, получил из Быхова успокоительные заверения, что это только вздорные слухи.

* * *

Между тем в Быхове слагался определенный взгляд на характер дальнейшей деятельности. Вскоре после прибытия бердичевской группы, на общем собрании заключенных поставлен был вопрос: «Продолжать или считать дело оконченным?» Все единогласно признали необходимым «продолжать».

Загорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе, кажется, Аладина, нашлось не мало защитников создания «корниловской политической партии». Я решительно протестовал против такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей ни времени и месту, ни характеру корниловского движения, ни нашему профессиональному призванию. Я считал, что имя Корнилова должно стать знаменем, вокруг которого соберутся общественные силы, политические партии, профессиональные организации — все те элементы, которые можно объединить в русле широкого национального движения в пользу восстановления русской государственности. Что, став в стороне от всяких политических течений, нам нужно лишь восполнить пробел прошлого и объявить строго деловую программу — не строительства, а удержания страны от окончательного падения. Этот взгляд был принят, и, в результате работы небольшой комиссии при моем участии, появилась утвержденная Корниловым так называемая «корниловская программа».

«1) Установление правительственной власти, совершенно независимой от всяких безответственных организаций, — впрямь до Учредительного собрания. 2) Установление на местах органов власти и суда, независимых от самочинных организаций. 3) Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России. 4) Создание боеспособной армии и организованного тыла — без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой

дисциплиной. 5) Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения транспорта и восстановления продуктивности работы фабрик и заводов; упорядочение продовольственного дела привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством. 6) Разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до Учредительного собрания».

Так как технически было неудобно опубликовывать «программу Быхова», то в печати она появилась не датированной, под видом программы прошлого выступления.

Другой серьезный вопрос был разрешен в более тесном кругу старших генералов вполне единодушно: хотя побег из Быховской тюрьмы не представлял затруднений, но он недопустим по политическим и моральным основаниям и может дискредитировать наше дело. Считая себя — если не юридически, то морально — правыми перед страной, мы хотели и ждали суда. Желали реабилитации, но отнюдь не «амнистии». И когда в начале октября нам сообщили, что Керенский заявил Аджемову и Маклакову, что суда не будет вовсе, это обстоятельство сильно разочаровало многих из нас.

Побег допускался только в случае окончательного падения власти или перспективы неминуемого самосуда. На этот случай обдумывали и обсуждали соответствующий план, но чрезвычайно несерьезно. В конечном итоге заготовлены были револьверы, несколько весьма примитивных фальшивых документов, штатское платье и записаны три-четыре конспиративных адреса, в возможность использования которых у меня лично не было никакой веры. Генерал Корнилов тяготился несколько вынужденным бездействием, но до большевистского выступления вопроса этого больше не подымал. О «занятии Ставки» говорили только разве шутя.

Тем не менее, вне быховских стен создалось совершенно определенное убеждение о предстоящем нашем побеге. Ставка умоляла не делать этого; советская печать несколько раз сообщала о побеге как о совершившемся факте; Завойко из Петрограда в каждом письме к Корнилову предостерегал от «необдуманного и беспричинного побега», который «может послужить к провалу всего дела»; Быхов «провожал» нас ежедневно, и однажды я был немало изумлен, когда священник, служивший у нас в тюрьме вечером, взволнованно и с глубоким чувством вознес особые молитвы, чином вечерни не установленные, .. о путешествующих. Общее мнение укрепилось окончательно, когда Текинский полк стал чинить выюки и ковать лошадей... Я думаю, что больше всех наш побег доставил бы удовольствие Керенскому.

Чтобы облегчить нам вынужденный уход из Быхова, в особенности, если бы пришлось идти походом с текинцами, принимались меры к постепенному освобождению арестованных. В этом нам содействовали и Ставка, и Верховная следственная комиссия. Корнилов не раз убедительно просил Духонина путем сношения с Керенским или с Шабловским добиться скорейшего освобождения из Быхова ряда лиц, «привлечение которых к его делу и дальнейшее содержание в заключении является сплошным недоразумением». Действительно, к 27-му октября ушла из тюрьмы половина заключенных, позднее и прочие, за исключением генералов Лукомского, Романовского, Маркова и меня, которые принципиально должны были оставаться до конца с генералом Корниловым.

Большое затруднение для нас представляло полное отсутствие денежных средств. Широкое субсидирование корниловского выступления крупными столичными финансистами, о котором так много говорил в своих показаниях Керенский, — вымысел. В распоряжении «диктатора» не было даже нескольких тысяч рублей, чтобы помочь впавшим в нужду семьям офицеров, выброшенных за борт и вообще пострадавших в связи с выступлением. Необходимо было помочь закупки хлеба семьям текинцев, позаботиться приобретением для всадников Текинского полка на случай зимнего похода теплой одежды и т. д.

Наконец, не легко было положение самих быховцев, которых Керенский лишил содержания. Семейные бедствовали. Вместо содержания Керенский, лишенный чувства элементарного такта, приказал выдавать небольшие пособия из своих (по должности Верховного главнокомандующего) экстраординарных сумм. Одни отвергли, другие по нужде брали. Это распоряжение было совершенно незаконным, так как даже подследственным арестованным полагалось половинное содержание, а быховские узники по компетентному разъяснению председателя комиссии Шабловского «не могли почитаться состоящими под следствием»¹⁹ и поэтому не лишены были права на получение содержания».

По этому поводу одним из заключенных, прапорщиком Никитиным, подана была жалоба в Сенат, с просьбой: «1) распоряжение Главверха отменить, 2) привлечь присяжного поверенного Александра Керенского, по должности Верховного главнокомандующего, к ответственности по таким-то статьям за превышение власти»... Для поддержания средств существования быховцы затеяли издание альманаха, из которого, впрочем, ничего не вышло.

Генерал Алексеев через Милюкова еще 12 сентября обратился к Вышнеградскому, Путилову и друг[им]... «Семьи заключенных офицеров, — писал Алексеев, — начинают голодать. Для спасения их нужно собрать и дать комитету союза офицеров до 300 тыс. рублей. Я настойчиво прошу их прийти на помощь. Не бросят же они на произвол судьбы и голодание семьи тех, с которыми они были связаны общностью идеи и подготовки». Результаты этого обращения мне неизвестны. Только в конце октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тыс. рублей, которыми он мог удовлетворить важнейшие нужды.

Между тем на этой почве в столице и других местах развивался крупный шантаж. В Быхов начали поступать сведения, что к состоятельным людям и в банки приходят какие-то неведомые лица и обращаются с требованием больших сумм на «тайную корниловскую организацию». Предъявляют записки московских общественных деятелей, иногда «собственноручные» якобы письма Корнилова.

Под влиянием этих сведений, после большевистского переворота, в начале ноября генерал Корнилов, по настоянию прапорщика Завойко, которому продолжал еще доверять, согласился на образование им «единой центральной кассы в Новочеркасске, особого комитета и контроля для распоряжения этими (собираемыми) деньгами и наблюдения за их использованием». Вместе с тем, Корнилов подписал присланные Завойко письма к 12 финансистам²⁰ с предложением жертвовать в пользу создающихся вокруг него организаций для борьбы с большевизмом, указывая, что единственным его доверенным лицом по сбору денег является Завойко. Я не знаю, откликнулись ли адресаты, но к декабрю в Новочеркасске — и в распоряжении Корнилова, и в фонде Добровольческой армии, организовавшейся Алексеевым, — денег не оказалось.

Последний эпизод, быть может, обусловлен недоверием к новому Минину (Завойко), но вообще постановка финансового вопроса весьма показательна. Я остановился несколько на ней, считая не безынтересным своеобразное отношение крупной буржуазии к антисоветскому и антибольшевистскому движению, — той самой крупной буржуазии, которую революционная демократия тщится представить вдохновительницей и покровительницей движения, созданного якобы на ее средства и для ее благоденствия. От буржуазии генералы Алексеев и Корнилов требовали жертв, но служили не ей, а народным, национальным интересам. Быть может, это обстоятельство и вызывало те труднопреодолимые препятствия, которые они встречали не только в среде враждебной, но в другой, казалось бы, заинтересованной в наступлении правового порядка.

* * *

Куда уходить в случае нужды? Только на Дон. Вера в казачество была сильна по-прежнему; совет казачьих войск, находившийся в постоянных сношениях с Быховом, гальванизировал эту веру, добросовестно заблуждаясь и не чувствуя, что он, как и вся казачья старшина, оторваны от казачьей массы и давно уже не держат в своих руках ее реальной силы — войска. В Быхове состоялась преподанная Ставке дислокация казачьих частей для занятия важнейших железнодорожных узлов на путях с фронта к югу, чтобы в случае ожидаемого крушения фронта сдержать поток бегущих, собрать устойчивый элемент и обеспечить продвижение его на Юг. В то же время шла деятельная переписка между Корниловым и Калединым.

Каледин сам еще находился в опале и в совершенно неопределенном служебном положении. В дни корниловского выступления Временное правительство, обвинив его «в мятеже и в желании путем занятия донскими частями железнодорожных узлов отрезать Донецкий бассейн от центра», отдало приказ об отрешении Каледина от должности, об аресте его и предании суду. Дон не выдал своего атамана и не допустил его устранения. Керенский лихорадочно собирал улики и не находил ничего решительно, что могло бы изобличить в неоялостности донского атамана. Временное правительство оказалось в чрезвычайно неловком положении и тщетно искало не слишком компрометирующего его выхода.

17-го октября Керенский в разговоре с донской депутатией признал эпизод с калединским мятежом «тяжелым и печальным недоразумением, которое было следствием панического состояния умов на юге». Это не совсем верно: паника имела место главным образом на севере; ее создали своими заявлениями Авксентьев, Либер, Руднев (Московский городской голова), Верховский, Рябцев (помощник команд. войск. Московск. округа)²¹ и многие другие. Официальной реабилитации, однако, так и не последовало, и атаман, объявленный мятежником, к соблазну страны два месяца уже правил в таком почетном звании областью и войском.

Каледин едва ли не трезвее всех смотрел на состояние казачества и отдавал себе ясный отчет в его психологии. Письма его дышали глубоким пессимизмом и предостерегали от иллюзий. Даже на прямой вопрос, даст ли Дон убежище быховским узникам, Каледин ответил хотя и утвердительно, но с оговорками, что взаимоотношения с Временным правительством, положение и настроение в области чрезвычайно сложны и неопределенны.

Таким образом, начало возникать сомнение в ценности единственной, как тогда представлялось, исходной базы для дальнейшей борьбы. Корнилов был склонен приписывать это освещение субъективным побуждениям казачьих верхов. В этом убеждении его усиленно поддерживал Завойко, пробравшийся в Новочеркасск. В каждом своем письме он рисовал широкими мазками народные якобы настроения: «...Ваше имя громадно, его двигает вперед уже стихия; за ним стоят не отдельные силы или люди, а в полном смысле слова — стихия»... И кстати добавлял: «Здесь на Дону Ваше имя и значение — бельмо на глазу Богаевского²²; он полностью забрал в свои руки Каледина и в этом направлении влияет на него; здесь политика по отношению к Вам — двуличная и большая личная ревность. Боятся, что Вы будете наверху, боятся, что Вы не позволите пожить за счет других (?) и т. д.»...

Подобные ориентировки не проходили бесследно, отражаясь на взглядах и настроении Корнилова. Весьма сдержанно отнесся он также к полученному известию, что 2-го ноября приехал в Новочеркасск генерал Алексеев и приступил там к формированию вооруженной силы.

Вообще наряду с ожиданием самосуда, в Быховскую тюрьму набегала волна, заносимая многочисленными посетителями и обширной почтой, — волна, выносившая «быховских узников» на авансцену политической жизни. Не в таких кричащих тонах, как в письмах Завойко, но в таком же свете представляли они общественные настроения в отношении корниловского движения. Цель Завойко, отдаленного от Быхова, довольно определенно сквозила в строках одного из писем: «Помните, что стихия за Вами; ничего, ради Бога, не предпринимайте, сторонитесь всех; Вас выдвинет стихия; Вам не надо друзей, ибо в должный момент все будут Вашими друзьями... За Вами придут — это делаю и я»... Другие приносили Корнилову свою искреннюю веру в свое добросовестное, но чисто индивидуальное и зачастую ошибочное понимание текущих событий.

А стихия действительно бушевала. Но стихия всецело враждебная корниловскому движению. В его орбите оставалось только неорганизованное офицерство и значительная масса интеллигенции и обывательщины, распыленная, захлестываемая. могущая дать искреннее сочувствие, но не силы, нужные для борьбы.

(Продолжение следует)

Примечания автора

1. Телеграмма Керенского № 525.
2. Телеграмма прапорщика Толстого.
3. Разговор между 15³⁰ и 17¹⁰ ч. 1-го сентября.
4. Оно авторизовано Керенским, как видно из его книги «Прелюдия большевизма».
5. Был по пути арестован и некоторое время содержался в Петрограде на гауптвахте вместе с В. Львовым.
6. Chessin: «Au pays de la démence rouge».
7. Правые партии были сметены революцией. и отдельные члены их входили в состав Совещания общественных деятелей и в петроградские военно-общественные организации.
8. Все министры подали в отставку.
9. На голубом фоне череп со скрещенными костями и надпись «Корниловцы».
10. Левый с.-р. Штейнберг. «От февраля по октябрь 1917 г.»
11. См. Т. 1., глава XXXVII.
12. Командир юнкерской полуроты.
13. Указанные цифры соответствуют проставленным на прилагаемом (в книге. — *Ред.*) снимке.
14. Корнилов, Романовский, Кисляков, Марков, Роженко, Будилович, Чунихин.
15. На случай ухода из тюрьмы последним.
16. Генерал Кисляков, находясь при Ставке, был товарищем министра путей сообщения. и мы шутя отожествляли его с членами Времен. правительства.
17. Впоследствии «военный руководитель» большевистского «Верховного совета».
18. Духонин отрешил от должности преданного корниловскому делу коменданта Ставки полковника Квашнина-Самарина и назначил советского избранника полковника Инскервели.
19. Пока шло только «расследование».
20. А. И. Путилов — Русско-азиатский банк. 2. А. И. Вышнеградский — Международн. банк. 3. Л. Ф. Давыдов — Рус. для внеш. торг. банк. 4. Д. Н. Шаховской — Рус. торг.-промыш. банк. 5. П. П. Батолин — Волжско-Камск. банк. 6. А. И. Каминка — Азовско-Донск. банк. 7. В. В. Гарновский — Сибирский банк. 8. Ю. Л. Львов — Учетно-ссудный банк. 9. А. В. Красавин. 10. И. Д. Морозов. 11. И. И. Стахеев. 12. В. Н. Троцкий-Сенютович.
21. Первый донес о «калединском мятеже».
22. М. Богаевский, помощник Донского атамана.

Россия на историческом повороте

А. Ф. Керенский

Г л а в а XIX. Восстановление государственного порядка

Государственное совещание в Москве

Восстановление России после падения монархии происходило очень быстрыми темпами. Страна стремительно набирала силы. Россия вновь начала работать, воевать, отдавать приказы и подчиняться им. Принятый русской армией весной 1917 г. стратегический план хорошо зарекомендовал себя. Улучшились отношения солдат и офицеров, прекратилось дезертирство с фронта. Кое-где в глубинке происходили крестьянские бунты, однако их размах ни в коей мере не приближался к уровню бунтов 1905—1906 годов. Большинство фабрик возобновили работу, а те проблемы, которые все еще сохраняли остроту, были вызваны не столько плохими взаимоотношениями рабочих и администрации, сколько блокадой.

Революция выбила нацию из привычной колеи, но постепенно жизнь стала возвращаться в нормальное русло, проявляясь в деятельности земельных комитетов, кооперативов, профессиональных союзов; страна с воодушевлением трудилась на ниве культуры и просвещения. К августу большинство земств и городских управ уже были реорганизованы на основе принципа всеобщего голосования. После восстания 4 июля большевики в Советах, особенно в провинции, практически потеряли всякое влияние. Да и сами Советы, сыграв свою роль в период падения монархии, по сути дела, были на грани самораспада.

Осенью 1917 г. эта тенденция стала настолько очевидной, что даже официальный орган Центрального комитета Совета газета «Известия» писала, что Советы солдатских и рабочих депутатов переживают состояние очевидного кризиса, многие из них прекратили существование, а другие существуют лишь на бумаге. Система рабочих органов Советов в некоторых местах разрушена, в других — ослаблена, в остальных — находится в состоянии упадка. «Известия» объясняет причины этого упадка тем, что Советы перестали быть всеобъемлющими демократическими органами. Они нигде не представляют демократического движения в целом и вряд ли где-нибудь — большинство этого движения. И даже в главных центрах — в Москве и Петрограде, где Советы проявили себя с лучшей стороны, пишет газета, они ни в коем случае не объединяют все демократические элементы. В их работе не принимают участия представители разных слоев интеллигенции и даже некоторые прослойки рабочих. Советы, по мнению газеты, выполнили свою задачу и теперь, когда местные органы власти выбраны на основе всеобщего голосования, когда рабочие получили наилучшую в данных условиях систему профессионального представительства на демократической основе, существование Советов потеряло всякий смысл. Они были эффективным органом в борьбе со старым режимом, но они абсолютно неспособны создать новый. У них нет подготовленных кадров, нет опыта и, главное, нет необходимых организаций, подчеркивает в заключение газета.

И в то же время мы, находившиеся в правительстве, все время остро ощущали необходимость уста-

новления более тесных связей со всеми слоями населения. Ибо мы понимали, что без таких связей станем крайне уязвимы для демагогического давления и в случае неудач на фронте (как это имело место после мощнейшего немецкого наступления у Калуща и Тарнополя) и ввиду существующего недовольства в военных и гражданских кругах. Вот почему, как только завершился июльский кризис и было сформировано новое правительство, я предложил как можно скорее созвать в Москве Государственное совещание. Прямой контакт с представителями всех классов и групп дал бы нам возможность почувствовать пульс страны и в то же время изложить и объяснить как нашу политику, так и стоящие перед нами проблемы.

Государственное совещание, в котором приняли участие представители всех демократических организаций, проходило с 12 по 15 августа в Москве, в Большом театре. На нем не были представлены только крайне правые монархисты, которые на какое-то время затаились, и большевики, отказавшиеся принять процедурные правила, касающиеся порядка выступления на совещании. В первый день работы совещания большевики безуспешно попытались толкнуть рабочих Москвы на забастовку. Другим проявлением экстремизма была пышная встреча, которую организовали на вокзале сторонники военной диктатуры генералу Корнилову, также прибывшему на совещание. Оба эти инцидента — неудачная забастовка и встреча Корнилова — лишь послужили делу изоляции левых и правых сторонников диктатуры от подавляющего большинства населения России, которое по своим убеждениям глубоко и искренне поддерживало демократию.

Не хочу в подробностях описывать Московское Государственное совещание¹. Интерес представляет не то, что было сказано, а искренность и глубокий патриотизм выступавших. Были довольно резкие столкновения между политическими противниками, но были и моменты, когда тысячи собравшихся в зале людей демонстрировали единодушную поддержку новому государству и преданность стране. Самое знаменательное событие произошло после бурных дебатов между выступавшим от социалистических партий Церетели и представителем крупного промышленного и финансового капитала Бубликовым. Неожиданно оба они шагнули навстречу друг другу и после сердечного рукопожатия высказались за классовое перемирие во имя интересов Родины. С поразительным единодушием совещание встретило требование установления республики, которое звучало в выступлениях всех ораторов — от рабочих до капиталистов, от генералов до рядовых солдат.

Возвращаясь мыслями к тем трем дням, я сегодня понимаю, что совершил тогда одну большую ошибку. К тому времени мне было уже известно о готовящемся военном заговоре, знал я и имена некоторых его инициаторов. Я, однако, не понимал того, что работа Московского совещания совпала с критической фазой в подготовке заговора. Полковник Верховский, командовавший Московским военным округом, сообщил мне о передвижениях войск с Дона и из Финляндии и настоятельно советовал арестовать некоторых высокопоставленных офицеров, но по моим сведениям не было оснований ожидать немедленного восстания в Москве. Однако в своем заключительном выступлении я, вместо того, чтобы без обиняков высказать все до конца, ограничился намеком, прекрасно понятым заговорщиками, что любая попытка навязать волю правительству или народу будет решительно подавлена. Девять десятых присутствовавших не поняли этого предупреждения, однако некоторые газеты, которые были в курсе дела, не без иронии заметили, что в конце своей заключительной речи я дал волю «истерии».

Сегодня-то я понимаю, что вместо того, чтобы изъясняться загадками, следовало открыто сказать о готовящемся вооруженном восстании. Я умолчал об этом, ибо не хотел волновать армию и всю страну рассказом о заговоре, который был еще только в зародыше. Если бы я знал в то время, что во главе заговора стоит Верховный главнокомандующий, которого я сам назначил и на помощь которого в борьбе с заговорщиками полагался, то, конечно же, сказал бы об этом на совещании и немедленно принял бы все необходимые меры. Но я не знал этого, и России пришлось дорогой ценой расплачиваться за мою веру в него.

По иронии судьбы, контрреволюционное движение, которое не имело глубоких корней ни в стране, ни в армии и поддерживалось лишь кучкой офицеров, по сути дела планировало уничтожение тех ценностей, в защиту которых оно якобы выступало. Это отлично понимал великий князь Николай Михайлович, историк-любитель, очень здравомыслящий человек в области политики, который часто навещал меня по ночам в Зимнем дворце и рассказывал о том, что происходит в гвардейских полках и в высшем обществе, никогда, даже случайно, не упомянув ни одного имени. «Эти умники, — сказал он как-то, имея в виду гвардейских офицеров, замешанных в заговоре, — абсолютно не способны понять, что вы (то есть Временное правительство) — последний оплот порядка и цивилизации. Они стремятся разрушить его и когда в этом преуспеют, все, что осталось, будет сметено неконтролируемой толпой».

Я сказал генералу Корнилову, что ему стоило бы положить конец опасным играм, которые затеваются в его окружении. «В конце концов, — заявил я, — если какой-нибудь генерал рискнет открыто выступить против Временного правительства, он сразу же почувствует, что попал в пустоту, где нет железных дорог и средств связи с его собственными войсками». Именно так и произошло! Предпринятая в ночь с 26 на 27 августа попытка захватить власть посредством молниеносного переворота в Петрограде была пресечена в корне без единого выстрела.

Я хорошо помню мою первую встречу с бывшим царем, которая состоялась в Александровском дворце в середине апреля. Приехав в Царское Село, я тщательно осмотрел все помещения, изучил систему охраны и общий режим содержания императорской семьи. В целом я одобрил положение, дав коменданту дворца всего несколько указаний относительно улучшения условий содержания царской семьи. Затем я попросил бывшего гофмаршала двора графа Бенкендорфа сообщить царю, что я хотел бы встретиться с ним и с Александрой Федоровной.

Двор в миниатюре, состоявший всего из нескольких человек, не покинувших Николая II, все еще соблюдал прежний этикет. Старый граф с моноклем в глазу выслушал меня с подчеркнутым вниманием и ответил: «Я доложу его величеству». Через несколько минут он возвратился и торжественно объявил: «Его величество милостиво согласился принять вас». Все это выглядело несколько нелепо и не к месту, однако мне не хотелось лишать графа последних иллюзий. Он по-прежнему считал себя гофмаршалом его величества. Это все, что у него осталось. Большинство из ближайшего окружения царя и его семьи покинуло их. И даже у детей царя, которые болели корью, не было сиделки, и об оказании медицинской помощи заболевшим пришлось позаботиться Временному правительству.

Когда Николай II был всемогущ, я сделал все, что мог, чтобы содействовать его падению, но к поверженному врагу я не испытывал чувства мщениия. Напротив, я хотел внушить ему, что революция, в чем торжественно поручился князь Львов, великодушна и гуманна к своим врагам, и не только на словах, но и на деле. Только таким было мщение, достойное Великой Революции, благородное мщение суверенного народа. Конечно же, если бы юридическое расследование, проведенное по распоряжению правительства, обнаружило доказательства того, что Николай II перед войной или во время войны совершил предательство в отношении своей страны, его бы немедленно отдали под суд и о его отъезде за границу не могло быть и речи. Однако его несомненная невинность была полностью доказана.

Встречу с царем я ожидал с некоторым волнением, опасаясь, оказавшись лицом к лицу с ним, не сдержат своих чувств. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока мы шли дворцовыми апартаментами. Наконец мы дошли до детской комнаты. Оставив меня перед закрытой дверью, ведущей во внутренние покои, граф вошел внутрь, чтобы сообщить о моем приходе. Почти тотчас возвратившись, он произнес: «Его величество приглашает вас». И распахнул дверь, остановившись на пороге.

Стоило мне, подходя к царю, осмотреться, и мое настроение полностью изменилось. Вся семья в полной растерянности стояла вокруг маленького столика у окна смежной комнаты. От этой группы отделился невысокий человек в военной форме и нерешительно, со слабой улыбкой на лице направился ко мне. Это был Николай II. На пороге комнаты, в которой я ожидал его, он остановился, словно не зная, что делать дальше. Встретить ли меня в качестве хозяина или подождать, пока я заговорю? Протянуть ли мне руку или дожидаться, пока я первым поздороваясь с ним? Я сразу же почувствовал его растерянность, как и беспокойство всей семьи, оказавшейся в одном помещении с ужасным революционером.

Я быстро подошел к Николаю II, с улыбкой протянул ему руку и отрывисто произнес: «Керенский», как делал обычно, представляясь кому-либо. Он крепко пожал мою руку, улыбнулся, почувствовав, видимо, облегчение, и тут же повел меня к семье. Его сын и дочери, не скрывая любопытства, внимательно смотрели на меня. Александра Федоровна, надменная, чопорная и величавая, нехотая, словно по принуждению, подала мне руку. В этом проявилось различие в характере и темпераменте мужа и жены. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна, умная и привлекательная женщина, хоть и сломленная сейчас и раздраженная, обладала железной волей. В те несколько секунд мне стала ясна трагедия, которая в течение многих лет разыгрывалась за дворцовыми стенами. Несколько последовавших за этой встречей с царем лишь подтвердили мое первое впечатление.

Я поинтересовался здоровьем членов семьи, сообщил, что родственники за границей беспокоятся об их благополучии, и обещал без промедления передать любые послания, какие они захотели бы им направить. Я спросил, не имеют ли они каких-либо жалоб, как ведет себя охрана и в чем они нуждаются. Я просил их не тревожиться и целиком и полностью положиться на меня. Они поблагодарили за внимание, и я собрался уходить. Николай II поинтересовался военной ситуацией и пожелал мне успехов на новом и ответственном посту. В течение весны и лета он следил за событиями на фронте, внимательно читал газеты и расспрашивал своих посетителей.

Такой была моя первая встреча с Николаем «Кровавым». После всех ужасов многолетнего правления большевиков эпитет этот потерял всякий смысл. Тираны, пришедшие на смену Николаю, вызывали куда большее отвращение, поскольку вышли из народа или из интеллигенции и потому были виновны в совершении преступлений против собственных собратьев. Полагаю, что опыт большевистского режима уже заставил многих изменить свои суждения о личной ответственности Николая II за все преступления в период его правления.

Склад ума и обстоятельства жизни царя обусловили его полную оторванность от народа. Он знал о пролитой крови и слезах тысяч людей лишь из официальных документов, в которых ему сообщали о «мерах», принятых властями «в интересах мира и безопасности государства». Эти доклады не доносили до него боли и страданий жертв, в них лишь говорилось о «героизме» солдат, «преданно выполнявших свой долг перед царем и отечеством». С детства его приучили верить, что его благо — это благо страны, а потому «вероломные» рабочие, крестьяне и студенты, которых расстреливали, казнили или отправляли в ссылку, казались ему чудовищами, отбросами человечества, которых следует уничтожать ради интересов страны и его «верноподданных». Если сравнивать его с нашими современными, обгауренными кровью «друзьями народа», то станет очевидным, что бывший царь отнюдь не был лишен человеческих чувств, что окружение и существовавшие тогда традиции самым губительным образом развратили его.

Я уходил от него взволнованный и возбужденный. Одного взгляда на бывшую царицу было достаточно, чтобы понять ее сущность, и мое впечатление полностью совпадало с мнением тех, кто лично знал ее. Но Николай, с его ясными голубыми глазами, прекрасными манерами и благородной внешностью представлял для меня загадку. Или он просто умело пользовался обаянием, унаследованным от своего деда, Александра II? Или был всего лишь опытным актером и искусным лицемером? Или безобидным простаком, под каблуком у собственной жены, которым вертят все остальные? Представлялось непостижимым, что этот вялый, сдержанный человек, в платье как бы с чужого плеча, был самодержцем всей России, царем Польским, великим князем Финляндским и т. д. и т. п. и правил огромной империей 25 лет!

Не знаю, какое впечатление произвел бы на меня Николай II, если бы мне довелось встретиться с ним в пору, когда он еще был правящим монархом. Но сейчас, после революции, я был поражен: ничто в его облике не позволяло предположить, что всего лишь месяц назад все зависело от одного его слова. Я ушел, полный желания разрешить загадку этого странного, испуганного и при этом обезоруживающе обаятельного человека.

После первой моей встречи с царем я решил назначить нового коменданта Александровского дворца, человека, которому мог полностью доверять. Я не мог оставить императорскую семью на попечение лишь горстки сохранивших ей верность придворных, упорно соблюдавших дворцовый этикет², да солдат стражи, не спускавших с них глаз. Позднее появились слухи о «контрреволюционном» заговоре во дворце, основанные лишь на том, что «двор» посылал к обеду бутылку вина несшему караул офицеру. Было важно иметь во дворце надежного, умного и тактичного посредника. Я остановил свой выбор на полковнике Коровиченко, военном юристе, ветеране японской и европейской войн, которого я знал как мужественного и прямого человека. Я не ошибся в своем выборе: Коровиченко содержал узников в полной изоляции и при этом сумел внушить им чувство уважения к новой власти.

В каждую из своих редких и кратких поездок в Царское Село я стремился постичь характер бывшего царя. Я понял, что его ничто и никто не интересует, кроме, пожалуй, дочерей. Такое безразличие ко всему внешнему миру казалось почти неестественным. Наблюдая за выражением его лица, я увидел, как мне казалось, что за улыбкой и благожелательным взглядом красивых глаз скрывается холодная, застывшая маска полного одиночества и отрешенности. Он не захотел бороться за власть и она просто-напросто выпала у него из рук. Он сбросил эту власть, как когда-то сбрасывал парадную форму, меняя ее на домашнее платье. Он заново начинал жизнь — жизнь простого, не обремененного государственными заботами гражданина. Уход в частную жизнь не принес ему ничего, кроме облегчения. Старая госпожа Нарышкина передала мне его слова: «Как хорошо, что не нужно больше присутствовать на этих утомительных приемах и подписывать эти бесконечные документы. Я буду читать, гулять и проводить время с детьми». И это, добавила она, была отнюдь не поза.

И действительно, все, кто общался с ним в этом его новом положении пленника, единодушно отмечали, что Николай II постоянно пребывал в хорошем расположении духа и явно получал удовольствие от своего нового образа жизни. Он колдовал дрова и укладывал их в парке в поленицы. Время от времени занимался садовыми работами, катался на лодке, играл с детьми.

Царица же весьма остро переживала утрату власти и никак не могла свыкнуться со своим новым положением. С ней случались истерические припадки, временами ее поражал частичный паралич. Всех вокруг она замучила бесконечными разговорами о своих несчастьях и своей усталости, своей непримиримой злобой. Такие, как Александра Федоровна, никогда ничего не забывают и никогда ничего не прощают. В период проведения расследования действий ее ближайшего окружения я был вынужден принять определенные меры, чтобы помешать ее сговору с Николаем II на случай их вызова в качестве свидетелей. Точнее было бы сказать, что я был вынужден воспрепятствовать ей оказывать давление на мужа. Исходя из этого, я распорядился на время расследования разлучить супружескую пару, разрешив им встречаться только за завтраком, обедом и ужином с условием не касаться проблем прошлого.

Я должен пересказать здесь один короткий разговор с Александрой Федоровной, во время которого госпожа Нарышкина находилась в соседней комнате. Мы разговаривали по-русски, Александра Федоровна говорила медленно и с сильным акцентом. Неожиданно лицо ее вспыхнуло и она возбужденно заго-

ворила: «Не понимаю, почему люди плохо говорят обо мне. С тех пор, как я впервые приехала сюда, я всегда любила Россию. Я всегда сочувствовала России. Почему же люди считают, что я на стороне Германии и наших врагов? Во мне нет ничего немецкого. Я — англичанка по образованию, мой родной язык английский». Она пришла в такое возбуждение, что разговаривать далее стало невозможно.

В своих мемуарах Нарышкина тоже проливает свет на события в Царском Селе, приводя весьма интересные данные. 16 апреля она записывает: «Сказали, приедет Керенский, чтобы подвергнуть допросу царицу. Меня пригласили присутствовать при разговоре как свидетельницу. Я застала ее в возбужденном, раздраженном и нервном состоянии. Она была готова наговорить ему массу глупостей, однако мне удалось успокоить ее словами: «Ради Бога, ваше величество, ни слова об этом... Керенский делает все, что может, чтобы спасти вас от партии анархистов. Заступаясь за вас, он рискует своей популярностью. Он ваша единственная опора. Постарайтесь, пожалуйста, понять сложившуюся ситуацию». В этот момент вошел Керенский... Он попросил меня выйти и остался наедине с царицей. Вместе с комендантом я вышла в маленькую гостиную, где увидела Бенкендорфа и Ваню [Долгорукого]. Спустя несколько минут, вернувшись с прогулки, к нам присоединилась и царь... Потом Керенский перешел в кабинет царя, а мы вошли к царице. На царицу Керенский произвел хорошее впечатление — он показался ей отзывчивым и порядочным... Она находит, что с ним можно достичь взаимопонимания. Надеюсь, что и она оставила у него столь же благоприятное впечатление»³.

Я объяснил Николаю II причины его раздельного проживания с женой, и попросил Коровиченко, Нарышкина и графа Бенкендорфа не расширять круг посвященных в это дело. Все трое оказали мне существенную помощь, строго придерживаясь моих предписаний. И каждый из них рассказывал, как благоговорно сказало на бывшем царе раздельное с женой проживание: он воспрянул духом и стал гораздо бодрее.

Когда я сообщил ему, что предстоит расследование и не исключено, что Александру Федоровну будут судить, он ограничился краткой репликой: «Что ж, я никогда не поверю, что Алиса замешана в этом. Имеются ли какие-нибудь доказательства?» На что я ответил: «Пока не знаю». В наших разговорах мы избегали упоминать титулы. Как-то он сказал: «Итак, теперь Альбер Тома на вашей стороне. А в прошлом году он обедал у меня. Интересный человек. Передайте ему, пожалуйста, привет». Я выполнил его просьбу.

Та интонация, с которой он сравнил «прошлый год» и «теперь», говорила о том, что временами Николай II не без грусти возвращался мыслями в прошлое, но в наших разговорах мы его никогда не затрагивали. Он лишь крайне редко и вскользь упоминал о нем. Видимо, ему было тяжело говорить об этом, особенно о тех людях, которые столь спешно покинули и предали его. При всем своем неверии в человечество он все же не ожидал такого вероломства. По намекам, которые порой срывались в разговорах с его уст, я сделал вывод, что он до сих пор ненавидит Гучкова, считает Родзянко недалеким человеком, не может представить себе, кто такой Милюков, высоко ценит Алексева и уважает князя Львова.

Лишь однажды я видел, как Николай II потерял над собой контроль. Совет Царского Села решил последовать примеру Петрограда и устроить официальные похороны жертв революции. Решено было провести их в страстную пятницу, на одной из центральных аллей Царскосельского парка, на некотором расстоянии от дворца, однако прямо против окон тех комнат, которые занимала императорская семья. Бывшему царю ничего не оставалось, как смотреть из окон своей позолоченной клетки, как его караульные с красными знаменами в руках отдают последние почести павшим борцам за свободу. Это был мучительный и драматический эпизод. Гарнизон в то время еще был под контролем, и мы не опасались каких-либо беспорядков. Мы даже были уверены, что в этой траурной церемонии войска сами продемонстрируют выдержку и порядок, что, собственно, и произошло.

Вопрос об императорской семье привлекал к себе слишком большое внимание и доставлял нам множество хлопот. 4 марта правительство получило от бывшего царя записку, в которой он просил обеспечить ему и его семье безопасный проезд в Мурманск для отъезда в Англию. 6—7 марта Милюкову пришлось встретиться с английским послом сэром Джорджем Бьюкененом и просить его выяснить отношения британского правительства к возможности оказать гостеприимство императорской семье. 10 марта Бьюкенен сообщил Милюкову, что британское правительство ответило положительно. Однако организовать немедленный отъезд императорской семьи оказалось невозможным. Все дети были больны ветрянкой. К тому же в эти первые дни революции было невозможно, как выяснилось, гарантировать безопасность бывшего царя на пути его следования в Мурманск.

9—10 марта Временное правительство возложило на меня наблюдение за содержанием бывшего царя под стражей в Александровском дворце, а также подготовку к его отъезду в Мурманск. В любом случае оставаться дольше в Царском Селе Николаю было нельзя. Мы опасались, что в случае каких-либо политических осложнений или беспорядков в Петрограде пребывание царя в Александровском дворце станет небезопасным. А тем временем ситуация в Лондоне также изменилась. Британское правительство пересмотрело свое решение и отказалось оказать гостеприимство родственникам своего королевского дома до тех пор, пока не кончится война. К сожалению, сэр Джордж Бьюкенен не сообщил об этом решении

немедленно Временному правительству, и оно продолжало подготовку к отъезду Николая в Англию. Когда она была завершена, Терещенко попросил сэра Джорджа выяснить со своим правительством вопрос о том, когда можно ожидать прибытия в Мурманск британского крейсера, который возьмет императорскую семью. И только в этот критический момент сэр Джордж с нескрываемой горечью сообщил, что прибытие императорской семьи в Англию нежелательно.

В своих мемуарах сэр Джордж Бьюкенен пишет: «*Наше предложение оставалось в силе и никогда не пересматривалось*» (курсив мой)⁴. К сожалению, сэр Джордж не мог позволить себе рассказать, как было дело. В 1932 г., после смерти сэра Джорджа, его дочь Мэриэл написала о том потрясении, которое испытал ее отец, получив из Лондона указание отменить приглашение членам императорской семьи. «После выхода в отставку мой отец намеревался рассказать об этом, — пишет Мэриэл, — однако министерство иностранных дел уведомило его, что он потеряет пенсию, если сделает это»⁵. Сэр Джордж, чьи личные средства были весьма ограничены, не решился идти против правительства. Вину за перемену в политике Мэриэл Бьюкенен возлагает на Ллойд Джорджа. Тем не менее в своей официальной биографии Георга V Гарольд Николсон в конце концов раскрыл правду:

«На совещании, состоявшемся 22 марта (н. ст.) на Даунинг-стрит, в котором приняли участие премьер-министр, м-р Бонар Лоу, лорд Стэнфордхэм и лорд Гардинг, было решено, что, поскольку предложение было внесено по инициативе русского правительства, отклонить его не представляется возможным». Далее Николсон пишет: «К этому времени (2 апреля н. ст.) предложение о предоставлении убежища в Англии царю и его семье стало достоянием гласности. В левых кругах палаты общин и в прессе поднялся возмущенный крик. Король, которого несправедливо сочли его инициатором, получил немало оскорбительных писем. Георг V понял, что правительство не предусмотрело в полной мере все возможные осложнения. 10 апреля (н. ст.) он дал указание лорду Стэнфордхэму⁶ предложить премьер-министру, учитывая очевидное негативное отношение общественности, информировать русское правительство, что правительство его величества вынуждено взять обратно данное им ранее согласие»⁷.

На меня возложили неблагодарную задачу сообщить бывшему царю об этом новом повороте событий. Вопреки моим ожиданиям, он отнесся к этому сообщению абсолютно спокойно и выразил желание вместо Англии отправиться в Крым. Однако поездка в Крым, связанная с путешествием через крайне беспокойные и нестабильные районы страны, представлялась в то время неразумной. Вместо этого я предложил сибирский город Тобольск, куда не было железной дороги. Я знал, что резиденция губернатора в Тобольске вполне комфортабельна и удобна для проживания императорской семьи.

Приготовления к отъезду велись в обстановке полной секретности, поскольку любое сообщение о нем могло повести к непредвиденным осложнениям. О них сообщили даже не всем членам Временного правительства, и, по сути дела, лишь 5 или 6 человек в Петрограде знали об этом. Легкость, с которой был организован этот переезд, свидетельствовала об упрочении власти Временного правительства. В марте или апреле переезд бывшего царя был бы невозможен без бесконечных консультаций с Советами. А 14 августа потребовалось лишь мое личное распоряжение, утвержденное Временным правительством, и Николай II с семьей отправился в Тобольск. Ни Совет, ни кто-либо еще об этом не знали.

После определения даты отъезда я объяснил Николаю II создавшееся положение и сказал, чтобы он готовился к длительному путешествию. Я не сообщил, куда ему предстоит ехать, и лишь посоветовал, чтобы он и его семья взяли с собой как можно больше теплой одежды. Николай II выслушал меня очень внимательно, и когда я сказал, что все эти меры предпринимаются ради блага его семьи и просто постарался приободрить его, он посмотрел мне в глаза и произнес: «Я ни в малейшей степени не обеспокоен. Мы верим вам. Если вы говорите, что это необходимо, значит, так оно и есть». И повторил: «Мы верим вам».

Около 11 часов вечера, после заседания Временного правительства, я отправился в Царское Село, чтобы самому проследить за отъездом царя в Тобольск. Прежде всего, я обошел казармы и проверил караульных, выбранных самими полками для сопровождения поезда и охраны Николая II по прибытии на место назначения. Все солдаты были в полном порядке и в несколько приподнятом настроении. В городе к тому времени пошли смутные слухи об отъезде бывшего царя и с вечера в дворцовом парке стала собираться толпа любопытных. В самом дворце завершались последние приготовления. Стали выносить багаж и грузить в автомашины. Все мы были почти на пределе. Перед самым отъездом Николаю II разрешили повидаться с братом — великим князем Михаилом. Как ни неприятно было мне вмешиваться в такое сугубо личное дело, я был вынужден присутствовать при встрече.

Встреча братьев состоялась около полуночи в кабинете царя. Оба казались очень взволнованными. Тягостные воспоминания о недавнем прошлом, видимо, удручали обоих. Довольно долго они молчали, а затем начался какой-то случайный, малозначащий разговор, столь обычный для такого рода кратких встреч. «Как Алиса?» — спросил великий князь. Они стояли друг перед другом, не в силах сосредоточиться на чем-либо, время от времени трогая один другого за руку или за пуговицу мундира. «Могу ли я видеть детей?» — обратился ко мне великий князь. «К сожалению, я вынужден вам отказать, — ответил я. — Не в моей власти продлить долее вашу встречу». «Ну что ж, — сказал вели-

кий князь брату, — обними их за меня». Они начали прощаться. Кто мог подумать, что это была их последняя встреча?

Я сидел в комнате рядом с кабинетом царя, отдавая последние распоряжения и ожидая сообщения о прибытии поезда, и слышал, как кто-то из юных наследников, видимо, Алексей, шумно бегал по коридору. Время шло, а никаких признаков поезда по-прежнему не было. Железнодорожники колебались, подавать или не подавать состав, и лишь на рассвете он появился. На автомашинах мы направились к тому месту, где он нас ожидал, неподалеку от станции Александровская. И хотя мы заранее установили порядок размещения в автомашинах, в последний момент все смешалось и началась неразбериха.

Впервые я увидел бывшую царицу только как мать своих детей, взволнованную и рыдающую. Ее сын и дочери, казалось, не столь тяжело переживали отъезд, хотя и они были расстроены и в последние минуты крайне возбуждены. Наконец, машины в сопровождении эскорта казаков спереди и сзади тронулись. Когда выезжали из парка, уже ярко светило солнце, но город, к счастью, еще спал. Подъехали к поезду, проверили списки отъезжающих. Последние слова прощания, и поезд медленно отошел от станции. Они уезжали навсегда и ни у кого не мелькнуло и подозрения, какой их ожидал конец⁸.

Глава XX. Ультиматум

После завершения Московского Государственного совещания перед Временным правительством встали две важнейшие проблемы — реорганизация кабинета в соответствии с новым соотношением политических сил и ликвидация растущего подпольного движения среди офицерства. После неудачного ленинского восстания 3 июля, бегства Ленина в Финляндию и последовавшего за этим развала партийного аппарата большевиков как на фронте, так и по всей стране, стали возникать разного рода «тайные» армейские организации. Начало германского наступления на Северном фронте и падение Риги лишь усилили необходимость создания нового кабинета.

В правых кругах оппозиции каким-то образом стало известно, что во время работы совещания я предпринял неофициальные попытки войти в контакт с некоторыми кругами с тем, чтобы заручиться их поддержкой при выполнении насущных задач, стоявших перед правительством. 16 августа после возвращения в столицу я получил от князя Львова известие, что его просил устроить встречу со мной А. Н. Аладын⁹. Деятельность Аладына в Англии имела довольно сомнительный характер, и Львов вследствие этого отказался содействовать встрече. Прощаясь, Аладын многозначительно произнес: «Передайте Керенскому, что любые изменения в кабинете могут иметь место лишь с одобрения Ставки». Нетрудно было догадаться, с кем в Ставке имел контакты Аладын: мы уже знали о существовании тайных антиправительственных ячеек в Центральном комитете Союза офицеров армии и флота. Предупреждение Аладына не слишком беспокоило меня, поскольку уже было принято решение вывести Центральный комитет офицерского союза из Ставки и арестовать некоторых из наиболее активных его членов.

22 августа из Москвы приехал повидаться со мной Владимир Львов. С первых дней существования Временного правительства вплоть до середины июля Львов занимал пост обер-прокурора Священного Синода. До этого он примыкал к консервативной фракции Думы, известной как «Центр». Будучи глубоко набожным человеком, Львов был возмущен влиянием Распутина в высших церковных кругах. За пять лет нашего совместного пребывания в Думе мы с ним стали хорошими друзьями и, несмотря на его вспыльчивость, он нравился мне прямоотой и искренностью. Тем не менее, когда 1 июля я стал премьер-министром, я не просил Владимира Львова остаться в составе кабинета.

В августе должен был состояться Вселенский церковный собор, которому надлежало рассмотреть новый статус самостоятельности Русской православной церкви. Это требовало от прокурора особого такта и деликатности, а также глубокого знания истории церкви. Нам казалось, что на такой пост более подходит видный член Петербургской академии А. В. Карташов, который и получил это назначение. А Владимир Львов долгое время держал на меня зуб за «отстранение» его от, как он выразился, деятельности по лечению Русской церкви от паралича, который поразил ее еще в те времена, когда Петр Великий упразднил патриаршество и провозгласил себя главой церкви.

На нашей памятной встрече 22 августа Львов с самого начала подчеркнул, что он не просто наносит мне светский визит, а выполняет возложенное на него поручение. И стал убеждать меня, что, теряя поддержку влиятельных кругов и опираясь на Советы, которые, как он выразился, со временем отделиваются от меня, я ставлю себя в сомнительное, а точнее, в опасное положение.

Я знал, что Львов и его брат Н. Н. Львов принадлежат к либеральным и умеренно-консервативным кругам Москвы. Мне было известно также, что на специальном совещании «гражданских лидеров», проведенном в канун Государственного совещания, они настроивали общественность и против Временного правительства и против меня лично; не ушла от моего внимания и подчеркнута теплая встреча, которую они оказали на Государственном совещании генералу Корнилову. Имея все это в виду, я дал Львову выговориться и, когда он кончил, ограничился одним вопросом: «Что же вы теперь хотите от меня?» Он отве-

тил, что есть «определенные круги», готовые поддержать меня, и только от меня зависят условия, на которых можно прийти с ними к соглашению.

Я напрямую спросил, от чьего имени он пришел. Он ответил, что не уполномочен сообщать это, однако, если на то будет моя воля, он передаст суть нашего разговора тем людям, которых представляет. «Конечно, передайте, — ответил я. — Вы же понимаете, что я сам заинтересован в создании правительства на широкой основе и вовсе не цепляюсь за власть». Судя по всему, наша встреча удовлетворила Владимира Львова. Перед уходом он сообщил, что вновь навестит меня.

Я не придавал особого значения этому посещению, поскольку в то время ко мне нередко обращались люди с такого рода поручениями. Кроме того, днем раньше пала Рига и я был вынужден уделять все внимание критическому военному положению. Первым моим шагом была передача Петроградского военного округа (за исключением самого города) в подчинение Верховного главнокомандующего и просьба к нему перебросить в Петроград в распоряжение правительства части 3-го конного корпуса.

В день визита ко мне Львова в Ставку для обсуждения всех этих мер с генералом Корниловым отправились управляющий военным министерством Борис Савинков и начальник кабинета военного министра полковник Барановский. Я поручил Савинкову проследить за тем, чтобы командование 3-м конным корпусом не было поручено генералу А. М. Крымову и чтобы в состав корпуса не включили Кавказскую кавалерийскую дивизию, известную под названием «Дикая дивизия». Я знал, что Крымов и офицеры «Дикой дивизии» были тесно связаны с группой армейских заговорщиков.

По возвращении из Ставки Савинков и Барановский доложили, что генерал Корнилов принял мои предложения. Он согласился с тем, чтобы оставить Петроград под юрисдикцией Временного правительства и чтобы кавалерийские части были отправлены без генерала Крымова и «Дикой дивизии». Они также сообщили, что генерал Корнилов согласился самостоятельно принять меры против нелояльного Центрального комитета Союза офицеров армии и флота.

23 августа в резиденции британского посла состоялась встреча, о которой я узнал спустя много лет. Вот что пишет о ней сэр Джордж Бьюкенен: «В среду 23 августа (5 сентября н. ст.) 1917 г. меня посетил мой русский друг, занимавший пост директора одного из главных петроградских банков, и сообщил, что попал в весьма щекотливое положение: к нему обратились с просьбой (имена этих людей были названы), за выполнение которой ему явно не следовало браться. Эти лица, продолжал он, хотят поставить меня в известность, что их организацию субсидируют несколько высокопоставленных финансистов и промышленников, что она может рассчитывать на поддержку Корнилова и армейских корпусов, что она приступит к осуществлению операции в следующую субботу, 26 августа (8 сентября н. ст.) и что правительство будет арестовано, а Совет распущен. Они надеются, что я окажу им содействие, предоставив в их распоряжение английские броневики, а в случае провала помогу им скрыться».

Я ответил, что со стороны упомянутых господ весьма наивно просить посла принять участие в заговоре против правительства, при котором он аккредитован, и что, повинувшись долгу, я обязан разоблачить их заговор. И хотя я не обману их доверия, тем не менее на мою моральную помощь и поддержку они рассчитывать не могут. Напротив, я рекомендую им отказаться от этой затеи, которая не только обречена на провал, но и будет немедленно использована в свою пользу большевиками. Будь генерал Корнилов более прозорлив и мудр, он подождал бы, пока большевики сделают первый шаг, и уж тогда покончил бы с ними»¹⁰.

Само собой разумеется, сэр Джордж не мог обещать поддержку Путилову. Тем не менее, соглашение о броневиках, видимо, было достигнуто. 28 августа 1917 г., когда войска генерала Крымова стремительно приближались к Петрограду, Корнилов направил в штаб 7-й армии Юго-Западного фронта следующее распоряжение: «Срочно отдайте приказ командиру Британского бронедивизиона перебросить все военные машины, включая «фиаты», вместе с офицерами и экипажами в район Бровар в распоряжение капитан-лейтенанта Соумса. Перебросьте также машины из района Дубровки».

Приблизительно в 5 часов пополудни 26 августа меня вторично посетил Владимир Львов. Он выглядел необычно возбужденным и сразу же стал довольно невразумительно рассуждать об опасности моего положения, которую он готов отгнать. В ответ на мои неоднократные просьбы говорить по существу, он в конце концов изложил суть дела. Ко мне его направил генерал Корнилов, чтобы сообщить, что в случае большевистского восстания правительство не должно ожидать какой-либо помощи и что, если я не перееду в Ставку, он не может гарантировать моей личной безопасности.

Генерал поручил ему также сообщить мне, что дальнейшее существование нынешнего кабинета невозможно и что я должен как министр-председатель предложить Временному правительству передать всю полноту власти Корнилову как Верховному главнокомандующему. До формирования Корниловым нового кабинета государственные дела должны взять в свои руки товарищи министров. По всей России должно быть объявлено военное положение, что же касается Савинкова и меня, то мы должны немедленно выехать в Ставку, где будем назначены соответственно военным министром и министром юстиции. При этом Львов подчеркнул, что эти назначения следует держать в тайне от других членов кабинета.

Имена Львова и Корнилова никогда не упоминались в донесениях о военном заговоре, которые я

получал до тех пор, и потому я рассмеялся, стремясь превратить все дело в шутку: «Да вы, должно быть, шутите, Владимир Николаевич». «Ни в малейшей степени, — ответил Львов. — И хочу, чтобы вы осознали серьезность положения». Он призвал меня отдаться на милость Корнилова, настаивая на том, что это единственный для меня шанс на спасение.

Я стал расхаживать по кабинету, пытаюсь взять себя в руки и полностью разобраться в создавшейся ситуации. Неожиданно я вспомнил, что в свое предыдущее посещение Львов с угрозой сослался на «реальную власть». Я вспомнил также доклад полковника Барановского о враждебном отношении ко мне офицеров Ставки, как и другую информацию о безусловной связи заговорщиков со Ставкой. Оправившись от первого потрясения, я решил подвергнуть Львова испытанию. Я сделал вид, будто готов согласиться с требованием Корнилова, однако сказал, что не могу поставить их на обсуждение Временного правительства, пока не получу их в письменном виде. Львов немедленно выразил согласие зафиксировать на бумаге требования Корнилова. Вот что он написал:

«Генерал Корнилов предлагает: 1) Объявить г. Петроград на военном положении; 2) Передать всю власть, военную и гражданскую, в руки Верховного главнокомандующего; 3) Отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного управления министерств товарищам министров, впредь до образования кабинета верховным главнокомандующим. Петроград. Августа 26.1917 г. В. Львов»¹¹.

Готовность, с которой Львов согласился все это написать, рассеяла у меня остатки сомнений, и пока я смотрел, как он пишет, в голове у меня была лишь одна мысль: остановить Корнилова и не допустить, чтобы эти события повлияли на положение на фронте. Прежде всего, чтобы побудить Временное правительство в тот же вечер предпринять необходимые действия, нужно было заручиться бесспорными доказательствами связи Львова и Корнилова. Нужно заставить Львова повторить все, что он мне сказал, в присутствии третьего лица. На мой взгляд, это был единственный путь.

Вручая мне свою записку, Львов произнес: «Ну вот и прекрасно, теперь все пойдет по-хорошему. В Ставке считают важным, чтобы переход власти от Временного правительства был осуществлен на законном основании. Ну, а вы-то сами поедете в Ставку?» Вопрос имел какой-то странный подтекст и когда я ответил: «Конечно, нет. Неужели Вы и впрямь полагаете, что я соглашусь занять пост министра юстиции под началом Корнилова?» — реакция Львова была совершенно неожиданной. Он вскочил со стула, широко улыбнулся и воскликнул: «Конечно же, конечно же, вам нельзя ехать. Они устроили для вас ловушку. Они арестуют вас. Уезжайте из Петрограда, и уезжайте как можно дальше». И с еще большим волнением добавил: «Они там ненавидят вас».

Мы договорились, что я сообщу генералу Корнилову о своей отставке по телеграфу, объяснив при этом, что не приеду в Ставку. Я вновь попросил заверений Львова в том, что вся эта история не есть плод ужасного недоразумения. «Ну, скажите, Владимир Николаевич, а что если все это на самом деле окажется шуткой? В каком вы тогда будете положении? Вы отдаете себе отчет в серьезности того, что вы тут понаписали?» Львов с жаром заявил, что это не шутка и не ошибка, что дело действительно серьезное и генерал Корнилов никогда от своих слов не отступится. Я решил связаться с генералом по прямому проводу, чтобы получить подтверждение от него. Львову, видимо, понравилось мое предложение, и мы согласились встретиться в 8.30 в доме военного министра, откуда можно установить связь со Ставкой.

Если мне не изменяет память, Львов ушел от меня намного позже семи часов. На пороге кабинета он нос к носу столкнулся с шедшим ко мне Вырубовым, и я попросил Вырубова остаться, пока я буду разговаривать с Корниловым. Затем я послал помощника установить связь со Ставкой и пригласить ко мне также заместителя начальника департамента милиции Сергея Балавинского и помощника командующего Петроградским военным округом капитана Андрея Козьмина.

Точно в 8.30 вечера связь была установлена, однако Львов еще не приехал. Мы позвонили ему на квартиру, но там никто не ответил. Прошло 25 минут с начала связи, Корнилов на другом конце провода ожидал разговора. Посовещавшись с Вырубовым, мы решили начинать. Чтобы укрепить доверие Корнилова, мы решили создать у него впечатление, будто и Львов принимает участие в разговоре.

Честно говоря, у нас с Вырубовым теплилась слабая надежда, что озадаченный Корнилов воскликнет: «Что вы хотите, чтобы я подтвердил? И кто такой Львов?» или что-то в этом роде. Но наши надежды оказались тщетными. Ниже приводится полный текст разговора, записанного на телеграфной ленте¹².

«[Керенский]. Министр-председатель Керенский. Ждем генерала Корнилова.

[Корнилов]. У аппарата генерал Корнилов.

[Керенский]. Здравствуйте, генерал. У телефона Владимир Николаевич Львов и Керенский. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем.

[Корнилов]. Здравствуйте, Александр Федорович, здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу с просьбой доложить Вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.

[Керенский]. Я, Владимир Николаевич, Вас спрашиваю — то определенное решение нужно исполнить, о котором Вы просили известить меня Александра Федоровича только совершенно лично? Без этого подтверждения лично от Вас Александр Федорович колеблется мне вполне доверить.

[Корнилов]. Да, подтверждаю, что я просил Вас передать Александру Федоровичу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев.

[Керенский]. Я — Александр Федорович. Понимаю Ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Сегодня это сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?

[Корнилов]. Настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович приехал вместе с Вами. Сказанное мною Владимиру Николаевичу в одинаковой степени относится и к Борису Викторовичу. Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.

[Керенский]. Приезжать ли только в случае выступлений, о которых идут слухи, или во всяком случае?

[Корнилов]. Во всяком случае.

[Керенский]. До свидания, скоро увидимся.

[Корнилов]. До свидания».

Эта запись исключает какие бы то ни было неправильные толкования. Разговор открыл мне больше, чем я мог предполагать. Генерал подтвердил не только полномочия Львова, но и достоверность всех его заявлений.

Спускаясь после разговора по лестнице, мы с Вырубовым столкнулись со спешащим навстречу Львовым. Я показал ему запись нашего разговора. Пробежав глазами ленту, он радостно воскликнул: «Вот, видите, все, как я вам сказал». Он был доволен, что мы побеседовали с Корниловым, не дожидаясь его. Он не объяснил причину своего опоздания, однако много лет спустя, читая книгу Милюкова «История второй русской революции», я узнал, что после нашей первой встречи Львов целый час беседовал с Милюковым, откровенно рассказав ему о событиях в Ставке.

Вместе с Вырубовым и Львовым я возвратился в Зимний дворец, и Львов прошел со мной в мой кабинет. Там, в присутствии невидимого ему Балавинского, сидевшего в углу огромной комнаты, Львов снова подтвердил достоверность своей записки и записи разговора по телеграфу.

Приблизительно в 10 часов вечера я распорядился об аресте Львова, которого поместили под стражу в одной из комнат Зимнего. После этого я немедленно отправился в Малахитовый зал, где проходило заседание кабинета, и, доложив о встрече с Львовым, зачитал его записку и дословный текст моего разговора с Корниловым. Высказавшись за подавление мятежа, я заявил, что считаю возможным бороться с поднятым мятежом лишь при условии, если мне будет передана Временным правительством вся полнота власти. И добавил, что с этой целью Временное правительство должно быть несколько преобразовано.

После непродолжительного обсуждения было решено передать председателю всю полноту власти с тем, чтобы скорейшим образом положить конец антиправительственному выступлению, предпринятому Верховным главнокомандующим генералом Корниловым¹³. За исключением кадетов Юренева и Кокошкина, которые подали в отставку, все министры передали свои портфели в мое распоряжение. Я попросил их остаться на своих постах.

У нас не было никакой информации о положении в Ставке, и некоторые члены кабинета предложили ждать до утра. Но я был настроен действовать без промедления. Нельзя было тратить ни минуты. Я направил Верховному главнокомандующему краткую радиограмму, предлагая немедленно передать командование начальнику штаба генералу Лукомскому, а самому прибыть в столицу. Ранним утром я дал указание исполняющему обязанности министра железных дорог Либеровскому (которого я назначил на место П. Юренева) остановить движение воинских эшелонов в направлении Петрограда и разобрать линию Луга — Петроград.

Ответа от генерала Корнилова не последовало. Однако ранним утром 27 августа в адрес управляющего военным министерством пришла лаконичная телеграмма, отправленная в 2 ч. 40 мин.: «Срочно. Корпус прибывает в район Петрограда вечером 28-го. Пожалуйста, объявите 29 августа военное положение в Петрограде. Корнилов». Генерал Корнилов отправил эту телеграмму сразу же после нашего разговора, до того, как он получил мое сообщение о вызове в столицу.

Вскоре мы выяснили, что упомянутый в телеграмме корпус — вовсе не тот кавалерийский корпус, который затребовало Временное правительство, а авангард «специальной армии» под командованием генерала Крымова, в основном укомплектованный «Дикой дивизией». В тот же день мы получили официальное извещение, что эти войска сосредоточились вблизи Луги. Было очевидно, что своей телеграммой генерал Корнилов намеренно пытался ввести нас в заблуждение.

Савинков, опасавшийся, что я подозреваю его в сговоре с генералом Корниловым, был в самых расстроенных чувствах. Он обратился ко мне с просьбой либо отдать его под суд, либо поручить ему защиту

столицы. Я назначил его на пост генерал-губернатора Петрограда и возложил на него задачу защитить город. Позднее в тот же день было опубликовано мое обращение к стране. В нем я изложил народу происшедшие события и призвал соблюдать закон и порядок. В ответ на это Корнилов опубликовал заявление, в котором объяснял мотивы своих действий.

В час ночи я получил телеграмму генерала Лукомского, в которой говорилось: «Генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов, опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части офицерства и армии, требовавших скорейшего создания крепкой власти для спасения родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране. Приезд Савинкова и Львова, сделавших предложение генералу Корнилову в том же смысле от Вашего имени, лишь заставил генерала Корнилова принять окончательное решение и, идя согласно с Вашим предложением, отдать окончательные распоряжения, отменять которые уже поздно. Ваша сегодняшняя телеграмма указывает, что решение, принятое прежде Вами и сообщенное от Вашего имени Савинковым и Львовым, теперь изменилось.

Считаю долгом совести, и имея в виду лишь пользу родины, определенно Вам заявить, что теперь остановить начавшееся с Вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне, окончательному разложению армии и позорному сепаратному миру, следствием коего, конечно, не будет закрепление завоеваний революции. Ради спасения России, Вам необходимо идти с генералом Корниловым, а не смещать его. Смещение генерала Корнилова поведет за собой ужасы, которых Россия еще не переживала. Я лично не могу принять на себя ответственность за армию, хотя бы на короткое время, и не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию. Ожидая срочных указаний. Лукомский»¹⁴.

Ранним утром 28 августа командующему Северным фронтом генералу Клембовскому была направлена телеграмма следующего содержания: «Временным правительством Вы назначаетесь врид Верховного главнокомандующего, с оставлением Вас в Пскове и с сохранением должности Главкосева. Предлагаю Вам немедленно принять должность от генерала Корнилова и немедленно мне об этом донести. Министр-председатель Керенский». По обыкновению, приказ был передан через штаб Верховного главнокомандующего.

Ответ генерала Клембовского поступил через несколько часов: «От Главковерха получил телеграмму, что я назначаюсь на его место. Готовый служить родине до последней капли крови, не могу во имя преданности и любви к ней принять эту должность, так как не чувствую в себе ни достаточно сил, ни достаточно умения для столь ответственной работы в переживаемое тяжелое и трудное время. Считаю перемену верховного командования крайне опасной, когда угроза внешнего врага целостности и свободе родины повелительно требует скорейшего проведения мер для поднятия дисциплины и боеспособности армии. Клембовский. 28 августа»¹⁵.

Позднее мы узнали, что генерал Клембовский был одним из двух командующих фронтами (всего было пять командующих фронтами), которые обещали поддержать генерала Корнилова. Другим был командующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин. Не дожидаясь запроса из Петрограда, генерал Деникин направил в 2 часа ночи 27 августа телеграмму, которая начиналась следующими словами: «Я солдат и не привык играть в прятки». Завершалась она так: «Сегодня получил известие, что генерал Корнилов, предьявивший известные требования, могущие еще спасти страну и армию, смещается с поста Главковерха. Видя в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по этому пути я с ним не пойду. Генерал Деникин. 27 августа»¹⁶.

Крайне осторожный и расчетливый, генерал Клембовский, видимо, чувствуя, что поставил не на ту лошадь, поспешил отмежеваться от действий своих друзей в Верховном командовании и направил в тот же день мне и генералу Лукомскому вторую телеграмму, в которой говорилось: «Перевозятся конные части, не подчиненные мне, а составляющие резерв Главковерха. Самая перевозка совершается по его, а не по моему распоряжению. Клембовский. 28 августа»¹⁷.

Командующие Западным, Кавказским и Румынским фронтами так же, как командующий Северным фронтом, направили телеграмму с заверениями в своей лояльности. Переброска кавалерийских частей с Северного фронта, которая началась еще до падения Риги, проводилась в то время, когда немцы предприняли решительное наступление и все командиры настойчиво требовали подкреплений.

После полудня 28 августа в соответствии с решением Временного правительства я попросил генерала Алексева немедленно отправиться в Ставку и принять на себя Верховное командование. Алексей попросил отсрочки с тем, чтобы изучить относящиеся к этому делу документы. Позже в тот же день Терещенко показал мне телеграмму, полученную от начальника дипломатической канцелярии в Ставке князя Григория Трубецкого. В ней говорилось:

«Грезво оценивая положение, приходится признать, что весь командный состав, подавляющее большинство офицерского состава и лучшие строевые части армии пойдут за Корниловым. На его сторону встанет в тылу все казачество, большинство военных училищ, а также лучшие строевые части. К физи-

ческой силе следует присоединить превосходство военной организации над слабостью правительственных организмов, моральное сочувствие всех несоциалистических слоев населения, а в низах растущее недовольство существующими порядками, в большинстве же народной и городской массы, притупившейся ко всему, равнодушие, которое подчиняется удару хлыста». И далее: совершенно очевидно, что большинство членов «мартовских социалистов»¹⁸ без колебаний примкнуло к этим силам. Более того, недавние события на фронте и в тылу, в частности в Казани, где недавно был взорван военный арсенал, в полной мере продемонстрировали сокрушительное банкротство существующего строя и неизбежность катастрофы в случае, если не будут осуществлены немедленные и радикальные реформы. Эти соображения оказали решающее воздействие на генерала Корнилова, который пришел к убеждению, что лишь твердость может спасти Россию от падения в пропасть, на краю которой она сейчас находится. Нет оснований утверждать, будто Корнилов расчищает путь к победе кайзера, поскольку немцы тем и занимаются сегодня, как захватом наших территорий¹⁹. «От людей, стоящих ныне у власти, зависит, пойдут ли они навстречу неизбежному перелому, чем сделают его безболезненным и охранят действительные залогов народной свободы, или же своим сопротивлением примут ответственность за новые неисчислимые бедствия. Я убежден, что только безоглядательный приезд сюда министра-председателя, управляющего военным министерством, а также Вас для совместного с Верховным главнокомандующим установления основ сильной власти может предотвратить грозную опасность междоусобья»²⁰. Дальше князь Трубецкой указывает, что направил эту телеграмму, содержание которой в основном совпадает с текстом обращения Корнилова к народу, с одобрения генерала.

С этого момента перед Временным правительством встала насущная задача устранения из Ставки верховного командования главных заговорщиков из числа военных. Я был исполнен решимости не допустить повторения ситуации, которая сложилась на фронте в первые недели после Февральской революции.

А тем временем в обществе продолжали циркулировать слухи относительно так называемого недоразумения, возникшего в результате посредничества Владимира Львова между генералом Корниловым и мной. В некоторых кругах даже утверждали, будто я с самого начала был заодно с Корниловым и неожиданно предал его из-за страха перед «большевистскими советами», хотя в то время в советах большевики еще не доминировали. Весь день 28 августа меня и других членов кабинета посещали делегации военных и гражданских лиц, предлагая отправиться к генералу Корнилову, чтобы раз и навсегда покончить с «недоразумением». Нет необходимости говорить, что я отверг все эти предложения о посредничестве.

Позднее, после полудня, прочитав все относящиеся к делу документы, меня посетил генерал Алексеев, которого сопровождал Миллюков. Оба они считали, что еще есть возможность устранить возникшее «недоразумение». Более того, послы Великобритании, Франции и Италии передали через Терещенко «дружеское предложение» о «посредничестве между Керенским и Верховным главнокомандующим генералом Корниловым». Но и они получили тот же ответ, что и другие: я не заинтересован ни в каких предложениях о посредничестве между правительством и мятежным генералом. В этом Временное правительство было абсолютно непреклонным.

То было крайне напряженное время для кабинета. Особенно тревожными оказались ночи 28 и 29 августа. Мы были лишены какой-либо информации о настроениях в стране и на фронте, на нас непрерывно давили посредники всех политических мастей, от правых до левых. К полудню 29 августа все более или менее пришло в норму. Мятежные генералы не получили в армии существенной поддержки. И хотя генерал Корнилов продолжал издавать приказы о захвате столицы, никто их не выполнял и они лишь усугубляли положение с дисциплиной в армии. Без ведома Временного правительства в Ставку с Западного фронта и из Московского военного округа были отправлены два «подразделения специального назначения». Генерал Деникин и его сообщники были арестованы фронтовым комитетом, который намеревался предать их военно-полевому суду, а телефоны в штабах всех воинских подразделений были взяты под контроль представителями различных комитетов.

Под подозрение попали все офицеры. Даже офицеров Балтийского флота, которые не имели никаких связей с Центральным комитетом Союза офицеров армии и флота и не были причастны к заговору, вынудили заявить о преданности делу революции. А 31 августа команда крейсера «Петропавловск» убила четверых молодых офицеров²¹. Положение в вооруженных силах стремительно выходило из-под контроля, и любое промедление в отношении заговорщиков было преступлением подобно.

Утром 30 августа мы вместе с Вырубовым посетили генерала Алексеева на его квартире. Мы были намерены убедить его выполнить свой долг и арестовать генерала Корнилова и его сообщников, а также принять на себя Верховное командование. Наш приход вызвал у генерала бурную вспышку. Немного успокоившись, он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Выждав, я ровным голосом произнес: «А как быть с Россией? Мы должны спасти страну». Поколебавшись, он едва слышно сказал: «Я в вашем распоряжении. Я принимаю должность начальника штаба под вашим командованием». В растерянности я не знал, что ответить, и тут Вырубов прошептал мне на ухо: «Соглашайтесь». Так я стал Верховным главнокомандующим.

Генерал Алексеев на следующий день отправился в Ставку и полностью осуществил все мои указания. Направлявшиеся в Ставку подразделения специального назначения были отозваны, а осадное положение, объявленное заговорщиками в Могилеве, было отменено. 1 сентября я издал следующий приказ:²²

«В связи с выступлением Корнилова нормальная жизнь в армии совершенно расстроилась. Для восстановления порядка приказываю:

1. Прекратить политическую борьбу в войсках и обратить все усилия на нашу боевую мощь, от которой зависит спасение страны.

2. Всем войсковым организациям и комиссарам стать в строгие рамки деловой работы, лишенной политической нетерпимости и подозрительности, ограничиваясь сферой деятельности, совершенно чуждой вмешательству в строевую и оперативную работу начальствующих лиц.

3. Восстановить беспрепятственную перевозку войсковых частей по заданиям командного состава.

4. Безотлагательно прекратить арестование начальников, так как право на означенные действия принадлежит исключительно следственным властям, прокурорскому надзору и образованной мною Чрезвычайной следственной комиссии, уже приступившей к работе.

5. Совершенно прекратить смещение и устранение от командных должностей начальствующих лиц, так как это право принадлежит лишь правомочным органам власти и отнюдь не входит в круг действий организаций.

6. Немедленно прекратить самовольное формирование отрядов под предлогом борьбы с контрреволюционными выступлениями.

7. Немедленно снять контроль с аппаратов, установленный войсковыми организациями.

Армия, выразившая в эти тяжелые, смутные дни доверие Временному правительству и мне, как министру-председателю, ответственному за судьбы родины, великим разумом своим должна понять, что спасение страны только в правильной организованности, поддержании полного порядка, дисциплины и в единении всех между собой. К этому я, обремененный доверием армии, зову всех. Пусть совесть каждого проснется и подскажет каждому его великий долг перед родиной в этот грозный час, когда решается ее судьба.

Как Верховный главнокомандующий я требую от всех начальствующих лиц, комиссаров и войсковых организаций неуклонного проведения всего изложенного в жизнь и предвещаю, что уклонение или неисполнение указанных моих приказаний будет в корне подавлено со всей силой и виновные понесут суровые наказания.

Верховный главнокомандующий А. Керенский.
Начальник штаба генерал от инфантерии М. Алексеев»²³.

Для всех было очевидным, что мятеж Корнилова оказал разрушительное воздействие на всю страну, особенно на армию. Барон Петр Врангель, который, начиная с весны 1917 г., участвовал в заговорах по свержению Временного правительства и установлению в стране диктатуры и который в конце концов возглавил белую армию в Крыму, так писал о бунте Корнилова: «Недавние события глубоко потрясли армию. Процесс разложения армии, который был почти остановлен, возобновился, создавая угрозу полного развала фронта и, соответственно, всей России».

Один из двух членов Временного правительства, которые в самом начале кризиса вышли в отставку, Юренев, в интервью, опубликованном 1 сентября в газете «Русские ведомости», так охарактеризовал попытку переворота: «Что касается до моего мнения о предпринятой ген. Л. Г. Корниловым попытке, то я скажу, что она является ужасным ударом по восстановлению сил страны. Мы понемногу шли вперед по пути укрепления власти, и то, что сделал Корнилов, жестоко нарушает общую работу. В частности, по поводу моего ухода. Подал в отставку в ночь на 27-е августа, я предоставил А. Ф. Керенскому возможность непосредственно осуществлять диктаторские права в ведомстве, которым я до того времени заведовал. С 27 августа я фактически не принимал никакого участия в управлении и 27 передал министерство своему заместителю в порядке старшинства, предложив ему выполнять непосредственные распоряжения А. Ф. Керенского. Все эти распоряжения, как мне известно, были неуклонно выполняемы».

Шесть месяцев напряженной работы правительства, офицерского корпуса, комиссаров военного министерства и фронтовых комитетов не были абсолютно бесплодными. Армия и флот не вернулись на путь безбрежной анархии мартовских дней и мужественно отражали яростное германское наступление вплоть до победы Ленина в октябре.

Но заговорщики и их сообщники не сложили оружия после Корниловского мятежа. Они продолжали толкать Россию в бездну, упрямо выступая против, как они говорили, «слабого» правительства в надежде установить «сильное национальное правительство» под руководством военного диктатора. В своем стремлении дискредитировать Временное правительство они прибегали к самым низким средствам. Однако, несмотря на всю разрушительность их действий, они не смогли добиться желаемых результатов.

Заканчивая эту главу, я хотел бы сказать, что уважаю моральное право на мятеж, но в исключительных условиях. Однако во время войны ответственность должна преобладать над таким моральным пра-

вом. И тем не менее, когда военная акция корниловских заговорщиков провалилась, страсти забушевали столь мощно, что заслонили собой самую судьбу страны. Заговорщики вновь и вновь прибегали к обману.

Во имя торжества дела свободы во всем мире я чувствую себя обязанным подчеркнуть, что поражение русской демократии явилось в основном следствием наступления этих правых сил, а не результатом бессмысленного мифа, согласно которому русская демократия проявила «слабость» и слепоту перед лицом большевистской опасности.

Приложение № 1

Радиограмма Керенского с обращением к народу

От министра-председателя.

26-го августа ген. Корнилов прислал ко мне члена Гос. Думы Вл. Ник. Львова с требованием передачи Временным правительством ген. Корнилову всей полноты гражданской и военной власти с тем, что им, по личному усмотрению, будет составлено новое правительство для управления страной. Действительность полномочий чл. Г. Думы Львова — сделать такое предложение — была подтверждена затем ген. Корниловым при разговоре со мною по прямому проводу.

Усматривая в предъявлении этого требования, обращенного в моем лице к Временному правительству, желание некоторых кругов русского общества воспользоваться тяжелым положением государства для установления в стране государственного порядка, противоречащего завоеваниям революции, Временное правительство признало необходимым для спасения родины, свободы и республиканского строя уполномочить меня принять скорые и решительные меры, дабы в корне пресечь все попытки посягнуть на верховную власть в государстве, на завоеванные революцией права граждан. Все необходимые меры к охране свободы и порядка в стране мною принимаются и о таковых мерах население своевременно будет поставлено в известность.

Вместе с тем приказываю:

1) Генералу Корнилову сдать должность Верховного главнокомандующего генералу Клембовскому, главнокомандующему армий Северного фронта, преграждающему пути к Петрограду. Генералу Клембовскому временно вступить в должность Верховного главнокомандующего, оставаясь в Пскове.

2) Объявить город Петроград и Петроградский уезд на военном положении, распространив на него действие правил о местностях, объявленных состоящими на военном положении...

Призываю всех граждан к полному спокойствию и сохранению порядка, необходимого для спасения родины. Всех членов армии и флота призываю к самоотверженному и спокойному исполнению своего долга — защиты родины от врага внешнего!

Министр-председатель, военный и морской министр
А. Ф. Керенский

Август 27, 1917²⁴

Приложение № 2

Ответ Корнилова на радиотелеграмму Керенского

Телеграмма министра-председателя за № 4163 во всей своей первой части является сплошной ложью. Не я послал члена Государственной думы Владимира Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя. Тому свидетель член I Государственной думы Алексей Аладьин.

Таким образом, совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу отечества.

Русские люди, великая родина наша умирает!

Близок час кончины!

Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба, и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри.

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в бога, в храмы, — молитесь господу бога о явлении величайшего чуда, чуда спасения родимой земли.

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что лично мне ничего не надо кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до Учреди-

тельного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни.

Передать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени — и сделать русский народ рабами немцев я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли.

Русский народ, в твоих руках жизнь твоей родины.

Генерал Корнилов

27 августа 1917 г. Ставка²⁵

(Продолжение следует)

Примечания

1. Как ни странно, но советское государственное издательство опубликовало в 20-х годах стенограмму совещания. Все выступления приведены полностью и без искажений.
2. Граф Бенкендорф, Елизавета Нарышкина, князь Долгорукий, д-р Боткин, Шнейдер и другие.
3. Elisabeth Narishkin-Kurakin. Under Three Tsars. Соответствующие отрывки из ее книги перепечатаны в «The Russian Provisional Government», vol. 1, pp. 187—188.
4. Buchanan G. My Mission to Russia and other Diplomatic Memoires. Vol. II. Lnd. — N. Y. 1923.
5. Buchanan M. The Dissolution of Empire, pp. 192, 195—197.
6. Личный секретарь Георга V.
7. Nicolson H. King George V, His Life and Reign. N. Y. 1953, pp. 299—302.
8. Падение Временного правительства открыло дорогу кровавой диктатуре и привело царскую семью к мученической гибели 16 июля 1918 г., которую замыслили Ленин, Свердлов и Троцкий. В этой связи интересна оценка самого Троцкого трагической гибели Романовых: «Следующая моя поездка в Москву состоялась после падения Екатеринбурга. Разговаривая со Свердловым, я спросил между прочим: «Да, а где находится царь?» «С ним покончено, — ответил он. — Он расстрелян». «А где семья?» «И семья вместе с ним». «Все?» — спросил я с явным изумлением. «Все! — повторил Свердлов. — Ну и что?». Он ожидал моей реакции. Я не ответил. «А кто принял такое решение?» — задал я вопрос. «Решение было принято здесь. Ильич посчитал, что нельзя оставлять белым живое знамя, вокруг которого они объединятся, особенно в нынешних трудных условиях». Больше вопросов я не задавал. В конце концов решение это было не только целесообразным, но и необходимым. Жестокость этого акта правосудия показала миру, что мы будем продолжать борьбу без всякой жалости, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи была необходима не только для того, чтобы запугать, утратить и обескуражить врага, но и для того, чтобы встряхнуть наши собственные ряды, показать, что возврата к прошлому нет, что впереди — либо полная победа, либо полное поражение» (см. Trotsky's Diary in Exile, 1935. Cambridge (Mass.). 1953, p. 81).
9. Член I Думы, который только что возвратился в Россию в форме английского лейтенанта. В течение некоторого времени он находился в Англии.
10. Buchanan G. My Mission to Russia. Vol. II, pp. 175—176. Посла посетил не кто иной, как крупнейший банкир А. И. Путилов, о чем много лет спустя мне лично рассказал сэр Джордж.
11. Оригинал документа хранится в советских архивах. (Текст воспроизводится по кн.: Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа. М. 1959, с. 442. — Прим. ред.)
12. Лента хранится в московских архивах. (Цит. по: Революционное движение в России в августе 1917 г., с. 443. — Прим. ред.)
13. Журнал Временного правительства, 26 августа.
14. Цит. по: Революционное движение в России в августе 1917 г., с. 448 (Прим. ред.).
15. Там же, с. 455—456 (Прим. ред.).
16. Там же (Прим. ред.).
17. Там же, с. 457 (Прим. ред.).
18. Те, кто вступил в социалистические партии после падения монархии.
19. Это писалось, когда наши войска упорно сопротивлялись яростному наступлению Германии.
20. Керенский А. Дело Корнилова. М. 1919, с. 144.
21. Лейтенанта Жизенко и мичманов Михайлова, Канонбу, Кондратьева.
22. Два последних абзаца были написаны мной, остальной текст — генералом Алексеевым.
23. Революционное движение в России в августе 1917 г., с. 471 (Прим. ред.).
24. Цит по: Известия, 28.VIII. 1917 (Прим. ред.).
25. Революционное движение в России в августе 1917 г., с. 446 (Прим. ред.).

Особая миссия Давида Канделаки

Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальным явлением: многое, о чем советская общественность узнает впервые, оказывается давно известным и исследованным в зарубежной исторической науке. Обнаруживается, что с давних времен параллельно существовали как бы два пласта исследований и мемуаров по истории нашей страны с 1917 года. Однако в общественном сознании господствовал один, официальный пласт. Только в начале 20-х годов еще допускались публикации из иного пласта, затем он был запрещен. Но второй пласт продолжал существовать и развиваться, будучи доступным только узкому кругу исследователей, да и они оставляли подобные знания «для себя».

Ныне ситуация изменилась. На второй, некогда запретный, слой буквально набросились газеты, журналы, авторы популярных работ, и часто им достаточно лишь раскрыть какую-либо давно изданную книгу, чтобы создать базу для «открытий». Пока трудно представить, каков будет окончательный баланс обоих пластов. Остается лишь надеяться, что он станет подлинно научным.

Ситуация «двух слоев» существует и в нашей историографии советско-германских отношений 30-х годов, причем соотношение обоих слоев можно назвать парадоксальным. Если говорить о первом из них, то есть о традиционном освещении этих отношений, то оно опиралось на достаточно скудный объем публикаций документального характера. Соответственно и исследования советских историков опирались на весьма узкую источниковую базу. Второй же слой был куда разнообразнее. Во-первых, он состоял из многотомных публикаций германских, английских, американских и французских архивных документов. Во-вторых, в него входили мемуары видных деятелей дипломатии и политики Запада. В-третьих, этот слой образовывали многочисленные исследования историков ФРГ, Англии и Франции. Основные проблемы советско-германских отношений были разработаны нашими западными коллегами еще в 60-70-е годы. А мы занялись ими лишь с конца 80-х!

Вот почему задача нового прочтения советско-германских отношений для некоторых авторов оказалась не столь уж сложной: можно было взять давно появившиеся исследования западных ученых, а также документальные публикации на данную тему, и извлечь из них достаточное количество материала. Конечно, использование их желательнее. Но не следует забывать некоторые обстоятельства: ведь и западные исследователи в ряде случаев были подвержены воздействию «холодной войны», и кроме того — что куда важнее! — они не имели в своем распоряжении советской документации данной эпохи.

Особняком во втором слое всегда стояли публикации, принадлежавшие лицам, перешедшим с одной стороны на другую. Именно так было с материалами человека, называемого в западных источниках генералом Вальтером Кривицким, руководителем советской разведки в Западной Европе в конце 30-х годов. Они появились в 1939 г. сначала в американском журнале «The Saturday Evening Post», а затем были изложены в книге¹. Смысл публикаций Кривицкого был однозначен: кговору с Гитлером Сталин повернул уже в 1934 г., пытался это сделать в 1936 и 1937 гг., в частности с этой целью посылал к Гитлеру своего секретного эмиссара Давида Канделаки, и в дальнейшем стремился к соглашению с нацистской Германией.

Так как статья Кривицкого появилась в апреле 1939 г., то после заключения советско-германского

договора от 23 августа 1939 г. ему в западных кругах определили роль пророка. Он оказался очень полезным для секретных служб Запада. По данным английских исследователей, он передал британской контрразведке сведения на многих советских агентов в Западной Европе, в том числе на таких важных, как Дж. Кинг — сотрудник шифроотдела Форин оффис. Когда же в 1940 г. Кривицкий погиб при невыясненных обстоятельствах (считалось, что он был убит агентами НКВД), то эта трактовка получила дополнительные стимулы. Почти все солидные западные исследователи упоминают свидетельства Кривицкого, в том числе и миссию Канделаки. Упоминают ныне этот источник и советские авторы².

Первые замечания по поводу публикаций Кривицкого принадлежат чиновникам Форин оффис. 21 июня 1939 г. посольство Великобритании в Москве, получив соответствующий запрос из Лондона, сообщало, что у него нет «возможности проверить сделанные заявления» и что у местных дипломатов «нет никаких данных о генерале Кривицком». Посольство считало более или менее достоверными сообщения Кривицкого об Испании (Кривицкий перешел на Запад в 1937 г., а до этого действительно был в Испании). В дальнейшей переписке британских дипломатов по этому вопросу констатируется, что подлинная фамилия Кривицкого — Гинзбург, что он якобы был директором Института советской военной промышленности (?), а затем возглавлял советскую военную разведку в Западной Европе. В самом Форин оффис к тексту «разоблачений» (эти слова неизменно брались в кавычки) относились с недоверием, отмечая, что «по странному совпадению» автор присутствовал на важных заседаниях в Кремле, на которых ему быть не полагалось; считали, что текст является компиляцией, составленной известным американским советологом тех времен Д. Левином (сторонником Троцкого). Заключение Форин оффис гласило: «Не следует игнорировать, но не принимать буквально на веру»³.

Сомнения английских дипломатов имели основания. Кривицкий (его настоящее имя Самуэль Гинзбург) с 1926 года в течение ряда лет действительно был сотрудником Разведывательного управления Генштаба РККА, причем довольно низкого ранга (поэтому очень сомнительно, чтобы он, как утверждалось в книге, получал информацию о заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б)). С 1934 г. он перешел на работу в ИНО ОГПУ (иностранный отдел, то есть внешнеполитическая разведка), причем его сразу стали готовить на нелегальную работу. Это, кроме всего прочего, означало, что он был полностью отключен от деятельности аппарата ИНО и других инстанций. Видимо, этим объясняется ряд неточностей и даже несообразностей в его публикациях. Например, как могло Политбюро обсуждать вечером 30 июня 1934 г. вопрос о кровавых событиях в Берлине, если они закончились к вечеру этого дня, а их смысл стал ясен лишь спустя несколько дней? Его утверждения, будто «после смерти Ленина Сталин был первым советским лидером, выступающим за тесное сотрудничество с Германией, и был прогермански настроен с самого начала», могут вызвать лишь улыбку у всех, кто мало-мальски знал характер советско-германских отношений.

Но обратимся к упомянутому Кривицким Канделаки. Деятельность торгового представителя СССР в Германии Д. В. Канделаки (1895—1938) является предметом внимания ряда исследователей (Б. Пиотров, К. Никлаус, И. Брюгель, В. Лакер), склоняющихся к тому, что он действительно являлся особым эмиссаром Сталина и его зондажи имели целью заключение далеко идущих экономических и политических соглашений между СССР и Германией, в которых инициатива принадлежала советской стороне⁴.

В каких условиях работал торгпред СССР? Приход Гитлера к власти 30 января 1933 г. стал рубежом не только в истории Германии. Этот политический акт, совершенный по воле немецкой военной, экономической и партийной элиты, имел для СССР исключительное значение. Более того: он требовал переосмысления советско-германских отношений, сложившихся более чем за 10 лет. В 1922 г. между РСФСР и Германией был заключен равноправный договор. Это достижение было закреплено затем в ряде советско-германских соглашений — в договоре о нейтралитете 1925 г., в протоколе 1931 г., в регулярных торговых и кредитных соглашениях. Кроме этого СССР считал возможным пойти на ряд секретных договоренностей с Германией в военной области: рейхсвер получил возможности создать танковую (в Казани), военно-воздушную (Липецк) и военно-химическую (Саратов) школы, что позволило ему практически обходить статьи Версальского договора⁵.

Беспокойство, с которым была встречена в Москве весть о приходе Гитлера к власти, можно объяснить рядом причин. Во-первых, мог нарушиться установившийся баланс европейской политики, в котором советско-германские отношения являлись противовесом той монополии в Европе, на которую претендовали в 20-е годы Франция и Англия. Отчаянные попытки последней «перетащить» Германию на свою сторону и создать общий фронт против СССР (Локарно!) долгое время успешно парировались советской дипломатией, но теперь эта угроза становилась реальной. Во-вторых, благоприятные отношения с Берлином были крайне важны как противовес в напряженных советско-польских отношениях. В-третьих, возникала угроза не только для дипломатических маневров, но и для самой безопасности Советского государства. Уже через два года после прихода Гитлера к власти М. Н. Тухачевский на страницах «Правды» сформулировал этот тезис. Наконец, что было тогда особенно важным, создавалась угроза для торговых связей, успешно развивавшихся с конца 20-х годов и выведших Германию на первое место среди зарубежных партнеров СССР.

Приход Гитлера к власти не замедлил оказать влияние на советско-германские отношения, которые стали быстро ухудшаться. Антисоветские выпады Гитлера в речи, произнесенной в берлинском Спортпаласе, вызвали резкий отпор в советской печати. 22 марта 1933 г. в «Известиях» К. Радек в статье «Куда идет Германия» писал: «Национал-социалисты развивали программу внешней политики, направленную против существования СССР, поддерживающую с Германией добрососедские отношения. Это налагает на германское правительство обязательство открыто сказать, куда оно идет».

Такова была обстановка, в которой пришлось действовать советским представителям в Германии, среди них был и Канделаки. Участник революционного движения с 1912 г., член партии эсеров, он в 1919 г. вступил в партию большевиков. Нарком просвещения Грузии в 1925—1930 гг., затем торгпред в Швеции (о нем была высокого мнения А. М. Коллонтай) Канделаки оказался в 1934 г. на посту советского торгпреда в Берлине, то есть в самой гуще событий. Документы, обнаруженные и исследованные Н. А. АБРАМОВЫМ, вносят определенную ясность в освещение целей и результатов миссии Канделаки. Ниже публикуется его документальный очерк. Предисловие и послесловие к нему написаны Л. А. БЕЗЫМЕНСКИМ.

* * *

После прихода к власти в Германии Гитлера последовало резкое ухудшение советско-германских отношений, выразившееся в свертывании сотрудничества по всем линиям. Исключение составляли экономические отношения. Попытка обсудить причины ухудшения советско-германских отношений была предпринята еще в 1933 г. послом Германии в СССР Р. Надольным, встретившимся 13 декабря с наркомом М. М. Литвиновым⁶. Как выяснилось позже, это была инициатива посла. Р. Надольный выражал настроения отдельных германских кругов, считавших, что с СССР нужно восстановить отношения, характерные для рапальского периода. Но в июне 1934 г. он был отозван из Москвы.

До прихода Гитлера к власти советско-германские экономические отношения развивались успешно. В 1931 и 1932 гг. в экспорте машин из Германии СССР стоял на первом месте. Так, в 1932 г. 43% всего германского экспорта машин пошло в СССР. Сокращение товарооборота в результате ухудшения советско-германских политических отношений было значительным. Если в 1931 г. экспорт СССР в Германию составил 566,5 млн. руб., импорт — 1798,6 млн. руб., то в 1935 г. уже соответственно 289,3 и 95,1 млн. руб.⁷ В то же время происходило увеличение доли Англи, США и Франции в экспорте и импорте СССР. Поэтому в основе попыток Германии нормализовать отношения с СССР лежала необходимость получать из СССР сырье и сбывать ему продукцию машиностроения. С советской стороны была заинтересованность в германском промышленном оборудовании и современной технологии, в том числе и для оборонной промышленности.

Попытки улучшения советско-германских отношений делались также во время переговоров о заключении ежегодных экономических соглашений о товарообороте и платежах. Эти соглашения заключались в 1934, 1935, 1936 годах⁸. С советской стороны, помимо торгпреда Д. В. Канделаки, в переговорах участвовал советник полпреда С. А. Бессонов. Он, а также полпред СССР в Германии Я. З. Суриц были в курсе встреч и переговоров Канделаки.

Первое упоминание о встрече Канделаки с Я. Шахтом встречается 6 февраля 1935 г. в письме Бессонова М. М. Литвинову. Вопросы политического сближения СССР и Германии тогда не обсуждались. В конце письма Бессонов писал: «Прошу вас учесть, что т. Канделаки сам еще ничего не писал в Москву по поводу своего разговора с Шахтом»⁹. По-видимому, Канделаки предпочитал о своих встречах докладывать устно. Это объясняет отсутствие записей бесед, сделанных им самим.

Начало пребывания торгпреда Канделаки в Берлине совпало с активизацией зондажей с немецкой стороны.

14 января 1935 г. Суриц писал Литвинову: «Известный Вам немецкий друг наш рассказывал, что сильно возросшие в своем влиянии рейхсверовские и близкие к Шахту круги настаивают на примирении и соглашении с нами. По его словам, большое впечатление на них произвела наша готовность развивать экономические отношения. Он спрашивает меня, какие гарантии вне Восточного пакта нас удовлетворили бы... Наряду с заключением кредитного соглашения первоочередной задачей он сейчас считает взаимное прекращение кампании в печати и поддержание культурных связей»¹⁰.

Эти настроения нашли отклик у руководства СССР. В докладе на VII съезде Советов 28 января 1935 г. Председатель СНК СССР В. М. Молотов заявил: «У нас не было и нет другого желания, как иметь и дальше хорошие отношения с Германией... Однако на пути советско-германских отношений возникли серьезные затруднения за последний период»¹¹.

Бессонов в связи с подписанием советско-германского экономического соглашения писал в НКВД 12 апреля 1935 г.:

Абрамов Николай Александрович — сотрудник Архива внешней политики СССР Историко-дипломатического управления Министерства иностранных дел СССР;

Безыменский Лев Александрович — кандидат исторических наук, политический обозреватель журнала «Новое время».

«Шахт... много говорил о необходимости дальнейшего хозяйственного сближения СССР и Германии. Он сказал, что он будет твердо держаться курса на углубление и улучшение хозяйственных отношений с Советским Союзом, в каком сближении он видит залог процветания обеих стран... Возвращаясь к вопросу о необходимости сближения с СССР, Шахт еще раз подтвердил, обращаясь ко мне и к т. Канделаки, что его курс на сближение с СССР проводится им с ведома и одобрения Гитлера»¹².

О подобных тенденциях в настроениях правящих кругов Германии сообщали не только дипломаты. Так, советский журналист Дм. Бухарцев писал 24 апреля 1935 г. Н. И. Бухарину, редактору газеты «Известия», и в НКВД: «За последнее время усилились в определенных германских кругах настроения к улучшению отношений с СССР. Наряду с рейхсверовскими кругами в этой связи часто упоминаются имена Шахта и Геринга». 29 мая 1935 г. Суриц писал в НКВД о своей беседе с Шахтом: «Шахт был очень любезен, говорил о необходимости улучшить взаимоотношения»¹³.

В конце июня 1935 г. Шахт от имени правительства Германии предложил СССР кредит в 1 млрд. марок сроком на 10 лет. Канделаки была дана директива «указать Шахту на препятствия, чинимые немцами», в реализации 200-миллионного кредита «путем взвинчивания цен и под этим предлогом уклониться от дальнейших разговоров на тему о новом кредите». СССР счел необходимым поставить в известность об этом предложении немцев и об его отклонении французское правительство¹⁴.

Первая документально зафиксированная встреча между Канделаки и Шахтом, на которой были затронуты вопросы политического характера, произошла 15 июля 1935 года¹⁵. «После некоторого замешательства, — писал Шахт в записи беседы, — г-н Канделаки выразил надежду, что также хорошо было бы улучшить советско-германские политические отношения». Шахт ответил, что не может вступать в политические переговоры и что, если в них есть необходимость, то «нужно обращаться в МИД через советского посла». В заключение он сказал, что информирует о беседе своего министра иностранных дел¹⁶.

Бессонов, будучи в Москве, во время беседы с советником германского посольства в СССР Ф. Твардовским 7 октября 1935 г. спросил: «Что, по Вашему мнению, может улучшить советско-германские отношения?» 200-миллионный кредит СССР скоро будет исчерпан, продолжал он, а Канделаки, имеющий «исключительные связи здесь», в Москве, имеет «грандиозные планы» для расширения советско-германской торговли, «если не произойдет никаких политических инцидентов»¹⁷.

Суриц, находясь в Москве, получил, видимо, устные указания от наркома. Вернувшись в Берлин, он «приступил, — по его словам, — к активизации контакта с немцами». Однако после беседы с министром иностранных дел Германии К. Нейратом, рядом сотрудников МИД и нацистского аппарата в письме Литвинову от 28 ноября 1935 г. он писал: «Все мои общения с немцами лишь укрепили уже раньше сложившееся у меня убеждение, что взятый Гитлером курс против нас остается неизменным и что ожидать каких-либо серьезных изменений в ближайшем будущем не приходится». «Единственным средством воздействия» в пользу смягчения антисоветского курса, писал полпред, ссылаясь на мнение своих собеседников, является заинтересованность Германии в установлении нормальных экономических отношений с СССР, вернее, в получении советского сырья¹⁸.

Оценка этого зондажа содержится в письме Литвинова Сурицу от 4 декабря 1935 г.: «Выводы, к которым Вы пришли на основании усиленного контакта с немцами, меньше всего удивили меня... У меня никаких иллюзий на этот счет давно уже не было». Нарком согласился с мнением Сурица «относительно необходимости нашей дальнейшей экономической работы в Германии», но был против того, «чтобы львиная доля возможного нашего импорта на ближайшие годы была отдана Германии... в ущерб другим странам». Литвинов считал: «Нам незачем слишком укреплять экономически нынешнюю Германию. Достаточно будет, на мой взгляд, поддерживать экономические отношения с Германией в той лишь мере, в какой это необходимо во избежание полного разрыва между обеими странами». Эту точку зрения нарком собирался довести до сведения Советского правительства¹⁹.

3 декабря 1935 г. Литвинов информировал Сталина о контактах Сурица с политическими деятелями Германии и о том, что считает неизменным курс Германии. Литвинов в записке Сталину поддержал предложение Сурица «продолжить нашу экономическую работу в Германии», но считал нужным ограничить объем заказов в Германии 100—200 млн. марок. Во втором пункте Литвинов предложил в ответ на антисоветскую кампанию в Германии «дать нашей прессе директиву об открытии систематической контрпропаганды против германского фашизма»²⁰.

За этими зондажами последовала между 1 и 12 декабря 1935 г. целая серия встреч Бессонова в Берлине, отчет о которых он сгруппировал в два письма в НКВД: «О перспективах советско-германских отношений» и «О настроениях в рейхсвере в отношении Красной Армии». Собеседниками Бессонова были: заместитель директора Восточного отдела МИД Германии К. Редигер; Ф. Твардовский, ставший заместителем директора VI отдела МИД Германии (культура); заведующий русским сектором разведывательного отдела в военном министерстве майор К. Шпальке; статс-секретарь министерства авиации Э. Мильх; главный советник Шахта Р. Бринкман; референт Шахта Герберт Геринг.

Эти беседы, писал Бессонов, подтвердили «наличие в Германии слоев и групп, по разным причинам заинтересованных в нормализации отношений с СССР». К этим группам он относил прежде всего промышленников, затем значительные слои военных и, наконец, часть дипломатического аппарата. Руководство фашистской партии, подчеркивал Бессонов, «держится по-прежнему неприязненно по отношению к СССР, расценивая советскую внешнюю политику целиком как антигерманскую». Круги, стоящие за нормализацию отношений с СССР, отмечал он, «очень хотят опереться на какие-нибудь факты, показывающие, что и СССР не прочь нормализовать отношения с Германией», и это «об-

легчило бы им внутреннюю борьбу за проведение их линии». Сотрудники МИД Германии подчеркивали в этой связи важность разрешения некоторых текущих вопросов, в том числе о въезде в СССР представителей германских фирм и об их положении в Москве²¹.

В центре внимания были переговоры по экономическим вопросам. На них возлагались основные надежды, и они рассматривались «как первый шаг, который при благоприятных условиях может далеко перерасти за свои первоначальные рамки». Особенно положительно к переговорам по экономическим вопросам относились промышленники, констатировал Бессонов, которые «всегда считали глубоким и печальным недоразумением ухудшение отношений между СССР и Германией, ибо эти страны естественно дополняют друг друга», а от ухудшения отношений страдает прежде всего Германия, поскольку СССР ни в чем не нуждается.

Большое внимание, отмечал Бессонов, собеседники уделяли вопросам военного сотрудничества, причем подчеркивалось, что воспоминания о прежних отношениях между рейхсвером и Красной Армией не могут быстро исчезнуть и до сих пор живы в германской армии, тем более что значительное число активных деятелей этой армии многим обязаны тому, чему они научились в Красной Армии. Германские военные круги были готовы «если не восстановить прежние отношения, то во всяком случае несколько повысить температуру теперешних отношений».

Референт Шахта Герберт Геринг 12 декабря сообщил, что между военным министром В. Бломбергом и Шахтом «достигнуто соглашение о готовности на поставку по заказам СССР любого военного оборудования, включая самое сложное». По словам Геринга, речь идет не только о морском военном вооружении, но и обо всех остальных видах и что обстановка для будущих заказов СССР будет «неизмеримо более благоприятной, чем при размещении 200 млн. кредита»²².

Из аналогичных записей вышеприведенных бесед, сделанных сотрудниками МИД Германии, следует, что в ходе экономических переговоров поднимался, в том числе и советской стороной, вопрос об улучшении советско-германских отношений. О беседе 2 декабря 1935 г. зам. директора II департамента МИД Германии К. Редигер писал: «Г-н Бессонов затем перешел к вопросу о германо-советских отношениях. Он считал, что должны быть предприняты усилия для достижения в них разрядки. Когда я согласился с ним, подчеркнув, что кроме враждебности в области идеологии между Германией и СССР нет политических разногласий и что мы, конечно, приветствуем расширение экономических отношений... Бессонов сказал, что именно в этой области может быть сделан большой рывок для достижения разрядки»²³.

Аналогичную запись о беседе с Бессоновым 10 декабря 1935 г. оставил Твардовский: «Г-н Бессонов начал беседу с вопроса, как могут быть улучшены советско-германские отношения». Твардовский, по его словам, уклонился от обсуждения этой темы, поскольку не занимался в тот период советско-германскими отношениями, но Бессонов «настаивал на обсуждении этого вопроса». Тогда Твардовский высказал «в качестве своего личного мнения» соображение о том, что «если Советское правительство действительно желает улучшить нынешнее положение и будет действовать с целью нормализации отношений, то оно должно взять на себя инициативу в улучшении общей атмосферы. Для этого необходимо: 1) прекратить нападки в прессе и перестать поносить руководителей Германии, лидеров национал-социалистической партии и превратно толковать намерения германского правительства; 2) ясно продемонстрировать понимание целей германской внешней политики; 3) удовлетворить наши пожелания по консульским вопросам»²⁴.

В тот же день состоялась беседа Твардовского с Сурицем, в ходе которой полпред спросил, что должно быть сделано для улучшения советско-германских отношений и что «он мог бы сделать для этого лично». Твардовский, вновь оговорившись, что не занимается отношениями между Германией и СССР, заявил: «Я лично не убежден в том, что со стороны Советского правительства... существует искреннее стремление нормализовать отношения с Германией» и выразил опасение, что нынешний зондаж может «на деле оказаться тактическим маневром, когда давление, оказанное таким образом на Францию, сделает свое дело». Если СССР действительно желает нормализовать отношения, сказал он, «тогда Советское правительство должно в той или иной форме взять на себя инициативу». Твардовский отметил, что необходимо, чтобы Германия «не встречала постоянно Советский Союз в качестве противника на своем политическом пути»²⁵. Из этой беседы Твардовский сделал вывод, что у Сурица были «строгие инструкции» добиться улучшения взаимоотношений.

В ответ на зондажи немецкой стороны Литвинов в письме Сурицу 19 декабря 1935 г. писал: «К сообщениям Вашим и Вашим сотрудников о якобы замечаемых в Германии сдвигах в отношении СССР я отношусь довольно скептически»²⁶.

В конце 1935 г. во время переговоров по экономическим вопросам Шахт предложил через Канделаки Советскому Союзу кредит в 500 млн. марок²⁷. 11 января 1936 г. заместитель наркома иностранных дел Н. Н. Крестинский писал Сурицу: «Мне кажется, что по вопросу об этом 500-миллионном кредите мы с немцами договоримся. Что же касается вопроса об изменении немцами их политической позиции по отношению к нам, то никаких признаков каких-либо изменений в этом направлении ни в Берлине, ни в Москве, ни в других пунктах земного шара не замечается»²⁸.

10 января 1936 г. на сессии ЦИК Молотов заявил: «Советское правительство желало бы установления более хороших отношений с Германией, чем те, которые существуют теперь. Нам это кажется бесспорно целесообразным с точки зрения интересов народов и СССР, и Германии. Но осуществление этой политики зависит не только от нас, но также и от правительства Германии»²⁹.

В письме Крестинского Сурицу от 19 февраля 1936 г. прозвучала мысль о том, что нормализацию отношений между двумя странами следует начинать с экономических вопросов. Ввиду того что немцы «продолжают придержи-

ваться старой политики» и «подчеркивают свое холодное отношение к нам и другим сторонникам коллективной безопасности», писал он, улучшение отношений с Германией «может начаться лишь с экономического конца, и поэтому нас здесь очень интересует ход переговоров о 500-миллионном кредите и о платежном соглашении на 1936 год»³⁰.

Из полпредства продолжала поступать информация о настроениях в пользу сближения между СССР и Германией. В конце февраля 1936 г. Суриц писал Крестинскому, что в дипломатическом корпусе широко распространено мнение, «что германские военные круги по-прежнему продолжают держаться особой линии в вопросах германской политики по отношению к СССР, причем некоторым из них приписывается готовность идти вплоть до восстановления отношений рапалльского периода»³¹. Он также отмечал «известную сдержанность и некоторое изменение тона по отношению к нам» германской печати.

В письме Литвинова Сурицу от 19 апреля 1936 г. была определена тактика в отношении переговоров с Германией о кредите. Нарком писал, что он согласен с выводом о «нецелесообразности экономического разрыва с Германией». В то же время, продолжал он, СССР не должен отказываться ни от каких усилий в борьбе с агрессивной политикой Германии, а предложение «о немедленном возобновлении экономических переговоров в большем масштабе действовало бы охлаждающе на Францию и играло бы на руку Гитлеру». Укрепляя Германию, СССР от нее «никакой политической компенсации» не получит, а «экономически, как здесь было указано т. Канделаки, мы очень мало заинтересованы в большой схеме кредитов».

Литвинов допускал возможность «общего соглашения с Германией», в которое на каких-то началах включился бы и СССР. Такое включение не будет добровольным актом со стороны Гитлера, его можно добиться только в «процессе переговоров со стороны Англии и Франции». В этом немалую роль «будет играть и наше нынешнее воздержание от возобновления экономических связей с Германией». Литвинов считал, что «настаивать на том, чтобы Франция и Англия заботились о включении Востока Европы в общий план организации мира, а самим отказываться от малейшего давления на Гитлера, тактика плохая». По мнению наркома, Суриц поддался «на те увещания т. Канделаки, которыми он безуспешно пользовался и здесь при обсуждении вопроса. Я ему тут же указывал, что германские кредиты от нас не уйдут и что мы их получим, когда захотим. Только после того, как состоится общее соглашение с Гитлером (Англии и Франции. — Н. А.), или же обнаружится полная безнадежность вынуждения его к каким-либо уступкам, можно будет принять Вашу рекомендацию, но не раньше»³².

29 апреля 1936 г. было подписано торговое соглашение между СССР и Германией. Бессонов писал, что на приеме по этому случаю «Шахт прежде всего спросил т. Канделаки, когда последний намерен перейти к разговорам о больших кредитах, так как, по мнению Шахта, было бы смешно ограничиваться подписанием одного только соглашения на 1936 год». Шахт уточнил, что это соглашение создаст «иную обстановку для дальнейшего продвижения вопроса о больших торговых оборотах между СССР и Германией». При этом Шахтом была применена формула устранения элементов политики из переговоров по экономическим вопросам, «ибо они только мешают развитию реальных дел»³³.

12 июня 1936 г. после встречи с референтом Шахта, двоюродным братом (кузеном) Геринга Гербертом, Бессонов писал в НКВД: «Позиция Германа Геринга в отношении торговли с СССР в общем и целом совпадает с позицией Шахта». Герман Геринг считал «принципиально вполне допустимым выполнение заказов СССР военной промышленностью Германии, причем он исходит из того положения, что если Германия откажет нам в этих заказах, то СССР без труда получит их в других странах»³⁴.

Позиция СССР в вопросе о 500-миллионном кредите не была жесткой. Так, 11 августа 1936 г. Крестинский писал Сурицу: «На днях обсуждался вопрос о так называемом 500-млн. кредите. Решен он отрицательно». Но уже 19 августа 1936 г. Литвинов писал Сурицу, что Канделаки даны указания «заявить немцам об отклонении нами пока соглашения. Вместе с тем ему разрешено запросить немцев, согласны ли они дать нам некоторые, особо интересующие нас предметы в известной Вам области (военной. — Н. А.) и сказать им, что в случае положительного ответа можно будет вновь поставить вопрос о кредитном соглашении»³⁵.

Руководители Германии в качестве первого шага к нормализации отношений с СССР считали необходимым изменение антигерманского тона советской печати. 21 и 29 августа 1936 г. в связи с антигерманскими статьями посол Германии в СССР Ф. Шуленбург заявил протесты в НКВД. Литвинов телеграммой информировал Сурица о демарше Шуленбурга «по поводу тона нашей прессы и личных нападок» в советской печати на Геббельса и даже Гитлера³⁶.

Причины, побудившие Германию вести с СССР переговоры о расширении экономического сотрудничества, становятся ясны из докладной записки от 19 октября 1936 г. начальника IV (экономического) департамента МИД Германии К. Шнурре: «В руководящих кругах было признано, что положение с сырьем и процесс перевооружения Германии таковы, что поставили нас в зависимость от получения русского сырья. Поэтому необходимо сдвинуть германо-советские экономические отношения с нынешней мертвой точки... Поставки в Россию сейчас более чем когда-либо находятся в интересах политики Германии, поскольку только таким путем мы сможем получать на правах обмена нужное нам сырье»³⁷.

20 октября 1936 г. Герман Геринг был назначен Верховным комиссаром по проведению «нюрнбергского сырьевого плана», с 27 апреля того же года он занял пост Верховного комиссара по валютным и сырьевым вопросам. В связи с этим назначением Суриц писал Литвинову 27 октября 1936 г., что это назначение может повлиять на советско-германские экономические отношения, «так как инициатива оживления и усиления экономических отношений за последнее время исходила именно от Геринга и его ближайшего окружения»³⁸. События не заставили себя ждать:

6 декабря 1936 г. Суриц сообщил в НКВД о предложении Герберта Геринга организовать встречу с Германом Герингом для «не обязывающего обмена мнениями»³⁹. 9 декабря Литвинов ответил: «Не возражаем против встречи с Герингом. Необходимо с самого начала дать ему понять, что Вы пришли по его приглашению»⁴⁰.

Встреча Сурица с Германом Герингом состоялась 14 декабря 1936 г. и приняла сразу «форму монолога». Геринг, как ранее Шахт, говорил о том, что экономические отношения должны «строиться без оглядки на состояние наших политических отношений, вне стремления равнять нашу экономику под политику», то есть, как он выразился, требуется «аполитизировать» экономические отношения между СССР и Германией. Вместе с тем он высказал мнение, что «не к теперешней политике надо подгонять нашу экономику, а наоборот, всячески развивать наши экономические отношения и уже на базе этого развития медленно и постепенно воздействовать на политику».

Геринг увидел «политическую предвзятость» в списке товаров, врученном ему Канделаки⁴¹, поскольку «в списке имеются объекты, которые как строго секретные ни одно государство никогда не продаст другому, даже связанному с ним самой тесной дружбой». На это полпред ответил, что было включено то, что интересует СССР, и что «экономические отношения между нами могут развиваться в такой степени, в какой мы сможем получить из Германии все, что нас интересует». Из дальнейших разъяснений Геринга выяснилось, что «некоторые объекты, имеющиеся в списке, могли бы быть предоставлены СССР. Одни без оговорок, другие — на известных условиях».

Говоря о своем желании развивать экономические отношения с СССР, Геринг сказал, что «это отвечает и его взгляду на желательность нормализации и политических отношений». Он дал понять Сурицу, что «при теперешнем положении вещей повлиять на изменение политических отношений он мог бы, лишь опираясь на реальные данные и на свое внутреннее убеждение, что и СССР хочет нормальных отношений с Германией и в первую очередь хозяйственных»⁴².

В последних числах декабря⁴³ Канделаки в сопровождении заместителя торгпреда Л. К. Фридрихсона встретился с Шахтом. Об этой беседе Шахт написал отчет министру иностранных дел Германии Нейрату⁴⁴: «Во время беседы я заявил, что оживление торговли между Россией и Германией будет возможно только в том случае, если русское правительство сделает ясный политический жест, лучше всего в форме заверения через посла в Берлине, что воздержится от любой политической пропаганды вне России». Канделаки не был захвачен врасплох предложением Шахта, наоборот, он проявил «непроизвольную симпатию» к этому.

Сведения об этой встрече содержатся также в письме Сурица Крестинскому от 27 января 1937 года. Полпред квалифицировал беседу Канделаки с Шахтом как «разговор, зондировавший возможность прямых политических разговоров с нами». Далее Суриц писал: «Напомню Вам также, что из рассказов т. Канделаки и Фридрихсона об их беседах с Шахтом получается, что тема о необходимости нашего ухода не только из Испании, но и из Франции (Народный фронт) и из Чехословакии, словом, тема о необходимости прекратить нашу «политику окружения Германии кольцом полусоветизированных государств» являлась излюбленной темой Шахта»⁴⁵.

Германская сторона продолжала пытаться создать «атмосферу» для переговоров. 29 декабря 1936 г. посол Германии в СССР Шуленбург в очередной раз обратился с нотой протеста против опубликования в советской прессе политических карикатур на руководителей Германии. Литвинов ответил нотой от 31 декабря, где, в частности, говорилось: «Советской прессе действительно даны указания воздерживаться в статьях и карикатурах от оскорбительных нападок против глав и членов правительств иностранных государств» и далее: «Советская пресса добросовестно следует этим указаниям и позволяет себе иногда отступления лишь в отношении государственных деятелей таких стран, где члены и руководящие лица Советского правительства подвергаются в прессе личным нападкам и оскорблениям». Литвинов отклонил протест на основании того, что в немецких газетах публиковались карикатуры на советских руководителей, а на советских карикатурах узнаваем лишь испанский генерал Франко, с германскими же государственными деятелями сходства нет»⁴⁶.

Вскоре после встречи с Шахтом Канделаки отбыл в Москву, чтобы доложить о беседе руководителям СССР. В итоге 8 января 1937 г. был утвержден «проект устного ответа Канделаки», составленный Литвиновым. На проекте есть визы пяти членов Политбюро ЦК ВКП(б): Сталина, Молотова, Л. М. Кагановича, Г. К. Орджоникидзе, К. Е. Ворошилова. В проекте, в частности, говорится: «Советское правительство не только никогда не уклонялось от политических переговоров с германским правительством, но в свое время даже делало ему определенные политические предложения. Советское правительство отнюдь не считает, что его политика должна быть направлена против интересов германского народа. Оно поэтому не прочь и теперь вступить в переговоры с германским правительством в интересах улучшения взаимоотношений и всеобщего мира. Советское правительство не отказывается и от прямых переговоров через официальных дипломатических представителей: оно согласно также считать конфиденциальными и не предавать огласке как наши последние беседы, так и дальнейшие разговоры, если германское правительство настаивает на этом»⁴⁷.

14 января 1937 г. Литвинов отправил личное письмо Сурицу, из которого следует, что в варианте, подготовленном им самим, речь шла только о переговорах Сурица — Нейрат, а Сталин поправил, что «не отказывается и от прямых переговоров», то есть, что переговоры Канделаки — Шахт могут быть продолжены. Нарком писал: «Изменения сделаны, несмотря на то, что т. С. вторично подтвердил, что ни в коем случае нельзя поручать переговоры К. ввиду его дипломатической неопытности, и соглашался со мною, что вести переговоры придется Вам». Литвинов писал, что он вручил «сегодня» проект ответа «тов. К.» (Канделаки) и «разъяснил ему, что если Ш. (Шахт) признает наш ответ достаточным, то К. должен просить его указать, кому поручаются переговоры с немецкой стороны. Если этим лицом

окажется Нейрат или другое лицо подходящего ранга, К. может сказать, что Вы к нему обратитесь по собственной инициативе, но с ссылкой на имевшийся между Ш. и К. обмен мнений»⁴⁸.

Крестинский отправил Сурицу 26 января 1937 г. личное письмо, в котором писал, что Канделаки 26 января выезжает из Ленинграда в Берлин, где будет 28 января. Крестинский просил передать Канделаки, чтобы он «повидался с Шахтом и передал ему наш ответ до 30 января, т. е. до ежегодного приуроченного к этому дню выступления Гитлера»⁴⁹, во время которого затрагивались вопросы внешней политики. 27 января Крестинский шлет еще и телеграмму того же содержания⁵⁰.

В тот же день, 27 января 1937 г., Суриц писал Крестинскому: «Германская дипломатия вступает в полосу новой активности. Обсуждая этот вопрос в Москве, мы, как Вы помните, в общем сходились на том, что немцы вероятно попытаются сгладить на этом этапе наиболее острые углы в своей внешнеполитической линии. Мы считали, что тяжелое хозяйственное положение Германии и неподготовленность к войне могут толкнуть Германию на поиски компромисса с другими странами, и в том числе с СССР. Подводя итоги четырех недель 1937 г., полпред подчеркнул, что «полного подкрепления нашей точки зрения» эти недели не принесли.

16 января состоялась беседа Сурица с Нейратом, который подтвердил «надежды на улучшение отношений» между СССР и Германией. 21 января Нейрат «еще раз заявил мне, что он оптимист, но дальше этого не пошел»⁵¹. Сдержанность Нейрата полпред объяснил тем, что «начало разговоров на тему об улучшении отношений пошло по линии Шахта, и МИД не хочет на данной стадии вмешиваться». 12 января 1937 г. Суриц беседовал с Шахтом, который «свел беседу в основном на тему о Коминтерне и о необходимости всем, в том числе и нам, уйти из Испании».

Суммируя результаты бесед с Шахтом, полпред высказал предположение: «Если беседы Шахта с т. Канделаки после нашего ответа на его последний зондаж пойдут в этом же направлении, то от всей немецкой «акции» в нашем направлении может остаться лишь проволочка времени», которая немцам «может казаться уже выигрышем, т. к. дает им возможность уклониться от ответа по конкретным вопросам (список). Окончательное суждение по этому вопросу придется, конечно, составить лишь после разговоров т. Канделаки с Шахтом».

Характеризуя эти «разговоры», Суриц писал Крестинскому: «Жест Шахта по нашему адресу носит пока настолько неопределенный характер и мы так мало еще знаем о его действительном содержании, что считать этот жест показателем действительных намерений Германии переменить политику по отношению к нам — мы еще не можем». В заключении письма полпред констатировал: немецкая печать вела себя по отношению к СССР «сравнительно прилично». По-видимому, делал вывод полпред, после встречи германского посла Шуленбурга с Молотовым и упомянутого письма Литвинова послу германской печати были «даны специальные указания»⁵².

Встреча Канделаки с Шахтом, как и ожидалось, произошла 29 января 1937 года. Торгпред зачитал вышеприведенный текст заявления [от 8 января 1937 г.]⁵³. В ответ Шахт заявил, что демарши должны делаться советским полпредством МИД Германии. Канделаки с этим согласился, но попросил пояснить, будут ли такие переговоры иметь хоть малейший шанс на успех. Шахт направил отчет об этой встрече Нейрату, в котором рекомендовал ответить торгпреду: Германия готова вести переговоры с Москвой после «ясно выраженной декларации, сопровождаемой необходимыми гарантиями» об отмежевании СССР от коминтерновской пропаганды.

Нейрат дал Шахту 11 февраля 1937 г. ответ, в котором говорилось: «Вчера во время личного доклада фюреру я говорил ему о ваших беседах с Канделаки и особенно о заявлении, сделанном вам от имени Сталина и Молотова... Я согласен с фюрером, что в настоящее время они (переговоры с русскими) не приведут ни к какому результату и скорее всего будут ими использованы для достижения желаемой цели тесного военного союза с Францией и при возможности дальнейшего сближения с Англией. Какая-либо декларация русского правительства о том, что оно отмежевывается от Коминтерна, не будет иметь, после опыта с подобными декларациями в Англии и Франции, ни малейшей практической пользы и поэтому будет недостаточной. Совсем другое дело, если ситуация в России будет развиваться дальше в направлении абсолютного деспотизма на военной основе. В этом случае мы, конечно, не упустим случая снова вступить в контакты с Россией»⁵⁴.

Подробности о встрече Канделаки с Шахтом и советская оценка этих контактов содержится в письме Литвинова от 4 февраля 1937 г. Сталину. В письме говорилось, что Литвинов на обратном пути из Женевы встретился в Варшаве с Сурицем, который сообщил: «Канделаки передал наш ответ Шахту, и последний предложил передать дальнейшие переговоры Нейрату и Сурицу». Вопрос, по чьей инициативе будет организовываться эта встреча, Шахт решил просто: «Он устроит какой-нибудь обед, на который пригласит Нейрата, Сурица и Канделаки». Вместе с тем Шахт «выразил некоторое недоумение по поводу последней части нашего заявления, где говорится о конфиденциальности разговоров».

Замечание Шахта можно было понять так, что он «не склонен придавать переговорам конфиденциальный характер». Причину этого Литвинов видел в том, что «финансово-экономическое положение Германии побуждает Гитлера, и особенно Шахта, добиваться финансовой помощи Лондона и Парижа». Поскольку Великобритания и Франция «придают большое значение смягчению германо-советских отношений, Шахт убедил, очевидно, Гитлера согласиться на разговоры с нами». Поэтому «понятно стремление Шахта дать переговорам огласку», которая должна «встревожить правительство Блума и склонить его также к переговорам с Германией».

По словам Канделаки, сказанным им Сурицу, предложено будто бы по получении ответа Шахта на его заявление выехать с Сурицем в Москву для получения директив. Литвинов полагал, что «поскольку нами решено ограничиться пока выслушиванием немецких предложений, надобности в приезде Сурица и Канделаки нет. Обоим было разъясне-

но, когда они были в Москве, что инициатива каких-либо предложений должна быть предоставлена германской стороне, которой должно быть разъяснено, что, поскольку ухудшение советско-германских отношений имело место по решению германского правительства, мы ожидаем от него теперь соображений о том, как и в каких пределах эти отношения могут быть улучшены».

Литвинов предложил, чтобы Суриц не возражал против гласности переговоров, настаивая лишь на том, чтобы как о согласованных, так и об односторонних коммюнике Москва была известна за три дня, для того чтобы заранее уведомить французское и чехословацкое правительства. Нарком подчеркнул, «что никаких других директив мы в настоящий момент давать не можем»⁵⁵. Сталин и Молотов с этим согласились.

7 февраля 1937 г. Литвинов направил телеграмму Сурицу: «Я докладывал Сессии (читай: Сталину! — Н. А.) о нашем последнем разговоре в Варшаве»⁵⁶. Нарком проинформировал также полпреда о новых директивах для ведения переговоров.

В Москве с нетерпением ждали продолжения контактов. 12 февраля 1937 г. Суриц писал Крестинскому, что немцы «находятся в состоянии выжидания» и никто не может ответить, следует ли «ожидать в ближайшее время каких-либо изменений в германской внешней политике». Неопределенность сказала и в оценке выступления Гитлера 30 января, на которое СССР возлагал надежды. Что касается продолжения контактов, то первое, что бросается в глаза, писал полпред, «это еще большая, чем прежде, отчужденность со стороны немцев, подчас граничащая с бойкотом». Нейрат «при последних встречах избегал каких-либо разговоров на темы, хотя бы отдаленно связанные с демаршем Шахта». Полпред считал, что «немцы решили выждать и не приступать к переговорам с нами» до тех пор, «пока не выяснятся результаты первых встреч Риббентропа с Галифаксом»⁵⁷.

Примерно через неделю после этого письма Суриц писал Литвинову, еще надеясь на продолжение контактов: «Прошло уже больше трех недель с тех пор, как Канделаки передал Шахту московский ответ. Шахт тогда обещал вызвать его и меня через пару дней. Если бы дела совсем сорвались, Шахт мог бы вызвать Канделаки и сказать, что нужно отложить разговор, по-видимому, никаких решений они не приняли»⁵⁸.

Томительное молчание продолжалось — 16 февраля Суриц сообщил НКВД: «Шахт продолжает отталчиваться»⁵⁹.

По-видимому, нервы у Канделаки не выдержали и он совершил поспешный шаг, попытавшись действовать через Герберта Геринга. 23 февраля Суриц информировал наркома о разговоре Канделаки с «молодым Герингом», которого он «ознакомил» с «московским ответом». Герберт Геринг «пришел в восторг и сказал, что немедленно повидает кузена и примется за дело». Суриц, не давая оценки этому демаршу Канделаки, тем не менее высказал мнение: «Не приходится, конечно, сомневаться, что старший Геринг через Шахта давно уже оповещен о нашем ответе и ничего нового от своего кузена узнать поэтому не сможет. Молодой Геринг, вероятнее всего, не в курсе настроений и намерений верхов»⁶⁰.

Наконец Шахт нарушил молчание — 21 марта 1937 г. Суриц написал Литвинову: «Шахт успел только шепнуть мне (буквально шепнуть), что не видит сейчас никакой перспективы для изменения наших отношений. Молодой Геринг также ни словом не заикнулся о наших делах»⁶¹.

Через две недели после этих встреч было опубликовано сообщение об освобождении Канделаки от обязанностей торгпреда СССР в Германии. В том же номере газеты публиковалось постановление Президиума ЦИК СССР о его утверждении заместителем наркома внешней торговли СССР⁶².

5 апреля 1937 г. Суриц выехал в Москву для консультаций. 7 апреля он был освобожден от должности полпреда СССР в Германии и назначен полпредом во Францию. Но до июня 1937 г. Суриц номинально продолжал исполнять свои обязанности в полпредстве СССР в Берлине.

«Разговоры» этим не закончились. 16 апреля 1937 г. Суриц писал из Берлина Литвинову: «Все без исключения члены дипкорпуса упорно останавливаются на вопросе о возможности изменения советско-германских отношений. Слухи о возможности сближения между СССР и Германией широко распространились в берлинских дипломатических кругах, несмотря на соответствующие опровержения. Некоторые предполагают даже, что уже начались соответствующие переговоры, которые с советской стороны держатся в строгой тайне»⁶³.

Нужно было успокоить союзников по договорам 1935 г. — Францию и Чехословакию. 17 апреля 1937 г. Литвинов направил временному поверенному в делах СССР во Франции Е. В. Гиршфельду и полпреду СССР в Чехословакии С. С. Александровскому телеграммы с опровержением слухов: «Заверьте МИД, что циркулирующие за границей слухи о нашем сближении с Германией лишены каких бы то ни было оснований. Мы не вели и не ведем на эти темы никаких переговоров с немцами, что должно быть ясно хотя бы из одновременного отозвания нами полпреда и торгпреда. Очевидно, слухи лансированы немцами или поляками для целей, нам не совсем понятных»⁶⁴.

Советско-германские зондажи, которые опытный советский дипломат Суриц назвал «разговорами» (что, пожалуй, лучше отражает их суть, чем термин «переговоры») имели под собой объективные причины в области политики и экономики обеих стран. Аналогичные зондажи были широко распространены в европейской политике кануна второй мировой войны. Но в отличие от переговоров, которые вели Англия, Франция и Германия и которые затрагивали интересы третьих стран, в советско-германских «разговорах» речь шла лишь о нормализации двусторонних отношений. Однако политические противоречия между СССР и Германией были столь серьезны, что германская сторона со знавала бесперспективность усилий по нормализации германо-советских отношений. В то же время, пытаясь как-то повлиять на отношения СССР с Францией и по возможности внести раскол между ними, изолировать СССР, герман-

ская сторона пошла на «утечку» информации, показав тем самым, что она желает прекратить советско-германские переговоры. После этого советско-германские политические отношения еще более обострились.

* * *

Исследование, проведенное Н. А. Абрамовым, дает достаточные основания для того, чтобы перевести «дело Канделаки» в разряд обычных для дипломатии действий. Конечно, в возникновении этого «дела» виновно советское дипломатическое ведомство, которое своим молчанием и закрытым характером архивов создало благоприятные условия для спекуляций вокруг переговоров, ведшихся между советскими и немецкими представителями в Берлине на протяжении ряда лет. В результате можно было формулировать самые фантастические версии («тайный агент Сталина», «сговор Сталина с Гитлером с самого прихода его к власти», «закулисные шашни» и так далее), поскольку на протяжении ряда лет советские документы либо совсем не публиковались, либо публиковались (например, в вышедшем в 1973 г. XVIII томе «Документов внешней политики СССР») в таком объеме, что давали новый простор для вымыслов.

Итак, что же произошло в действительности? Публикуемое исследование показывает в чем-то достаточно логическую, в чем-то противоречивую картину действий советской дипломатии в условиях резких перемен, происшедших в политической структуре Германии и всей Европы. И прежде всего снимается характер «таинственности» и «необычности» тех поручений, которые получил Канделаки от советского руководства — как от Литвинова, так и от Политбюро ЦК ВКП(б).

Институт специальных представителей вообще имеет давнюю традицию, начатую задолго до Сталина. Им охотно пользовались лидеры многих стран, например Ф. Рузвельт. Если говорить о предвоенных американо-германских отношениях, достаточно напомнить о миссиях промышленников У. Дэвиса, Ф. Сталлфорта, Дж. Муни и дипломата С. Уэллеса. Пользовались посредниками Гитлер, Чемберлен и многие другие. Поэтому «внештатные» задания Канделаки нельзя считать чем-то экстраординарным. Параллельно шли обычные задания, которые выполняло советское полпредство в Берлине (Суриц, Бессонов). Да и были ли эти задания столь «внештатными», коли ведение экономических связей с Германией входило в прямые функции торгового представителя СССР в Германии, а эти связи имели первостепенное значение для государственных интересов нашей страны? В этом смысле действия торгпреда не представляли ничего экстраординарного, и подозревать его в чем-то было бы несерьезно. Даже самый непримиримый критик линии Сталина в 30-х годах не может поставить никому в вину, что после отхода Германии от «линии Рапалло» делались все возможные усилия, дабы сохранить источник жизненно важных для советской экономики поставок оборудования и техники. Торгово-кредитные соглашения СССР и Германии, которые подписывались в 1935—1937 гг., обеспечивали их продолжение.

Был ли Канделаки достаточно пригоден для этой функции? Коллонтай была о нем высокого мнения, а Е. А. Гнедин, работавший вместе с Канделаки в Берлине, в своих воспоминаниях скептически оценивает его дипломатические качества. Сведения, что Канделаки был избран для данной работы из-за личной дружбы со Сталиным, основаны на предположениях. Кстати, когда Шуленбургу сообщили, что Канделаки якобы учился вместе со Сталиным в Тифлисской семинарии, тот поспешил напомнить, что у Сталина и Канделаки разница в возрасте более 10 лет. Описанный Абрамовым «срыв», допущенный торгпредом в ходе щекотливых переговоров 1937 г., говорит не в пользу Канделаки. После Берлина он был назначен заместителем наркома внешней торговли СССР. Конец же его оказался обычным для тех времен: Канделаки был репрессирован.

Каков же был политический аспект бесед, которые Канделаки вел на достаточно высоком уровне? Его партнерами были Герман Геринг и его двоюродный брат Герберт, виднейший финансист и министр Я. Шахт, высшие чины имперского министерства иностранных дел. Даже если сделать скидку на то, что со времен Рапалло к 1935 г. у советских представителей в Берлине еще сохранились прекрасные связи с германской правительственной и экономической верхушкой, то уровень бесед следует признать достаточно высоким. Когда заходила речь о возможном развитии политических отношений, Шахт сразу переадресовывал советских представителей к министру иностранных дел Германии Нейрату. Последний столь же быстро реагировал отрицательно.

Интерес советского руководства к берлинским переговорам был исключительно велик. Протоколы заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) фиксируют неоднократное обсуждение торговых отношений с Германией и сообщения Литвинова по этому вопросу (15 сентября, 9 ноября, 5 декабря 1934 г.; 22 марта, 3 мая, 7, 17, 27 апреля, 2 мая, 22 и 25 июля 1935 года). Небезынтересно отметить и другое совпадение. 31 марта 1935 г. «Правда» опубликовала произведшую сенсацию статью Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского «Военные планы нынешней Германии», в которой недвусмысленно разоблачались направленные против СССР военные приготовления Гитлера (со ссылками не только на «Майн кампф», но и другие источники). Статья вызвала беспокойство и недовольство в Берлине — вплоть до полуофициальных протестов, отклоненных Литвиновым. Однако у статьи Тухачевского была предыстория. Оказывается, автор

предварительно согласовывал ее со Сталиным⁶⁵, внесшим в текст ряд изменений. Сталин убрал внешние резкости: заголовок «Военные планы Гитлера» заменил на «Военные планы нынешней Германии»; снял несколько цитат об антисоветском характере военных намерений Германии, усилил формулировки о том, что эти намерения имеют «не только антисоветское острие». Наконец, он сократил целый абзац о возможном отпоре, который в случае агрессии Германия получит от Красной Армии и Советской страны.

Однако, несмотря на все «смягчения», Сталин все-таки дал согласие на публикацию (даже велел набрать курсивом знаменитую цитату из «Майн кампф»), прекрасно понимая возможную реакцию в Берлине. Видимо, это был один из ходов, которым Сталин давал понять немецкой стороне, что у него есть в дипломатической игре две карты — как нормализация отношений (зондажи Канделаки), так и возможность резкой конфронтации. Как заметил Литвинов в беседе с Шуленбургом, «мы предпочитаем не скрывать того, что мы думаем о политике Германии»⁶⁶.

Конечно, беседы Канделаки с Шахтом не были чисто экономическими, как вообще не бывает в дипломатии экономической темы без политического аспекта (и наоборот). Но во время своей первой встречи с Шахтом он (даже по немецкой записи), ссылаясь на мнение Сталина, Молотова и Розенгольца (наркома внешней торговли), подчеркивал желание «развивать экономические связи». В дальнейшем, когда появлялись политические темы, обе стороны вели сложную игру, как бы «отдавая» друг другу инициативу. Пожалуй, самое определенное высказывание Канделаки (от имени Сталина и Молотова) зафиксировано в немецких документах в такой форме: «Русское правительство никогда не отказывалось вести с нами переговоры. Оно даже вносило политические предложения» (беседа от 29 января 1937 г., в которой Канделаки выполнял указания Политбюро от 8 января).

Но чем завершился этот зондаж? В феврале «флирт» (если и был) закончился, завершилась и берлинская карьера Канделаки. Может быть, краем уха слышал об этом Кривицкий, преобразовав в своей книге эти слухи в визит Канделаки к Гитлеру и предстоящее заключение далеко идущего германо-советского соглашения, ради которого ОГПУ якобы получило указание свернуть разведработу в Германии!

Конечно, в зондажах подобного рода всегда остается некая недоговоренность — на то они и зондажи. И с немецкой стороны задавались вопросы об их конечной цели, и ответов на них с советской стороны, разумеется, не давалось. Однако сейчас это возможно сделать с большей степенью приближенности к истине. Сейчас предан гласности полный текст письма Литвинова Сталину от 12 марта 1935 г., в котором говорится⁶⁷:

«Согласно данным ему в Москве указаниям, тов. Суриц по возвращении в Берлин усилил контакт с политическими деятелями Германии. Он теперь пишет: «Все мои общения с немцами лишь укрепили уже раньше сложившееся у меня убеждение, что взятый Гитлером курс против нас остается неизменным и что ожидать каких-либо серьезных изменений в ближайшем будущем не приходится. Все мои собеседники в этом отношении единодушны. У Гитлера имеются три пункта помешательства: вражда к СССР, еврейский вопрос и аншлюс. Вражда к СССР вытекает не только из его идеологической установки к коммунизму, но составляет основу его тактической линии в области внешней политики. Гитлер и его ближайшее окружение крепко утвердились в убеждении, что только на путях выдержанного до конца антисоветского курса третий рейх сможет осуществить свои задачи и образы союзниками и друзьями. Не особенно обнадеживающий характер носила по существу и моя беседа с Нейратом. Он ясно дал мне понять, что на ближайший период наши отношения нужно замкнуть в рамки узко экономического порядка. Он явно подчеркнул безнадежность всяких попыток добиться улучшения наших отношений в ближайшем будущем». Нейрат далее сказал, что и культурный контакт между нашими странами при теперешних настроениях вряд ли осуществим.

Такие же впечатления, по сообщению тов. Сурица вынес и германский посол в Москве Шуленбург, находящийся сейчас в Берлине».

Далее в письме следует такой важный текст:

«Я отнесся несколько скептически к первоначальному сообщению ТАССа из Женевы о заявлении Шахта директору французского банка Таннери о намерении Германии поделить с Польшей Советскую Украину. Я поручил тт. Потемкину и Розенбергу проверить это сообщение. Результаты этой проверки не оставляют никаких сомнений в действительности означенного заявления Шахта. Стало быть, Шахт, которого еще недавно тов. Канделаки предлагал нам поддержать против Гитлера, поддерживает завоевательные стремления Гитлера на Востоке».

Сделанное как бы вскользь замечание наркома раскрывает многое в замысле берлинских переговоров Канделаки — как ведшихся не в пользу Гитлера, а против него. Могут возразить: это была иллюзия, ни с Шахтом, ни с Герингом нельзя было идти против Гитлера. Но справедливость требует сказать, что подобные надежды (и иллюзии) питали не только в Москве, но и в Лондоне. И самое главное — внутри Германии, в ее буржуазной верхушке! Не секрет, что лидеры веймарских партий надеялись «приручить» Гитлера и в этих надеждах опирались на тех же Шахта и Геринга. И не секрет для тех, кто знает британские архивы, что Форин оффис, а еще больше Чемберлен и Г. Вильсон делали немалую ставку на Геринга, как возможного оппонента политике Гитлера — Риббентропа.

Имели ли надежды на «усмирение» Гитлера и на возврат к былым отношениям с Германией какие-либо основания? Вот как отвечал на этот вопрос бывший заведующий восточным отделом МИД Германии Р. Мейер фон Ахенбах: после 1933 г., по его определению, «началась невидимая для внешнего мира борьба, которую вело внешнеполитическое ведомство до смерти статс-секретаря фон Бюлова летом 1936 г. против национал-социалистической концепции в восточной политике... Противоречие между Гитлером и Министерством иностранных дел было противоречием между понимавшим свою ответственность ведомством и политическим демагогом, который считал возможным формировать внешнюю, и в первую очередь восточную, политику по своим идеологическим принципам, игнорируя политический и исторический опыт»⁶⁸. В этой борьбе немецкие дипломаты проиграли. Но кто мог запретить руководителям советской внешней политики использовать эти противоречия?

Было бы абсурдным отрицать наличие политического замысла в переговорах Канделаки и в других контактах с германской стороной. Но одно дело — видеть в них, вслед за Кривицким, лишь доказательство попыток «сговора» с Гитлером, другое — оценивать степень не только допустимости, но и необходимости политических зондажей, с помощью которых определялись перспективы дипломатического маневра СССР в новой обстановке. Кстати, нельзя забывать о том, что именно в 1935—1937 гг. со стороны Советского Союза были предприняты реальные шаги — а не зондажи! — отнюдь не «прогерманского характера». Достаточно вспомнить советско-французский и советско-чехословацкий договоры 1935 г., деятельность СССР в Лиге наций, испанские события. Идея коллективной безопасности активно воплощалась в жизнь.

Советской внешней политике начала и середины 30-х годов — и в этом, безусловно, ее положительная сторона — не была свойственна однолинейность. Литвинов (действовавший в тесном контакте со Сталиным) искал варианты. Однако в эти годы доминантой отношений с Германией являлось идеологическое и политическое противостояние, в равной мере как для Гитлера оставалась доминирующей конфронтация, впоследствии вылившаяся в план «Барбаросса». Этот баланс не изменили зондажи («разговоры», как их назвал Суриц) Давида Владимировича Канделаки.

Примечания

1. The Saturday Evening Post, 29.IV.1939; KRIWITSKI W. G. In Stalin's Secret Service. N. Y. 1939; EJUSD. Ich war in Stalins Dienst. Amsterdam. 1940.
2. Комсомольская правда, 25.VI.1990.
3. Public Record Office London (PRO), FO 371/23697, pp. 80—144.
4. См.: LAQUER W. Deutschland und Russland. Brl. 1965; NICLAUS K.-H. Die Sowjetunion und Hitlers Machtergreifung. Bonn. 1966; WEINGARTNER Th. Stalin und Aufstieg Hitlers. Brl. 1970; PIETROW B. Stalinismus, Sicherheit, Offensive. Melsungen. 1983; BRÜGEL I. W. Stalin und Hitler. Wien. 1973; ALLARD S. Stalin und Hitler. Bern. 1974.
5. С этой темы наконец снято табу. См. Международная жизнь, 1990, № 6.
6. Документы внешней политики (ДВП) СССР. Т.XVI. М. 1970, с. 743.
7. Торговые отношения СССР с капиталистическими странами. М. 1938, с. 128, 139.
8. 24 декабря 1936 г. действие соглашения от 29 апреля 1936 г. с некоторыми изменениями было проделано на 1937 год.
9. ДВП СССР. Т.XVIII. М. 1973, с. 63.
10. Архив внешней политики (АВП) СССР, ф. 059, оп. 1, п. 187, д. 1385, л. 25.
11. ДВП СССР, Т.XVIII, с. 47.
12. АВП СССР, ф. 082, оп. 18, п. 81, д. 7, лл. 150—151.
13. Там же, ф. 059, оп. 1, п. 187, д. 1385, лл. 134, 178.
14. Там же, ф. 010, оп. 10, п. 51, д. 45, л. 136; ДВП СССР. Т.XVIII, с. 422.
15. Documents on German Foreign Policy 1918—1945 (далее — DGFP). Lnd. 1962, Series C. Vol.IV, pp. 453—454.
16. Ibid., p. 454.
17. Цит. по: FISCHER L. Russia's Road from Peace to War. N. Y., 1969, p. 240.
18. ДВП СССР. Т.XVIII, с. 570.
19. АВП СССР, ф. 010, оп. 10, п. 51, д. 45, л. 194.
20. Известия ЦК КПСС, 1990, № 2, с. 211, 212.
21. АВП СССР, ф. 082, оп. 18, п. 81, д. 7, лл. 363, 364.
22. Там же, лл. 360, 365.
23. DGFP. Ser. C. Vol.IV, p. 871.
24. Ibid., p. 898.

25. Ibid.
26. ДВП СССР. Т. XVIII, с. 595.
27. HILGER G., MEYER A. *The Incompatible Allies*. N. Y. 1953, p. 283.
28. ДВП СССР. Т. XIX. М. 1974, с. 26.
29. Там же, с. 45.
30. АВП СССР, ф. 010, оп. 11, п. 68, д. 34, л. 41.
31. Там же, ф. 082, оп. 19, п. 83, д. 4, л. 36.
32. Там же, ф. 010, оп. 11, п. 68, д. 34, лл. 85—87.
33. Там же, ф. 082, оп. 19, п. 83, д. 5, л. л. 121, 122.
34. Там же, л. 34.
35. Там же, ф. 010, оп. 11, п. 68, д. 34, лл. 130, 131.
36. Там же, ф. 059, оп. 1, п. 212, д. 1539, лл. 139, 146.
37. DGFP. Ser. C. Vol. V, p. 1116.
38. АВП СССР, ф. 082, оп. 19, п. 83, д. 4, л. 110.
39. Там же, ф. 059, оп. 1, п. 212, д. 1538, л. 156.
40. Там же, д. 1539, л. 216.
41. Речь идет, по-видимому, о том же списке товаров, который был вручен Канделаки Шахту в конце декабря 1935 г., во время переговоров о 500-миллионном кредите (HILGER G., MEYER A. *Op. cit.*, p. 284). В списке фигурировали: броневые плиты, авиационные катапульты, военные корабли на сумму 200 млн. марок, и в частности подводные лодки, акустические приборы, артиллерия, а также обмен технологий с «И. Г. Фарбен» (химия) и «Карл Цейс» (оптика) (список составлен по: DGFP, Ser. C. Vol. V, p. 1116; HILGER C., MEYER A. *Op. cit.*, p. 284).
42. АВП СССР, ф. 05, оп. 16, п. 118, д. 46, лл. 157—159.
43. 24 декабря 1936 г. — по АВП СССР; запись беседы не обнаружена.
44. FISCHER L. *Op. cit.*, p. 241.
45. АВП СССР, ф. 05, оп. 17, п. 130, д. 42, л. 7.
46. Там же, ф. 82, оп. 20, п. 67, д. 9, лл. 4, 5.
47. Там же, ф. 05, оп. 17, п. 126, д. 1, л. 17.
48. Там же, оп. 17, п. 130, д. 41, л. 3.
49. Там же, ф. 011, оп. 1а, п. 1 доп., д. 2, л. 5.
50. Там же, ф. 059, оп. 1, п. 244, д. 1717, л. 10.
51. Там же, ф. 05, оп. 17, п. 130, д. 42, л. 6.
52. Там же, л. 17.
53. Смысл приведенных Л. Фишером цитат из заявления, хранящегося в архиве МИД ФРГ, в основном совпадает с текстом из АВП СССР (ф. 05, оп. 17, п. 126, д. 1, л. 17).
54. Цит. по: FISCHER L. *Op. cit.*, pp. 241—242.
55. АВП СССР, ф. 05, оп. 17, п. 126, д. 1, л. 22.
56. Там же, ф. 059, оп. 1, п. 244, д. 1717, л. 15.
57. Там же, ф. 05, оп. 17, п. 130, д. 42, лл. 28, 29.
58. Там же, л. 34.
59. Там же, ф. 059, оп. 1, п. 244, д. 1715, л. 28.
60. Там же, л. 29.
61. Там же, л. 45.
62. Известия, 2.IV.1937.
63. АВП СССР, ф. 05, оп. 17, п. 130, д. 42, л. 77.
64. ДВП СССР. Т. XX. М. 1976, с. 174, 175.
65. См. Известия ЦК КПСС, 1990, № 1, с. 161—169.
66. Там же, с. 170.
67. Там же, № 2, с. 211—212.
68. MEYER VON ACHENBACH R. *Gedanken über eine Konstruktive deutsche Ostpolitik*. Frankfurt a. M. 1986, S. 92.

Архивные материалы о числе заключенных в конце 30-х годов

В. В. Цаплин

В Центральном государственном архиве народного хозяйства (ЦГАНХ) СССР в фонде Наркомата — Министерства финансов СССР сохранились документы, которые дают возможность составить определенное представление о количестве заключенных и погибших в местах заключения в предвоенные годы. Это сводные бухгалтерские отчеты по исполнению сметы расходов центрального аппарата НКВД СССР, отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям, а также некоторые другие документы Главного управления лагерей (ГУЛАГ), Главного управления железнодорожного строительства (ГУЖДС), Главного управления строительства Дальнего Севера (Главдальстрой) НКВД СССР. Среди этих документов наибольшего внимания заслуживают объяснительные записки (доклады) к отчетам, а также статформы об использовании труда заключенных, о выполнении плана по труду. В этих и других документах выделяются следующие группы заключенных:

1. Группа «А» — заключенные, используемые на работе в основном производстве (промышленно-производственный персонал, учтенный в плане по валовой продукции). Отдельной позицией в группе «А» нередко выделяется, возможно, вольнонаемный, административно-технический и обслуживающий персонал на производстве (инженерно-технические работники, служащие, младший обслуживающий персонал).

2. Группа «Б» — заключенные, выполняющие работы в хозяйствах, не отнесенных к основному производству (к группе «А»). В этой группе обычно отражается, но, как правило, обособленно от заключенных, административно-управленческий и обслуживающий персонал лагерей и других мест лишения свободы, в том числе служащие внутренней охраны (ВОХР), медицинские и культурработники.

3. Группа «В» — неработающие заключенные. К ним относятся: слабосильные, временно освобожденные, этапированные, отказчики, не используемые в связи с непредоставлением работы, а также «прочие».

4. Иногда выделяется группа «Г», которую обычно объединяют с группой «В». Такое объединение вполне возможно, так как к группе «Г», по разъяснению А. И. Солженицына, относились отбывающие лагерное наказание, например, отсидку в карцере¹. Они полностью вписываются в графу отчета «прочие неиспользованные». Нередко выделяется еще одна группа: «активированные инвалиды». К ним относились лица, которые по состоянию здоровья специальной комиссией признаны негодными к дальнейшему отбыванию срока².

Наиболее полно представлен в документах 1939 год. Поэтому ориентировочный подсчет количества заключенных и уровня их смертности (уничтожения) ниже проводится по состоянию на данный год.

В 1937 г., как известно, репрессии приобретают особый размах. За этот год сохранился

сводный отчет наркомата по госбюджету³. Он охватывал следующие (по принятой сейчас терминологии) репрессивные подразделения наркомата: Главное управление государственной безопасности (ГУГБ), Отдел трудовых колоний (ОТК), Переселенческий отдел, 10-й отдел ГУГБ⁴. Сведений о количестве заключенных в этом и других сводных отчетах по центральному аппарату нет. Однако имеется информация о суммах, изъятых при арестах в 1937 г., и суммах на содержание заключенных, которые в определенной степени позволяют выявить динамику расширения репрессий, а также косвенно определить количество заключенных в тюрьмах⁵ и лагерях репрессивных подразделений НКВД СССР (без ГУЛАГа, ГУЖДС, Главдальстроя).

В 1937 г. у подсудимых и арестованных было изъято денег и ценностей на сумму 26,4 млн. руб.⁶, а на содержание заключенных и ссыльных в этом же году НКВД СССР было открыто кредитов на 27,2 млн. рублей⁷. По существу, арестованные содержались на изъятые у них же ценности и деньги. Всего по открытым кредитам в 1937 г. заключенные, ссыльные и воспитанники трудовых колоний обошлись государству в 47,8 млн. рублей⁸. В 1938 г. эти расходы составили в расчете на год не менее 65,5 млн. рублей⁹. В 1939 г. расходы на содержание заключенных и ссыльных по сравнению с 1938 г. увеличились до 140 млн. рублей¹⁰.

О количестве заключенных в лагерях ГУЛАГа имеются сведения в сводном отчете по основной деятельности этого управления за 1939 год. Отчет охватывает следующие его подразделения: управление исправительно-трудовых колоний; отдел трудовых колоний; отдел топливной промышленности; целлюлозно-бумажный отдел; управление лесной промышленности; отдел сельского хозяйства; центр (снабсбыт, курсы, АХО и др.)¹¹. В объяснительной записке к отчету отмечается: «Среднесписочное число работавших на производстве заключенных в отчетном году составило 461 183 ч.»¹². Указание «на производстве» свидетельствует о том, что этот показатель охватывает только заключенных группы «А».

Определенное представление об общей численности заключенных дает информация о той их части, которая по различным причинам не использовалась на работах. «В числе неработающих имеют место значительные потери по причинам: отказ от работы (4381,8 т. ч/д, или 1,4% к общему контингенту), по непредоставлению работы (3245,8 т. ч/д, или 1%) и прочих неиспользованных — 8258,8 т. ч/д, или 2,6%, что составляет 15 887 т. ч/д, или 5% к общему контингенту»¹³.

Каким же был этот «общий контингент»? Его можно определить двумя путями: исчислив общий контингент (количество) человеко-дней заключенных или общую численность заключенных. Если 15 887 тыс. человеко-дней соответствуют 5% их общего контингента, то последний составит 317 740 тыс. человеко-дней. Такое их количество равно 870 520 реальным заключенным (317 740 тыс. ч/д на 365 дней в году). 15 887 тыс. человеко-дней в течение года получится в том случае, если количество неработающих будет равняться 43 526 человекам (15 887 тыс. на 365). Но если это 5% всего контингента заключенных, то их общее количество будет составлять 870 520 человек. Оба расчета дают одинаковый результат. Получается, что количество заключенных по группам «Б», «В», «Г» почти такое же, как и по группе «А». Такое соотношение мало вероятно. Скорее всего, что-то преднамеренно оставлялось в тени. Случайная ошибка в документе о численности заключенных, занятых на основном производстве, исключается, так как и в отчете ГУЛАГа за первый квартал 1940 г. их на производстве показано 432 627 человек¹⁴, то есть почти столько же, сколько в 1939 году.

Результат проведенного нами расчета общего количества заключенных (870 520) ГУЛАГа позволяет проверить отчетность его структурных подразделений за 1939 год.

В 1939 г. в системе Управления лесной промышленности ГУЛАГа действовало 17 лагерей¹⁵. В них на начало года было 361 448 заключенных, а на конец — 370 356 человек¹⁶. В то же время в сводном отчете выполнения плана по труду указывается, что в 1939 г. среднесписочное число заключенных по группе «А» (производство) составило 191 518, а по группе «Б» — 101 482 человека¹⁷. Следовательно, среднесписочное количество заключенных по обеим группам определялось в 293 тыс. человек.

В объяснительной записке к отчету о хозяйственной деятельности лесной промышленности ГУЛАГа приводятся следующие показатели использования заключенных в 1939 году. По группам «А» и «Б» соответственно было учтено 92 822 тыс. и 14 118 тыс. человеко-дней, а по группам «В» и «Г» — 19 448 тыс. человеко-дней. Общее число человеко-дней составляет 126 368 тыс.¹⁸ и возможно в том случае, если в лагерях лесной промышленности содержалось 346 268 заключенных (126 388 тыс. ч/д на 365 дней). В течение 1939 г. из лесных лагерей на спецстройку было изъято 72 тыс. человек «полноценной рабочей силой»¹⁹.

Это разнообразие сведений в какой-то степени затрудняет определение действительного количества заключенных. Поэтому в качестве базового показателя в данном и последующих

расчетах, как правило, будет приниматься количество заключенных на конец отчетного периода. По лагерям лесной промышленности — 370 356 человек. Этот показатель близок к количеству заключенных, рассчитанному на основе учтенных в отчетности человеко-дней по группам «А», «Б», «В», «Г».

Количество заключенных по отделу топливной промышленности ГУЛАГа на начало 1939 г. — 52 222, а на конец — 48 865 человек²⁰. Среднесписочное число работавших по группам «А» и «Б» составило 35 311 человек²¹. По другим сведениям количество заключенных по топливному отделу в 1939 г. определялось в 34 651 человек²².

В 1939 г. в системе Управления исправительно-трудовых колоний (УИТК) ГУЛАГа находились: промышленные (183) и сельскохозяйственные (109) колонии, колонии подрядных работ (280), районные бюро исправительных работ (1990)²³. Заключенные колоний использовались в основном в следующих видах промышленного производства: лесозаготовки, деревообработка, металлообработка, швейная, текстильная и трикотажная, кожевенно-обувная и кожевенно-техническая промышленность²⁴. Среднесписочное количество заключенных в 1939 г. составило 210 864 человека (в 1938 г. — 229 076 человек)²⁵.

Исправительно-трудовые колонии были своеобразным резервом рабочей силы, которая по необходимости передавалась в лагерь²⁶. Режим в колониях, возможно, был мягче, чем в лагерях. В них допускался невыход на работу «вследствие разутости и раздетости з/к»²⁷.

В 1939 г. в лагерях сельскохозяйственного отдела ГУЛАГа находилось 90 049 заключенных²⁸. Нет сведений за этот год по отделу трудовых колоний ГУЛАГа. Но не будет большой ошибкой, если воспользоваться данными за первый квартал 1940 года. Общий средний контингент колонистов (воспитанников) составил в этом квартале 17 654 человека²⁹.

Если суммировать сведения по лагерям и колониям подразделений ГУЛАГа, то количество заключенных в них составит 809 788 человек. Эти данные нельзя назвать полными, в них не учтены целлюлозно-бумажный отдел, подсобные производства ГУЛАГа, его Норильское лагерное хозяйство. В 1939 г. только на подсобных производствах работало 82 689 человек (вольнонаемных и заключенных)³⁰. Таким образом, результаты подсчетов, проведенные по данным сводной объяснительной записки ГУЛАГа и по отчетам его структурных подразделений (870 520 и 809 788) достаточно близки. Сводная отчетность по своему охвату, видимо, может быть несколько шире, чем выявленные сведения структурных подразделений. Это дает возможность говорить, что ближе к реальности первая цифра³¹.

Кроме отчетов об основной деятельности за 1939 г. сохранился годовой отчет ГУЛАГа по капиталовложениям. Отчет охватывает: гидротехнический отдел, в том числе Волгострой и Куйбышевстрой; топливный отдел; отдел морского строительства, в том числе строительство № 203; целлюлозно-бумажный отдел, в том числе Сегежстрой; управление горно-металлургической промышленности; управление лесной промышленности; управление сельхозлагерей; УИТК и ОТК³². Отдельными стройками ГУЛАГа являлись Норильскстрой и строительство № 201³³. В целом отчет охватил 123 из 124 хозяйственных единиц³⁴.

О количестве заключенных на стройках имеются следующие сведения: на начало года — 182 645, на конец года — 178 943 человека. В среднем считалось, что общий контингент заключенных на стройках составлял 180 тыс. человек³⁵.

Таким образом, если к сведениям о количестве заключенных из отчетов об основной деятельности добавить данные из сводного отчета по капитальным вложениям (178 943), то общее количество заключенных по системе ГУЛАГа составит 1 049 463 человека. Возможно, в приведенных подсчетах не удалось полностью избежать повторного счета, но вряд ли это оказало значительное влияние на конечный результат — свыше миллиона заключенных для ГУЛАГа не является чем-то невероятным.

ГУЖД НКВД СССР было образовано на основании приказа наркомата от 4 января 1940 года. Новый орган создавался на базе Управления железнодорожного строительства ГУЛАГа³⁶. Это управление было достаточно автономным. Показатели работы его лагерей в сводной отчетности ГУЛАГа за 1939 г. не отражались.

В 1939 г. в системе УЖДС находились лагерь Дальнего Востока, Бампроект, Севжелдорлаг, Сорокалаг, стройки № 33 и № 211. К подрядным организациям УЖДС в это время относились Вяземлаг, Горшолог, а также спецстроительства № 204, Хаблага, Владлага³⁷. В 1940 г. в системе ГУЖДС действовали следующие управления лагерей и строительства: Буреинское, Воркутинское, Вязьменское, Горно-Шорское, Кольское, Ликовское, Нижне-Амурское, Печерское, Северо-Двинское, а также номерные 105, 106, 107, 211³⁸. Определенные изменения в составе лагерей и строительстве, конечно, произошли. Сфера деятельности ГУЖДС стала, по-видимому, более широкой, что не могло не отразиться на количестве лагерного контингента.

В отчете об использовании труда заключенных в 1939 г. сообщается, что в системе УЖДС на начало года их имелось 94 773, а на конец года — 69 569. Отработали заключенные, как утверждается в том же отчете, 135 148 918 человеко-дней³⁹. Подобное сочетание невозможно, так как если бы в течение года каждый день без выходных трудилось 94 тыс. человек, то количество отработанных ими дней составило бы лишь 34 310 тыс. (94 тыс. на 365). Если мы согласимся с Солженицыным, который утверждает, что заключенным полагалось три выходных в месяц⁴⁰, то 135 148 918 человеко-дней могли дать примерно 411 тыс. работников (135 148 918 на 329 рабочих дней).

О численности заключенных в системе ГУЖДС после его выхода из ГУЛАГа свидетельствует отчет об использовании труда заключенных за первый квартал 1940 года. На его начало их количество составляло 332 990, а на конец — 386 378 человек⁴¹. Этот показатель, очевидно, не охватывает весь контингент заключенных, так как имеется аналогичный отчет по подрядным строительным организациям, в которых на начало первого квартала 1940 г. числилось 33 763, на конец — 28 462 заключенных⁴². В итоге получим 366 753 и 414 840 заключенных.

В сводной отчетности ГУЛАГа за 1939 г. нет подразделений, которые могли бы заниматься железнодорожным строительством. Это вызывает искушение принять за основу расчета количества заключенных в 1939 г. показатель в 366 763 человека. Но во избежание возможной ошибки (состав лагерей УЖДС в 1940 г. по сравнению с 1939 г. изменился) целесообразно остановиться на среднем показателе: при таком расчете количество заключенных в лагерях железнодорожного строительства на 1939 г. составит 282 441 человек.

Лагерные и производственные объекты Главного управления строительства Дальнего Севера (Главдальстрой, Дальстрой) находились на Колыме. Заключенные использовались там на добыче золота и олова. На начало 1938 г. числилось 83 855, а на конец — 117 630 заключенных⁴³. В октябре 1939 г. при составлении финплана на 1940 г. среднесписочное количество заключенных равнялось 135 369 человек⁴⁴. Но в «Докладе к годовому отчету по основной деятельности» за 1939 г. сообщалось: «Среднесписочное количество заключенных в целом по Дальстрою... составляет 121 915 чел. против плана 132 200 чел., или 92,2%. Недостаток объясняется тем, что во-первых, план по завозу заключенных был невыполнен, намечалось завезти 78 тыс. человек, фактически завезено 70 953 человека, а во-вторых, центр тяжести по завозу з/к падал не на летние месяцы, как намечалось планом, а на осенние, что естественно привело к снижению среднегодового списочного числа заключенных»⁴⁵. Показатель в 121 915 человек целесообразно принять в качестве основного, так как он последний за 1939 г. и близок к численности заключенных на конец 1938 года.

Приведенные выше сведения и расчеты дают возможность подвести предварительный итог количества заключенных в 1939 году. В тюрьмах и лагерях чекистско-оперативных подразделений НКВД СССР, а также его тюремного управления находилось не менее 161 тыс., в лагерях ГУЛАГа — примерно 1050 тыс., в лагерях железнодорожного строительства — 282 441, в лагерях Дальстроя — около 122 тыс. человек. А всего в 1939 г. числилось примерно 1 615 400 заключенных⁴⁶.

Данный расчет не учитывает, конечно, количество заключенных, погибших в лагерях в течение этого года. Отчетность по Дальстрою за 1938 и 1939 гг. содержит сведения, которые позволяют ориентировочно определить показатель смертности заключенных.

На начало 1938 г., как уже отмечалось, в лагерях Дальстроя было 83 855 заключенных. В 1938 г. «план завоза заключенных был увеличен на 10 тыс. чел. Таким образом, план составил 71 тыс. чел.»⁴⁷. В 1938 г. судами из Владивостока было перевезено 73 368 пассажиров, а везли на Дальстрой преимущественно заключенных⁴⁸. Если контингент заключенных пополнился на 73 тыс. человек, то на конец года их было бы 157 тыс., но в действительности оказалось 117 630 человек. Произошла убыль на 39 370 человек, или более чем на 25%.

Куда же девались люди? В документах об этом сведений, естественно, нет, но Солженицын рассказывает: «Говорят, что в феврале — марте 1938 года была спущена на НКВД секретная инструкция: уменьшить количество заключенных! (не путем их отпуска, конечно). Я не вижу здесь невозможного: это была логичная инструкция, потому что не хватало ни жилья, ни одежды, ни еды»⁴⁹. По воспоминаниям заключенных, «на Колыме установился жесточайший режим питания, работы и наказаний»⁵⁰.

На Дальстрое на уничтожение людей был нацелен не только лагерный режим, но и вся система трудового использования заключенных. Осужденные по ст. 58 быстро становятся преобладающей частью лагерного контингента. Если в начале 1937 г. на Колыме «лагерников с бытовыми статьями (наиболее трудоспособная часть лагеря) состояло 48% ст всего состава, то уже в начале 1938 г. этот процент снизился до 12». Лагерь заполнился, по офи-

циальной терминологии, «контрреволюционным элементом», лицами «среднего и пожилого возраста, мало приспособленными к физическому труду, склонными к саботажу, а порой к скрытому и явному вредительству».

С ними велась «энергичная борьба за лагерную трудовую дисциплину»⁵¹. Попасть в число саботажников было очень просто, особенно лицам, «мало приспособленным к физическому труду». Достаточно было не выполнить норму. Докладывая об итогах работы в 1938 г., руководство Дальстроя отмечало: «Из числа лагерников более 70% не выполняет задаваемых норм, причем около половины из этого числа выполняют нормы не более чем на 30%»⁵². Как поступали с теми, кто не выполнял норму, рассказывали пережившие это.

На Колыме «механизация работ по добыче, переработке песков и руды охватывала весьма незначительный процент от всего объема работ»⁵³. Мускульная вскрыша торфов при добыче золота в 1938 г. составила 5 173,5 тыс. куб. м, а экскаваторами — всего 800,3 тыс. кубометров⁵⁴. В том же году «по рудным объектам в подземных выработках пневматическое оборудование применялось только на одном руднике (Кинжал); все подземные проходки по другим объектам (Бутугичаг) производились ручным бурением при 10-м классе крепости пород — в плотном граните»⁵⁵. В оловянном производстве «обеспеченность механизмами и в особенности электроэнергией за отчетный год была чрезвычайно мала. Большая часть трудоемких работ — торфа, бурения и пр., производилась исключительно мускульной силой»⁵⁶.

Золото государству, конечно, было необходимо, но при его добыче главное внимание уделялось тогда уничтожению людей, а не экономической целесообразности. Уничтожение заключенных было запрограммировано и общей политикой сталинизма, и чудовищными условиями лагерного содержания, и невыносимыми условиями труда.

К исходу 1938 г. на Дальстрое числилось 117 630 заключенных. В 1939 г. было завезено 70 953 человека и «фактически освобождено» (так в документе. — В. Ц.) 26 176 заключенных. Следовательно, количество заключенных должно было бы увеличиться почти на 45 тыс. и составлять примерно 162 630 человек. Однако в действительности среднесписочная численность заключенных по Дальстрою в 1939 г. определяется в 121 915 человек⁵⁷. Следовательно, убыло почти 41 тыс. заключенных, то есть более 25% их возможного общего количества.

Видимо, нет оснований сомневаться в том, что этот показатель действителен и для лагерей системы чекистско-оперативных управлений, и для ГУЛАГа, и для управления железнодорожного строительства. На этот счет имеются достаточно убедительные косвенные свидетельства. В протоколе производственного совещания по рассмотрению центрального и сводного годовых отчетов чекистско-оперативных управлений НКВД СССР за 1939 г. отмечалось, что «по ст. 7 — содержание заключенных — осталось неиспользованным 44 млн. руб., в связи с изменением численности заключенных»⁵⁸. Это изменение их численности по лагерям продолжалось и в 1940 году. В первом полугодии на содержании лагерей и заключенных (эти две позиции показаны раздельно) была достигнута экономия более чем 13 млн. руб. «в связи с проведенной разгрузкой лагерного контингента»⁵⁹. На языке этих документов «разгрузка» означала массовое уничтожение. Косвенным свидетельством реальности установленного показателя гибели людей в лагерях (25%) служат и рассказы заключенных, приводимые Солженицыным⁶⁰.

Показатель смертности дает возможность уточнить количество заключенных в лагерях, колониях и тюрьмах в 1939 году. Как уже отмечалось, по нашему расчету их было 1 615 400. При смертности в 25% численность заключенных составит 75% максимально возможного их количества. А это дает основание говорить, что через лагеря, колонии, тюрьмы и другие места заключения в 1939 г. прошло 2103 тыс. человек. Из них погибло не менее 525 тыс. человек.

Эти данные нельзя, конечно, считать исчерпывающими⁶¹. Вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. Необходим тщательный анализ документов НКВД СССР, хранящихся в ЦГАОР СССР, а также документов ведомственных архивов КГБ и МВД СССР.

Примечания

1. СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Архипелаг ГУЛАГ. — Новый мир, 1989, № 10, с. 107, 108, 140.
2. Там же, № 11, с. 74.
3. ЦГАНХ СССР, ф. 7733, оп. 36, д. 46.
4. Там же, л. 11. Кроме того, отчет охватывает: Главное управление погранвойск и внутренней охраны

- (ГУПВО), Главное управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ), Главное управление пожарной охраны (ГУПО), Главное управление государственной съемки и картографии (ГУГСК), Главное управление шоссейных дорог (ГУШОСДОР), Главное управление мер и весов (Главмервес), Отдел актов гражданского состояния (ОАГС).
5. В 1937 г. финансовая ревизия охватила следующие тюрьмы, подчинявшиеся непосредственно ГУГБ: Бутырскую, Внутреннюю и Лефортовскую в Москве, а также Владимирскую, Вологодскую, Грязовецкую, Дмитровскую, Елецкую, Златоустовскую, Казанскую, Марининскую, Ново-Черкасскую, Орловскую, Полтавскую, Смоленскую, Соловецкую, Суздальскую, Соль-Илецкую, Тобольскую, Челябинскую, Ярославскую (ЦГАНХ СССР, ф. 7733, оп. 36, д. 46, лл. 53об.—50). Соловецкая тюрьма по состоянию на 20 ноября 1939 г. приказом НКВД СССР была передана Наркомату Военно-Морского Флота (там же, д. 204, л. 33).
 6. Там же, д. 46, лл. 18—17. Таких сведений за другие годы нет.
 7. Там же.
 8. Там же.
 9. Там же, д. 47, л. 205.
 10. Там же, д. 204, лл. 27об.—26.
 11. Там же, д. 218, л. 350.
 12. Там же, л. 338.
 13. Там же. Ч/д — человеко-дней.
 14. Там же, д. 219, л. 168об.
 15. Там же, д. 218, л. 318 (Краглаг, Темлаг, Кулойлаг, Тайшетлаг, Бирлаг, Каргольлаг, Новотамбовлаг, Усольлаг, Локчимлаг, Усть-Вымылаг, Севураллаг, ББК, Томасинлаг, Ивдельлаг, Унжалаг, Вяткалаг, Онегалаг).
 16. Там же, д. 220, л. 152.
 17. Там же, л. 172.
 18. Там же, д. 218, л. 305.
 19. Там же, лл. 318, 298.
 20. Там же, д. 221, л. 158.
 21. Там же, л. 178.
 22. Там же, д. 219, л. 142.
 23. Там же, д. 221, л. 152.
 24. Там же, л. 67.
 25. Там же. В документе «Выводы и предложения по сводному отчету УИТК ГУЛАГ за 1939 год» отмечается, что в результате наличия слабосильных было потеряно 1 396 100 ч/д, или 1,1% (там же, д. 219, л. 109). Следовательно, всего было 126 918 180 ч/д, что соответствует 347 720 заключенным.
 26. Там же, д. 216, л. 348. В объяснительной записке к сводному отчету по основной деятельности (производству) ГУЛАГа НКВД СССР за 1939 г. отмечается, что во втором полугодии имел место вывод «полноценной рабочей силы из ИТК в лагерь».
 27. Там же, д. 221, л. 113.
 28. Там же, д. 219, л. 150.
 29. Там же, д. 218, л. 174.
 30. Там же, д. 220, л. 108. В подсобных и вспомогательных производствах в строительстве в 1939 г. работало 12 744 вольнонаемных (там же, д. 200, л. 103).
 31. В сводном отчете ГУЛАГа по основной деятельности за 1-й квартал 1940 г. по группам «А» и «Б» числилось в общей сложности 630 533 заключенных. Этот отчет охватывает: УИТК (без Якутской и Северо-Осетинской АССР, Хабаровского и Красноярского краев), отдел топливной промышленности, сельскохозяйственный отдел, отдел трудовых колоний, Управление лесной промышленности, Управление горно-металлургической промышленности (без Норильского комбината), Управление лагерей Хабаровского края и Центр (там же, д. 219, лл. 168, 168об., 182).
 32. Там же, д. 220, л. 146.
 33. Там же, л. 136.
 34. Там же, л. 147.
 35. Там же, лл. 6, 133. Видимо, в это число входят и заключенные Норильска. По сообщению Солженицына, в Норильсклаге перед войной было 75 тыс. заключенных (СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Ук. соч., № 10, с. 134).
 36. ЦГАНХ СССР, ф. 8203, оп. 1, д. 1430, л. 7. В этом же году от ГУЛАГа обособляются Главное управление лагерей гидротехнического строительства и Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности (дд. 439, 444). Сведения о заключенных этих лагерей за 1939 г. отражены в отчетах ГУЛАГа (там же, ф. 7733, оп. 36).
 37. Там же, ф. 7733, оп. 36, д. 202, л. 130.

38. Там же, ф. 8203, оп. 1, д. 610, лл. 2—3.
39. Там же, ф. 7733, оп. 36, д. 220, л. 64.
40. СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Ук. соч., № 11, с. 86. В системе Дальстроя в 1939 г. каждым заключенным было в среднем отработано 333 дня (ЦГАНХ СССР, ф. 7733, оп. 36, д. 214, л. 164).
41. ЦГАНХ СССР, ф. 7733, оп. 36, д. 220, л. 173.
42. Там же, л. 195об.
43. Там же, д. 98, л. 193 (186).
44. Там же, д. 214, л. 27.
45. Там же, д. 206, л. 165.
46. Солженицын сообщает, что в секретной инструкции, подписанной Сталиным и Молотовым 8 мая 1933 г., количество заключенных определялось в 800 тыс. (СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Ук. соч., № 10, с. 116—117).
47. ЦГАНХ СССР, ф. 7733, оп. 36, д. 98, л. 199 (194).
48. В 1940 г. на Дальстрой планировалось завезти 5 тыс. вольнонаемных (там же, д. 214, л. 26).
49. СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Ук. соч., № 10, с. 128.
50. Там же, с. 129.
51. ЦГАНХ СССР, ф. 7733, оп. 36, д. 99, л. 10.
52. Там же, л. 12.
53. Там же, л. 32.
54. Там же, л. 7.
55. Там же, л. 32.
56. Там же, л. 33.
57. Там же, д. 206, л. 165.
58. Там же, д. 204, л. 110.
59. Там же, л. 187.
60. СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Ук. соч., № 10, с. 61, 73, 74.
61. В январе 1937 г. для учета в переписи населения НКВД СССР сообщило статистической службе, что по контингенту «А» числится 263 466 человек, а по контингентам «Б» и «В» — 2 389 570 человек (ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 329, д. 142, л. 54). По переписи 1939 г. в особом порядке было учтено 5,8 млн. человек (там же, д. 191, л. 41; Вопросы истории, 1989, № 4, с. 176, 181). В особом порядке учитывались, в основном, Вооруженные Силы (свыше 2 млн. человек) и контингенты НКВД СССР.

Советско-германские экономические отношения в 1939-1941 годах

А. А. Шевяков

В период между двумя мировыми войнами Германия предоставила Советскому Союзу ряд кредитов: в 1925, 1926 и 1931 гг. на общую сумму 700 млн. марок и в 1935 г. — на 200 млн. марок¹.

Кредитное соглашение от 19 августа 1939 г. явилось поворотным этапом в развитии советско-германских не только экономических, но и политических отношений. Этот аспект просматривается в беседах наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с германским послом Ф. Шуленбургом, наркома внешней торговли СССР А. И. Микояна с советником германского посольства Г. Хильгером, которые проходили по инициативе германского правительства в мае, июне и июле 1939 года².

Советское правительство ко всем предложениям Берлина относилось поначалу весьма осторожно. Еще 28 июня 1939 г. Молотов заявил Шуленбургу: «Советский Союз стоял и стоит за улучшение отношений, или, по крайней мере, за нормальные отношения со всеми странами, в том числе и с Германией»³. 19 августа 1939 г. Берлин согласился на советских условиях предоставить 200-миллионный кредит на пять лет при 4,5% годовых, с правом заказов под него в течение двух лет (в первый год на 120 млн. марок, во второй — на 80 млн. марок)⁴. Выплату долга советская сторона должна была начать только в 1945 году. Кредитное соглашение предусматривало и другие виды коммерческих сделок между Внешторгом СССР и германскими фирмами, крупные советские заказы германским фирмам за текущие поставки сырья. Это дает основание рассматривать данное соглашение как кредитно-торговое.

К кредитному соглашению были приложены три закрытых товарных списка: «А» — советские заказы под кредит, «Б» — заказы в течение двух лет в обмен за поставки из СССР зерна и промышленного сырья, «В» — объем советских поставок Германии зерна и сырья в течение тех же двух лет на сумму 180 млн. марок.

В счет кредита по списку «А» (машины и оборудование) СССР сделал заказ на 201 млн. марок: рыболовные траулеры, морские буксиры, машины, станки разного назначения, промышленное оборудование, измерительные и оптические приборы. Но до 21 июня 1941 г. Германия выполнила заказов лишь на 45 млн. марок, или на 24%⁵. Однако по всем важнейшим позициям поставки были сорваны или выполнены лишь частично. Советский Союз получил: металлорежущих и других видов станков 280 (вместо 1182), турбин 6 (вместо 7), прессов 27 (вместо 113), компрессоров 31 (вместо 124), экскаваторов 7 (вместо 80), локомотивов 24 (вместо 42) и т. д. Полностью были сорваны поставки в Советский Союз плавучих судоре-

Шевяков Алексей Алексеевич — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СССР АН СССР.

монтажных мастерских, рыболовных траулеров, буксиров, прокатных станков, мостовых кранов. Удовлетворительно были выполнены только обязательства по поставкам оптических и контрольно-измерительных приборов (заказано было на 6,3 млн. марок, получено на 4,3 млн. марок)⁶.

Гитлеровское правительство саботировало выполнение заказов, воспользовавшись тем, что в согласении отсутствовали четкие и строгие условия выполнения советских заказов. Это был серьезный просчет Внешторга при составлении текста кредитного соглашения.

По списку «Б» Советский Союз в первый договорный год заказал промышленной продукции на 129 млн. марок. На 21 июня 1941 г. Германия поставила промышленных изделий на 72,3 млн. марок, или 60%. СССР успел получить из Германии: на 32,1 млн. марок разного рода машин и оборудования, на 12,1 млн. марок дюралюминия, 4639 т канатной проволоки, 6147 т железной и стальной ленты, 4008 т тонкого листа, 708 т оцинкованной проволоки. На 2 млн. марок было поставлено спецоборудования: оптические приборы для авиации, военноморского флота, уникальное лабораторное оборудование для военной промышленности⁷. В полном объеме были выполнены советские заказы на дюралюминий и остродефицитные металлы и металлоизделия. В плане укрепления обороноспособности Советского Союза большую ценность представляли поставки из Германии металлорежущих и других станков, заказы на которые германская сторона выполнила на 71,4%. Это дало возможность оснастить десятки заводов оборонной промышленности новейшими станками, в том числе уникальными — для расточки орудийных стволов, обработки крупных гребных валов для военно-морских судов.

Таким образом, советские заказы на машины, станки, оборудование и другие промышленные изделия, а также на остродефицитное сырье по второму разделу кредитного соглашения выполнялись в основном удовлетворительно по сравнению с реализацией заказов в кредит. Это объясняется главным образом тем, что исполнявшиеся заказы по списку «Б» Советский Союз незамедлительно оплачивал поставками зерна, нефтепродуктов, цветных металлов и разнообразного промышленного сырья.

По списку «В» было получено германских заказов на сумму 165,2 млн. марок, поставил же СССР Германии товаров до 21 июня 1941 г. на 137,3 млн. марок⁸.

За предоставление Германией некоторых видов вооружения, новейших машин, станков, промышленного оборудования и некоторых видов стратегического сырья Советский Союз расплачивался экспортом в Германию сельскохозяйственной продукции, нефтепродуктов, лесоматериалов, пушнины, промышленного сырья и цветных металлов. В количественном отношении эти поставки составляли (в тыс. тонн): зерновых и бобовых — 90,9 (на 22 млн. марок), жмыха — 43,5 (на 7,6 млн. марок), хлопка — 12,1 (на 9,6 млн. марок), хлопковых отходов и тряпья — 11,3, нефтепродуктов — 61,1, в том числе бензина — 7,3, газойля — 16,5, смазочных масел — 34,0 (заказ составлял — 49,2), бензола — 2,0, парафина — 1,3, пероксида — 20,7, апатитового концентрата — 134,5 (на 5 млн. марок), апатитовой руды — 79,6 (на 1,9 млн. марок), марганцевой руды — 69,6. Поставлено было также: льняного масла — 475 т, льна — 445 т, леса на 49,5 млн. марок, асбеста — 2340 т, платины — 292 кг, пушнины на 10 млн. марок и др.⁹

Германская сторона по тому же соглашению поставила СССР промышленных товаров на 117,2 млн. марок¹⁰, включая товары в счет кредитов на 45 млн. марок. Превышение наших товарных поставок над германскими определялось в 20,1 млн. марок.

Ведущее место в торгово-экономических связях СССР с Германией занимали, однако, не экономические сделки в рамках кредитного соглашения 1939 г., а хозяйственные договоры между СССР и Германией от 11 февраля 1940 г. и 10 января 1941 г., а также ряд дополнительных соглашений. Договорные отношения по хозяйственным соглашениям делились на два этапа: первый договорный год определялся периодом с 11 февраля 1940 г. по 11 февраля 1941 г. (для германской стороны — до 11 мая 1941 г.); второй — с 11 февраля 1941 г. по 31 июля 1942 г. (для германской стороны — с 11 мая 1941 г. по 31 июля 1942 г.). Объем советских заказов по хозяйственным соглашениям намного превышал объем заказов в рамках кредитного соглашения.

Заключению хозяйственных соглашений предшествовали длительные переговоры и детальное изучение возможностей германской военной и гражданской промышленности по выполнению запроектированных Советским Союзом заказов на боевую технику, станки, машины, торговые и рыболовные суда и разнообразное промышленное оборудование. В Германию была направлена авторитетная государственная комиссия в составе 48 человек во главе с наркомом черной металлургии СССР И. Ф. Тевосяном. В составе комиссии были выдающиеся специалисты оборонной промышленности, начальник конструкторского бюро

и авиаконструктор А. С. Яковлев, будущий виднейший ракетчик С. П. Королев, ведущие специалисты по военно-морскому флоту и артиллерии, производству танков, химической защите, станкостроению и др. Комиссия находилась в Германии с 25 октября до 15 ноября 1939 года¹¹.

Советские представители побывали на десятках крупнейших германских военных заводов, судоверфях, полигонах, военных кораблях. Они ознакомились с производственными процессами, технологией изготовления новейшей боевой техники, машин, разного рода видов и назначения станков, другого промышленного оборудования. Правда, первоначально фирмы пытались не допускать советских специалистов к тайнам производства боевой техники. Но по твердому настоянию Тевосяна, заместителя торгпреда СССР и Германии Е. И. Бабарина в ходе переговоров в Берлине, а также Микояна в контактах с германским послом Шуленбургом в Москве упорство фирм было преодолено.

Одновременно в Москве с начала октября 1939 г. по 10 февраля 1940 г. шли официальные переговоры между Микояном и его заместителями, с одной стороны, и германской правительственной экономической делегацией во главе с Риттером, влиятельным чиновником министерства экономики Германии, — с другой. Заместителем главы делегации был К. Шнурре — заведующий отделом экономической политики МИД Германии.

Переговоры шли напряженно. Конкретные списки советских заказов на военную технику, броню, высококачественные стали, новейшие машины, морское и промышленное оборудование были составлены только по возвращении из Германии правительственной комиссии и вручены Микояном 25 декабря 1939 г.¹² главе германской экономической делегации Риттеру, который, в свою очередь, передал Микояну список и объем заказов на советские товары для Германии.

Вручая списки, Микоян подчеркнул, что Советское правительство особое значение придает принятию и исполнению заказов на поставку в СССР крейсеров, орудийных башен для военных кораблей и береговой обороны, небольших комплектов отдельных видов полевой и зенитной артиллерии с полными комплектами боезапасов, основных новейших марок самолетов-бомбардировщиков и истребителей, оптических прицелов и дальномеров для морской и полевой артиллерии, оборудования для военных морских портов. «Если германская сторона примет этот список, — заявил Микоян, — тогда не будет никаких разногласий по списку советских поставок Германии»¹³. При встрече с Риттером 19 декабря 1939 г. Микоян заметил: «Если список военных объектов не будет принят, то он не знает, как кончатся переговоры (с германской экономической делегацией)»¹⁴.

Советские заказы на военную технику и снаряжение, машины, промышленное оборудование и сырье только по Хозяйственному соглашению на первый договорный год определялись в 375 млн. марок. Кроме того, германское правительство согласилось принять от Советского Союза заказы еще на 20 млн. марок сверх Хозяйственного соглашения¹⁵.

В списках советских заказов на мирную продукцию перечислялись такие виды промышленных изделий, как горное оборудование, турбины и локомобили, трубы разного назначения, оборудование для нефтяной промышленности, электростанций, химической промышленности, кузнечно-прессовое оборудование, металлорежущие станки, металлы, электровозы, насосы, торговые и рыболовные суда и другие виды промышленной продукции, а также каменный уголь (5 млн. т)¹⁶.

В целом на первом этапе действия Хозяйственного соглашения Советским Союзом были сделаны заказы на сумму 395 млн. марок. Окончательный объем возможных взаимных поставок товаров по этому соглашению был определен в 410 млн. марок с каждой стороны¹⁷. Однако в ходе реализации соглашения по взаимной договоренности уровень возможных взаимных обязательных поставок был снижен с 410 млн. марок до 342, что ясно вытекает из итоговых данных на 21 июня 1941 г., составленных Наркоматом внешней торговли СССР вскоре после начала Великой Отечественной войны — 2 июля 1941 года¹⁸. В действительности же советские заказы в Германии по этому соглашению определялись в сумме 356,8 млн. марок, германские в СССР — в сумме 337,3 млн. марок¹⁹. Но и сниженный объем наших заказов германская сторона выполнила неполностью. Под влиянием, а часто и по прямому указанию свыше германские фирмы далеко не все советские заказы выполняли вовремя и в полном объеме.

На 21 июня 1941 г. по данному соглашению Советский Союз успел получить от Германии: один крейсер («Лютцов», недостроенный, достраивался на ленинградских судоверфях), броню и другие материалы для военного судостроения, некоторые виды морской артиллерии, в том числе для подводных лодок, минно-торпедное вооружение, гидроакустические и гидрографические аппараты, несколько видов полевой артиллерии, в том числе зенитной,

отдельные виды новейших марок военной авиации («хейнкель-100» — 5, «юнкерс-88» — 2, «дорнье-215» — 2, «бюккер-131» и «бюккер-133» — 6, «фокке-вульф» — 3, «юнкерс-207» — 2, «мессершмитт-109» — 5, «мессершмитт-110» — 5, причем все типы самолетов поставлялись с запасными моторами и запчастями)²⁰, аппаратуру радиосвязи, несколько легких танков, некоторые виды пороха, химическое имущество, инженерное вооружение, металлорежущие станки и др.

По военной авиации советские заказы были выполнены почти полностью. Заказов было на 18,4 млн. марок, получено — на 16,8 млн. марок, по морской и полевой артиллерии с полными боезапасами, минно-торпедному вооружению, аппаратам радиосвязи и гидрографии, инженерному вооружению заказы были выполнены полностью.

Для отраслей невоенной (условно) промышленности по тому же соглашению к 22 июня 1941 г. в оплату советских поставок зерна, нефтепродуктов и промышленного сырья Германия поставила: на 37,2 млн. марок оборудования для горного дела, нефтепромышленности, электростанций, химических и сталепроволочных заводов; на 11,5 млн. марок торгово-пассажирских судов (танкер грузоподъемностью в 12 тыс. т, грузо-пассажирские суда «Мемель», «Пери», «Палация»), плавучий кран, судовое оборудование; на 73 млн. марок металла и металлоизделий, в том числе нержавеющей сталь, электролегированную инструментальную сталь, судостроительный лист, стальную ленту, канатную проволоку, стальной трос, стальные трубы, автоматную калибровую и шарикоподшипниковую сталь, 600 металлорежущих станков.

Кроме машин и оборудования, по указанному соглашению Германия поставила Советскому Союзу промышленное сырье на сумму в 75,8 млн. марок. Германская сторона в рамках Хозяйственного соглашения на первый договорный год осуществила поставки на 277,2 млн. марок²¹. В покрытие недопоставок германскими фирмами промышленных товаров Германия выделила Советскому Союзу золото на сумму 22 млн. марок²².

Советские представители высказывали, однако, неудовольствие в адрес германских фирм, задерживавших выполнение ряда советских заказов. Германская же сторона всю вину возлагала на советских заказчиков²³, и этому были основания: советская сторона запаздывала с заказами, несвоевременно представляла спецификации (назначение) тех или иных машин, видов оборудования, станков, нередко были случаи многократного внесения изменений в их конструкторские параметры. Часто изменения вносились даже в техническую документацию, например, по строительству крейсера «Лютцов», по производству того или иного вида брони, артснарядов и т. д. Это действительно не могло не сказаться на своевременности и выполнении общего объема германских поставок.

Запросы Германии на поставки из СССР зерна, нефтепродуктов и промышленного сырья по Хозяйственному соглашению на первый договорный год оценивались в 337,3 млн. марок (дозволенный объем германских заказов мог достигать 342 млн. марок). Советским Союзом же в течение указанного срока (до 11 февраля 1941 г.) было поставлено Германии советских товаров на 310,3 млн. марок, в том числе сельскохозяйственной продукции на 198,7 млн., нефтепродуктов — на 67,8 млн., промышленного сырья — на 15 млн., других товаров — на 27,3 млн. марок²⁴.

Объем советских поставок составил (в тыс. тонн): продовольственного и кормового зерна, бобовых и масличных культур — 934,5, хлопка — 69, льна — 4,3, нефтепродуктов — 721,8, в том числе бензина — 195, 6, газойля — 197, 8, смазочных масел — 74,7; хромовой руды — 22,7, марганцевой руды — 58,7, асбеста — 9. Кроме того, СССР поставил платины — 1513 кг, иридия — 31,3 килограмма²⁵.

В ходе переговоров в Москве о заключении Хозяйственного соглашения представители Германии настаивали на увеличении объема поставок. Они стремились получить больше цветных металлов, каучука, и не столько из ресурсов Советского Союза, у которого они были ограничены, сколько путем их закупок Советским правительством и на советскую валюту в третьих странах. В обмен на это правительство Германии выразило готовность, правда, с огромной неохотой, поставить СССР новейшие виды германского вооружения. Советская сторона пошла навстречу германской стороне, но далеко не в полном объеме, практически отказав в поставках фосфата.

В соответствии с соглашением на второй договорный период, возможный контингент заказов с той и другой стороны был определен в 620-640 млн. марок. К 22 июня 1941 г. на обусловленный в соглашении срок Советский Союз успел разместить заказы на 500 млн. марок²⁶, Германия в СССР — на 394,2 млн. марок.

По видам промышленной продукции советские заказы на первый и второй периоды Хозяйственного соглашения практически совпадали. Германия также дублировала прошлые

свои заказы, она отказалась только от советской железной руды и бензина²⁷. Зато в ходе московских переговоров о заключении Хозяйственного соглашения от 10 января 1941 г., продолжавшихся 2,5 месяца и шедших порой очень жестко, правительство Германии настойчиво стремилось добиться увеличения поставок зерна, бобовых и масличных культур, керосина, газойля, мазута, смазочных масел, цветных металлов и каучука.

Последнее экономическое соглашение действовало короткий срок. В справке о германских поставках Советскому Союзу, составленной Наркоматом внешней торговли СССР 2 июля 1941 г., отмечается, что советские заказы на второй договорный период соглашения были сделаны по 41 позиции. К моменту нападения на СССР по 24 позициям Германия ничего не поставила, а по другим позициям поставки были весьма незначительными. Вооружения СССР получил только на 90 тыс. марок (из всего объема заказов в 98,2 млн. марок). Из заказанных 7417 металлорежущих и других станков на сумму в 120,3 млн. марок в СССР было поставлено 506 станков на сумму 5,2 млн. марок, каменного угля из 5470 тыс. т было завезено 313 тыс. тонн. Инженерного имущества немецкая сторона поставила только на 304 тыс. марок (заказ — 141,3 млн. марок). И только с выполнением заказов на химические продукты и краски дело обстояло лучше. Этих товаров было заказано на 5,2 млн. марок, поставлено — на 4,4 млн. марок²⁸.

С 11 мая 1941 г. (для немецкой стороны — это начало второго периода Хозяйственного соглашения) по 21 июня того же года Германия поставила СССР всех промышленных товаров на 29,9 млн. марок²⁹ из всего объема заказов на 500 млн. марок.

Германской стороной неудовлетворительно выполнялось и советско-германское соглашение о транзите через советскую территорию закупавшихся Германией товаров в странах Ближнего и Дальнего Востока. С начала 1940 г. по июнь 1941 г. по этому виду коммерческих услуг Германия задолжала Советскому Союзу 84,5 млн. марок. В оплату за транзит в течение указанного периода СССР успел разместить в Германии заказы на разного рода металлорежущие станки, особо прочную сталь, промышленное оборудование и приборы на 58,5 млн. марок³⁰. В значительно большем объеме германская сторона выполнила советские заказы только на металлорежущие станки. Из 1713 заказанных станков Советский Союз получил 1372 (на 10,9 млн. марок)³¹. По другим позициям промышленных изделий заказы или совсем не были выполнены или выполнены в ничтожно малых долях. Все германские поставки в СССР в оплату транзитных услуг исчислялись в сумме 15 млн. марок³². Следовательно, на 22 июня 1941 г. задолженность Германии Советскому Союзу по счетам за транзитные услуги составляла 69,5 млн. марок.

Договорные обязательства по германским заказам на второй период Хозяйственного соглашения советская сторона выполняла строго по графику, который был предусмотрен соглашением. С 11 февраля по 21 июня 1941 г. СССР поставил (в тыс. тонн): зерновых — 577,5 (на 104,2 млн. марок), в том числе пшеницы — 232,5, ржи — 95,2, ячменя и кукурузы — 156,4, некоторое количество других видов зерновых; хлопка — 36,4 (на 30,2 млн. марок); нефтепродуктов — 220,5 (на 15,8 млн. марок), в том числе керосина — 72,1, газойля — 51,6, мазута — 69,1, смазочных масел — 25,3, марганцевой руды — 27,1. Кроме того, Германия получила: асбеста — 92 т (заказывалось 8 тыс. т), платины — 977 кг³³. За указанный период поставки в Германию леса, хромовой руды, фосфатов не производились.

Из других товаров, заказанных на 6,9 млн. марок, Советским Союзом было поставлено: пушнины — на 2,1 млн. марок, скипидара — на 24 тыс. марок, пероксида — на 448 тыс. марок. Весь объем советских поставок определялся в 167,8 млн. марок. Дополнительно вне рамок Хозяйственного соглашения за тот же период СССР поставил Германии металла (в основном железный лом) на 17,5 млн. марок. Таким образом, окончательный объем советских товарных поставок Германии с 11 февраля по 21 июня 1941 г. определялся в сумме 185,3 млн. марок³⁴.

Разительное превышение (в 156 млн. марок) советских поставок над германскими по Хозяйственному соглашению на второй период нельзя назвать иначе, как сталинским платежом агрессору за то, чтобы он не спешил со сроками развязывания войны против СССР. Другое объяснение найти трудно. То же самое можно сказать и в отношении того, что Советское правительство не потребовало от германской стороны полностью и своевременно заплатить поставками промышленных товаров за расходы по транзитным перевозкам в сумме около 70 млн. марок.

По всем видам торговых соглашений с августа 1939 г. по июнь 1941 г. Советским Союзом было размещено заказов в Германии на изготовление и поставку военной техники, разного рода машин, станков, промышленного оборудования на сумму 1215 млн. марок (завершение поставок планировалось на конец июля 1942 г.)³⁵. На 21 июня 1941 г. СССР получил от гер-

манских фирм промышленной продукции и вооружений на сумму в 462,3 млн. марок, включая поставки машин и оборудования на сумму 15 млн. марок за советские транзитные услуги. В порядке выравнивания баланса товарообмена Германия поставила Советскому Союзу золота на 44,7 млн. марок³⁶. Таким образом, все виды германских товарных и валютных поставок нашей стране составили 507,3 млн. марок³⁷.

В течение того же периода германское правительство сделало заявки на получение из СССР сельскохозяйственной продукции, леса, нефтепродуктов, промышленного сырья и цветных металлов на сумму 937,3 млн. марок. Но к 21 июня 1941 г. Германия успела получить указанных товаров на 671,9 млн. марок. Кроме того, на эту дату Германия не оплатила своими товарными поставками советские транзитные услуги Германии при перевозках ее товаров из стран Ближнего и Дальнего Востока, выразившиеся в сумме 69,6 млн. марок. В итоге к моменту нападения на СССР Германия получила от Советского Союза продовольствия, нефтепродуктов, промышленного сырья и транспортных услуг в целом на 741,5 млн. марок. Таким образом, в ходе реализации экономических сделок с Германией за 22 предвоенных месяца СССР понес убыток в сумме 234,2 млн. марок. Следует учесть, однако, что по 200-миллионному кредиту, предоставленному Германией Советскому Союзу в 1935 г. (сроком на 5 лет на весьма выгодных условиях), наша страна на июнь 1941 г. задолжала Германии около 150 млн. марок. Поэтому из неоплаченных немцами советских товарных поставок на 234,2 млн. марок правомерно минусовать советский долг Германии в сумме 150 млн. марок по кредиту 1935 года³⁸.

Итак, в результате вероломного нарушения договора о ненападении от 23 августа 1939 г. и неаккуратного исполнения ряда последующих хозяйственно-экономических соглашений в предыдущее время Германия еще без военных действий нанесла СССР ущерб в сумме 84,2 млн. марок. Вместе с тем Советскому Союзу удалось получить от Германии новейшие образцы военной техники, машины и оборудование для тяжелой, химической, горнорудной и легкой промышленности, некоторые виды остродефицитного промышленного сырья (дюралюминий, вольфрам) и то уникальное промышленное оборудование, в котором Советскому Союзу отказывали Англия, Франция и США. Более того, в период приближавшегося нападения Германии на СССР американские и английские военные власти по указанию своих правительств накладывали аресты на изготовленные фирмами этих стран по советским заказам станки, машины и промышленное оборудование, приготовленные в портах к отправке в СССР³⁹.

Примечания

1. Центральный Государственный архив народного хозяйства (ЦГАНХ) СССР. Коллекция документов Наркомвнешторга СССР, дд. 405, 477.
2. Архив внешней политики СССР.
3. Год кризиса 1938 — 1939 гг. Док. и м-лы. Т. 2. М. 1990, док. 442, с. 66.
4. Архив Наркомвнешторга СССР, спецфонд (далее—Архив НКВТ), д. 41.
5. Там же.
6. Там же.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же, д. 15.
10. Там же.
11. Там же.
12. Там же.
13. Там же.
14. Там же.
15. ЦГАНХ, коллекция.
16. Там же.
17. Там же.
18. Архив НКВТ.
19. Там же.
20. Там же.
21. Там же.
22. Там же.

23. ЦГАНХ, коллекция.
24. Архив НКВД.
25. Там же.
26. В таблице к соглашению указана сумма 709 млн. марок. Но далее в документе оговорено, что советские заказы на 209 млн. марок должны реализовываться за пределами договорного срока, то есть после 1 августа 1942 г. (Архив НКВД).
27. К этому времени Германия была обладателем шведской руды, которая по содержанию железа лучше советской криворожской (соответственно — 60% и 45%). Основным же видом топлива для авиации был керосин, для танков и грузовых автомобилей — газойль или мазут.
28. Архив НКВД.
29. Там же.
30. Там же.
31. Там же.
32. Там же.
33. Там же. В Хозяйственном соглашении советские поставки предусматривались в следующем объеме: зерновых и бобовых — 2,5 млн. т, хлопка — 95 тыс. т, нефтепродуктов — 982,5 тыс. т, марганцевой руды — 300 тыс. т, асбеста — 12 тыс. т, платины — 2192 кг, фосфата — 40 тыс. т и др.
34. Архив НКВД.
35. Там же.
36. Там же.
37. Там же.
38. Там же.
39. ЦГАНХ, коллекция.

Уралец Малахов

А. А. Формозов

31 июля 1877 г. в Казани открылся IV археологический съезд, собравший 330 ученых и любителей старины. Больше всего там было москвичей, петербуржцев и казанцев, но приехали представители и 50 других городов — от Парижа и Вены до Елабуги, Спасска, Уржума, Вязьмы и Рославля. Единственным делегатом был представлен уездный город Пермской губернии Екатеринбург (ныне Свердловск). То был прибывший с докладом о местных курганах М. В. Малахов. Доклад впоследствии напечатали¹, однако на съезде он прочтен не был, ибо организаторы съезда с удивлением узнали, что докладчик — недоучившийся гимназист.

Через семь лет, когда вышли в свет труды IV археологического съезда, автор успел уже завоевать известность в научном мире. А еще через полгода его не стало. Менее 10 лет суждено было заниматься изучением истории Урала этому одаренному человеку, и все же он оставил в науке свой след. Его смерть вызвала ряд откликов². Наиболее подробные опубликовали издательница Л. Х. Симонова и известный в будущем писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк³.

Михаил Викторович Малахов родился 4(16) июня 1856 г. в семье горного инженера Нижне-Исетского завода, в 12 верстах от Екатеринбурга. Уже в гимназии он проявил интерес к естественным наукам и археологии. В середине XIX в. это были еще не обособленные области знания. Разночинцы-просветители из поколения шестидесятников, вроде Д. И. Писарева, пропагандировали достижения эволюционной теории в полном объеме, используя совокупные данные зоологии, ботаники, геологии и первобытной археологии. Собирая сведения о насекомых и пресмыкающихся, о периодических явлениях в жизни природы Среднего Урала, Малахов не оставлял без внимания и материалы о древностях своего края.

Археологическое изучение Среднего Зауралья началось в XVIII в., когда горный инженер В. де Генин и акад. П. С. Паллас описали некоторые памятники старины в окрестностях Екатеринбурга. В этом небольшом городе в ту пору среди служащих горных заводов имелись образованные люди, а с 1869 г. существовало Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Его членами являлись и коллекционеры древностей. На Среднем Урале раньше, чем где-либо в России, были проведены раскопки стоянок каменного века, когда преподаватель Выйской гимназии И. М. Рябов в 1837 г. и главный кассир Нижнетагильского завода Д. П. Шорин в 1845 г. исследовали стоянку Полуденка под Нижним Тагилом. Однако от этих первых опытов до формирования научных представлений о древнейшей истории Урала было еще далеко. Рябова и Шорина привлекли к Полуденке своеобразные насыпи — «богатые бугры». Раскопать они предполагали курганы, а вовсе не поселение каменного века. Рябов

Формозов Александр Александрович — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии АН СССР.

нашел «орудие из твердого зеленого камня, с одной стороны заостренное, похожее на широкий нож», но не определил, к какой эпохе оно относится. Точно так же Паллас, отметив следы древних горных разработок, так называемых «чудских копей», под Екатеринбургом, не дал ответа на вопрос, когда же там добывали медную руду.

В середине XIX в. ситуация изменилась. В результате раскопок во Франции, Дании и Швейцарии вошла в употребление историко-археологическая «система трех веков» — каменного, бронзового, железного и возникло представление о двух этапах каменного века — палеолите и неолите. Основные труды по первобытной археологии были переведены на русский. Некоторые из них дошли до екатеринбургского гимназиста Малахова. Позднее он ссылался на «Доисторический быт человечества и начала цивилизации» Э. Тайлора (М. 1868) и «Доисторические времена» Дж. Леббока (М. 1876). Один из преподавателей Екатеринбургской гимназии и основателей УОЛЕ О. Е. Клер, швейцарец по происхождению, рассказывал ученикам о раскопках свайных построек на озерах Швейцарии⁴.

Идеи ученых-эволюционистов позволили затем Малахову сделать важный шаг в осмыслении местных древностей. В 1874 г. он побывал у дер. Палкино, неподалеку от Верхне-Исетского завода. Там ранее в ходе кладочислительских раскопок уже находили каменные орудия. В отличие от Рябова и Шорина Малахов понял, что тут не случайное скопление древних предметов, а следы первобытного поселения — стоянки именно каменного века. Об этом-то он и хотел рассказать на археологическом съезде.

Раскопки близ Палкина Малахов продолжал в 1875, 1876, 1878 годах. Вскоре он узнал об аналогичных находках на оз. Аятском. Тогда и наместились первые контуры представлений о каменном веке Урала и сложилась гипотеза, что «чудские копи» отражают уже следующий этап его истории — бронзовый век. Малахов принял за курганы городища — остатки древних укреплений, расположенные рядом с Палкинской стоянкой. Но в целом он шел верной дорогой. Занятия наукой поглотили все время и силы гимназиста. Увидели свет первые его заметки на биологические темы⁵. А казенное учение не шло. Михаил демонстративно отказывался заниматься древними языками. Это не свидетельствовало о его лени или неспособности. Здесь чувствуются установки писаревской школы: культ естествознания, ненависть к «болтовне», к каковой Писарев относил и зубрежку «ненужных вещей». На гимназической скамье Малахов задержался до 1877 г., так и не получив аттестата.

Продолжая свои изыскания, он нашел друзей и наставников (прежде всего в лице Н. К. Чупина и Клера) среди членов Уральского общества любителей естествознания, в котором состоял и его отец. В 1879 г. Малахов был избран членом этого общества и печатался в его изданиях. Юношу тянуло в столицу, и в 1877 г. он стал вольнослушателем естественного отделения Петербургского университета, куда его устроил ректор университета К. Ф. Кесслер, познакомившийся с одной из работ молодого исследователя. Малахов посещал лекции всего два года. Ему хотелось самостоятельности, он мечтал о собственных экспедициях. Поэтому, не порывая с университетом (в 1879—1883 гг. Малахов служил хранителем его музея), он связал свою судьбу с Русским географическим обществом (РГО) и в 1879 г., сделав доклад на отделении этнографии РГО о находках в Палкине, был принят в члены-сотрудники РГО и назначен секретарем этого отделения.

В 1880 г. Малахов, составив план многолетнего изучения Урала в естественном и археологическом отношениях, представил его председателю отделения этнографии Л. Н. Майкову. Подчеркивая, что хорошо знает коллекции музеев Казани, Петербурга и Москвы (там он участвовал в Антропологической выставке 1879 г.)⁶ и имеет достаточное представление о каменном веке, он предполагал обследовать на Урале пещеры, курганы, городища, «чудские копи» и «костища». В пещерах ему хотелось найти такие же следы обитания палеолитического человека, какие нашли во Франции; в костищах — скопления расколотых людьми костей, выявленных на ряде уральских рек, ему виделось нечто, аналогичное кьяккенмеддингам — раковинным кучам, обнаруженным в Дании по морским берегам и оставленным древними собирателями и охотниками.

РГО выделило средства на экспедиции, и в 1880—1882 гг. Малахов обследовал значительную территорию Северного, Среднего и Южного Урала⁷. Отправной точкой оставался Екатеринбург. Узнав об интересных находках 1879 г. при поисках золота на Шигирском торфянике под Невьянском, он в июне 1880 г. приехал туда и нашел слой с древними орудиями из кости, редко сохраняющимися на стоянках каменного века, но уцелевшими благодаря консервирующим свойствам торфа. Так был открыт один из важнейших археологических памятников Урала.

Основной маршрут экспедиции, начавшейся в июле, вел из Екатеринбурга к Богословскому заводу, через Уральский хребет и бассейн р. Вишеры в Прикамье. За четыре месяца

было обнаружено более 500 археологических объектов, включая четыре стоянки каменного века, и заложены раскопы на 12 городищах⁸. В 1881 г. работы продолжались в Вятской и Оренбургской губерниях. Вместе с профессорами Казанского университета А. А. Штукенбергом и С. К. Кузнецовым Малахов побывал на известном с 1858 г. Ананьинском могильнике, на городищах Чертово, Пьяный Бор, Атамановы Кости, Ройский Шихан.

Малахов сумел разобраться в двух вопросах. Костища — вовсе не столь ранние памятники, как ему казалось вначале: это поселения и жертвенные места железного века; к эпохе железа, а не бронзы, относится и Ананьинский могильник, давший множество вещей из бронзы и потому казавшийся первым исследователям более древним. Городища же Малахов теперь верно расценивал как остатки поселений и связывал с железным веком⁹. Он безрезультатно обследовал пещеры по рекам Салда, Тагил, Лай, Исеть и Миасс. Но по берегам озер оказалось много стоянок каменного века. Так были определены условия, наиболее благоприятные для поисков поселений первобытного человека на Урале.

Малахов изучил и древние горные разработки на реках Чусовая, Сосьва и оз. Багаряк, а из дел Екатеринбургского горного архива XVIII в. выписал ряд сведений об археологических находках, сделанных в «чудских копиях». Они касаются преимущественно Гумешевского рудника, где находили одежду и кости людей, свидетельствующие о том, что штольни, обрушиваясь, погребали рудокопов. Архивные изыскания Малахова дали в руки археологов не учитывавшийся ими ранее источник — старые записи о находках древностей. Около Багаряка Малахов раскопал несколько могильных сооружений, по рекам Вишере, Тагилу, Режи и Исети осмотрел древние росписи на скалах, в Кудымкаре нашел скопление средневековых идолов¹⁰.

Маршрут экспедиции 1882 г. пересек Урал от Бисертского завода к р. Исе в Ирбитском уезде. Изучались костища, пещера с росписями на стенах, Миасская пещера у с. Троицкого Оренбургской губ., могильник с каменными сооружениями в урочище Воробьевы горы Миасского уезда и вновь древности у оз. Аятского и в районе Верхотурья. За экспедицию 1881 г. РГО наградило Малахова серебряной медалью, за полевой сезон 1882 г. — золотой. Но осенью 1882 г. ученый сильно простудился и заболел туберкулезом. В трудные экспедиции ездить ему теперь было нельзя. Университет выхлопотал для него пособие на лечение.

Лето 1883 г. больной провел частично за границей, а частично на литовском курорте Друскеники (Друскининкай). И там он вел археологические исследования, обнаружив и описав стоянку каменного века у с. Балташишке на левом берегу Немана¹¹. В 1884 г. Малахов ездил лечиться в Ментону, осмотрев по дороге ряд зарубежных музеев, побывал также в Крыму и Башкирии. 8 сентября 1884 г. состоялся его последний доклад в Уральском обществе любителей естествознания, подведший итоги шестилетних археологических изысканий на Урале. Этот доклад содержал первую в отечественной науке периодизацию древностей данного региона.

Самые ранние следы обитания человека на Урале Малахов рассчитывал найти в пещерах (пример — Миасская пещера). Более поздние поселения каменного века связаны с торфяниками. Таковы находки в Шигире. Дальнейшее развитие культуры отражают приозерные стоянки Палкино, Аятская, Юринская, Кысу-Куль. Затем наступает бронзовый век, характеризующийся «чудскими копиями» (Гумешевский рудник) и могильниками (типа Багаряк). Технику добычи и плавки металла уральские обитатели освоили на месте. Железный век представлен городищами, могильниками и костищами.

Доклад увидел свет уже после смерти Малахова¹², скончавшегося 20 января 1885 г. в Кутаисе. За две недели до смерти он еще писал Клеру письма по научным вопросам и беспокоился о судьбе Уральского общества любителей естествознания, а Мамину-Сибиряку говорил с сожалением, что не успеет составить археологическую карту Урала. Мать покойного передала рукописи сына Клеру, и потом часть этих материалов была опубликована¹³.

Сфера интересов Малахова была широка. У него имелись работы по биологии, этнографии (о башкирах, жертвоприношениях у марийцев, обряде «быкобой» в день Флора и Лавра у коми-пермяков), путевые очерки («На чудском городище», «Около золота и меди», «За Уралом», «Поездка на изумрудные копи», «На золотом прииске» и др.). Они рассеяны по разным журналам, а полного их списка нет доньяне¹⁴. Эти статьи сыграли свою роль в ознакомлении читателей с историей Урала и бытом его обитателей. Основным итогом его жизни — многочисленные сведения об археологических памятниках Урала, обследованных им лично, и приведение этих материалов в начальную систему. Советские археологи продолжают пользоваться его работами¹⁵. Некоторые же из них приписывают себе вывод, сделанный еще Малаховым, что стоянки каменного века на Урале связаны в основном с озерами.

Деятельность этого безвременно ушедшего из жизни ученого вдохновлялась идеями

шестидесятников с их пренебрежением к официальной науке. Малахов не получил ни гимназического, ни университетского диплома и, занимаясь в основном археологией, не вошел в контакт с Археологической комиссией, находившейся в ведении Министерства. Отсюда его тяготение к добровольным объединениям ученых — Русскому географическому обществу и Уральскому обществу любителей естествознания. Показательна и его мысль о значении открытий в области первобытной культуры для подкрепления идеи прогресса, способной вызвать общественный подъем.

Примечания

1. МАЛАХОВ М. В. Курганы в окрестностях г. Екатеринбурга Пермской губернии. — Труды IV археологического съезда, Казань, 1884, т. 1, с. 114—117.
2. Список некрологов см.: ВЕНГЕРОВ С. А. Источники словаря русских писателей. Т. IV. Пг. 1917, с. 129; Еженедельное обозрение, 1885. № 97, стб. 319, портрет.
3. СИМОНОВА Л. Х. Михаил Викторович Малахов. — Еженедельное обозрение, 1885, № 101; СИБИРЯК Д. Михаил Викторович Малахов. — Волжский вестник, 10 (22). П. 1885, № 33.
4. См. УДИНЦЕВ А. Онисим Евгеньевич Клер. — Записки Уральского общества любителей естествознания (ЗУОЛЕ), 1924, т. XXXIX, с. III—IX.
5. Неполный список его работ: ЯЗЫКОВ Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 5. СПб. 1889, с. 103. Добавим от себя: ЗУОЛЕ, 1876, т. III, вып. 2, с. 139—147; 1879, т. V, с. 62—79; Записки Русского энтомологического общества, 1878, т. XI, вып. 1, с. 27—44; Труды Вольного экономического общества, 1879, т. II, с. 318—325; Известия Русского географического общества (ИРГО), 1881, т. XVII, вып. 5, с. 65—66.
6. АНУЧИН Д. Н. Антропологическая выставка 1879 г. Вып. 2. М. 1879, с. 19.
7. СЕМЕНОВ [ТЯН-ШАНСКИЙ] П. П. История полувековой деятельности императорского Русского географического общества. Ч. 2. СПб. 1897, с. 843 сл.
8. ИРГО, 1881, т. XVII, вып. 5, с. 97—98, 103—105, 112; Отчет Русского географического общества за 1880 г. СПб. 1880, с. 32—34.
9. МАЛАХОВ М. В. К антропологии Вятского края. — ИРГО, 1882, г. XVIII, вып. 4, с. 199 сл.; Отчет Русского географического общества за 1881 год. СПб. 1882, с. 35 сл.
10. ИРГО, 1882, т. XVIII, вып. 3, с. 38.
11. МАЛАХОВ М. В. Стоянка доисторического человека на берегу Немана. — ИРГО, 1883, т. XIX, вып. 5, с. 367 сл.
12. МАЛАХОВ М. В. О доисторических эпохах на Урале. — ЗУОЛЕ, 1887, т. XI, вып. 1—2, с. 1 сл.
13. ЗУОЛЕ, 1887, т. XI, вып. 1—2, с. 9 сл.; 1908, т. XXVII, с. 3 сл.
14. Нам известны: Древняя и новая Россия, 1879, ч. 1, № 3, с. 210—221; Исторический вестник, 1880, т. 2, № 8, с. 731—749; Еженедельное обозрение, 1883, № 8, стб. 247—250; № 9, стб. 278—283; 1885, № 95, стб. 424—426; № 97, стб. 310—313; Живописное обозрение, 1884, № 5, с. 291—302, № 6, с. 321—334. Сотрудничал Малахов также в «Екатеринбургской неделе», «Восточном обозрении» и «Журнале Министерства народного просвещения».
15. Напр., Материалы и исследования по археологии СССР, 1951, № 21, с. 182—243; ЧЕРНЕЦОВ В. Н. Наскальные изображения Урала. Чч. 1—2. М. 1964, 1971.

Берестяные грамоты из Старой Руссы

В. Г. Миронова

Старая Русса впервые упоминается в летописном сообщении под 1167 г.¹ в связи с новгородско-смоленским военно-политическим конфликтом². Летописные сведения о ней в XII—XIII вв. скудны: нет никаких подробностей о ее развитии, системе управления, населении, городской жизни. Отмечаются лишь многочисленные пожары, изредка упоминается о строительстве церквей и их росписях. Заметного экономического и культурного развития Русса достигла в XIV—XV вв., когда там расцвели ремесло и торговля, городские культура и быт. Важное значение имело производство соли, которая высоко ценилась на рынках сбыта. Базой солеварения служили местные источники, сохранившие природные выходы соли до настоящего времени.

К концу XV в. Старая Русса занимала значительную территорию, вытянувшись вдоль рек Полисти и Порусьи на 2 км, а с запада на восток — на 1 км, достигнув площади в 200 гектаров. С 1478 г. Старая Русса входит вместе с Новгородом в состав Московского великого княжества. Переживший в начале XVII в. шведскую интервенцию цветущий город превратился в заштатный уездный городишко с немногочисленным населением. Таким он был и в начале XX века.

У истоков археологического изучения Старой Руссы стояла комплексная, работавшая на базе Московского университета, АН СССР и Новгородского музея-заповедника Новгородская археологическая экспедиция. Хотя основной задачей ее было изучение древнего Новгорода, она не оставляла без внимания и его округу. В 1966 г. был сформирован Старорусский отряд Новгородской экспедиции, его возглавил один из ее ветеранов А. Ф. Медведев. Чтобы определить место раскопок, были изучены письменные источники о Старой Руссе, собраны и проанализированы наблюдения местных краеведов над земляными работами в городе. Было решено начать раскопки в районе Старорусского курорта. Он находится в центре города, на правом берегу Перерытицы. Этот первый в России бальнеогрязевый курорт основан в 1828 году. В 1966 г. тут было запланировано новое строительство. Здесь-то и был заложен раскоп.

Уже первый археологический сезон показал, что культурный слой города, по характеру близкий к новгородскому, содержит богатый материал. В геологической подоснове города залегает слой плотной, водонепроницаемой глины, так что культурные напластования, которые образуются из остатков жизнедеятельности человека, попадают в среду с повышенной влажностью. Когда культурный слой уплотняется и достигает нескольких метров, он стано-

Миронова Валентина Григорьевна — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии АН СССР.

вится недоступным для воздуха, без кислорода отсутствует необходимая для разложения органических веществ среда, благодаря чему прекрасно сохраняются дерево, кость, кожа, береста.

До 1978 г. раскопки осуществлялись в районе посада, занимавшего в древности территорию нынешнего курорта, а также на месте между ним и древним руслом Порусья (ныне р. Малашка). Было раскопано свыше 1,5 тыс. кв. м старинного поселения и установлено, что к началу XI в. город занимал значительную территорию со сложившейся планировкой улиц, усадебной застройкой и развитым ремесленным производством. В 1966 г. была найдена первая в Старой Руссе берестяная грамота — обрывок начатой, но не законченной записи: «Се азo рабо» («Я раб»), относящейся к XIV—XV векам. До 1978 г. было обнаружено 14 берестяных грамот XI—XV веков. Все они опубликованы с научными комментариями³.

В 1978 г. раскопки были приостановлены. Но остались нерешенными вопросы, связанные с социально-топографической и исторической планировкой города, этапами его формирования и развития, административно-территориальным делением, временем возникновения Старой Руссы. Эти задачи стали главными при возобновлении археологических исследований города в 1985 году. Новую экспедицию сформировали на базе Института археологии АН СССР и Новгородского государственного музея-заповедника.

В первую очередь следовало очистить и осушить старый раскоп, так как за семь лет котлован превратился в яму, заполненную водой и мусором. Культурный слой был снят прежде до глубины 3,4 м и законсервирован. Консервация в местных условиях не предусматривает особых охранных мероприятий. Раскоп выводится на один уровень, фиксируются все сооружения, описывается состав культурного слоя и в виде котлована раскоп оставляется до возобновления работ.

Первый же сезон принес экспедиции уникальные находки XII в. (ранее снятые слои содержали напластования XIII—XVIII вв.). Археологи и их помощники из числа студентов и школьников тщательно перебирали руками плотную влажную землю, просматривали ее, отбирали все то, что является продуктом трудовой деятельности человека. Среди находок выделялись как массовые (фрагменты керамики, кости, обрезки кожи, обрывки веревок, куски бересты), так и индивидуальные (изделия из дерева, производством которых славилась Новгородская земля, стеклянные и бронзовые браслеты, бусы, перстни, височные кольца, бытовые предметы из металлов, орудия труда, наконечники стрел, копий и дротиков). По глубине залегания в непотревоженном культурном слое, по форме и стилю изготовления предметов с учетом анализа форм глиняных сосудов определялось время изготовления объектов.

В 15 раскопе близ Старорусского курорта была обнаружена часть деревянного настила древней Борисоглебской улицы, шедшей примерно в том же направлении, что и современная Минеральная улица. Были вскрыты примыкавшие с запада к улице жилые и хозяйственные постройки. Прекрасно сохранились деревянные изделия, остатки домов и настилов мостовых. Все эти сооружения были зафиксированы (чертежи, фотографии, зарисовки), с бревен взяты спилы и лишь затем все разобрано для продолжения раскопок. Особое внимание уделялось бересте. Каждый знал, что грамота — это не простая полоска бересты, а чаще всего скрученная в свиток (естественное свойство бересты, использовавшееся при «почтовых отправлениях»).

И однажды из траншеи раздался голос московского школьника Антона Антонова: «Посмотрите, по-моему, здесь что-то написано!» Поскольку эта фраза звучала почти ежеминутно (работало около 40 человек, и каждому казалось, что именно на найденной им бересте что-то написано), она никого не удивила. Однако, когда я как руководитель экспедиции подтвердила, что это действительно грамота (на внешней стороне свитка четко был виден текст из нескольких строк), эффект был ошеломляющим. Минутное оцепенение взорвалось криками восторга. «Находку века» бережно опустили в банку с водой. Позднее грамоту осторожно выложили в лоток и на этот раз залили горячей водой, которую несколько раз меняли, чтобы береста распарилась и стала эластичной. Затем поместили ее между двумя полосками стекла.

Береста имела размеры 3,3 на 31 см, была аккуратно и ровно обрезана и полностью заполнена буквами с одной стороны. По общему числу грамот, найденных в Старой Руссе, она получила порядковый № 15. Ее текст состоит из двух целых строк и, частично, третьей. Как и все древнерусские документы, текст берестяных грамот писался слитно, без разделения на слова и без знаков препинания. Иногда точками или иными знаками выделялись цифровые обозначения, которые тоже имели буквенные написания.

Текст грамоты, переведенный на современный русский, гласит: «От Петра к Василию. Дай 6 кун и гривну Вышате. Если он тебе не отдаст, приставь на него отрока». Смысл очеви-

ден: Петр просит Василия о денежной ссуде для Вышаты; при несвоевременной уплате долга Василий должен востребовать ссуду в установленном порядке, через официальное лицо. Отрок — это младшая должность в иерархической лестнице судебных исполнителей, на котором лежала обязанность «ведения следствия, доставки в суд»⁴ и пр. Грамота представляет интерес с точки зрения описания процессуального действия во взаимоотношениях кредитора и должника. Предпочитали улаживать спорные дела мирным путем.

Всего за июль-август 1985 г. было найдено девять берестяных документов. Не обошлось без сюрпризов. Один из них выпал на 26 июля. В этот день в Новгородской археологической экспедиции отмечается «берестунья» (день бересты) в честь находки первой берестяной грамоты 26 июля 1951 года. Считая себя «детисцем» Новгородской экспедиции, мы заранее подготовили текст поздравительной телеграммы. Но очень хотелось хоть чем-нибудь удивить избалованных уникальными находками новгородцев. К тому же июль 1985 г. не очень баловал Новгород берестяными грамотами. И вот, словно по заказу, нами была найдена грамота. В Новгород послали срочную поздравительную телеграмму. В этот же день была найдена вторая берестяная грамота. Такого в Старой Руссе еще не бывало, и мы послали новгородцам дополнительное поздравление. На следующий день руководство Новгородской экспедиции приехало в Руссу, чтобы убедиться, не праздничная ли это шутка?

По глубине залегания, характеру и форме глиняных сосудов, облику сопровождающих вещевых находок найденные грамоты были датированы первой половиной — серединой XII века. Этому противоречили палеографические признаки букв. А деревянные сооружения, в пределах которых обнаружены эти грамоты, датируются путем дендрохронологического анализа 1102—1143 годами. Большинство грамот — хорошо сохранившиеся свитки шириной от 1,5 (обрывок) до 9 см и длиной от 19 до 54 см (был даже побит своеобразный рекорд: самая длинная из ранее обнаруженных новгородских грамот — в 47,5 см). По своему содержанию грамоты однотипны: это долговые записи, фиксирующие списки должников и числящихся за ними долгов. Часть грамот содержит перечисление имен должников и сумм долгов («У Мила гривна, у Михаля гривна,.. у Коснилы две,.. у Храпа резана,.. у Маляты 2 берковца,.. у Кирила ногата», и т. п.).

Грамоты содержат наименования всех денежных единиц, существовавших в Древней Руси XII—XIV вв.: гривна, куна, ногата, резана. Гривна — самая крупная единица древнерусской денежной системы, остальные — более мелкие. Куна — одна из мелких денежных единиц, давшая наименование собирательному понятию «куны» — то есть деньги вообще. Расчет соотношений между ними таков: для XI в. 1 гривна = 20 ногатам = 25 кунам = 50 резанам; для XII—XIII вв. 1 гривна = 20 ногатам = 50 кунам или резанам⁵. Время с XI по XIV в., известное в нашей истории как «безмонетный период», характеризуется отсутствием в денежном обращении малой платежной единицы, роль которой должны были выполнять товаро-деньги, то есть наиболее единообразные и стандартизированные предметы. Такую функцию выполняли меховые шкурки («кожаные деньги») или стеклянные бусы и шиферные пряслица⁶. Упоминание о разнообразных наименованиях денежных единиц представляет огромный интерес для нумизматов.

Один из берестяных документов (№ 20) перечисляет долги, выраженные в единице веса — берковце: «У Маляты 2 берковца, у Лобыни берковец... у Корги берковец, у Домажира берковец... у Жаска берковец... у Рыка берковец». Речь идет о долговой записи с перечислением должников и числящихся за ними товаров, измеряемых весовыми единицами. Берковец равен 10 пудам, а назван по имени шведского города Бьёркё (берковецкий пуд — шведский корабельный фунт, равный нашим 400 фунтам). Как правило, берковцами измерялись такие товары, как соль, воск, мед. Объем перечисленных выше товаров достаточно велик (3 берковца содержат 480 кг).

Особый интерес представляет грамота № 21, самая длинная: «У Орешиной четыре с половиной резаны, у Боришковой 2 ногаты, у Короцковой 2 ногаты, у Гюргеовой 7 резан, у Тешей 2 ногаты, у Недельке Безубой 2 ногаты». В этой грамоте все имена — женские, употреблены в родительном падеже и образованы от мужских имен, вероятно, от имени мужей: Боришкова — жена Бориса, Гюргева — жена Георгия (Юрия) и т. д. Женские имена подобного образования и тоже с перечислением сумм долгов упомянуты и в грамоте № 22: «У Несодичевой пять кун, у Таишиной семь резан,.. у Боришковой три куны,.. у Надейковой пять кун, у Путешинной три куны, у Безуевой четыре куны». Как видно, женщины были правомочны в финансовой сфере и принимали активное участие в деловых операциях.

Обратим особое внимание на грамоту № 17, сохранившуюся в обрывке. В переводе она звучит: «Поклон от Мирослава к Жиروشке. Сделай доброе дело [сделай справедливо —

вариант перевода], взяв почестье, по...». Почестье — вид подати, представляющий составную часть дани и являвшийся подношением, которое получал, по-видимому, сборщик дани⁷. Отсюда более позднее слово «почесть» — оказание почета. В псковском диалекте до настоящего времени сохранилось слово «почтуха», означающее «всякое внешнее оказание почтения, уважения, почета»⁸. Вероятно, в документе шла речь об указаниях даньщику, призванному, собирая «уроки», поступать справедливо — «створя добро».

Специфика этого комплекса грамот заключается в перечислении должников. Оно содержит множество древнерусских имен: и крестильно-христианских (Петр, Василий, Кирилл) и иных, в большинстве языческих, славянских (Мирослав, Жизнобуд, Жирошка, Сновид, Путила, Неговит, Домажир, Безуй). Есть и имена-прозвища: Храп, Страхот, Корга. Одно славянское имя встречается тут впервые и ранее вообще не было известно — Нижебуд. Берестяные грамоты, помимо своей значимости как уникальный по индивидуальности источник, являются еще и первостепенным материалом для изучения древнерусского языка с точки зрения фонетики, морфологии, лексики и диалектологии, тем более что грамоты Старой Руссы относятся к документам домонгольского времени.

К какому же социальному кругу принадлежал владелец усадьбы, где найдены грамоты? На первый взгляд, ответ однозначен. Если в руках одной семьи сосредоточены долговые записи с указанием, с кого и сколько надо получить, значит, владельцы усадьбы и есть заимодавцы-кредиторы, дававшие в долг, то есть довольно состоятельные люди со свободным капиталом. Может быть, ростовщики? Однако ни в одной из грамот нет упоминаний о процентах (рѣзах, иначе на́мах, как их называют древнерусские источники), которые являлись одним из способов умножения капитала. Вместе с тем трудно представить себе благодетеля, который никому не отказывал в займе (ведь не все его записи и дошли до нас) бескорыстно. По всей вероятности, кредитор имел для себя какие-то выгоды, не зафиксированные в грамотах. Возможно, это была первая ступень закабаления должников, которые в дальнейшем будут становиться все более зависимыми? Может быть, выгоды определялись и устной договоренностью. В любом случае можно говорить о владетельном хозяине усадьбы, держащем в своих руках посредством долговой зависимости ряд лиц.

Если же этот человек входил в группу сборщиков дани (даньщики, вирники), то в грамотах перечислены не просто должники, а люди, с которых надо было получить дань. В Древней Руси существовало «кормление» — право сбора дани как примитивного способа налогообложения. Состав «кормления» — деньги и продукты сельского хозяйства. Если даньщик при взимании дани не сумел полностью собрать ее, он составлял памятную запись. Сбор дани производился при сезонных поездках даньщика в волость. Если даньщик ехал с помощником-отроком, то они же и вели памятки. В таком случае все документы должны быть написаны одним-двумя почерками. Но этого нет.

Область действия даньщика не ограничивалась одним населенным пунктом, так что должно присутствовать географическое уточнение места жительства должника (вот, например, новгородская берестяная грамота № 568: «У Домана в Микулин... коробы соли. У Болоде в Славницах коробыа соли»; грамота № 492: «У Остафы со всеми Залешанами полтина, у Дуды в Гостемеричах...»⁹). Наши же грамоты не содержат ни одного топонима. Следовательно, упомянутые в них должники знакомы кредитору и живут в пределах города или его округа. Лишь грамота № 17, в которой речь идет о почестье, может иметь непосредственное отношение к лицу, связанному со сбором дани. Даньщик накапливал достаток, который складывался и из поборов в его пользу. Накопив лишние куны, он мог давать их в качестве ссуды.

Старорусский комплекс берестяных грамот датируется не позднее середины XII в.: временем действия Русской Правды и княжения прямых потомков Владимира Мономаха. Для новгородского боярства эта пора характеризовалась накоплением и наращиванием капитала путем ростовщических сделок. Исследователями отмечено, что берестяные документы XI—XII вв., связанные с боярским хозяйством, отражают только финансовые операции¹⁰. Лишь с конца XII — начала XIII в. предметом боярской деятельности становятся поземельные сделки. Именно тогда земля превращается в тот предмет, благодаря владению которым бояре приобретают решающее влияние в Новгородской республике. Чтобы иметь возможность образовать свободный капитал, предприимчивые собственники старались захватить любое доходное место, включая должность даньщика, вирника. С этого момента появляется реальная возможность образования крупного вотчинного хозяйства на Новгородской земле.

Что касается в целом находок старорусских берестяных грамот, то теперь впервые (помимо Новгорода) специалисты обрели комплекс берестяных документов, единых по содержанию, месту и времени написания. Это имеет огромное научное значение.

Примечания

1. В древности во всех источниках город назывался «Руса», с XV в. именуется «Старой Русой» и только в XVIII в. получает современное наименование.
2. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л. 1950, с. 32.
3. АРЦИХОВСКИЙ А. В., ЯНИН В. Л. Новгородские грамоты на бересте. М. 1978, с. 143—153; Янин В. Л., ЗАЛИЗНЯК А. А. Новгородские грамоты на бересте. М. 1986, с. 77.
4. ЧЕРЕПНИН Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М. 1969, с. 55.
5. ЯНИН В. Л. Денежно-весовые системы средневековья. М. 1956, с. 48.
6. СПАССКИЙ И. Г. Русская монетная система. Л. 1970, с. 68; ЯНИН В. Л. Ук. соч., с. 188.
7. Ср. Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. М. 1976, с. 146.
8. ДАЛЬ В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М. 1980, с. 371—372.
9. ЯНИН В. Л., ЗАЛИЗНЯК А. А. Ук. соч., с. 36; АРЦИХОВСКИЙ А. В., ЯНИН В. Л. Ук. соч., с. 86.
10. ЯНИН В. Л. Новгородская феодальная вотчина. М. 1981, с. 86; КОНОВАЛОВ А. А. Периодизация новгородских берестяных грамот и эволюция их содержания. — Советская археология, 1966, № 2, с. 68.

Первый русский ученый-геральдист

Н. А. Соболева

Современный читатель знал А. Б. Лакиера до сих пор в основном как автора книги «Русская геральдика», изданной в 1855 г. в Санкт-Петербурге и остающейся до наших дней историографическим феноменом. Между тем и другие его труды, как и неординарные личность и судьба, также заслуживают благодарной памяти потомков.

Александр Борисович Лакиер (иногда пишется Лакьер) родился 16 мая 1824 г.¹ в Таганроге в семье коллежского советника Бориса Львовича Лакиера и Екатерины Федоровны, урожденной Шауфус. Б. Л. Лакиер (полное имя — Борис Марк Мориц), бывший прусский подданный, происходил «из гражданских детей». Оставив в Пруссии жену Лею и сына Сигизмунда, он в 1816 г. приехал в Россию. По его словам, он «обучался в Берлинском и Дерптском университетах медицине, акушерству, словесности и разным иностранным языкам»². Медицинский диплом Дерптского университета позволил ему получить место уездного лекаря в одном из городков Могилевской губернии, а через три года — он уже городской доктор Таганрога, где через несколько месяцев обвенчался, как записано в метрической книге — «первым браком», с Шауфус — дочерью действительного статского советника, председателя Коммерческого суда города.

С 1824 г. в качестве главного медицинского чиновника Таганрогского карантина Б. Л. Лакиер в течение нескольких лет обслуживал военных и гражданское население, прививая оспу, оказывая помощь в ликвидации эпидемии холеры. Он был одним из тех медиков, кто подписал акт о смерти Александра I, когда личный врач царя Тарасов отказался это сделать. Службу свою, как отмечено в его формулярном списке, «отправлял отлично, в чем оправдал в полной мере ожидания начальства», и за что «награжден Правительствующим Сенатом надворным советником»³. В 1831 г. вышел в отставку в чине коллежского советника. После 1835 г. семья переехала в Москву, где обосновалась в собственном доме на Басманной, проживая, по-видимому, за счет того, что Б. Л. Лакиер давал деньги в рост⁴. Согласно чинам Бориса Львовича род Лакиеров был внесен в Дворянскую родословную книгу Московской губернии.

Александр Борисович, по-видимому, мало принимал участия в отцовских заботах. По словам П. А. Плетнева, с которым Лакиер познакомился по приезду в Петербург⁵, он был беден, но обладал большими способностями, знанием иностранных языков, необыкновенной работоспособностью и несомненным писательским даром. В начале 40-х годов XIX в. А. Б. Лакиер поступает в самый престижный по тем временам Московский университет на юридический факультет. В занятиях он отдавал явное предпочтение истории российского законодательства, преподавание которого во время его обучения на юридическом факуль-

Соболева Надежда Александровна — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СССР АН СССР.

тете велось профессором доктором права Ф. Л. Морошкиным и магистром права К. Д. Кавелиным. В те годы в Московском университете читал лекции Т. Н. Грановский, внимание публики привлекали диспуты по поводу защит магистерских диссертаций на юридическом факультете К. Д. Кавелина, на философском — Ю. Ф. Самарина, С. М. Соловьева. Из писем Лакиера видно, что он был знаком с С. М. Соловьевым и М. П. Погодиным, а также с К. Д. Кавелиным, Ю. Ф. Самариным, Д. А. Ровинским, А. В. Висковатовым⁶.

В 1845 г. Лакиер окончил Московский университет кандидатом, получил золотую медаль и подал прошение о принятии его на службу в одно из министерств в столице. В Петербурге его причислили к гражданскому отделению департамента Министерства юстиции, где с 19 ноября 1845 г. и началась его служба в чине коллежского секретаря на должности младшего помощника столоначальника. Он писал Соловьеву: «Главная выгода та, что служба легкая и я дома могу заниматься наукою часов по пяти в день. Это превосходно: я могу следить за юридической литературою и писать сам. Я, следовательно, совершенно счастлив своею судьбою»⁷. Активная научная, общественная и литературная деятельность Лакиера началась сразу же по прибытии в Петербург. Высоким личным качествам и достоинствам совсем еще молодого человека отдает должное Плетнев первый раз в сентябре 1845 года⁸. Полюбили его и начальники. Через год он становится столоначальником в 4-м отделении Департамента, а еще через год — начальником отделения, титулярным советником, в 1850 г. получает чин коллежского асессора⁹.

С 1846 г. Лакиер регулярно публикует заметки и рецензии на только что вышедшие книги в «Отечественных записках» и «Журнале Министерства народного просвещения» (ЖМНП). Он высказывает суждения не только по истории права и древнерусскому законодательству¹⁰, но и пишет обзоры книг, сборников документов и журнальные публикации общего исторического характера. В ЖМНП помещены его критические обзоры книг «Чтений» Общества истории и древностей российских за 1846—1849 годы. В них Лакиер предстает ревнителем русской старины. Он ратует за создание научных исторических обществ: «Только Ученое общество может вполне и всесторонне удовлетворить истинному историческому направлению, которое теперь преобладает в нашем Отечестве и преобладает притом не произвольно, не вследствие убеждения того или другого историка, не по какой-нибудь случайной причине, но вследствие внутреннего, в жизни самого народа заключающегося основания с тем, что передали и завещали нам наши предки»¹¹.

В 1848 г. Александр Борисович становится действительным членом созданного в Санкт-Петербурге в мае 1846 г. Археологическо-нумизматического общества (затем — Русское археологическое общество). Через некоторое время Лакиер уже член его правления: он входит в него как библиотекарь, хранитель музея да еще исполняя обязанности казначея. К 1852 г. книги, поступившие в виде пожертвований от разных лиц, а также приобретенные путем покупки, составили собрание в 3500 томов. Книжные новинки, проходившие через руки Лакиера в библиотеке Общества, давали ему материал для рецензий и обзоров. Постепенно он переключается с правовой на историческую тематику. Об этом свидетельствуют первые его работы, опубликованные в 1947 г.: «О российском государственном гербе», «История титула государей России», «Маскарады, игры и увеселения древних русских»¹². В первых в основном описательных работах Лакиера было немало ошибок. Но он обратил внимание на некоторые вопросы, слабо освещаемые в литературе или не затронутые вовсе. Его работы подкупают своей любовью к русской истории и увлеченностью ею, убежденностью в необходимости разработки памятников отечественной старины. Тематика ранних его работ, обзоры исторических книг и периодики свидетельствуют, что он видел свое призвание в разработке, как бы мы сейчас сказали, «белых пятен» отечественной истории. Работа в Археологическом обществе самым существенным образом повлияла на тот круг занятий, который Лакиер для себя определил, а именно, вопросы геральдики¹³.

Служа в Министерстве юстиции и занимаясь литературно-научными трудами, Лакиер готовился к получению степени магистра. Для диссертационной работы он выбрал сложную, по признанию всех его рецензентов, историко-правовую тему и в 1848 г. защитил ее на юридическом факультете Московского университета. В том же году диссертация под названием «О вотчинах и поместьях» была опубликована отдельной книгой. Имя молодого магистра сразу оказалась в ряду известнейших в отечественной науке. В числе лиц, удостоенных степени магистра (со времени введения нового устава Московского университета в 1836 г. и до его столетнего юбилея в 1855 г.), по историко-филологическому факультету были О. Бодянский (1838 г.), Ф. Буслаев (1848 г.); по юридическому факультету — А. Попов (1843 г.), К. Кавелин (1843 г.), Н. Калачов (1847 г.), С. Пахман (1851 г.).

Впрочем, отзывы на работу «О вотчинах и поместьях» были далеко не блестящими.

Признавая, что предъявленное Лакиером на получение степени магистра «рассуждение совершенно удовлетворительно, представляя очевидные доказательства начитанности автора, знакомства с источниками, трудолюбия и обширных исторических знаний», известный историк Погодин не соглашался с ним по ряду концептуальных, как бы мы сейчас сказали, моментов (по вопросу о времени возникновения на Руси частной собственности на землю, появления поместий, сущности поместья и вотчины и т. д.), а также усматривал ошибки в трактовке фактического, в частности летописного, материала. Погодин указывал на то, что часть второй главы о церковном праве на землю «дельна и удовлетворительна», «раздача, управление, обязанности поместий исследованы и обозрены очень хорошо» и даже противопоставил Лакиера Соловьеву в объяснении понятия «черные» и «белые» земли, считая, что первый абсолютно прав, когда определял «черное» как обложенное податью. Свою рецензию Погодин заключил доброжелательным напутствием молодому исследователю: «Г-н Лакиер очень трудолюбив, как видно, если он столько же самолюбив, и будет настаивать на своих положениях, то пользы для науки выйдет немного; но если он, отложив самолюбие в сторону, решится переделать свое рассуждение, разместить иначе богатые запасы, им собранные, воспользовавшись всеми замечаниями, то подарит нашу историческую литературу прекрасной монографией»¹⁴.

В «Отечественных записках» и «Современнике» Лакиера упрекали в механическом перенесении норм римского права собственности, которые он считал общими для всех народов, на отечественное право, что и обусловило его неверные взгляды на развитие форм собственности на землю в России с древнейших времен¹⁵. Кавелина не удовлетворил подход Лакиера к исследованию истории вотчинного и поместного права. Он считал необоснованным отправной тезис Лакиера об отсутствии частной собственности на землю в древней Руси: «По мнению автора, — писал Кавелин, — вся земля в России была собственностью князей и царей, которые раздавали ее «во временное владение» своим приближенным, родственникам или подданным. Это мнение не выдерживает даже самой слабой критики»¹⁶.

Нелицеприятный отзыв учителя, по-видимому, не охладил исследовательского пыла Лакиера, который сразу же приступает к работе над докторской диссертацией. В 1850 г. он «додерживает экзамен на докторство», как пишет Плетнев Гоголю¹⁷. К тому времени относятся сведения о сотрудничестве Лакиера в только что созданном научно-литературном журнале «Северное обозрение»¹⁸. Журнал, целью которого было, как заявили издатели (с которыми полностью солидаризировались Погодин, С. П. Шевырев и др.), «по мере сил и средств содействовать к отысканию, изучению и разработке своего отечественного, как скоро оно благое и полезное, и с любовью и упованием следить за самобытным развитием русской науки и русской исторической жизни»¹⁹, по своему духу не мог не импонировать Лакиеру. Однако в 1850 г. «Северное обозрение» прекратило свое существование.

Фамилия Лакиера довольно часто встречается в разных периодических изданиях того времени. Особенно тесные контакты устанавливаются у него с ЖМНП. В 1850 г. здесь была напечатана его работа «О службе в России до времен Петра Великого». Она интересна тем, что в ней автор пересмотрел ряд положений своего труда «О вотчинах и поместьях», например, о времени появления частной собственности на землю в древней Руси, уделил внимание общине, четче сформулировал свою позицию в отношении поместья, подчеркнув, в частности, отличие поместья от кормления, предложив более определенную хронологию развития этого института в Русском государстве, и т. д.

В 1850 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилась публикация Лакиера «О кабалах и кабальных книгах»²⁰ — сообщение о редком рукописном памятнике — «Крепостной книге» XVI в., составленной в Новгороде. Через пять лет Лакиер передал этот памятник для публикации в «Архиве историко-юридических сведений»²¹. Публикатор Н. Калачов предположил ей большое предисловие. В газетной же статье Лакиер позначил широкого читателя с понятием «кабала» как разновидностью актов, отметив, что кроме служилых кабал в «Крепостной книге» помещены акты, которые нельзя назвать собственно кабалами, хотя ими как крепостями и утверждаются права на людей за теми лицами, в пользу которых они были составлены в свое время (грамоты полные, докладные, рядные, данные, правые и т. д.). Лакиер установил, что в «Крепостной книге» перечислены и подробно описаны акты, которые были представлены разными лицами, жившими в Новгородской земле, для записи их вследствие указа 1597 года.

Калачов, характеризую «Крепостную книгу», подчеркивал, что значение ее состоит в следующем: предшествуя собственно кабальным книгам, она занимает «середину между ними и теми крепостями, которые составлялись частно или официально до 1597 года». Калачов особенно обращал внимание на то, что за неимением подлинников таких актов, как докладные

и полные грамоты, книгой можно пользоваться не только для изучения содержания последних, но, что особенно важно, — для изучения их формы. Дипломатические особенности помещенных в книге актов Лакиера не интересовали. Он сосредоточил внимание на эволюции кабалы как правового документа (по содержанию), не оценив в полной мере исторической значимости оказавшейся в его владении рукописи.

8 ноября 1849 г. Лакиер, подобно другим членам Археологического общества, выступил на одном из его заседаний с докладом «О наградах за службу в России до времен Петра Великого». После доклада развернулась полемика вокруг вопроса о награждении гривнами. Тем не менее по решению общества доклад под несколько измененным заголовком — «О знаках отличия за службу в России до времен Петра Великого» — был напечатан²².

Еще Н. М. Карамзин и С. И. де Шодуар считали, что за воинскую службу и другие заслуги князья и цари награждали отличившихся русскими и иностранными золотыми монетами. Лакиер развил эту мысль, подтвердив ее сведениями из ряда источников, не упомянутых этими авторами. Он выстроил целую систему знаков отличия, наград, начинавшихся, по его мнению, с шейной гривны — цепи, к которой затем привешивались «металлические деньги» (из драгоценных металлов) различного достоинства — прообраз позднейшего ордена. Несмотря на ряд заблуждений Лакиера, считавшего, например, первые русские монеты — златники и сребреники — медалями, выбитыми для торжественных случаев и раздававшимися в награду, его труд долгое время оставался у нас единственным, посвященным специально институту наград в Древней Руси, и только с опубликованием работы Н. Г. Спасского «Золотые» — воинские награды в допетровской Руси» был признан «безнадёжно устаревшим для нашего времени»²³.

7 января 1851 г. А. Б. Лакиер вступил в брак с единственной и любимой дочерью Плетнева от первого брака, Ольгой. Друзья Плетнева, и прежде всех А. С. Пушкин, проявляли к ней исключительное внимание. До 18 лет она воспитывалась в доме А. О. Ишимовой, друга Плетнева, переводчицы, автора широко известных книг для детей по истории России. Ольга увлекалась историей и ботаникой, обучалась рисованию и музыке. В письме Гроту Плетнев писал, что свадьба была «самая тихая и самая скромная», «кроме должностных лиц, т. е. посаженных и шаферов, никого мы не приглашали, — подчеркивает он, — к чему наиболее побудила нас слишком чувствительная необширность квартиры молодых»²⁴. Женившись, Лакиер вступил в родство с очень уважаемым в научных и литературных кругах человеком, приобрел расположение многочисленных знакомых и друзей Плетнева. Существенной материальной поддержкой стало приданое жены. Лакиер приобщился к кругам петербургской профессуры и даже знати, поскольку Плетнев незадолго до свадьбы дочери женился вторично — на княжне А. В. Щетининой, которая лишь на два года была старше падчерицы.

Счастливая для Лакиера пора длилась, однако, недолго: 10 сентября 1852 г. у Лакиеров родился сын Петр, а через четыре дня Ольга умерла. Без сомнения, смерть любимой жены, с которой он прожил менее двух лет, явилась печальной вехой в жизни Лакиера. Однако это не отразилось на его научных и литературных занятиях. Он по-прежнему сотрудничает в ЖМНП (в 1852—1853 гг. здесь напечатаны его рецензии на такие издания, как «Дворцовые разряды», «История российских гражданских законов» проф. К. Неволлина, «Записки Одесского общества истории и древностей», «Памятники дипломатических сношений России с державами иностранными» и др.). Археологическое общество издало работу Лакиера «История подделки монет в России до времен Петра Великого»²⁵. Лакиер считал, что Древняя Русь никак не могла обходиться без монетной чеканки, а раз так — то и без соответствующего надзора и «вёдения правительства» о подделке монеты.

Представляют интерес работы Лакиера-юриста. К ним относится, например, статья «Общие основания системы договоров и обязательств по началам русского законодательства»²⁶. Это одна из первых отечественных работ на эту тему. Лакиер использовал в ней материалы из своей публикации о кабальных книгах, дополнив их сведениями о форме актов, процедуре их создания, классификации и эволюции на протяжении нескольких столетий. Рассуждая о юридической значимости акта, он уделяет большое внимание печатям князей и лиц духовного звания. Этот материал вошел впоследствии в книгу «Русская геральдика».

Нельзя не упомянуть и о небольшом сочинении Лакиера, тема которого несколько неожиданна для автора, однако хорошо характеризует его воззрения. Это анонимный «Обзор сношений между Англией и Россией в XVI—XVII столетиях»²⁷. В «Современнике» и «Отечественных записках» рецензенты указывали, что работа эта порождена Крымской войной. По мнению автора, использовавшего для написания своего «антианглийского» произведения русские и английские источники, Англия в своих отношениях с Россией придерживалась принципов меркантилизма, всегда «оказывала предпочтение торговым интересам перед делами

государственными». «И этот факт, — пишет Лакиер, — резко обозначился в теперешнюю войну, которая, несмотря на все прикрытия настоящей цели ее ведения охранением равновесия Европы от какого-то воображаемого нарушения, ведется только по купеческому расчету». Проводя исторические параллели, он с негодованием отмечал: «Как теперь, так и тогда англичане считали дозволенными всякие средства, лишь бы ослабить Россию, вовлечь ее в войны и сделать берега наши недоступными для кораблей других народов: одним завладеть всею торговлею». Рецензенты солидаризировались с автором, взывавшим к патриотическим чувствам русского человека, и отмечали, что материал в этой «любопытной книжечке» изложен доступно, эмоционально²⁸.

В конце декабря 1854 г. ученый секретарь Археологического общества А. Н. Попов представил участникам его заседания «оконченный печатанием» 7-й том «Записок», в котором было опубликовано сочинение действительного члена Общества А. Б. Лакиера «Русская геральдика». В следующем году «Русская геральдика» вышла отдельным изданием в двух книгах. Появление этого труда произвело сенсацию. «Книга моя «Русская геральдика» совсем разошлась, и я имею в виду второе ее издание», — писал Лакиер чешскому просветителю В. Ганке 14 февраля 1856 года²⁹.

Не менее пяти рецензий появилось на нее в том же году. Откликнулись даже провинциальные издания. Рецензенты обратили внимание на сравнительно редкую для отечественной исторической литературы проблематику³⁰, историческую значимость вводимого Лакиером в научный оборот материала, касающегося прежде всего русских печатей, которые так же, как и гербы, были обойдены вниманием отечественных ученых, эрудированность автора (Лакиер использовал при написании книги литературу на латинском, французском, немецком, польском и др. языках), его исключительное трудолюбие. Подчеркивалось, что книга «пролагает путь для новых исследователей, которым, конечно, после этого труда уже легче будет дополнить его и совершенствовать»³¹. Впрочем, в «Современнике» Н. Г. Чернышевский высказал некоторый скепсис: дворянские гербы он не считал предметом, заслуживающим внимание ученых.

Однако научная общественность придерживалась иного мнения, и в 1856 г. автор «Русской геральдики» стал лауреатом почетнейшей Демидовской премии. Первый лауреат этой премии, профессор русской истории Петербургского университета акад. Н. Г. Устрялов в 1856 г. дал развернутую и очень лестную характеристику работы Лакиера, взгляды которого были очень близки воззрениям самого Устрялова как представителя официальной дворянской историографии. Он указывал на новизну и основательность изложения, на уникальность тематики³². Лакиеру пришлось выдержать значительную конкуренцию: на конкурс было представлено 25 работ (14 по гуманитарным наукам), а премиями награждено 9 сочинений (5 гуманитарных).

Рецензенты предугадали заслуженную славу «Русской геральдики». Конечно, развитие науки, в том числе и вспомогательных исторических дисциплин — сфрагистики и геральдики (отделившихся от археологии), потребовало критического переосмысления ряда положений книги Лакиера, являющейся продуктом своего времени. Дворянско-охранительное направление, занимавшее привилегированное положение в историографии XIX в., существенно отразилось на исследовании Лакиера. Он исходит из ассоциации герба и дворянства: «Гербы суть знаки отличия дворянских родов»³³, вместо того, чтобы беспристрастно анализировать этот знак, определить его сущность и значение безотносительно к принадлежности, независимо от территориальной характеристики.

Стремление автора во что бы то ни стало обнаружить в древней русской жизни «начала и основания» ряда гербов увело его от всестороннего осмысления самого понятия «герб», не позволило дать ему объективную оценку как таковому и именно с этих позиций рассмотреть эволюцию данного института в Русском государстве. Размышляя об определении герба, Лакиер исключает правовой момент — утверждение (возможно, лишь фиксация) герба верховной властью, что давало его владельцу (будь то индивид, территория и пр.) определенные привилегии. Признать этот аспект в понимании герба означало бы заставить Лакиера согласиться с тем, что гербы в России — явление позднее.

В рецензии на работу Лакиера Чернышевский отмечал, что автор преследовал цель создать практическое руководство «для составления гербов тем лицам, которые вновь приобретают дворянство или, принадлежат к старинному дворянству, еще не имеют гербов»³⁴. Действительно, в труде Лакиера значительное место отводится так называемой теоретической геральдике, то есть правилам составления герба. Автор признает, что форма российских гербов была заимствована из Западной Европы. Излагая теорию геральдики, он перечисляет правила, согласно которым на протяжении ряда столетий строилось геральдическое искус-

ство в европейских странах, рекомендуя использовать эти правила в русской геральдической практике. На это обращали внимание и рецензенты³⁵. Указывалось и на практическое значение «Русской геральдики» ввиду того, что процесс герботворчества в Российской империи продолжается³⁶.

Городская геральдика занимает весьма скромное место в труде Лакиера, городским гербам посвящен краткий обзор, содержащий самые общие сведения по этому вопросу. В книге не рассматривается их статут, а процесс возникновения и эволюции не связан с развитием Российского государства. В своем отношении к истории русского города автор исходил из утвердившегося к тому времени мнения о неорганичности для России городского развития. Самобытность ее исторического пути, исконность самодержавия и многое другое получили отражение в его концепции древнего происхождения русских гербов, неразрывной связи древних печатей и появившихся впоследствии гербов. Против этого утверждения выступил ряд рецензентов книги. А. Н. Попов писал: «Что касается древних печатей наших, мы не можем не заметить, что между ними и гербами нашими нет никакой исторической связи. Сфрагистика наша — весьма любопытная часть Археологии русской, однакож, вовсе не послужила основанием для нашей геральдики»³⁷. В преемственности древних грузинских эмблем и последующих гербов сомневался М. И. Броссе³⁸.

Нельзя не упомянуть еще об одной идее, присутствующей в книге, идее национального единства всего славянства, выражающейся в конструкции особой «геральдики Славянской». Вопрос о резком отличии отечественных гербов от западноевропейских и их близости к гербам славянских стран являлся, по мысли Лакиера, главным. Однако даже русофил Ганка, к которому, как к единомышленнику, обратился автор «Русской геральдики», затруднился ответить на него, по-видимому, не найдя конкретных подтверждений особой близости чешских и русских гербов. Он ограничился лишь общим, весьма, впрочем, лестным замечанием о книге Лакиера³⁹, а в дальнейшем оказал ему самый радушный прием в Праге, снабдив рекомендательными письмами, которые, по словам Лакиера, «открывали... всюду двери».

Рассматривая «Русскую геральдику» в контексте современных воззрений на процесс становления и эволюции в Русском государстве дворянских и городских гербов, формирование института герба в целом, причины его возникновения, отличие от печатей, этапы развития геральдики и прочее, можно во многом согласиться с рецензентами, высказывавшими замечания автору почти 150 лет тому назад. Бросается в глаза тенденциозность Лакиера, следования вопреки самой логике исследования, официальной доктрине. Вместе с тем книгу отличают использование колоссального фактического материала, подлинный клад идей, которые будят мысль. Кроме того, «Русскую геральдику» можно назвать первым русским сфрагистическим трудом. Лакиер оперирует практически всеми печатями (металлическими, восковыми, перстнями-печатями и т. д.), известными к середине XIX века. В значительной своей части сфрагистический материал размещен в таблицах. Лакиер описал в общем все княжеские печати, опубликованные в «Собрании государственных грамот и договоров» и известные к тому времени со значительными поправками, уточнениями и объяснениями, предпринял попытку их классификации. Кроме княжеских, он описал некоторые печати городов, духовенства, должностных и частных лиц.

Такие методические приемы, примененные Лакиером при исследовании древнерусских печатей, как соотнесение изображений на печатях и одновременных им русских монетах, сопоставление изображений на печатях с аналогичными литовскими, польскими, сербскими и другими европейскими образцами, использование письменных источников при выработке правильной трактовки той или иной эмблемы, которую несет печать, позволили ему сделать наблюдения, часть которых трудно опровергнуть. Иные же, как, например, утверждение о якобы изображенном на печати Мстиславовой грамоты архангела Михаила⁴⁰, которого спустя несколько веков можно увидеть в гербе Киева, требуют пересмотра. Кстати, Чернышевский в рецензии весьма положительно отзывался о сфрагистических изысканиях Лакиера, не вызвало у него возражения и исследование автором территориальных гербов (государственного и городских).

«Русская геральдика» явилась своего рода завершением определенного этапа в жизни Александра Борисовича. В дальнейшем он никогда уже не обращался к геральдике, да и вообще отошел от научной работы. В год присуждения ему Демидовской премии он оставляет службу обер-секретаря 3-го департамента Сената⁴¹ и на два с лишним года отправляется в путешествие по странам Европы, Америки и северной Африки. Можно лишь предположительно судить о средствах, позволивших ему предпринять столь длительную поездку. Он мог воспользоваться причитающимися ему по завещанию умершего отца деньгами⁴² (несколько тысяч), полученной премией (2,5 тыс. рублей). Однако, по-видимому, основным кредитором

выступил Плетнев, к которому после смерти дочери зять неоднократно обращался с просьбой выделить ему часть причитающихся в качестве наследства Ольге денег⁴³.

Лакиер послал Плетневу из разных стран несколько десятков писем⁴⁴, подробно описав города и страны, быт и нравы живущих там народов, свои встречи с различными людьми, среди которых было много известных государственных деятелей, историков, литераторов. По письмам можно восстановить и маршрут Лакиера. За год он посетил почти все европейские страны: Швейцарию, Германию, Францию, Чехословакию, Польшу, Венгрию, Италию, Испанию, Данию, Голландию, Англию. В августе 1857 г. он отплыл из Ливерпуля на пароходе «Европа» в Соединенные Штаты. Он побывал в крупнейших городах восточной части США, на севере и на юге, спустился по Миссисипи до Нового Орлеана, посетил Канаду и остров Кубу. Из Франции Лакиер в январе 1858 г. отправился в Северную Африку и провел там четыре месяца, проехав Алжир, Тунис, Египет. Затем он направился в Иерусалим, побывал в Афинах и, наконец, в мае из Константинополя приплыл в Одессу. Все лето 1858 г. он провел в странствиях по Кавказу и югу России. Посетив родной Таганрог и Киев, он в сентябре 1858 г. вернулся в Петербург.

Во время путешествия Лакиер вел дневник, отрывки из которого печатались в самых читаемых тогда журналах: «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы». Одна из первых его публикаций — «Новая читальная зала в Британском музее» — была напечатана в 1858 г. в № 244 «Санкт-Петербургских ведомостей» и посвящалась барону М. А. Корфу, директору Публичной библиотеки, много сделавшему для ее процветания. Обратила на себя внимание и статья об опыте выкупа крестьянских повинностей у лужицких сербов⁴⁵.

Серию статей Лакиера об американских городах Бостоне, Вашингтоне, Нью-Йорке опубликовал журнал «Современник»⁴⁶; о поездке на Кубу он рассказал на страницах «Отечественных записок»⁴⁷. Описаниями путешествий Лакиера зачитывался молодой Д. И. Писарев⁴⁸. «Русский вестник» в нескольких номерах⁴⁹ напечатал лакиерову «Поездку по Канаде». Дневниковые записи Лакиера вышли в 1859 г. отдельной книгой (2 тома). В предисловии автор определил цель своего путешествия в Америку: «Главною моею заботою было изучить учреждения и познаться с внутренним бытом страны и общества»⁵⁰.

Чутко реагирующий на запросы читающей публики Лакиер не мог не уловить особого интереса русского общества к молодому государству — США; интереса и в то же время незнания, что подчеркнул в своей рецензии на книгу Н. А. Добролюбов. «Некоторые знают побольше, некоторые поменьше, но редко кто имеет основательные и подробные познания относительно американских нравов и учреждений». И далее: «Вследствие такой бедности знаний в нашей литературе постоянно раздавались самые разноречивые и часто забавные суждения об Америке... При таком положении наших знаний о Северной Америке книга г. Лакиера составляет приятное явление в нашей литературе»⁵¹. Добролюбов соглашается с суждением о книге как «первом у нас описании Америки, юной и малонаселенной страны, которая имеет много общего с Россиею и во многих отношениях любопытна». Добролюбов оценил книгу Лакиера как «дельную». Она натолкнула Добролюбова на написание очерка «внутреннего устройства Североамериканских штатов»⁵².

«Путешествие по Североамериканским штатам» мало известно советскому читателю. Между тем это сочинение Лакиера, помимо большой информативности, интересно еще и оценочными моментами, характеризующими менталитет образованного европейца середины XIX века. «Пакет» вопросов, интересовавших Лакиера, очень любопытен: «Как этот младший в семье человечества брат успел так далеко оставить за собою старших братьев в торговле, мореплавании и вообще производительной деятельности? Почему и теперь уже Североамериканские Штаты во многом служат образцом для Европы, когда, можно сказать, от начала существования Америки до сих пор прошло всего столетия? Где зерно того демократического равенства, которое вовсе непонятно для европейца? Какую пользу, какое назидание можем мы извлечь для себя из великого опыта, представляемого страной, с которою сношения если до сих пор вовсе не начиналось по отдаленности, современем, можно предвидеть, примут огромные размеры чрез Тихий океан?»⁵³

Скепсис по отношению к «вольной стране» Америке, где надо следить за своими вещами, не полагаясь на обслугу, где повсюду раздражающая торопливость, очень скоро сменились у Лакиера вполне рациональным одобрением многих существующих здесь порядков. Его привели в восторг организация народного образования, широкая сеть «доступных всем и посещаемых исправно» публичных библиотек; ведение судопроизводства, при котором судьи пользуются исключительной самостоятельностью, а народные заседатели юридически грамотны; общественная благотворительность и т. д. Он сумел оценить деловитость и рационализм аме-

риканцев. «В Америке можно не любить частных, но нельзя не любить общего, не удивляться тому, до чего Европа дойти не может, и это удивление выносишь к народу, который управляет сам собою, и к учреждениям, которые без чужой помощи дают человеку столько счастья и благ, сколько он вместить может»⁵⁴.

Вместе с тем у Лакиера вызвал отвращение «невольничий кодекс» («учреждение, о котором не хочется говорить»), ему казалась странной и противоестественной такая нелюбовь белых к цветным, при которой первые с ними «не хотят иметь ничего общего, даже воздуха, которым дышат». Вопрос кубинского плантатора, «чем положение ваших свободных работников лучше положения моих негров?», показался ему риторическим, ибо, как всякий образованный европеец, Лакиер выступал против рабства, считая его античным рудиментом. Второй момент, вызвавший неприятие Лакиера, — «вечная гонка за долларами, всегдашнее служение золотому кумиру». Это также своеобразный стереотип, характерный для оценки европейцами американского образа жизни. Лакиер отступает от него, когда пишет об американской благотворительности: «Различие американского общества от нашего, что никто не может, не должен и не хочет отказываться от труда для общего блага»⁵⁵.

Лакиер не ограничился только личными впечатлениями, разговорами с попутчиками, государственными чиновниками, плантаторами. Он использовал обширную литературу по истории колонизации Америки, прессу, справочники и другие материалы, которые позволили ему в определенной степени проанализировать феномен американской демократии и в какой-то мере предвосхитить будущее этой страны. Размышление о том, суждено ли американцам вернуться в Европу и смогут ли они оказать какое-либо влияние на ее развитие, привело Лакиера к убеждению: «Молодой, деятельный, практический, счастливый в своих предприятиях народ... будет иметь влияние на Европу, но употребит для того не оружие, не меч и огонь, не гибель и разорение, а распространит свое влияние силою изобретений, торговли, промышленности; и это влияние прочнее всяких завоеваний»⁵⁶.

Весной 1859 г. Александр Борисович женился на своей землячке Елене Марковне Варвацы, дочери богатого и знатного грека М. Н. Комнено-Варвацы⁵⁷. Плетнев писал по этому поводу Вяземскому: «Лакиер... вступает во второй брак с богатою гречанкой Варвацы из таганрогского круга всех наших откупных крѣзов: Бенардаки, Вофей, Алфераки и проч.»⁵⁸ Еще один год Лакиер находился на государственной службе в Петербурге — в Центральном статистическом комитете Министерства внутренних дел. В чине коллежского советника он состоял в Земском отделе, учрежденном для подготовительных работ по крестьянской реформе. Одновременно его имя фигурирует и в списке преподавателей Училища правоведения Министерства юстиции, где он читал курс гражданского права.

Весной 1860 г. Лакиер выходит в отставку и переезжает в Таганрог, где поселяется в имении отца своей второй жены. Автор «Русской геральдики» выступает в несвойственном ему ранее амплуа — практикующего адвоката. Он сообщает А. В. Плетневой: «Я сам занимаюсь адвокатурой, которая всегда была моею любимой мечтою и теперь при новых судах я ей совершенно предаюсь»⁵⁹. Лакиер и сына Петю, внука Плетнева, мечтал сделать своим «сотрудником и помощником», предполагая определить в Санкт-Петербургское училище правоведения. Но его мечтам не суждено было сбыться: в 1870 г. Лакиер умер.

В последний период жизни Александр Борисович не так часто, как раньше, выступал на страницах столичных журналов. Но все-таки несколько его специальных статей опубликовано в начале 60-х годов XIX в. в «Журнале Министерства юстиции». Быт и нравы семьи Варвацы изменили не только его интересы, но и образ жизни. Он, как и все семейство Варвацы, известное в Таганроге своей благотворительностью, вступил на этот путь, являясь членом-учредителем Благотворительного общества в Таганроге.

А. Б. Лакиер принадлежит к лучшим представителям русской интеллигенции середины XIX века.

Примечания

1. Так записано в метрической книге Таганрогской соборной Успенской церкви (Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) СССР, ф. 1343, оп. 24, д. 387, л. 38). В словарях приводится и другая дата — 30 апреля 1825 года.
2. Там же. лл. 4 об.—5.
3. Там же. л. 6 об.
4. Это следует из завещания Б. Л. Лакиера, который оставил своим детям «благоприобретенное име-

- ние», состоящее из наличного капитала и «долгов на частных людях по заемным письмам» (перечисляется много фамилий) (там же, лл. 81—82 об.).
5. П. А. Плетнев — известный литератор, критик, издатель «Современника», ректор Санкт-Петербургского университета, друг А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Н. В. Гоголя. В письме Я. К. Гроту он сообщает о Лакиере: «Чудный юноша, несмотря на бедность свою уже воспитывающий бедняжку мальчика-французика» (ГРОТ Я. К. Переписка с П. А. Плетневым. Т. 2. СПб. 1896, с. 621—622).
 6. Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (РОГБЛ), ф. 285, карт. 1, д. 26, лл. 1—1 об.; ф. 231, разд. II, карт. 18, д. 25, лл. 1—1 об.; ф. 53, карт. 6339, д. 6, лл. 1—1 об.
 7. Там же, ф. 285, карт. 1, д. 26, л. 1.
 8. «Если с энтузиазмом молодости не пройдет в Лакьере все прекрасное, чем он теперь поражает нас. то какой чудный человек готовится в нем для общества», — пишет Плетнев Гроту (ГРОТ Я. К. Переписка. Т. 2, с. 637—638).
 9. Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции. СПб. 1846; то же за 1847—1851 гг.
 10. См., напр., отклики Лакиера на книгу А. Куницына «Историческое изображение древнего судопроизводства в России» (СПб. 1847) — ЖМНП, 1847, ч. 54, № 5, отд. VI, с. 98; на книгу В. Линовского «Исследования начал уголовного права, изложенных в Уложении царя Алексея Михайловича» (Одесса. 1847) — ЖМНП, 1847, ч. 56, № 11, отд. VI, с. 138; и др.
 11. ЖМНП, 1848, ч. 59, № 9, отд. VI, с. 313.
 12. Санкт-Петербургские ведомости, 1847, №№ 142, 292—293; Журнал для чтения воспитанниками Военно-учебных заведений, СПб., 1847, т. 69, № 273; ЖМНП, 1847, ч. 56, № 10, отд. II, с. 81—108, № 11, отд. II, с. 109—156.
 13. См. Записки археологическо-нумизматического общества в Санкт-Петербурге, 1848, т. 1, вып. 1—2, с. 7; вып. 3, с. 279; вып. 4, с. 399, 403.
 14. Москвитянин, 1848, № 6, с. 95—96.
 15. Отечественные записки, 1848, т. 59, № 8, с. 60.
 16. Современник, 1848, т. 10, с. 63.
 17. Русский вестник, 1890, т. 211, ноябрь, с. 64.
 18. См. БАРУСОВ Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. X. СПб. 1896, с. 415.
 19. Северное обозрение, 1849, т. 2, вып. 4, с. II.
 20. Санкт-Петербургские ведомости, 1850, № 86.
 21. Акты, записанные в Крепостной книге XVI в. В кн.: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М. 1855. Кн. 2. 1-я половина. Отд. II.
 22. Записки Археологическо-нумизматического общества в Санкт-Петербурге, 1850, т. 2, с. 98—125.
 23. Труды Государственного Эрмитажа. Т. IV. Л. 1961, с. 92.
 24. ГРОТ Я. К. Переписка. Т. 3. СПб. 1896, с. 531—532.
 25. Записки Археологического общества, 1853, т. V, с. 248—281.
 26. Сын Отечества, 1852, кн. IV—VI.
 27. Авторство Лакиера установлено по книге: ИКОННИКОВ В. С. Опыт русской историографии. Т. 1, кн. 2. Киев. 1892, с. 1486.
 28. Современник, 1855, т. 49, библиография, с. 38.
 29. Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Варшава. 1905, с. 612.
 30. «Первый опыт полной русской геральдики», — так отозвался о книге Пахман (Казанские губернские ведомости, 1855, № 6); «ученому исследованию... [геральдики] автор полагает первые, но твердые начала», — вторит ему рецензент из «Отечественных записок» (1855, т. 98, отд. IV, с. 79). Действительно, труду Лакиера предшествовали лишь несколько геральдических работ: Начертание гербоведения (СПб, 1805); Избранные эмблемы и символы (СПб. 1811); Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797 году. Тт. 1—10. [СПб. 1799—1840]; несколько газетных статей о государственном, а также московском гербе И. Снегирева и др. авторов; небольшие статьи о литовских гербах. Замышлялась, правда, серия статей о русских гербах и печатях И. П. Сахарова (САХАРОВ И. П. Записки о русских гербах. СПб. 1856. Ч. 1. Московский герб).
 31. А. Н. Попов, например, писал: «Нет никакого сомнения, что исследование печатей русских весьма важно для отечественной Археологии вовсе независимо от того, послужили ли они основанием для наших гербов или нет... Лакиер собрал довольно полные сведения о наших древних печатях, приложил много рисунков и печатей, новых, доселе бывших неизвестными, и изложил стройно и в систематическом порядке исследование о них, которое составляет у нас первый опыт русской сфрагистики» (ЖМНП, 1885, ч. 85, с. 66—67).
 32. УСТРЯЛОВ Н. Г. Разбор сочинения г. Лакиера «Русская геральдика». В кн.: Двадцать пятое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград. СПб. 1856, с. 99.

33. ЛАКИЕР А. Б. Русская геральдика. СПб. 1855, с. 6.
34. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н. Г. Полн. собр. соч. Т. II. М. 1949, с. 652.
35. ПОПОВ А. Н. Ук. соч., с. 63—64.
36. ПАХМАН С. Несколько слов о новом сочинении по части русского гербоведения.
37. ПОПОВ А. Н. Ук. соч., с. 70.
38. БРОССЕ М. И. Несколько замечаний на книгу г. Лакиера «Русская геральдика». В кн.: Двадцать пятое присуждение, с. 103—105.
39. Письма к Вячеславу Ганке, с. 610.
40. Иная атрибуция печати Мстиславовой грамоты была дана уже в начале XX века. Подробно об этой печати см.: ЯНИН В. Л. Актовые печати Древней Руси X—XV вв. Т. II. М. 1970, с. 16—21.
41. В бумагах Плетнева имеется переданная ему справка об увольнении со службы в Министерстве юстиции обер-секретаря Лакиера, датированная 3 мая 1856 г. — Институт русской литературы (ИРЛИ) (Пушкинский Дом), ф. 234, оп. 34, д. 365, л. 263.
42. ЦГИА СССР, ф. 1343, оп. 24, д. 387, лл. 81—84.
43. ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, д. 365, лл. 11—15, 40—41, 259.
44. Они хранятся: ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, д. 365.
45. ЛАКИЕР А. Б. Законоположение о выкупе работ и сельских повинностей в Саксонии и Верхней Лузании. — Сельское благоустройство. Кн. 4. М. 1858.
46. Современник, 1858, т. 68, №№ 4, 9—10.
47. Отечественные записки, 1858, т. 120, №№ 9—10.
48. ПИСАРЕВ Д. И. Полн. собр. соч. Т. 3. СПб. 1894, с. 56.
49. Русский вестник, 1858, т. 17, № 10.
50. ЛАКИЕР А. Б. Путешествие по Североамериканским штатам, Канаде и острову Кубе. Тт. I—II. СПб. 1858. Предисл.
51. Современник, 1859, т. 69, № 3, с. 25—48 (Без подписи). См. также: ДОБРЮЛОВ Н. А. Собр. соч. Т. 4. М.—Л. 1962, с. 217.
52. ДОБРЮЛОВ Н. А. Ук. соч., с. 458.
53. ЛАКИЕР А. Б. Путешествие. Т. I, с. 2.
54. Там же, с. 284.
55. Там же. Т. II, с. 263.
56. Там же, с. 399.
57. М. Н. Комнено-Варваца — внук Ивана Варваца, грека, сражавшегося против турок в войне 1768—1774 гг., участника Чесменского боя, после которого ему был пожалован чин поручика. В 1789 г. И. Варваца принял российское подданство. Екатерина II наградила его за подвиги деньгами и астраханскими рыбными промыслами, где он нажил огромное состояние. Он занимался благотворительностью сначала в Астрахани, а затем в Таганроге, награждался за это орденами, в 1810 г. ему было пожаловано дворянство. Единственную дочь выдал замуж за Н. И. Комнено, и по императорскому распоряжению весь его род стал носить фамилию Комнено-Варваца. Его биографию написал М. Н. Комнено-Варваца (см. Коллежский советник и кавалер Иван Андреевич Варваца. В кн.: Северный архив. СПб. 1828, №№ 11—12, разд. IV, с. 119—131).
58. Сочинения и переписка П. А. Плетнева. Т. 3. СПб. 1885, с. 481.
59. ИРЛИ, ф. 234, оп. 4, д. 105, л. 4.

Л. Н. ГУМИЛЕВ. *Древняя Русь и Великая степь*. М. Мысль. 1989. 765 с.

Этот труд, совместно с вышедшим почти одновременно вторым (исправленным и дополненным) изданием книги «Этногенез и биосфера Земли» (Изд-во Ленинградского ун-та. 1989. 496 с.) — итог многолетних исследований действительного члена Российской академии естественных наук, доктора географических и доктора исторических наук Л. Н. Гумилева.

О своем творческом пути автор рассказал в «автонекрологе»¹. Там же он в лаконичной и популярной форме изложил основные положения разработанной им теории. Эти три работы дают

возможность составить объективное представление о выводах и наблюдениях Гумилева, а также преодолеть ту предвзятость и заведомый скептицизм, которые на протяжении многих лет преобладали в оценках его трудов².

Рецензируемая книга насыщена огромным фактическим материалом, при этом описываются и анализируются многие события, которым раньше историки не придавали особого значения. И чтобы не потеряться в этом океане фактов, охватывающем огромный географический ареал и более чем полуторатысячный период времени,

необходимо понять логику автора и прежде всего учитывать, что он рассматривает историческую проблематику с позиции этнологии, «заполняющей трещину между историей и естествознанием» (с. 578). Центральная для Гумилева проблема — это соотношение биологических, географических и исторических факторов в процессах этногенеза и этнической эволюции.

Историческое повествование у Гумилева сплошь и рядом перемежается масштабными теоретическими размышлениями, гипотетическими построениями, полемикой с оппонентами и предшественниками, неожиданным поворотом проблемы, преследующим совершенно определенную цель — заострить ее, побудить к переосмыслению в свете выявившихся фактов. Многие авторские суждения выглядят при этом противоречивыми. Но в большинстве случаев оказывается, что эта противоречивость отражает специфику самого этноса — категории у Гумилева одновременно и биологической и социально-исторической. Сказывается нерешенность многих вопросов, исследуемых автором. По мере накопления знаний и расширения кругозора привычные и на первый взгляд самоочевидные трактовки событий оказываются не столь бесспорными, обнаруживаются новые грани и аспекты, мимо которых историки ранее проходили равнодушно. Этнос понимается автором как система «социальных и природных единиц с присущими им элементами», «система различных по вкусам и способностям личностей, продуктов их деятельности, традиции, вмещающей географической среды, этнического окружения... определенных тенденций, господствующих в развитии системы», а отнюдь не как простое «скопище людей, теми или иными чертами похожих друг на друга»³. По мнению Гумилева, «этнос... всегда связаны с природным окружением благодаря активной хозяйственной деятельности. Последняя проявляется в двух направлениях: приспособление себя к ландшафту и ландшафта к себе»⁴. Природные и исторические факторы, влияющие на этногенез, рассматриваются Гумилевым системно, в сложной и многомерной системе взаимосвязей и взаимовлияний, с широким привлечением междисциплинарной методики.

В доперестроечные годы практически любая апелляция историка к природным факторам влекла за собой обвинение его в приверженности «биологическому» или «географическому» детерминизму. Сейчас общепризнано, что категория детерминизма имеет интегративный характер, а действительная роль природной среды в развитии общества может быть правильно понята лишь в системном плане, а отнюдь не на основе механистического детерминизма, характерного для XIX века. Сам Гумилев так резюмирует свое отношение к системному подходу: «В системологии рассматриваются не отдельные факты — эле-

менты и не предвзятые оценки, а связи между событиями, невидимые очевидцу и неизвестные позднему интерпретатору. Зато они видны историку широкого профиля, обобщающему не цитаты, а факты, отслоенные от эмоций информаторов и интерпретаторов» (с. 489).

На эту принципиальную особенность подхода Гумилева обратил внимание и акад. Д. С. Лихачев, подчеркнувший в предисловии к книге, что предпринимая опыт реконструкции русской истории IX—XIV вв., «автор строит свое рассуждение, опираясь не столько на анализ фрагментов памятников, уцелевших от тех времен, сколько на системные связи, при которых история событий играет роль индикатора интенсивности исторического процесса» (с. 8—9). Историческая жизнь гораздо богаче, чем это можно представить только по источникам. Целостное восприятие истории того или иного периода требует более широкого подхода, при котором неизбежна реконструкция многих ее аспектов, причем многое здесь раскрывается «благодаря воображению ученого» (с. 7). Лихачев подчеркивает, что автору во многом помогло обращение к физической географии. Благодаря этому он сумел правильно раскрыть особенности экономики натурального хозяйства, ее связь с колебаниями климата степной зоны Евразии. «Этим способом он получил ряд уточнений, позволивших ему подробно обрисовать историко-географический фон, на котором сталкивались различные культурные влияния с местными формами оригинальной культуры Восточной Европы. Так, «белое пятно» в истории нашей Родины ныне закрыто, хотя работу в этом направлении нельзя считать законченной» (с. 9).

В современной историографии все более возрастает внимание к антропологическим измерениям исторического процесса. Выдвигая тезис о пассионарности и роли пассионарных толчков и личностей в этническом поведении, Гумилев пытается с позиций этнологии рассмотреть механизм движения истории. Конкретные мотивы и функции и атрибуты пассионарного напряжения исследуются им на этнопсихологическом, популяционном уровне, в системе этнологических, географических и исторических параметров.

Источниковеды нередко упрекают Гумилева в некорректном, по их мнению, подходе к источникам⁵. Впрочем, полемика в данном случае ведется как бы на разных языках. Гумилев стремится осуществить гипотетическую реконструкцию конкретных исторических сюжетов, а оппоненты упрекают его в том, что он хочет выйти за рамки той скудной информации, которая содержится в узком круге имеющихся письменных источников. Гумилев пытается преодолеть отсутствие или однобокость последних при помощи системного подхода, научной дедукции, гипотетических построений, сравнительно-исторической

методики, путем вовлечения в историческое исследование приемов и выводов естественных наук, а его убеждают в том, что «науки о прошлом отличаются от иных эмпирических наук недоступностью «непосредственного наблюдения», что недопустимо введение в эти науки «построений, не вытекающих с необходимостью из материала источников»⁶.

Цепь предложенных им гипотез подчас непривычных и даже парадоксальных, но обладающих вместе с тем непротиворечивой внутренней логикой, объявляется «гиполептической системой» (системой догадок). Из нее выхватываются отдельные частные звенья, которые подвергаются «критическому анализу», а затем «уничтожаются» с использованием тех самых источников, недостаточность которых как раз и пытается преодолеть Гумилев. Не правомернее ли поставить вопрос о том, что необходимы новые, более современные подходы к методологии самого источниковедения?

В начале книги охарактеризована география этносферы 1 тыс. н. э. («кто есть кто»). Здесь достаточно подробно рассмотрена история Хазарии и иудео-хазарской химеры (химерой Гумилев именует «сосуществование двух и более чуждых суперэтнических этносов в одной экологической нише»). Последующие части книги повествуют о взаимоотношениях Руси и Степи в X—XIV веках. Здесь рассмотрены: состояние Руси и ее отношения со своим окружением в X—XII вв., становление Монгольской державы, положение русских княжеств в первой половине XIII в., «превращение Руси в Россию» (с. 551), время Тохтамыша, судьба Золотой, Синей и Белой орды. Заканчивается изложение главой — «Контурсы», где идет речь о положении России к XV веку.

Объясняя, почему на Руси не возникла этническая химера, подобная иудео-хазарской, хотя для того «были все условия» (с. 215), «куда девались потомки варягов и славян», Гумилев указывает, что в отличие от тюркитов VI—VII вв., а также Обадии и его потомков в IX в., варяги — это захватчики, хищники, принадлежавшие к другому суперэтносу, но при этом отличавшиеся полиэтничностью; они не были представителями своих этносов, а «свободными атомами — людьми, выброшенными с родины взрывом пассионарности... Со старыми традициями они порвали, а новые... наследовались у матерей» (то есть славянок). Местные пассионарии ликвидировали варяжскую инфекцию. Рюрикoviчи, считает автор, «были метисы, инкорпорированные славяно-русским этносом» (с. 216—217).

Выбор православия при Владимире, считает Гумилев, определялся не только политическими и экономическими расчетами. «В принятии новой веры решающую роль играл принцип комплиментарности, состоящий на порядок выше сознательных решений князей и королей». На популяцион-

ном (этническом) уровне, настаивает Гумилев, подобный выбор «детерминирован характером психического склада, традициями, памятью об исторических событиях недавнего прошлого и уровнем пассионарного напряжения системы, а последнее зависит от фазы этногенеза или этнического возраста» (с. 241—242).

Автор развивает мысль, что Владимир Мономах был «самым крупным полководцем и политическим деятелем древней Руси», что при нем и Мстиславе «Русь окончательно утвердила себя в истории как союзная Византии держава, и, более того, как единоверная и равноправная» (с. 329—330). После 1132 г. «наступило время русско-половецкого симбиоза», 130-летней русско-куманской унии (с. 330). Православие, подчеркивает автор, спасло Русь от оккупации (там же).

Контакты Руси и Степи на разных этапах истории автор пытается осмыслить в рамках отношений суперэтносов и предложенной им концепции комплиментарности. «Тюрко-монголы дружили с православным миром: Византией и ее спутниками — славянами. Ссорились с китайскими националистами и по мере сил помогали империи Тан... С мусульманами тюрки уживались... Зато агрессию католической романо-германской Европы тюрки остановили, за что до сих пор терпят нарекания» (с. 383).

Гумилев решительно отвергает тезис о неполноценности степных народов («неполноценных этносов нет!»), как и всевозможные проявления европоцентристской предвзятости (весь мир будто бы только варварская периферия Европы (с. 383). В этой связи он высказывает поучительные соображения о сравнительно-историческом методе и соотношении диахронии и синхронии (с. 383—384). Уместно обратить внимание на очерк «Хронософия. Опыт описания исторического времени», весьма содержательную синхронистическую таблицу, охватывающую события IX—XV вв. в основных регионах Евразии, построенную по принципу этноландшафтного деления с соблюдением временного масштаба (с. 686—755), а также диахроническую схему развития евразийских этносов (с. 756—757).

Мастерски написан очерк о Тэмуджине (Чингисхане) (гл. XVIII, XIX, XX). Здесь очень хорошо видно, насколько плодотворным бывает в конкретно-историческом исследовании столь важное для историка качество, как воображение, о котором говорил акад. Д. С. Лихачев, справедливо замечая, что автор «обладает воображением не только ученого, но и художника» (с. 7).

Гумилев стремится поколебать укоренившиеся в историографии (да, пожалуй, и массовом историческом сознании) стереотипы о намерениях Чингисхана и его преемников покорить мир, о многочисленных скопищах, «которые двигались подобно саранче, уничтожая на своем пути культурные, просвещенные и почему-то бессильные

оседлые государства» (с. 456). Касаясь тезиса об извечном антагонизме Руси и Степи, получившем распространение в XIX в., автор замечает: «Аборигены леса и степи научились жить в этническом симбиозе, обменивались излишними продуктами труда и не образовывали химер, несмотря на частые смешанные браки» (с. 470). Заслуживают в этой связи внимания соображения автора о взаимоотношениях русских и половцев (с. 470—489).

Важное место в монографии занимает XXII глава о «веренице бед», постигшей Русь в первой половине XIII века. «Русская земля как единство перестала существовать... Субэтноты XI в. в XIII в. превратились в отдельные этносы, утратившие политические связи и этническую целостность, сохранив только одну силу, еще сдерживавшую разложение, — православную церковь и ее культуру» (с. 491). Начался раскол этнической системы Древней Руси (с. 492). Запустение и «погибель Русской земли» произошли, считает Гумилев, не по вине соседей, а вследствие естественного процесса — старения этнической системы.

Говоря о последствиях монгольского «западного похода», автор подчеркивает, что богатые приволжские города — Ярославль, Ростов, Углич, Тверь и другие вступили в переговоры с монголами и избежали разгрома. «Русь монголами не была ни подчинена, ни покорена», считает автор (с. 508); получение же ярлыка на великое княжение Ярославом было, по сути дела, оформлением союзного договора. «Дипломатическая гибкость Ярослава Всеволодовича уберегла Северо-Восточную Русь от лишних бедствий и от запустения, которому подверглась Киевская Русь» (с. 509). До 1312 г. система русско-татарских отношений, по мнению автора, должна быть названа симбиозом (с. 543).

Монголы не могли разрушить большую страну собственными силами, которые, как считает Гумилев, преувеличены историками. Поход Батые в 1237—1242 гг. — был «всею лишь большой набег, а не планомерное завоевание, для которого у всей Монгольской империи не хватило бы людей» (с. 532—533). Но впечатление от нашествия было грандиозным, поскольку оно происходило в условиях спада пассионарности (с. 520).

Затем автор переходит к характеристике нового взрыва пассионарности, который повлек за собой собиранье русских земель. Пассионарность как катализатор спаяла рыхлую массу в монолит — Россию. «В 1380 г. на Куликово поле пошли русские» (с. 546—548). Гумилев особенно подчеркивает роль церкви в собирании Руси. «Не Москва, не Тверь, не Новгород, а русская православная церковь как общественный институт стала выразительницей надежд и чаяний всех русских людей независимо от их симпатии к отдельным князьям» (с. 551). Она сыграла в этнической истории роль исключительную, став хранительницей догматов и традиций, благодаря своему важному месту в феодальной иерархии, обеспечивавшему материальные условия для выполнения этой функции (собирания «мыслителей и мечтателей»), будучи воплощением определенного мироощущения, чувственности, комплиментарности.

Труды Гумилева, не желающего следовать традиционным построениям, удовлетворяться одними и теми же источниками и «основополагающими» цитатами (к тому же произвольно перетолковываемыми в соответствии с конъюнктурой), поднимают весьма существенные проблемы, находящиеся в русле развития современной историографии.

Р. Е. Котов

Примечания

1. См. ГУМИЛЕВ Л. Н. Биография научной теории, или автонекролог. — Знамя, 1988, № 4.
2. См. РЫБАКОВ Б. А. О преодолении самообмана (по поводу книги Л. Н. Гумилева «Поиски вымышленного царства»). — Вопросы истории, 1971, № 3; БРОМЛЕЙ Ю. В. Этнос и этнография. М. 1973; ЕГО ЖЕ. Современные проблемы этнографии. М. 1981; КОЗЛОВ В. И. О биолого-географической концепции этнической истории. — Вопросы истории, 1974, № 12; и др.
3. ГУМИЛЕВ Л. Н. Этнос и биосфера Земли. Л. 1989, с. 101.
4. Там же, с. 58.
5. См. РЫБАКОВ Б. А. Ук. соч. См также: ЛУРЬЕ Я. С. К истории одной дискуссии. — История СССР, 1990, № 4.
6. ЛУРЬЕ Я. С. Ук. соч., с. 132.

А. Я. АВРЕХ. Масоны и революция. М. Политиздат. 1990. 350 с.

Книга, принадлежащая перу ныне покойного доктора исторических наук А. Я. Авреха, известного своими трудами о политической борьбе в России, является первой попыткой освещения указанной темы¹. Автор поставил перед собой задачу посредством анализа имеющейся литературы и материалов департамента полиции Министерства внутренних дел выявить подлинную роль

политического масонства накануне и в ходе Февральской революции.

Рассматривая иностранную, русскую эмигрантскую и советскую литературу, автор указывает на наличие в ней полярных оценок масонства. Для одних масоны — крупная величина в историческом процессе, другие это отрицают. Автор убедительно раскрывает порочность суждений глав-

ных апологетов масонской легенды — бывшего меньшевика Гр. Аронсона и английского советолога Г. Каткова². Основное внимание он сосредотачивает на работах советских авторов, приверженцев данной версии, прежде всего на популярной книжке Н. Н. Яковлева «1 августа 1914» (М. 1974), лишь бегло касающейся масонской проблематики, хотя и содержащей несколько новых свидетельств, исходящих от адептов масонского ордена.

Многие концепции книги Яковлева встретили отрицательное отношение советских историков. Суть взглядов Яковлева, которые подвергнуты критике Аврехом, сводится к тому, что главным политическим штабом буржуазии, где планировалась, координировалась и осуществлялась стратегическая задача достижения царизмом победы в войне, являлась тайная и мощная масонская организация, возникшая в 1915 г. и объединившая под своим руководством не только кадетов, прогрессистов и октябристов, но также меньшевистских и эсеровских лидеров (с. 13). Такая трактовка, правда, без надлежащей аргументации, была решительно отвергнута Е. Д. Черменским³. Промежуточную позицию занял В. И. Старцев, считающий существование масонского центра дополнительным свидетельством «степени организованности русской буржуазии перед революцией, ее гибкости перед лицом военно-полицейской машины самодержавия». Он признавал и значение многолетних контактов между масонами, повлиявших на формирование первого состава Временного правительства⁴.

По мнению Авреха, работы Яковлева и Старцева «заставили взяться за перо И. И. Минца», который разобрал предшествующую литературу и источники, придя к выводу о «полной несостоятельности утверждений» этих авторов (с. 17). Хотелось бы внести уточнение. Дело в том, что акад. Минц сообщил мне много раньше о намерении начать разработку вопроса о масонах. 30 октября 1979 г. Бюро Отделения истории АН СССР заслушало его доклад «Об освещении роли масонов в революциях в России». Доклад заинтересовал присутствовавших, продемонстрировав одновременно слабое знание ими предмета. Бюро рекомендовало переработать доклад в статью⁵, а также высказалось за публикацию моей книги по истории масонства в России.

Несмотря на две положительные рецензии, руководители издательства «Наука» В. Д. Авеличев и П. А. Белов отнесли к моей книге предвзято, намекнув, что их не устраивает критика версии о всемогуществе масонства. Они направили рукопись на отзыв еще двум людям, давшим отрицательные заключения. Одним из них, как выяснилось, был А. Г. Кузьмин, специалист по древнерусским летописям (в телефонном разговоре весной 1980 г. он подтвердил свое авторство); вторым оказался А. Ф. Смирнов, тоже не

сведущий в этой тематике. Мотивированные возражения, сделанные мною «черным рецензентам», привели к посылке рукописи еще одному лицу, которое также высказалось против ее публикации.

А еще раньше, как сообщает Старцев, издательство отвергло его книгу о масонстве начала XX века⁶. Уж очень не хотелось кому-то допустить разработку «крамольной темы». Основные положения рукописи нашли, однако, место в другой моей монографии, выпущенной издательством «Мысль», а Старцев подготовил сборник статей ряда авторов со своими комментариями⁷. К сожалению, Аврех не упоминает об этих работах.

В его книге впервые показана несостоятельность утверждений сторонников масонской легенды — на примерах трактовок «Диспозиции № 1» мифического Комитета народного спасения от 1915 г. о причастности «вольных каменщиков» к подготовке дворцового переворота и формированию Временного правительства. Им установлено, что данный документ принадлежит к разряду распространенной в то время политической графомании, и подробно обоснован вывод, что к дворцовому заговору масоны как организация не имели отношения, не проявилась активно их роль и в ходе Февральской революции (с. 96—103, 148).

Аврех излагает материал живо и профессионально, высказывая немало оригинальных мыслей и гипотез. Но заключительный вывод историографического раздела книги о трансформации современного масонства в организацию, не имеющую ничего общего с прогрессом и свободомыслием и отличающуюся лишь проявлениями снобизма, благотворительностью, наивным идеализмом, неблаговидным политиканством и просто жульничеством, расходится с действительностью (с. 196—197). Масонство сохранило в целом буржуазно-либеральную и социалистическую ориентацию, особенно во Франции, Испании, Бельгии, ФРГ, странах Латинской Америки. Оно продолжает легально действовать на Кубе, национальный герой которой Х. Марти принадлежал к ордену. В масонские ложи входило немало прогрессивных людей различных стран, включая президента США Ф. Рузвельта, трагически погибшего президента Чили С. Альенде, левого деятеля Франции Ж. Миттерана и многих других. Партийный гимн «Интернационал» написан Э. Потье, ставшим масоном⁸. Все фашистские режимы начинали с разгрома организаций ордена.

Во второй части книги раскрывается на основе уникальных архивных документов «охота» царской охранки за масонами. После поражения революции 1905—1907 гг. черносотенная печать усилила шумную кампанию по поводу возрождения в России масонства, официально запрещенного Александром I еще в 1822 году. Оно изображалось в качестве мощной законспирированной

силы, связанной с евреями и стремившейся к ниспровержению монархии и уничтожению православия. Участники этой кампании оперировали до крайности скудными аргументами, заимствованными преимущественно из французской литературы и содержащими ничтожно мало фактов о России. Тем не менее Департамент полиции прилагал все более энергичные меры к расследованию деятельности масонов. Однако удалось добыть лишь данные о создании М. М. Ковалевским, ставшим масоном во Франции, двух малочисленных лож в Москве и Петербурге, состоявших главным образом из деятелей кадетского толка.

Знаком закулисных сторон охраны, Аврех создает колоритные образы ее начальников М. И. Трусевича и С. П. Белецкого, их подчиненных Г. Г. Меца, Б. К. Алексеева и многих других, авантюриста И. В. Персица, выдававшего себя за влиятельного английского масона Дж. Перси. Более обстоятельно, чем это сделал в свое время П. Е. Щеголев⁹, рассмотрен вояж в Париж (по поручению начальства) Алексеева с целью получения данных о русских «вольных каменщиках» от руководителя тамашней антимасонской организации аббата Турмантена. Последний прислал несколько докладов, заполненных беспочвенными выдумками.

Итак, русское масонство накануне и в период мировой войны было представлено узким законоспирированным центром «Великим Востоком народов России», который преследовал чисто политические цели в духе буржуазной оппозиции царизму и состоял примерно из 400 кадетских, прогрессистских и меньшевистских деятелей, о чем полиция так и не узнала. Поскольку возник он без согласования с зарубежными масонскими организациями, то последние его не признали. Другое течение, как выяснил Аврех, сводилось к нескольким масонско-окультистским кружкам и политической деятельностью не занималось. Заключительный вывод книги — «история и историки имеют полное право сбросить со счетов русское политическое масонство в последние 10 лет существования царизма» (с. 339) — представляется в свете новейших изысканий излишне категоричным¹⁰.

В заключение несколько замечаний в адрес издательства. Неправильна заявка в аннотации, будто Аврех ставил задачей своей работы выявить роль масонов и в «Великой Октябрьской революции» — изложение в ней доведено лишь до февраля 1917 года. Несолидно в сносках давать названия статей иностранных авторов в русском переводе (с. 45, 46, 63 и др.), да при этом еще делать ошибки. Так, английское «freemasonry» означает «масонство», а не «свободное масонство» (с. 63). В именном указателе многие фамилии приведены без инициалов, даже когда речь идет о достаточно известных деятелях, ученых и писателях — Н. Н. Жордании, А. А. Аргунове, В. Я. Богучарском, В. Л. Бурцеве, Е. П. Гегечкори, Ю. С. Гамбаров, А. В. Амфитеатрове и других.

О. Ф. Соловьев

Примечания

1. Книгу Н. Н. Берберовой «Люди и ложи Русские масоны XX столетия» (Нью-Йорк. 1986) нельзя признать вполне научной.
2. АРОНСОН Гр. Россия накануне революции. Нью-Йорк. 1962; КАТКОВ G. Russia 1917. The February Revolution. Lnd. 1967.
3. ЧЕРМЕНСКИЙ Е. Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М. 1976, с. 7—9.
4. СТАРЦЕВ В. И. Революция и власть. М. 1978, с. 206, 207.
5. МИНЦ И. И. Метаморфозы масонской легенды — История СССР, 1980, № 4.
6. См. Вопросы истории, 1989, № 6, с. 33.
7. СОЛОВЬЕВ О. Ф. Международный империализм — враг революции в России. М. 1982; За кулисами видимой власти. М. 1984.
8. См. Dictionnaire de la franc-maçonnerie. P. 1987, pp 253, 328, 469, 954, 1038
9. ЩЕГОЛЕВ П. Е. Охранники и авантюристы. М. 1930.
10. Помимо книги Берберовой речь в данном случае идет о статьях моих, Старцева, Л. Хасса и публикации масонских документов, обнаруженных Старцевым в США (см. Вопросы истории, 1988, № 10; 1989, № 6, 1990, № 1; История СССР, 1989, № 6; 1990, № 1 и др.) Интересный материал из архива Б. И. Николаевского опубликован издательским центром «Терра» (см. НИКОЛАЕВСКИЙ Б. И. Русские масоны и революция. М. 1990).

М. М. САФОНОВ. *Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв.* Л. Наука. 1988. 248 с.

С. В. МИРОНЕНКО. *Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в.* М. Наука. 1989. 239 с.

Эпоха Великой французской революции и наполеоновских войн изменила социально-политический уклад жизни и сферу общественного сознания народов, став как бы заключительным аккордом века Просвещения. Этот переворот не обо-

шел стороной и Россию, хотя и затронул преимущественно высшие слои ее общества. Поэтому книги М. М. Сафонова (старшего научного сотрудника Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР) и С. В. Мироненко (старшего

научного сотрудника Института истории СССР АН СССР) представляют интерес для исследователей внутренней политики русского дворянства и общественной мысли России.

Книги эти сближают между собой не только проблематика, но и круг источников, определенный исследовательскими задачами. Авторы проделали большую работу по выявлению в публикациях документов, дневников, воспоминаний участников событий и современников, в публицистике рассматриваемого периода сведений о готовившихся проектах реформ. Детальному анализу был подвергнут архивный материал с целью поиска документов, отразивших реформаторские планы верховной власти. В центре внимания авторов оказались три проблемы: роль Александра I и высшей бюрократии в осознании необходимости реформ и выбора путей их осуществления, крестьянский вопрос и подготовка правительством реформы государственного устройства в духе умеренного конституционализма.

Исследования посвящены различным, но тесно связанным между собой периодам внутренней политики самодержавия 1801—1803 гг. (книга Сафонова), 1815—1825 гг. (книга Мироненко). Во многом близость рассматриваемых книг обусловлена и тем, что в центре внимания их авторов оказались, главным образом, неосуществленные реформы, отразившие альтернативу тенденций феодального консерватизма и конституционных преобразований в духе Просвещения.

Анализируя внутреннюю политику абсолютизма, Сафонов исходит из концепции разложения феодально-крепостнического строя, что выразилось в превращении «натурального крестьянского хозяйства в мелкотоварное», в подрыве «монопольного характера дворянского землевладения» (с. 30). Однако вопрос о тенденциях развития социально-политического строя России в конце XVIII и начале XIX в. остается дискуссионным. Отдельные явления хозяйственной жизни, в частности развитие хлебной торговли, покупка земли недворянами, не затрагивали господства феодализма и крепостничества в условиях, когда в XVIII в. дворянское землевладение удвоилось, были закрепощены новые категории населения, а помещики только в виде пожалований получили более 1 млн. душ мужского пола. Подспудные ростки капиталистических отношений, локализованные крупными городами и их сельской округой, не могли заметно повлиять на внутреннюю политику, а если такое влияние и обнаруживалось, то лишь в усилении феодального консерватизма, выразившегося в жалованных грамотах дворянству и городам.

Мироненко не касается вопроса об экономической и социальной природе кризиса, преодоленного абсолютизмом в начале XIX в., ограничиваясь лишь упоминанием о хозяйственном и финансовом разорении после Отечественной войны

1812 г. (с. 61) и призраке новой пугачевщины, пугавшем правительство. Свидетельства начала кризиса всей системы он усматривает в зарождении декабризма и в признании Александром I несоответствия «духу времени» основ социально-политического строя страны — абсолютной монархии и крепостного права (с. 3).

Следствием кризиса, по мнению Мироненко, стала политическая борьба, которая определялась в первой четверти XIX в. «противостоянием самодержавия и передовой части русского общества» (с. 4). Присоединяясь к высказанной точке зрения в части, относящейся к движению декабристов, и положительно оценивая постановку проблемы, заметим все же, что в монографии Мироненко как отражение политической борьбы рассматриваются достаточно острые коллизии в правительственных кругах по крестьянскому вопросу или в отношении различных императорских конституционных проектов. Автор признает секретность и сугубо бюрократический характер разрешения этих споров, замечает, что борьба по вопросу о том, встанет ли Россия на путь глубоких политических и социально-экономических преобразований, протекала между сторонниками и противниками перемен внутри самого дворянства (с. 4).

Думается, что эта мысль весьма плодотворна прежде всего с точки зрения перехода в начале XIX в. от борьбы между сословиями и внутри сословий, характерной для эпохи феодализма со своими специфическими формами, под знаком которой прошла история России и в XVIII в., к иным формам разрешения общественных противоречий. Другими словами, в XIX в. действительно совершается переход от сословного строя к гражданскому обществу, от феодальных отношений к буржуазным. Но едва ли правомерно относить его к началу XIX в., тем более говорить о том, что «именно в это время началось так и не получившее полного завершения превращение монархии феодальной в монархию буржуазную» (с. 3).

Политические процессы, исследованные в обеих книгах, не были исключительно русским явлением, они косвенным образом отразили революционные процессы в Европе в конце XVIII и первой четверти XIX в., вызванные Великой французской революцией. В XVIII в. сложилась общеевропейская система абсолютистских монархий, для которых были характерны превращение регулярных армий в важнейший инструмент не только внешней, но и внутренней политики, бюрократизация управления, ликвидация органов сословного представительства, слияние господствующего класса и бюрократии, а также взаимопереплетение экономических, политических и династических интересов, отражением которого стала система политических и военных коалиций. Эта система нашла идеологическое

обоснование в политических теориях Просвещения, в частности в рационалистическом принципе равновесия политических и военных сил и государственных интересов. Идея ее восстановления после реставрации Бурбонов одушевляла учредителей Священного союза.

Россию, игравшую в последней четверти XVIII и в первой четверти XIX в. ключевую роль в Европе, не мог не затронуть кризис абсолютистских режимов, ибо вызов, брошенный революционной Францией, угрожал не только Австрии или Пруссии, но всей общеевропейской системе абсолютизма, а следовательно, и Российской империи. Бури, бушевавшие в Европе, не обошли стороной и Петербург. Под их знаком протекали царствования Павла I и его преемника.

Одним из наиболее острых проявлений политического кризиса в России стал дворцовый переворот 1801 года. Сафонов не дает характеристики внутренней и внешней политики павловского времени, ограничиваясь определением ее как военно-полицейской и военно-бюрократической диктатуры (с. 38). По его мнению, переворот имел верхушечный характер и был вызван противоречием между сторонниками деспотического правления и реформ в духе «истинной монархии». Собственно анализ идейных позиций, реформаторских проектов и политической практики сторонников реформ и составляет основное содержание исследования. Их идейные позиции были весьма различны, они принадлежали к различным придворным группировкам. Человеком, объединившим реформаторов, стал Александр I. Говоря о его политических взглядах во время складывания кружка «молодых друзей», Сафонов показывает, что реформы и должны были быть направлены на государственное управление и крестьянский вопрос.

К аналогичному выводу, но применительно к 1814—1820 гг., приходит Мироненко. Авторы единодушно констатируют, что «искренние попытки» Александра I добиться освобождения крестьян натолкнулись на сопротивление крепостников (Сафонов, с. 102, Мироненко, с. 113, 141), что социально-экономические и политические условия для этого еще не созрели. Оба автора убедительно обосновывают вывод об искренности стремлений императора решить крестьянский вопрос, подтверждение чему они находят в убежденности Александра I в бесчеловечности крепостного права, несоответствии его «духу времени», в настойчивых попытках побудить дворянство, в первую очередь его высшие слои, выступить с инициативой ограничения крепостничества.

Однако если Сафонов полагает, что у Александра I в начале царствования была определенная программа по крестьянскому вопросу, то Мироненко считает, что после Отечественной войны 1812 г. никакой подробно разработанной

программы решения крестьянского вопроса не было (с. 95). Чем объяснить это обстоятельство, принимая во внимание, что материалы, приведенные авторами, свидетельствуют, что взгляды императора в этом вопросе остались в основном неизменными? Вероятно, причины кроются в самой его программе. Если сопоставить ее с представлениями о решении крестьянского вопроса в духе конкурса Вольного экономического общества, то, разумеется, взгляды Александра I выглядят более конкретными, что естественно отражает новую политическую ситуацию и новый этап в развитии общественной мысли. Если же, напротив, сравнивать их с обсуждением крестьянского вопроса в секретных комитетах второй четверти XIX в. и накануне отмены крепостного права, то взгляды императора в области ограничения крепостничества имели весьма умозрительный характер.

Несмотря на острый характер полемики по крестьянскому вопросу, которую правительству удалось скрыть под покровом секретности, никаких принципиальных расхождений в правительственных кругах по отношению к крепостному праву не было. Через все последнее столетие его существования в России красной нитью проходит стремление верховной власти приглушить крайние проявления крепостничества.

Если для екатерининского времени характерно было стремление хотя бы внешне снять противоречие между практикой крепостничества и идеалами Просвещения, а для николаевского царствования — найти средства противодействия угрозе революции, то в правительственной политике конца XVIII — первой четверти XIX в. эти мотивы как бы соединялись. Идеология просвещения была несовместима с «рабством», что было очевидно для Александра I и его окружения, и здесь формировался некий этический императив, побудивший искать пути к его уничтожению. Но человеком эпохи Просвещения сословное неполноправие могло восприниматься как законное. Поэтому вполне искренним было стремление не допустить жестокости и произвола в отношении отдельного человека, хотя оно и не противоречило крепостному праву в отношении сословия. В то же время, сама этика Просвещения диктовала правительству поиск нравственного обоснования для борьбы с революционным движением в Европе, стремление противопоставить идею «истинной монархии» требованию революционного свержения деспотизма.

Здесь и коренились истоки второго и важнейшего направления внутренней политики Александра I. Проблемы реформ государственного строя России начала XIX в. заслуженно занимают центральное место в обеих книгах. При этом авторы их приходят к выводу, что «реформаторы» находили необходимым преобразовать Россию на конституционных началах, освободить

крепостных крестьян. Однако позиция реакционной массы дворянства делала эти проекты несостоятельными.

Присоединяясь к данной оценке дворянства, отметим, что в первой четверти XIX в. эта позиция себя ничем не обнаружила. (Мироненко высказал мысль о том, что даже в 1861 г. дворянство выступало за сохранение крепостничества, что и заставило правительство «пойти на насилие над своей собственной опорой» — с. 232—233). Поэтому причину того, что преобразования оказались отнюдь не столь далеко идущими, следует искать не в сопротивлении противников реформ, а в позиции самих «реформаторов». В рассматриваемых книгах раскрыт механизм многих коллизий в придворной среде, но авторы как бы исключают мотивы личных амбиций, взаимной вражды, борьбы за влияние при анализе различных проектов. Отсутствие сколько-нибудь организованного общественного движения за реформы, их верхушечный бюрократический характер, неизбежно должны были выдвинуть на первый план личные и узко групповые интересы.

Вторым важным обстоятельством, которое во многом определило характер царского конституционализма, было представление об этике «истинной монархии». Конституция воспринималась реформаторами не как акт политический, тем более отражающий социально-классовые отношения, а как кодекс чести монарха, который вполне согласовывался с самодержавием в его «просвещенном» варианте. Поэтому результаты реформ были многократно скромнее реформаторских идей.

Таким образом, преобразования 1801—1820 гг. имели преимущественно консервативную направленность, хотя и включали в себя попытки использования передовых форм и методов государственного управления европейских стран конца

XVIII — начала XIX века. Это проявилось, во-первых, в отсутствии каких-либо конкретных шагов, направленных на изменение феодально-крепостнического строя, сословной структуры общества и политической системы абсолютизма. Во-вторых, консерватизм правительственной программы реформ даже в наиболее радикальных проектах был связан с эволюцией в рассматриваемый период (1801—1825 гг.) идеологии Просвещения. Если идеи «истинной монархии» во второй половине XVIII в. имели прогрессивный характер, то после наполеоновских войн, в эпоху Священного союза, идеология Просвещения уже исчерпала себя. Объективное начало правления Александра I было связано с возрождением в новых условиях политики «просвещенного» абсолютизма. Кризис абсолютистской Европы, наиболее ярко проявившийся в эпоху Великой французской революции, требовал поиска новых методов борьбы с революцией. В начале XIX в. российский абсолютизм попытался использовать с этой целью политику реформ. После Венского конгресса она продолжалась вплоть до начала 20-х годов XIX века.

Мироненко, детально проанализировав конституционные проекты 1814—1820 гг., отмечает наличие исторической альтернативы реакционного продворянского курса и правительственного конституционализма (в определенной мере аналогичной ситуации 1861 года). По его мнению, во втором случае переход от осознания необходимости реформ к действию был обусловлен «национальной катастрофой». Неспособность правительства осуществить назревшие преобразования в первой четверти XIX в. в другой обстановке — «одно из наиболее наглядных проявлений исторической обреченности самодержавия» (с. 234).

Б. В. Носов

Акты писцового дела 60—80-х годов XVII века. М. Наука. 1990. 477 с.

На первый взгляд, рецензируемая книга не представляет ничего необычного: публикация источников, рассчитанная на узкого специалиста. Но на титульном листе составителем значится С. Б. Веселовский, умерший за 38 лет до выхода книги в свет. Современные издатели не любят представлять на продолжающихся изданиях номера томов, потому-то не стоит на титуле «том IV». А предыдущие три? Два первых вышли в свет в 1913 и 1917 гг., а третий (впрочем, уже без номера) — в 1977 году¹.

1. Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве. Т. 1. Акты 1587—1627 гг. М. 1913; Акты 1627—1649 гг. М. 1917; Акты писцового дела (1644—1661 гг.). М. 1977.

Что это? Дань уважения к памяти ученого? Не только. Прежде всего, это завершение фундаментальной публикации источников, создающей прочную основу для изучения не только писцового дела, но и самых разных сторон жизни России XVII в. — времени особенного, когда начинался переход от классического средневековья к новому времени. Разумеется, я не оспариваю важности изучения именно писцового дела: не случайно до сих пор вопросы достоверности писцовых книг, а следовательно, исследования приемов их составления остаются одними из самых спорных.

Но ведь каждый источник служит не только одной строго определенной цели, а дает материал для размышлений по самой широкой тема-

тике. Поэтому не менее существенно, что собранные в этой завершившейся, наконец, публикации документы могут справедливо восприниматься как своеобразная энциклопедия русской жизни XVII столетия. Здесь и многочисленные и разнообразные описания крестьянских усадеб, и система мирского самоуправления, нравы эпохи.

Публикация содержит впечатляющие свидетельства о грубом нарушении прав церкви. Отчет великоустожского воеводы И. И. Ржевского, отправленный в Москву в 1673 г., гласит, что он приказал взыскивать недоимки «жестоким правежом по вся дни без [с]пуску», а в результате «Ивановского и Троецкого монастырей и Филиповской пустыни старцы привозят к нему в съезжую избу в платеж церковную утварь, книги и ризы, и колокола, и всякое церковное украшение» (док. № 32). Ничего противозаконного, выходящего за рамки привычных норм, Ржевский, не простой воевода, а думный дворянин, член Боярской думы, в своих действиях не видел.

Множество интересных бытовых деталей содержат документы по делу о взятках, которые вымогал у «мира» писец и одновременно воевода в Чаронде П. Протопопов: он собирал с волости деньги, продовольствие, отбирал у крестьян лошадей и коров. Вряд ли, впрочем, это дело (оставшееся незаконченным, но все же содержащее признание обоснованности по крайней мере части обвинений) получило бы ход, если бы были задеты интересы только крестьян: взяточник обвинял в своих бедах недругов из администрации (док. №№ 13, 19—22).

Рассматриваемое издание включает уникальный предметный указатель, который содержит термины из актов, опубликованных во всех четырех томах. Наличие его принципиально важно. Подробный предметный указатель делает возможным более широкое использование актов не только для изучения истории писцового дела. С помощью имеющегося в рубрике «Наказания» подраздела «Правежи, расправы, управы» читатель без труда познакомится с множеством фактов, свидетельствующих о бесправии, жесточайшем гнете, который испытывали люди в самодержавном государстве. Так, тотемский воевода М. Ртицев сообщал, что несмотря на то, что «о Ильине дни» (20 июля) 1669 г. «выпал снег выше колена и лежал на полях три сутки, и хлеб ржаной и яровой подавило без остатку», с крестьян продолжают взыскивать недоимки «смертным правежом», от чего многие, «неистерпя правежу», кончают жизнь самоубийством («помирают от своих рук»), многие «живут по лесам и едят елевую кору, и оттого оцынжав, и в нынешнее зимнее время помирают» (док. № 23).

Но дело не только в этом. Помещенный в книге указатель к изданиям еще дореволюционного времени (как и сама публикация завершающего тома труда Веселовского) символизирует живую преемственность науки и ее непреходящих ценностей.

В. Б. Кобрин

1. ОЧАК. *Gorkić. Život, rad i pogiblija*. Zagreb. Globus. 1988. 398 s.

И. ОЧАК. *Горкич. Жизнь, деятельность и гибель*.

Работа югославского историка Ивана Очака¹, посвящена трагической судьбе Милана Горкича (Иосипа Чижинского), одного из руководителей Коммунистической партии Югославии (КПЮ), ставшего жертвой сталинских репрессий. Автор использовал обширный архивный материал, идейно-политическое и эпистолярное наследие Горкича.

Очак знакомит с первыми шагами революционной деятельности Чижинского, выходца из семьи

чешского рабочего, переехавшего в Боснию и Герцеговину. Уже в студенческие годы он включился в работу по созданию коммунистических молодежных организаций. В книге подробно охарактеризована работа I партийной конференции КПЮ в Вене (июнь 1922 г.), в которой Горкич принял активное участие. Кстати, на конференции от Исполкома Коминтерна (ИККИ) присутствовал не Г. Е. Зиновьев, как пишет автор, а Ф. Геккерт (с. 54).

В книге уделяется значительное внимание работе Горкича в Коминтерне. Коммунистическом интернационале молодежи. Красном спортивном интернационале. Именно в этот период он сложился как убежденный коммунист. Но это-то и ставят ему в вину многие современные югославские историки. Так, Б. Глигоревич и некоторые другие авторы называют его «человеком сталинского Коминтерна». Полемизируя с Глигоревичем, Очак указывает, что эту характеристику

1 Он является автором ряда книг об участии югославян в Октябрьской революции и гражданской войне в России, в международном рабочем и коммунистическом движении, по истории КПЮ: ОЧАК I U borbi za ideje Oktobra. Zagreb. 1976; EJUSD. Jugoslavenski oktobarci. Zagreb. 1979; EJUSD. Vojnik revolucije. Život i rad Vladimira Čopića. Zagreb. 1980; EJUSD. Krlježa — Partija. Zagreb. 1982; EJUSD. Braća Cvijijci. Zagreb. 1982; EJUSD. Jugoslavenski emigranti iz Amerike u Sovjetskom Savezu. Zagreb. 1985; EJUSD. Afera Diamantstein. Zagreb. 1988; etc.

«можно применить в конкретной ситуации, но нельзя употреблять ко всем периодам деятельности Чижинского» (с. 91).

Автор специально останавливается на работах и выступлениях Горкича в защиту Коминтерна, в которых приводились факты действительной помощи Коминтерна компартии Югославии по преодолению фракционной борьбы в ее руководстве, укреплению связи партии с массами и созданию единого рабочего фронта. Горкич выступал за приход к руководству партии лиц, не состоявших в фракциях, за что подвергался резким нападкам со стороны того крыла в руководстве КПЮ, которое именовало себя левым. Документальные свидетельства (статьи, письма, выдержки из протоколов), цитируемые автором, раскрывают сложную обстановку внутривнутрипартийной борьбы в КПЮ (с. 99—108).

Очак подробно анализирует, обильно цитирует статьи и брошюры Горкича. Книга дает целостное впечатление о нем как талантливом публицисте. Плодом глубоких раздумий о судьбе КПЮ была работа Горкича «Новыми путями» (1937 г.), в которой он излагал сущность и причины неудач партии, намечал путь выхода ее из сложившегося положения. В сущности это была одна из первых аналитических работ по истории КПЮ. В ней Горкич попытался сделать нетрадиционные выводы, отходившие от догм, утвердившихся в Коминтерне, указывал на необходимость изучать собственный и международный опыт, высказывался за свободное объединение народов Югославии и федерацию как наиболее соответствующую реальным ее условиям (с. 313—314).

Детально рассматривается в книге приход в 1932 г. Горкича к руководству КПЮ. В крайне тяжелых условиях, наступивших после военномонархического переворота 1929 г., Горкич проявил исключительную активность, направленную на консолидацию рядов партии, ее идейное и организационное укрепление.

Автор оценивает отношение югославских коммунистов к СССР и Сталину как проявление интернационализма и пролетарской солидарности. К сожалению, в книге не говорится о взаимоотношениях Горкича и Н. И. Бухарина. Между ними в 20-е годы установились дружеские отношения. В дальнейшем, однако, Горкич выступил против Бухарина. Очак обходит молчанием и те события, которые происходили в СССР в условиях сталинской диктатуры, не поясняет, как они влияли на политику Коминтерна, как их воспринимал Горкич. Лишь мимоходом автор признает, что ответственность за репрессии против югославских коммунистов в СССР лежит и на Гор-

киче (с. 361). Очак умалчивает и о некоторых тактических ошибках, допущенных руководством КПЮ в 1932—1933 годах.

Подробно охарактеризована в книге деятельность югославской делегации на VII конгрессе Коминтерна. Эта часть книги, написанная в основном на архивном материале, в значительной степени дополняет наши знания по истории КПЮ и Коминтерна.

Специальная глава посвящена последнему году жизни Горкича, когда он был Генеральным секретарем ЦК КПЮ (1936—1937 гг.). Здесь подробно рассмотрена его деятельность по реализации решений VII конгресса Коминтерна, по организации борьбы против реакционного режима, установившегося в Югославии, оказанию помощи республиканской Испании. Автором приведены последние пять писем Горкича И. Гржетичу (Флейшеру) — представителю КПЮ в ИККИ; эти документы свидетельствуют о растущей тревоге Горкича за судьбу партии и отдельных ее членов, подвергавшихся репрессиям в СССР (с. 331—332).

3 июля 1937 г. на заседании ЦК КПЮ в Париже Горкич сообщил, что его срочно вызывают в Москву. Там его ждал арест, а 1 ноября он был расстрелян. В книге приводятся несколько версий о причинах ареста Горкича, в том числе провал операции по переброске югославских добровольцев в Испанию на зафрахтованном французском пароходе, провалы партийных организаций в стране, документы партии, якобы найденные при обыске в квартире его жены. Очак видит основную причину в стремлении Сталина и его окружения сменить руководство компартий, очистить их от «врагов народа». Вместе с Горкичем «мгла поглотила» многих других видных деятелей КПЮ.

В книге факсимильно воспроизведены справка о реабилитации Горкича от 7 апреля 1956 г. и выписка из протоколов о реабилитации его в партийном отношении от 20 апреля 1956 года. В Югославии только в 1979 г. И. Броз Тито, а затем С. Доланц заявили, что Горкич не был ни предателем, ни иностранным шпионом, что, по мнению автора, можно считать политической реабилитацией Горкича со стороны высших органов СКЮ (с. 352).

Все свое повествование автор ведет на обширном документальном материале, не навязывая, однако, своего мнения, а призывая читателя к размышлению над документами, обильно цитируемыми или приводимыми полностью. В этом и состоит главное достоинство книги.

В. П. Груздева

Забастовки, войны и революции в международной перспективе. Забастовочные волны в конце XIX — начале XX века

Количественные методы исследования получили широкое распространение при анализе не только социально-экономических, по своему характеру продолжительных и потому сравнительно легко поддающихся количественному «измерению» процессов, но и социально-политических событий, при изучении которых историки традиционно опираются на «качественные», подчас весьма субъективные, критерии. Сборник статей, вышедший под редакцией американских историков Л. Хаимсона и Ч. Тилли, может служить примером плодотворного использования количественных методов для решения проблем, лежащих на пересечении процессов экономической и политической истории. Среди его авторов — ученые из Франции, США, СССР, Италии, ФРГ, Великобритании¹.

При помощи количественных методов авторы стремятся выяснить роль долговременных процессов, совершающихся в экономической жизни, и скоротечных политических событий в развитии забастовочного движения конца XIX — начала XX века. Авторам пришлось столкнуться с немалыми трудностями: неразработанностью самого понятия «трудовые и политические конфликты»; их значительным локальным и отраслевым своеобразием, затрудняющим широкие международные сопоставления; влиянием на них разнообразных «переменных», таких как колебания в уровне производства, военных расходов и т. д.

Авторам реально грозила опасность утонуть в эмпирическом материале. «Выплыть» им позволило, как признает Тилли, открывшаяся в процессе работы над сборником возможность сопоставить данные о забастовочном движении в западных странах с аналогичными сведениями по России, содержащимися в новейших публикациях советских и ряда американских историков (с. 3.). В итоге окончательно определился замысел коллективного труда и была сформулирована его главная проблема: уникален ли для группы индустриальных стран тот путь, которым пошла Россия в начале XX века?

Наряду с российским в сборнике освещается опыт Германии, Франции, Италии, Великобритании и США периода от 1890 г. до начала 1920-х

годов. Правда, «выборка» указанных шести стран вызывает некоторое недоумение. Составители исходили из того, что эти страны после 1860 г. «значительно продвинулись по пути индустриализации, урбанизации, концентрации капитала и демографического роста». Но близость динамических характеристик не исключает наличия резких различий в уровнях экономического развития. Сравнение соответствующих показателей убеждает, что замыкающей в этом списке была Россия. Не обречено ли сравнение этих стран, явно находящихся на разных стадиях индустриализации, на их фактическое противопоставление? Авторам удалось избежать упрощенных решений. И тем не менее думается, что в начале XX в. еще не потеряло смысл деление Европы на старые и молодые индустриальные страны, которое и следовало бы учитывать при отборе кандидатов на «широкое международное сопоставление».

Кроме «Введения», написанного Тилли и Хаимсоном, а также «Заключения» Хаимсона сборник состоит из трех частей, объединяющих близкие тематические статьи. По большей части они имеют исследовательский характер, содержат во многом новые или уточненные данные об объекте исследования.

В первой части («Модели и реальности») анализируется динамика забастовочного движения в указанных странах на протяжении всего рассматриваемого периода (применительно к России — и отдельные забастовочные волны — 1905—1907 гг., 1912—1914 гг. и 1917 г.). Л. Хаимсон и Э. Бриан указывают на определенное тяготение западной историографии к двум способам объяснения динамики забастовочного движения, двум моделям трудовых конфликтов. Одна явно упрощает сложную социальную природу забастовок, делая основной акцент на связи между трудовыми конфликтами и периодами подъема и спада в промышленном развитии (с. 35). Другая, основанная на системном подходе, стремится к более полному учету многообразия социальных связей.

Она объясняет динамику трудовых конфликтов влиянием перемен в технологии промышленного производства, которые периодически вызывают нарушение «равновесия» между характером и организацией трудового процесса и производственными отношениями. С этой точки зрения трудовые конфликты являются не только отражением возникшего дисбаланса, но и проявлением усилий по созданию нового «равновесия» на основе более эффективных форм организации рабочих и механизмов государственного и общественного контроля (с. 37). Однако и эта модель

1. В состав авторского коллектива входят В. И. Бовыкин, Л. И. Бородкин и Ю. И. Кирьянов, американские историки Дж. Кронин, Р. Петрашэй, Д. Кенкер, У. Розенберг, Д. Монтгомери, Э. Домански, Х. Хогэн, итальянские — Л. Бордонья, Дж. Примо Челла, Дж. Провази, Б. Бедза, английские — П. Эдвардс, К. Берд-жес, французские — Э. Бриан, М. Перро, Ю. Лагранж, западногерманский историк Ф. Болль.

не учитывает роли политической, идеологической мотивации как причины трудового конфликта.

Вторая часть («Рабочие металлообрабатывающих предприятий в сравнительной перспективе») объединяет статьи о положении трудящихся, рабочем движении и забастовках в этой самой передовой по уровню капитализации, технического прогресса и организации рабочего класса отрасли промышленности рубежа XIX — XX веков. Лейтмотив большинства статей — признание прямой связи между глубокой технической реконструкцией металлообрабатывающей промышленности в конце XIX — начале XX в. и активным участием ее работников в трудовых конфликтах (с. 261).

В третьей части («Последствия краткосрочных колебаний») анализируется влияние на забастовочное движение политических событий, включая войны и революции. К сожалению, эта проблема исследуется на примере лишь двух стран — России и Франции. Не подкрепленные в достаточной мере фактами, несколько повисают в воздухе спорные и отчасти парадоксальные мысли Тилли по данному вопросу. Он считает, что скачкообразная динамика забастовочного движения связана не с влиянием изменчивой политической конъюнктуры, а со структурой самого трудового конфликта. Тилли отвергает деление забастовок на экономические и политические. По его мнению, если в той или иной стране положение рабочих зависит прежде всего от индивидуальных работодателей, то со стороны первых можно ожидать преобладания экономических требований. Если же «жизненно важные» решения принимаются на правительственном уровне, то, скорее всего, получат распространение политические требования (с. 443—444).

Концепция Тилли не учитывает в полной мере роли политической мотивации трудовых конфликтов. Хаимсон же принимает эту роль во внимание, и его размышления о соотношении «экономики» и «политики» в забастовках начала XX в. представляются более близкими к истине. Признавая в целом наличие объективных оснований для противопоставления России и Запада начала XX в., Хаимсон все же считает, что «Россия лишь частично выпадала из общих правил развития рабочего движения, которые можно вывести из европейского опыта» (с. 19).

В подтверждение этого он ссылается на поразительные черты сходства, обнаруженные им и его коллегами между забастовочными волнами в России 1905—1907 гг., 1912—1914 гг., 1915—1916 гг.

и 1917 г. и в Западной Европе после окончания первой мировой войны. И здесь и там забастовщики понимали, что их экономическое положение обусловлено местом рабочих в системе властных отношений. Отсюда — переплетение и в том и в другом случае экономических и политических требований. Одинаков был и социальный состав забастовщиков: рабочие крупных промышленных центров, особенно машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий (с. 21—22). Хаимсон полагает, что указанное сходство имело экономические корни — структурную перестройку экономики индустриальных стран в начале XX в., связанную с подъемом новых отраслей промышленности, концентрацией капиталов и производства, развитием новых форм его организации и т. д.

Причину же того, почему забастовочное движение на Западе с опозданием приобрело новые черты, впервые обнаружившиеся в России, Хаимсон объясняет неравномерностью политического развития индустриальных стран в начале XX в. Революция 1905—1907 г. сыграла решающую роль в более ранней и глубокой политизации рабочего движения в России. Это нашло свое выражение и в признании рабочими социал-демократии в качестве своего политического представителя. На Западе роль, аналогичную революции, сыграла первая мировая война. Своеобразие пути России в начале XX в. Хаимсон видит в том, что «дестабилизирующее» влияние структурной перестройки в промышленности и высокой степени политизации рабочего движения на «всю общественную систему» здесь проявилось раньше, чем на Западе (с. 24).

Материалы сборника подкрепляют тезис о единстве исторического процесса на западе и востоке Европы в новое время при всем своеобразии форм и различии в скорости его протекания в разных районах континента. Своеобразие опыта забастовочного движения в России конца XIX — начала XX в. может быть исчерпывающе выражено понятием «вариант» — в том смысле, в каком уже давно в историографии признаются английский, французский, германский и т. д. варианты индустриального и аграрного развития, формирования политической демократии или организованного рабочего движения. В совокупности все эти национальные варианты и образуют то, что называется историей Европы и ее цивилизации.

А. В. Ревякин

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Кто же основал Москву?

Как помнит старшее поколение, в 1947 г. в Советском Союзе отмечалось 800-летие Москвы. Вслед за этим по мановению руки «вождя всех народов» напротив Моссовета был воздвигнут памятник «Основателю Москвы Юрию Долгорукому». Уверовать в то, что он основал столицу, москвичам было тем легче, что открыто сомневающиеся в этом серьезно рисковали.

Действительно, в 1147 г. летописец впервые упоминает о Москве. Оказывается, что в том году Юрий Долгорукий пригласил в гости одного из своих многочисленных кузенов, северско-черниговского князя Святослава Ольговича, со словами «приди, брате, ко мне в Москов». Вместе с тем известно, что один из сподвижников Владимира Мономаха, некто Кучка Степан Иванов сын, за свои воинские заслуги получил от князя сан боярина и крупную вотчину на берегу р. Москвы. Он-то и основал свой посад Кучково при впадении Неглинки в Москву-реку, в пределах нынешнего Кремля (некоторые ученые склонны утверждать, что Кучково располагалось в районе Китай-города и Зарядья).

В последнее время археологи обнаружили в районе Кремля остатки частокола. По мнению И. Е. Забелина и М. Н. Тихомирова, этот частокол был установлен еще при жизни Степана Кучки. В таком случае Кучково можно считать уже не посадом, а городом.

В начале 40-х годов XII в. (точная дата неизвестна) между суздальско-владимирским князем Юрием и боярином Кучкой произошел конфликт: оба были «зело строптивы». Кучка был посажен в острог, а затем казнен. Дети его были отосланы во Владимир и лишены наследства. После этого Долгорукий овладел вотчиной Кучки и, видимо, переименовал Кучково в Москву. Впрочем, район Сретенки и Чистых прудов до XV в. именовался «Кучковым полем».

Казнь Кучки привела спустя три десятилетия к кровавым последствиям: сын и преемник Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский в 1174 г. был убит в Боголюбове двумя Кучковичами — Петром (зятем Кучки) и Якимом (очевидно, внуком)¹. Этот акт кровной мести подтверждает подлинность описанных выше событий.

Итак, Москва была основана не в 1147 г., а примерно на 20—25 лет раньше, и основателем ее был не Юрий Долгорукий, а казненный им боярин Степан Кучка. Возникает вопрос, не следует ли изменить надпись на цоколе конной статуи, воздвигнутой напротив Моссовета?

**С. А. Романович,
Рязань**

¹ Впоследствии Кучковичи были казнены братом Андреем Всеволодом Большое Гнездо

От ошибки публикатора к ошибкам в исследованиях

Допущенные в публикациях источников (при воспроизведении текста документа, определении его авторства, даты и места написания и т. д.) ошибки иногда дублируются и даже усугубляются в исследованиях. Приводит к этому несовершенство

методики, примененной в публикаторской практике. Довольно существенные ошибки проникали в этой связи и в исследования о событиях в Москве в октябре 1917 года.

В ряду документальных источников кануна

революции во «второй столице» особое место заняла резолюция Московского Совета рабочих и солдатских депутатов по вопросу «О власти», принятая 5 сентября 1917 г. в поддержку решения Петроградского Совета. Она была напечатана в «Известиях Московского Совета» и других местных газетах и по телеграфу отправлена в Петросовет и ЦК РСДРП(б). Сохранилась телеграфная лента этого документа, подписанная А. И. Рыковым¹.

Этот подлинник и решил воспроизвести Институт истории партии МГК и МК КПСС в сборнике «Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве» (М. 1957). Текст, помещенный в «Известиях Московского Совета», не привлек внимания публикаторов и был воспроизведен по архивному оригиналу. Однако расшифровать концовку телеграммы они не сумели. Резолюция завершалась призывом: «Осуществление этой платформы возможно лишь при разрыве с политикой соглашения и при решительной борьбе за власть». Далее следовала подпись: «Совет рабочих и солдатских депутатов». На телеграфном бланке подпись подклеена в одну строку с последними словами резолюции. Составители сборника, не сверив текст оригинала с его газетной публикацией, напечатали концовку резолюции в следующем виде: «при решительной борьбе за власть Советов рабочих и солдатских депутатов» (с. 302).

Исследователи, прочитав резолюцию Моссовета с таким призывом (она принималась еще в то время, когда лозунг борьбы за власть Советов был снят), пришли в недоумение и принялись поразному объяснять «забегание вперед» большевистской фракции Моссовета, «преждевременность» выдвижения ею лозунга «Вся власть Советам!» В работах Л. С. Гапоненко, А. Я. Грунта, И. И. Минца, А. М. Панкратовой и других историков появились со ссылкой на данную публикацию рассуждения об ошибочности действий московских большевиков, о поспешности постановки лозунга, еще не выдвинутого В. И. Лениным и ЦК РСДРП(б), и т. д.

Другой пример. В 1932 г. в журнале «Красный архив» был напечатан делопроизводственный журнал Московского Военно-революционного комитета. Публикатор Э. А. Рожен не смог расшифровать некоторые подписи под документами, вследствие чего подпись члена одной из комиссий Л. И. Каменской превратилась в подпись Л. Б. Каменева (№№ 5—6, с. 129 и др.), хотя бесспорно, что Каменев, находившийся тогда в Петрограде, не мог участвовать в московских событиях.

К более сложным последствиям привела публикация Ф. Л. Курлатом текста телеграфного разговора членов Партийного центра московских большевиков и представителей Московского ВРК М. Ф. Владимирского, П. Н. Мостовенко и О. А. Пятницкого с Петроградом вечером 30 октября 1917 г., когда решался вопрос о прекращении перемирия с белогвардейцами и переходе к их решительному вооруженному подавлению. Разго-

вор трактовался публикатором как «четкие» и «ясные» указания москвичам со стороны ЦК партии по вопросу о структуре власти в Москве². Однако Курлат не указал, кто и о чем вел разговор из Петрограда.

Анализ подлинника этого источника³ позволяет сказать, что в Петрограде у аппарата находились члены ЦК РСДРП(б) Л. Д. Троцкий и Д. Б. Рязанов (их фамилии обозначены в начале телеграфной ленты), склонявшие москвичей к продолжению переговоров с мятежниками и выдвигавшие расплывчатые рекомендации. Москвичи прекратили разговор с ними и приняли решение: прервать переговоры и начать решительное наступление на мятежников, пока те не получили подкрепления. В архиве хранится достаточно четкая микропленка этого дела и телеграфной ленты, доступная каждому исследователю.

Указанный источник, после ссылок на него в работах Курлата, вошел в труды других исследователей с его трактовкой. А. Я. Грунт, цитируя текст этого телеграфного разговора, счел возможным сделать добавление: «Фамилия на бланке не указана»⁴. Доверяясь публикации и просмотрев только микропленку, но не подлинник документа, повторил неточность и акад. И. И. Минц⁵. Досадная ошибка в использовании и трактовке важного источника исправлена его полной публикацией (Советские архивы, 1973, № 6, с. 47).

Явный ущерб правильности понимания как самого документа, так и мысли его создателя наносит особенно широко распространенный прием публикации источника в извлечениях. Нельзя не напомнить и о последствиях нарушения научных принципов публикации документов в период сталинизмы, когда предвзято отбирались для публикации факты и документы, опускались фамилии их репрессированных авторов. Вместо этих фамилий исследователи, а за ними и читатели, наталкивались на многоточия. Ими пестрят многие публикации, например, «Документы Великой пролетарской революции» (Тт. 1, 2. М. 1948).

Важно не только помнить о столь печальном наследии отечественной (и не только отечественной) археографии, но и в каждом исследовании опираться на лично и тщательно проверенные первоисточники. Только так можно обеспечить точность воспроизведения документов в печатных изданиях.

В. А. Кондратьев,
доктор исторических наук

1. Центральный государственный архив Московской области, ф. Моссовета, оп.16, д.31, лл.36—37.

2. КУРЛАТ Ф. Л. Рабочие Москвы в борьбе за власть Советов. Автореф. канд. дисс. М. 1964, с.9; рукопись диссертации, с.341.

3. Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР, ф.1 Московского ВРК, оп.1, д.7, лл.26—34.

4. ГРУНТ А. Я. Москва 1917-й. Революция и контрреволюция. М. 1976, с.337.

5. МИНЦ И. И. История Великого Октября. Т. 3. 1973, с.255—256.

К оценке земельной и продовольственной политики Советской власти в 1917—1918 годах

Нас приучали к мысли, что одним из главных ленинских лозунгов предоктябрьского периода был «Земля — крестьянам!», но анализ документов не подтверждает этого.

На IV съезде РСДРП в 1906 г. В. И. Ленин ставил вопрос о национализации земли как мере буржуазно-демократической. В преддверии Октября (Апрельские тезисы) она рассматривалась им уже как социалистическая. VII (Апрельская) конференция большевиков приняла по земельному вопросу решение: «Партия пролетариата должна советовать пролетариям и полупролетариям деревни, чтобы они добивались образования из каждого помещичьего имения достаточно крупного образцового хозяйства, которое бы велось на общественный счет Советами депутатов от сельскохозяйственных рабочих под руководством агрономов и с применением наилучших технических средств»¹. Это положение полностью соответствовало ленинской установке, содержащейся в Апрельских тезисах: «Мы должны внутри крестьянских комитетов добиваться образования из каждого конфискованного помещичьего имения крупного образцового хозяйства под контролем Советов батрацких депутатов»².

Принятый II Всероссийским съездом Советов Декрет о земле именуется ленинским. Но сам Ленин в докладе о земле на этом съезде не скрывал, что декрет и легший в его основу крестьянский наказ составлен социалистами-революционерами. Он пояснил делегатам съезда, почему большевики отступили от собственной программы по земельному вопросу: «Мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны»³. Партия, ставшая у власти, во имя ее сохранения и укрепления пошла на компромисс с крестьянством и выражавшими его волю эсерами. Последние в дальнейшем резко критиковали Ленина за непоследовательность суждений по земельному вопросу. С одной стороны, он признавал, что окончательное решение вопросов о «великих земельных преобразованиях» ложится на Учредительное собрание; с другой — рассматривал крестьянский наказ о земле как временный закон, который «проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными Советами крестьянских депутатов»⁴. Есть ли в этих суждениях Ленина противоречие? Безусловно, есть, и весьма существенное.

Объяснение главной причины такого положения мы находим у самого Ленина. «Жизнь — лучший учитель, — говорил он в том же докладе, — а она учит, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке революционного творчества, в выработке новых государственных форм»⁵. Партия большевиков вовсе не собиралась отказываться от проведения в жизнь собственных установок по земельному вопросу.

Оттягивание разрешения земельного вопроса Временным правительством Ленин считал преступлением этого правительства и соглашательских партий меньшевиков и эсеров. Они, по его словам, привели страну к разрухе и крестьянскому восстанию. Задачу рабоче-крестьянской власти он видел в том, чтобы «решить вопрос о земле, — вопрос, который может успокоить и удовлетворить огромные массы крестьянской бедноты»⁶. Однако в его решении большевики не проявили должной последовательности.

Популяризация Декрета о земле действительно внесла временное успокоение в крестьянские массы, но их земельные интересы в дальнейшем не были удовлетворены: лучшие земли отводились под совхозы и другие государственные предприятия, а худшие и отдаленные — крестьянам. Это обстоятельство отрицательно повлияло на отношение крестьянства к Советской власти, и потому мы не можем это игнорировать при выяснении причин массовых крестьянских восстаний и гражданской войны в стране.

Ленинизму противоречит недооценка значения в событиях рассматриваемого периода продовольственной политики Советской власти. Продразверстка, введение которой в литературе относилось к январю 1919 г., стала главным элементом политики «военного коммунизма». Со ссылками на Ленина утверждалось, что эта политика была вызвана условиями гражданской войны, являлась вынужденной мерой, сыграла положительную роль⁷. Обращение к более позднему высказыванию Ленина и сопоставление реальных фактов показывают, однако, что эти утверждения несостоятельны, расходятся с действительностью.

Продразверстка фактически была введена до того, как военный вопрос встал на повестку дня в качестве главного. Свидетельство тому — телеграмма Совнаркома губернским и волостным Советам рабочих и солдатских депутатов от 8 марта 1918 г.: «Необходима беспощадная борьба с помещиками, кулаками, спекулянтами и укрупнителями хлеба. Совнарком предлагает всем местным советам крестьянских и рабочих депутатов немедленно приступить к реквизиции излишков хлеба и других продуктов по установленным твердым ценам... Все укрупнители и спекулянты подлежат аресту и революционному суду как враги народа и революции, будут караться со всей строгостью вплоть до конфискации всего имущества и отдачи на принудительные работы»⁸.

13 мая 1918 г. ВЦИК принял декрет о введении в стране продовольственной диктатуры. Объявлялась хлебная монополия государства, на продовольствие устанавливались еще более низкие закупочные цены. Главное же заключалось в способах осуществления монополии. Держателям хлеба предписывалось в недельный срок сдать государству по твердым ценам все излишки. Наркомпрод предоставлялся чрезвычайные полномочия. Рабочие призывались создавать продотряды для изъятия излишков хлеба. О методах их действий говорил на X съезде РКП(б) Ленин:

1. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 8-е. Т. 1, с. 444.

2. ЛЕНИН В. И. Полн. собр. соч. Т. 31, с. 166.

3. Там же. Т. 35, с. 27.

4. Там же, с. 26.

5. Там же, с. 27.

6. Там же, с. 23.

7. См. История КПСС. Т. 3, кн. 2. М. 1968, с. 108.

8. Донецкий областной государственный архив, ф. 2627, оп. 1, д. 32.

«Ряд тюменских продовольственных работников был расстрелян за порки, пытки, изнасилования и другие уголовные преступления, .. нужно видеть в этом проявление прямо уже уголовных безобразий, кои в обстановке, в которой происходит продовольственная работа, требуют кары свыше обыкновенной»⁹.

«Уголовные безобразия», безусловно, влияли на настроения крестьянских масс. Но об этом исследователи предпочитали умалчивать. Причину того, что «значительная часть среднего крестьянства Сибири, а также и Поволжья летом 1918 года не поддержала Советскую власть», авторы многотомной истории КПСС усмотрели в том, что «правые эсеры вели яростную агитацию против Советской власти»¹⁰.

Стало быть, продовольственная политика Советской власти и методы ее осуществления уже в первые месяцы после Октября 1917 г. имели самое непосредственное отношение к гражданской войне. Из этого факта можно сделать следующие выводы: 1. Большевики во главе с

9. ЛЕНИН В. И. Полн собр соч. Т.43, с.74.

10. История КПСС Т.3, кн.2, с.89.

Лениным пришли к Октябрю с собственной программой по земельному вопросу, не вполне соответствовавшей интересам крестьянской бедноты. 2. Во имя удержания и укрепления власти большевистская партия на II Всероссийском съезде Советов пошла на уступки крестьянству, согласившись положить в основу Декрета о земле наказ, составленный эсерами. 3. В последующей практической деятельности большевиков по разрешению земельного вопроса обнаружилось расхождение между словом и делом, что отрицательно сказалось на отношении крестьянских масс к Советской власти, послужило одной из причин расширения социальной базы контрреволюции в стране. 4. Введенная весной 1918 г. продразверстка и порочные методы ее осуществления также негативно сказались на отношении крестьянства к Советской власти, послужили одной из первопричин постановки военного вопроса на повестку дня в качестве главного в июле 1918 года.

Н. Е. Дементьев,
доктор исторических наук,
зав. кафедрой истории СССР
Симферопольского государственного университета

Возвращаясь к напечатанному

Еще раз о действиях камикадзе

В материале О. Ю. Лейко «Камикадзе» (Вопросы истории, 1989, № 3) говорится, что «операции камикадзе начались осенью 1944 года. До этого имелись лишь отдельные случаи такого рода» (с. 147); «Не встречались они и в первый период боевых действий Японии против США. В этом тогда еще не было необходимости» (с. 149). Факты же свидетельствуют, что и необходимость возникла, и сами такие действия имели место с самого первого дня войны Японии против США.

Еще с момента разработки плана нанесения удара авианосными самолетами по Пёрл-Харбору капитан 3-го ранга М. Футида, боевой летчик и опытный штабист, совместно с лейтенантом С. Мурата, бывшим одним из лучших летчиков-торпедоносцев, предложили: если американские корабли будут защищены противолодочными сетями, летчики-самоубийцы разобьют свои самолеты о борты кораблей и ценой своих жизней проделают в сетях больше отверстия для торпед следующих самолетов. Старший авиационный начальник 1-го воздушного флота М. Гэнда, пользовавшийся поддержкой начальника штаба 11-го воздушного флота вице-адмирала Т. Ониси и известный впоследствии как основатель отрядов «камикадзе», одобрил идею, которую решили довести до сведения пилотов на последних инструктажах. Об этом было доложено вице-адмиралу Т. Нагумо и контр-адмиралу Р. Кусака, которые занимали соответственно посты командующего и начальника штаба 1-го воздушного флота.

Футида в присутствии обоих адмиралов на инструктаже пилотов-торпедоносцев произнес: «Первый самолет прокладывает путь для осталь-

ных, бомбардируя сеть. Если он не преуспее, последующие самолеты сделают все, чтобы разбомбить сеть сзади или изнутри». На вопрос Нагумо, как это будет сделано, Футида ответил: «Речь идет о технических деталях особого вида атаки, пилоты понимают, что имеется в виду». Нагумо был удовлетворен объяснениями, а пилоты-торпедоносцы, посвященные в план, сделали вид, что не сказано ничего особенного¹. Уже во время нападения на Пёрл-Харбор перед подъемом самолетов второй волны ведущие в последний раз инструктировали ведомых. Лейтенант Ф. Нида задал вопрос о действиях в случае неисправности мотора в полете и тотчас же на него ответил: «В случае неполадок полетите прямо на цель и бросьте машину на врага, никаких вынужденных посадок»².

Фактически могут быть расценены как действия смертников и действия подводников, принимавших участие в нападении на Пёрл-Харбор. Как заметил адмирал Ямамото, главнокомандующий Объединенным флотом, «если они войдут в бухту, то никогда оттуда не вернуться, и такой вход в бухту не вызывается необходимостью». Но подводники настояли на том, чтобы атака состоялась. Молодые моряки сознательно шли на смерть и в этом находили тихую радость. «Мы опадём, как цветы вишни, на землю», — объяснил впоследствии мл. лейтенант К. Саками, единственный уцелевший из 10 человек, принявших участие в атаке на Пёрл-Харбор на сверхмалых карликовых подводных лодках³.

Говоря об окончании военных действий смертниками, автор не привел даты последних боев, в которых принимали участие камикадзе.

18—19 августа 1945 г. (с. 151) они «потопили в районе Курил советский тральщик Т-152». Но это характеризует лишь завершение действий на море, и сам автор далее оговаривается, что «сухопутные» смертники действовали и позже» (с. 151). По свидетельству генерала А. П. Белоборова, командовавшего 1-й Краснознаменной армией I Дальневосточного фронта во время Маньчжурской операции, ликвидация групп смертников продолжалась вплоть до начала сентября 1945 года. 5 сентября было отмечено последнее появление смертников в боях: до 150 человек их было уничтожено при попытке атаковать советскую комендатуру в Пиняньчжэне⁴.

Представляет интерес свидетельство командующего артиллерией той же армии К. П. Казакова об эффективности действий сухопутных смертников: они «и одиночки, и группы, и целые отряды — заранее готовились к террористической деятельности в тылу советских войск. Уже после разгрома Квантунской армии мы еще много недель вылавливали в горных лесах не желавших сдаваться смертников. Очень много их погибло в боях 13—14 августа, когда, стремясь остановить движение на Муданьцзян танков... командование 5-й японской армии бросило на них 1-ю моторизованную бригаду смертников — тысяч пять солдат и офицеров. Они подбили и сожгли около десятка наших танков, но, полагая, половина их бригады, если не больше, полегла там... Бои 15—16 августа под Муданьцзяном были самыми ожесточенными не только в полосе I-го Дальневосточного фронта, но и в масштабе всей Маньчжурской наступательной операции»⁵.

Таким образом можно сделать вывод, что смертники использовались с первого дня вступления Японии в войну, а действовали не только после указа императора о прекращении боевых действий от 15 августа, но и после официальной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

Говоря о массовости действий смертников в конце войны, автор указывает на то, что Япония имела около 5 тыс. самолетов, предназначенных для такого рода операций (с. 147). Но кроме авиации японцы готовились применить в этих целях и огромный по численности флот, специально созданный для смертников и состоявший из малых кораблей. Именно в 1945 г., ввиду невосполнимых потерь больших кораблей и сокращения работы судостроительной промышленности из-за блокады и бомбежек, командование японского флота, сконцентрировав усилия на обороне собственно Японии, сделало упор на массовое производство специальных боевых средств, управлявшихся смертниками, — микролодок типа «Синё» («катера смертников»), сверхмалых подводных лодок «Кайрю», «Корю» и управляемых человеко-торпед «Кайтен». По английским и американским источникам, их общее число к августу 1945 г. было доведено до 3,3 тыс. единиц⁶. Значительную часть из 1,3 млн. человек хорошо обученного и дисциплинированного личного состава флота, дислоцированного в метрополии, предполагалось использовать в операциях на суше, в том числе для действий в качестве смертников⁷.

Касаясь техники, состоявшей на вооружении смертников, автор упоминает самолет-снаряд МХУ-7 «Ока» и называет его примитивным (с. 156), отмечая, что в Японии шла разработка самолета-снаряда «Байка» с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (на базе немецкого «Фау-1»), но проект «не вышел из стадии экспериментов» (с. 154). Гитлеровцы создавали самолет-снаряд для нанесения удара по морским целям, но в отличие от своего восточного союз-

ника в боевых действиях применить их не успели. Поэтому «Ока» оказались единственными в своем роде машинами, которые использовались в боях на стороне фашистского блока (правильное их название — «Ока-11», а не «Ока» МХУ-7, как пишет автор на с. 154; маркой МХУ-7 обозначался учебно-тренировочный вариант «Ока», не имевший силовой установки)⁸.

Возможно, доведение «Байка» до серийного выпуска не состоялось потому, что «Ока» превосходила по своим характеристикам немецкий прототип. Главным недостатком немецкой конструкции была ее малая скорость, не превышавшая 656 км/ч; скорость же «Ока» с включенным двигателем достигала 927 км/ч, и «Ока» была недотягиваемой практически для всех типов американских истребителей. Кроме того, «Ока» несла 1200 кг взрывчатки, а «Фау» — только 850⁹. Пилотируемая же «Байка» несла лишь 250 кг взрывчатого вещества¹⁰.

Союзники не смогли найти иных путей борьбы с «Ока», кроме перехвата бомбардировщиков-носителей «Ока» до момента их запуска и массированных налетов на базы, где размещались эти машины. Во время одной из таких бомбежек на базе Катона было уничтожено около 300 «Ока», то есть 40% из 755, произведенных в Японии до конца войны¹¹.

Итак, можно считать, что оружие для смертников вовсе не являлось примитивным. Правильнее сказать, оно было простым в производстве, и Япония, развернув массовый его выпуск, довольно эффективно применила его в боях.

Поскольку в числе жертв камикадзе есть и советский корабль, я попытался найти сведения о нем и обстоятельствах его гибели. Автор пишет, что это был Т-152 (с. 151). Скорее всего, имелся в виду катер-тральщик № 152 водоизмещением 62 т, с экипажем 17 человек, бывший рыбный разведчик, построенный в 1936 г. и мобилизованный 2 августа 1941 года. До вхождения в состав Тихоокеанского флота 7 октября 1941 г. он носил название «Нептун», а с 13 сентября 1944 г. именовался КТ-152¹².

А. С. СТЕПАНОВ,
сотрудник филиала Центрального музея В. И. Ленина, Самара

* * *

В связи с интересными замечаниями А. С. Степанова, с которыми меня ознакомила редакция, должен пояснить следующее. Моя работа «Камикадзе» касается действий японских пилотов-смертников. Практически никакой информации о действиях других японских смертников (подрывников, водителей торпед или катеров, моряков, десантников и т. д.) она не содержит. Именно поэтому не сообщается в ней о действиях японских подводников в Пёрл-Харборе, а также лишь вскользь упомянуты сухопутные смертники в Маньчжурии.

Что касается именно «авиационной» части японских смертников, то письмо А. С. Степанова содержит ряд неточностей. Самолет-снаряд МХУ-7 «Ока» модель 11, самая массовая версия «Ока» и единственная использовавшаяся в боях, имел четыре прибора управления, простейший оптический прицел и упрощенный двигатель — пороховую шашку одноразового включения. В сравнении с любым боевым самолетом это, конечно, примитивное оружие. Кроме того, нередко пилоты-смертники не попадали в цель, так как

управление «Ока» было затруднено вследствие недоведенности системы управления: летчик сам должен был «ворочать» аэродинамические рули, что при больших скоростях было непросто. «Ока» был именно примитивен, хотя и прост в производстве и даже целесообразен по конструкции.

В книге «Реактивные самолеты мира» приводится упоминаемая Степановым ошибочная информация о том, что наименование МХУ-7 «Ока» относится только к учебному варианту летающей бомбы, а боевой именовался «Ока-11». Все модификации самолетов-снарядов «Ока» именовались МХУ-7 «Ока», причем первые машины использовались для тренировок и обозначались МХУ-7 «Ока», а впоследствии строились боевые варианты МХУ-7 «Ока» (модель 11, модель 12, учебные варианты — МХУ-7 «Ока» модель К-1 и модель 43 К-1 КА1 и т. д.)¹³.

О. Ю. ЛЕЙКО,
сотрудник Московского авиационного института

Примечания

1. ЯКОВЛЕВ Н. Н. Избранные произведения. М. 1988, с. 494—495, 524—525.
2. ПРЕНДЖ Г. У. На рассвете, когда все еще спали... — За рубежом, 1982, № 34, с. 18.
3. ЯКОВЛЕВ Н. Н. Ук. соч., с. 497, 533
4. БЕЛОБОРОДОВ А. П. Прорыв на Харбин. М. 1982, с. 175.
5. КАЗАКОВ К. П. Огневой вал наступления. М. 1986, с. 291—292.
6. History of the Second World War. Vol. 6. Paulton near Bristol — Lnd., p. 2645.
7. ФУКУИ С. Японский флот. Токио. 1970, с. 312—318 (на яп. яз.)
8. ГРИН В., КРОСС Р. Реактивные самолеты мира. М. 1957, с. 84, 88.
9. GROENLER-O. Geschichte des Luftkriegs, 1910—1980. Bri. 1981, S. 449; Das Grosse Flugzeugtypenbuch. Bri. 1987, S. 594—595
10. KROULIK J., RUZICKA. Vojenskerakety. Praha. 1985, s. 128.
11. Ibid.
12. Корабли и суда ВМФ СССР, 1928—1945. Справочник. М. 1988, с. 546
13. ОГАВА Т. Самолеты Японии. Т. 2. Токио. 1980, с. 130 (на яп. яз.)

Contents

Articles: V. A. Dyakov. The Slavic Question in the Russian Social Thought in 1914—1917; Y. Suomi. Towards the Soviet-Finnish Treaty of 1948; S. V. Yakushev. The Central Party Archive in the 30's. Essays on the History of the Russian Orthodox Church: Priest Vladislav Tsy-pin. From Baptism of Russia to Batu's Onslaught; **Historical Profiles:** A. S. Mylnikov. Peter III. Reminiscences: Memoirs of Nikita Khrushchev; Willi Brandt. Reminiscences. **Historical Journalism.** A. G. Avtorkhanov. The Technology of Power. History and Lives. General A. I. Denikin. Essays on the Troubled Times in Russia; A. F. Kerensky. Russia at the Turning Point of History. **Publications.** David Kandelaki's Special Mission. Communications. E. V. Tsaplin. Archive Materials on the Number of Prisoners in the Late 30s; A. V. Shevyakov. Soviet-German Economic Relations in 1939—1941. **People. Events. Facts:** A. A. Formozov. Malakhov from the Urals; V. G. Mironova. V. G. Mironova. Birch-Bark Scrolls from Staraya Russa. Historiography: N. A. Soboleva. The First Russian Specialist in Heraldry; L. N. Gumilev. Old Russia and the Great Steppe; A. Y. Avrekh. Stonemasons and the Revolution; M. M. Safonov. The Problem of Reforms in Russia's Policy at the Turn of the 19th Century; S. V. Mironenko. Autocracy and Reforms. Political Struggle in Russia in the Early 19th Century; Acts of Scribes in the 1660s and 1680s; I. Ochak. Gorkich. Life, Activity and Death; Strikes, Wars and Revolutions in the International Perspective. The Strike Waves of the Late 19th and Early 20th Centuries. **Letters to the Editor.**

Учредители: Трудовой коллектив редакции журнала «Вопросы истории»
Академия наук СССР
Издательство «Прогресс»

Главный редактор А. А. ИСКЕНДЕРОВ

Редакционная коллегия:

Н. Н. Болховитинов, П. В. Волобуев, А. С. Гроссман, В. П. Данилов, В. А. Дьяков, И. Д. Ковальченко, В. И. Кузицин, Б. В. Левшин, А. П. Новосельцев, Б. В. Орешин, О. А. Ржешевский, И. В. Созин (заместитель главного редактора), К. И. Седов, А. Я. Шевеленко, В. В. Шелохаев, В. Л. Янин.

«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ», 1991, № 4—5, 208 с.

Технический редактор В. Паленцева

Слано в набор 18.04.91 г. Подписано в печать 8.07.91 г. Формат 70×108^{1/16}. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 18,2 Уч.-изд. л. 27,12. Усл. кр.-отт. 36,4 Тираж 90 254 Заказ 2233. Цена 4 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по печати. Москва, Г-21, Zubovskiy bul., 17

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфкомбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, г. Тверь, просп. Ленина, 5.



**ВОПРОСЫ
ИСТОРИИ**